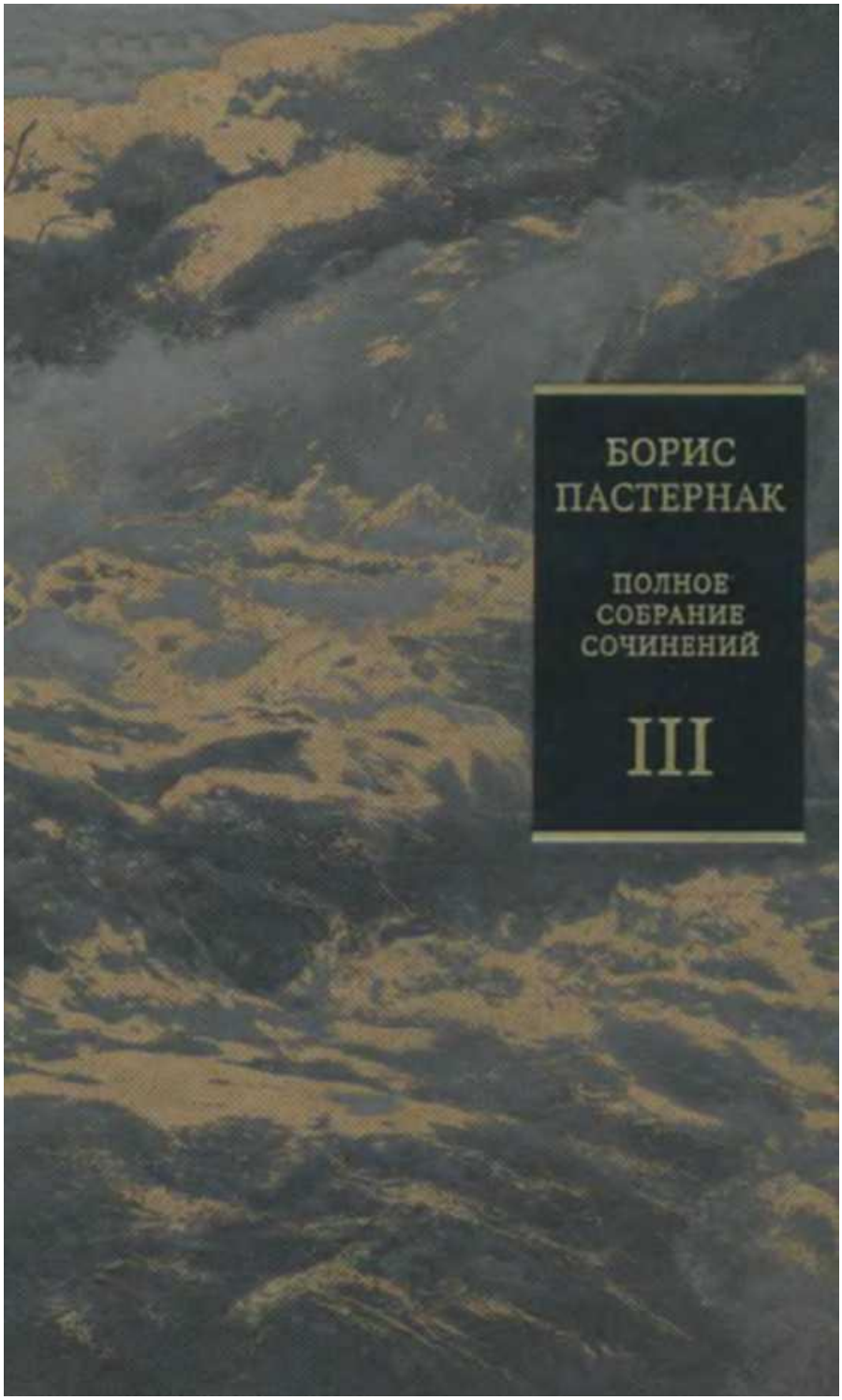
БОРИС
ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
III

БОРИС ПАСТЕРНАК
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
С ПРИЛОЖЕНИЯМИ
В одиннадцати томах

БОРИС ПАСТЕРНАК
Том III
ПРОЗА

СЛОВО/SLOVO 2004
УДК 821.161.1 ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5 П 19
Издание осуществлено
в рамках Федеральной программы
поддержки книгоиздания России

Главный редактор Д. В. Тевекелян
Составление и комментарии
Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак

На фронтисписе:
Борис Пастернак. 1931 год.
Фото В. А. Иванова

ISBN 5-85050-683-7 (т. III) © Наследники Пастернака Б. Л., 2004
ISBN 5-85050-680-2 ° Пастернак Е. Б. и Пастернак Е. В., составление, комментарии, 2004 © Журавлев К. Е., художественное оформление, 2004 © Слово/SIovo, издание, 2004

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

ПОВЕСТИ

АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

...Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром раззуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте господину Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, видавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошлась по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Il sangue»1.

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфаль-ца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное,

вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны) — вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

P. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса...»

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — "Рондольфина!" — дико вскрикнув, "Энрико!" — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И также, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шерengах, врастая в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семеня своими вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на

кожаной куртке кочегара тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой

циферблат, горели чугунные перекаты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: «Pronti!»1 — и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, подымаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюдочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков. Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

«Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет. Впереди — упоительная полная неизвестность».

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегает ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

«Это — наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа-ах, — зевает Гейне, — с какой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная пометка: «Феррара!»

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора, грохоча, сползает по вагонной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чутьбрезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер «Voce» уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка? —Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того,

записная книжка, содержащая среди массы обиходных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Фер-рарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?

— В том-то и дело. Я, собственно, в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами «Voce» в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон — разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

«Ritrovamento1. — Найдена рукопись новой, готовившейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владельца рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице "Тассо", лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты "Voce", равно как дирекция гостиницы, будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжимается, словно пропитывается ею паркет. Снова это — редеющая плетенка из подпаленных, плоящихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный половик, свалявшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице — говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас! Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь, Гейне спросонья, взлохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. — Сейчас. Ах, да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут? Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Постойте, камерьере! Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

—- ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея:

— Ладно, ладно.

—- Камерьере, дама в салоне?

— Да, синьор.

— Она одна там?

— Одна, синьор, пожалуйте. Налево, синьор. Налево!

— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?

— Pardon, вы из номера восьмого?

— Да, я занимаю этот номер.

— Я — за тетрадью Релинквимини.

— Позвольте представиться: Генрих Гейне.

— Простите... Вы в родстве?..

— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...

— Вы пишете стихи?

— Я не писал никогда ничего другого.

— Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...

— Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?

— Конечно. Так это вы?!

— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.

— Камилла Арденце.

— Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попалось на глаза мое сегодняшнее заявление в «Voce»?

— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.

— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным Релинквимини...

— Оставьте, мы не на подмостках...

— Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.

— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презренья к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи, — обращается к вошедшей отравитель, — взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображенье. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно

хлестали вы его своей тонкой плетью, — оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собственными рассказами о вас, — вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо, — отвечает отравителю счастье отравленного. — Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся окоченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинквимини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. «Разотрите мне руки», — говорит, кажется, счастье?

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

-Ну?

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне всласть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?

— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его».

— О синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь. «Да, — скажу я, — да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурачена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на коленях перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает.

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом — и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

—- Я слушаю вас, синьора.

—- Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

—- Простите, синьора. Пафос — это по-гречески страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

—- Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас, объяснитесь. И послушайте, пожалуйста, не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все-таки —- вы не осудите меня за фамильярность? —- вы — необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не то слово, вы —- поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а

ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

—- Ewiva!1 — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

—- Осторожнее, синьор Гейне, —- кричит Камилла, —- осторожнее, я боюсь!

—- Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! —-Лиры летят на площадь. — Столько же и, может, вдесятеро больше получишь, обворовав с десяток феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри не дыхни на цветы, как будешь несть: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за проницательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмостки? Чего вы, собственно, хотите?

— Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Постойте... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы сейчас назвали меня?

— Конечно, и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? Вполоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю. — Камилла протягивает Гейне руку. — И все же. Нет, Господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синьора, — глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! — полушепотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливает вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает подбородок и — о чудо! — слегка приподымает его, приподымает

выше, — синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй — и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь, — поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытянувшееся ее тело, — хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы. — Стучат! — И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молит-вословие. Гейне отпирает. В коридоре доругивающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедший в целый лес лиан, олеандров, флердоранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь: таковою может быть только салон.

— Да, да, салон, — гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон, — соглашается Гейне, — это я сам ему приказал.

— ...Потому что, — нетерпеливо продолжает лакей, — ни до конторы, ни до ванн, ни тем более до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах, да, — словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне, — Рондол ьфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное созданье?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма, — нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе непреоборимой веселости, — при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дождаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав, — останавливает ритора Гейне, — это я велел ему самолично явиться перед лицо синьоры...

— ...Мошенник этот, — уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец, — пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне. — Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. «Синьор, — пригрозил он, — синьор негоциант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo1, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний. — ...В восьмой пока что, — не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам покамест, — слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

—Джулио весь в рубцах. Джулио посинел от холода. У Джу-лио нет другого платья, ни папы, ни мамы нету Джулио, — плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольди, синьор, — неуверенно-мечтательно, как гал-люцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом разражается и лакей, лакей в особенности, когда,

1 гостиниц (um.).

вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкою лапою по протянутой бумажке.

— Постой, — говорит Гейне. — Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоразумен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показываться на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Mercі, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее, — я отправлю телеграмму домой, во Франкфурт, — и платье у вас все в лепестках, синьора, — и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что затаив дыхание окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот... А Релинквимини?.. Какой далекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча Нового года?!.. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..»

— О чем вы задумались, Камилла?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опозданье не превысит...

— К чему это, Камилла?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогается и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?

— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли?! Или я не так произношу это имя? Рондольфино? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое, значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камилла? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико?

— О Камилла, Рондольфина — это вы!

—Актер изолгавшийся!.. Нет!., нет! Пустите!., не прикасайтесь ко мне!

Оба вскакивают. Камилла вся — одно движенье бесповоротно стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла, что-то встало меж ней и ее решением, что-то вселилось в нее и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх, наоткось... Пропала!.. Сорвать его, сорвать колье...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее; разговоры за всеми столиками претыкаются об этот несчастный столик, она еще видит его, еще опирается, может, пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.

— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия, — а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?

— Чего же вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня... А они все стоят еще?

— Что, Камилла?

— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?

— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?

— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот — совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да, надо вынести их. А куда бы? Постойте, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное...

— Ночь уже. Кажется, посвежело немного.

— Отчего так мало народу на улице?

— Тсс, каждое слово слыхать.

— О чем это они?

— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы...

— Пустите-ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!! Вот опять тишина. Как диковинно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в последнем?

— Что, Камилла?

— Над нами еще этаж?

— Да, кажется.

Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.

— Нет... — Но Гейне не дает ей договорить. — Нет никого, — высвобождаясь, повторяет она.

— В чем дело?

— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошеные листья и тени в окошко швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну и нет никого.

— Да это поэзия сама, Камилла!

— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.

— Кто, Камилла?

— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припадки! Если бы устроить как-нибудь...

— Номер уже заказан для вас.

— Правда? Какая заботливость! Наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим, какой это номер у меня? Интересно.

Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие Трою на дровяном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отвешивая свои холодные поклоны. В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившим, затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр.

—Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам, если это так срочно, через полчаса, потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызвать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках, из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и по исполнении всех технических обрядностей нашел себе собеседника в лице редактора газеты «Vосе».

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?

— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну, в чем дело?

— Да, я задержался на сутки.

— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставлю.

— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили.

— Он вам никогда ни на что не понадобится.

— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини и не подумает обращаться к вашему посредничеству.

— Потому что он не нуждается в нем.

— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спокойствия для меня. Релинквимини никогда никакой тетрадки не терял.

— Позвольте, — хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно нет.

— Опять? Хорошо, допускаю. Но это — шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей «Vосе». И далеко не то — за его пределами.

— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.

— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взошло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому названье порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне.

— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.

— Вот именно.

— Очень лестно слушать.

— Да что вы?

— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал, проведемте часок вместе.

— Девять тридцать пять. Впрочем, время — цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.

— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами.

— Да, да, господин редактор, вы — пифия.

— Или завтра на дуэльную площадку, за город.

— Не знаю, может быть, и не шутка.

— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo Santo послезавтра.

— Вы думаете?

— Вы думаете?

— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.

— Не слышу... ?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это — дивный номер, господин редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор.

Гейне машинально повертывает выключатель.

— Не туши, Энрико, — раздается в темноте из глубины коридора.

— Камилла?!!

ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ

I

На воле заливались жаворонки, и в поезде, шедшем из Москвы, везли задыхавшееся солнце на множестве полосатых диванов. Оно садилось. Мост с надписью «Упа» поплыл по сотне окошек в ту самую минуту, как кочегару, летевшему впереди состава на тендере, открылся в шуме его собственных волос и в свежести вечернего возбуждения, в стороне от путей, быстро несшийся навстречу город.

Тем временем там, здороваясь на улицах, говорили: «С добрым вечером». Некоторые прибавляли: «Оттуда?» — «Туда», — отвечали иные. Им возражали: «Поздно. Все кончилось».

«Тула, 10-го.

Ты, значит, перешла, как уговорились с проводником. Сейчас генерал, освободивший место, проходя к стойке, поклонился мне, как доброму знакомому. Ближайший поезд в Москву в три часа ночи. Это он прощался, уходя. Швейцар открыл ему двери. Там шумят извозчики. Издали, как воробьи. Дорогая, эти проводы были безумием. Теперь разлука вдесятеро тяжелей. Воображенью есть с чего начать. Оно меня изгложет. Там подходит конка, и перепрягают. Поеду осматривать город. О тоска! Забью, затуплю ее, неистовую, стихами».

«Тула.

Ах, середины нет. Надо уходить со второго звонка или же отправляться в совместный путь до конца, до могилы. Послушай, ведь будет светать, когда я проделаю весь этот путь целиком в обратном порядке, а то во всех мелочах, до мельчайших. А они будут теперь тонкостями изысканной пытки.

Какое горе родиться поэтом! Какой мучитель воображенье! Солнце в пиве. Опустилось на самое донышко бутылки. Через стол — агроном или что-то в этом роде. У него бурое лицо. Кофе он помешивает зеленою рукой. Ах, родная, все чужие кругом. Был одни, да ушел свидетель (генерал). Есть другой еще, мировой, — не признают. Ничтожества! Ведь они думают, свое солнце похлебывают с молоком из блюдец. Думают, не в твоем, не в нашем вязнут их мухи, чокают кастрюли у поварят, брызжет сельтерская и звонко, как языком щелкают целковые о мрамор. Пойду осматривать город. Он в стороне остался. Есть конка, да не стоит; ходьбы, говорят, минут сорок. Квитанцию нашел, твоя была правда. Завтра навряд поспею, надо будет выспаться. Послезавтра. Ты не беспокойся — ломбард, дело терпит. Ах, писать — только себя мучить. А расстаться нет сил».

Прошло пять часов. Была необычайная тишина. На глаз нельзя стало сказать, где трава, где уголь. Мерцала звезда. Больше не было ни живой души у водокачки. В гнилом продаве мшаника чернела вода. В нем дрожало отраженье березки. Ее лихорадило. Но это было очень далеко. Очень, очень далеко. Кроме нее, не было ни души на дороге.

Была необычайная тишина. Бездыханные котлы и вагоны лежали на плоской земле, похожие на скопления низких туч в безветренные ночи. Не апрель, — играли бы зарницы. Но небо волновалось. Пораженное прозрачностью, как недугом, изнутри

подтачиваемое весной, оно волновалось. Последний вагон тульской конки подошел из города. Захлопали откидные спинки скамей. Последним сошел человеке письмами, торчавшими из широких карманов широкого пальто. Остальные направились в зал, к кучке весьма странной молодежи, шумно ужинавшей в конце. Этот остался за фасадом, ища зеленого ящика. Но нельзя было сказать, где трава, где уголь, и, когда усталая пара поволокла по дерну дышло, бороня железную тропу, пыли не было видно, и только фонарь у конного двора дал тусклое понятие об этом. Ночь издала долгий горловой звук — и все стихло. Это было очень, очень далеко, за горизонтом.

«Тула, десятое (зачеркнуто), одиннадцатое, час ночи. Дорогая, справься с учебником. Ключевский с тобой, клал сам в чемодан. Не знаю, как начать. Ничего еще не понимаю. Так странно; так страшно. Тем временем, как пишу тебе, все продолжается своим чередом в другом конце стола. Они геньяльни-чают, декламируют, бросаются друг в дружку фразами, театрально швыряют салфетки об стол, утерев бритые рты. Я не сказал, кто это. Худший вид богемы. (Тщательно зачеркнуто.) Кинематографическая труппа из Москвы. Ставили "Смутное время" в Кремле и где были валы.

Прочти по Ключевскому, — не читал, думаю, должен быть эпизод с Петром и Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. Узнал, что поставили точка в точку и сняли с другого берега. Теперь семнадцатый век рассован у них по чемоданам, все же остальное виснет над грязным столом. Ужасны полячки, и боярские дети страшней. Дорогой друг! Мне тошно. Это — выставка идеалов века. Чад, который они подымают, — мой, общий наш чад. Это угар невежественности и самого неблагополучного нахальства. Это я сам. Дорогая, я опустил тебе два письма. Я их не помню! Вот словарь этих (зачеркнуто, брошено без замещения). Вот их словарь: гений, поэт, скука, стихи, бездарность, мещанство, трагедия, женщина, я и она. Как страшно видеть свое на посторонних. Это шарж на (оставлено без продолжения)».

«2 часа. Вера сердца больше, чем когда еще, клянусь тебе, придет время, — нет, дай вперед расскажу. Терзай, терзай меня, ночь, не все еще, пали дотла, гори, гори ясно, светло, прорвавшее засыпь, забытое, гневное, огненное слово "совесть". (Под ним черта, продравшая местами бумагу.) О, гори, бешеный нефтяной язык, озаривший полночи.

Завелся такой пошиб в жизни, отчего не стало на земле положений, где бы мог человек согреть душу огнем стыда; стыд подмок повсеместно и не горит. Ложь и путаное беспутство. Так тридцать уже лет живут и мочут стыд все необыкновенные, стар и мал, и уже перекинулось на мир, на безвестных. В первый, в первый раз с детских лет я сгораю (зачеркнуто все)».

Новая попытка. Письмо остается неотосланным.

«Как описать тебе? Приходится с конца. Иначе не выйдет. Так вот, и позволь в третьем лице. Я писал тебе о человеке, прогуливавшемся вдоль багажной стойки? Так вот. Поэт, ставящий отныне это слово, пока не очистят огнем, в кавычки, «поэт» наблюдает себя на безобразничающих актерах, на позорище, обличающем товарищей и время. Может, он кокетничает? Нет. Ему подтверждают, что его отождествление не химера. Подымаются, подходят к нему. "Коллега, не разменяете ли трешку?" Он рассеивает заблуждение. Бреются не одни актеры. Вот двугривенных на три рубля. Он отделывается от актера. Но дело не в бритых усах. "Коллега", — сказал этот подонок. Да. Прав. Это свидетельское показание обвинения. В это время происходит новое, сущий пустяк, по-своему сотрясающий все случившееся и испытанное в зале до этого момента.

"Поэт" узнает наконец прогуливавшегося по багажной. Лицо это он видел когда-то. Из здешних мест. Он видел его раз, не однажды, в течение одного дня, в разные часы, в

разных местах. Это было, когда составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб, и когда толпы незнакомого народа разъезжались со станции в разных поездах, круживших и скрещивавшихся весь день по неожиданностям путаного узла, где сходились, разбегались и секлись, возвратясь, четыре железных дороги.

Тут мгновенное соображение наваливается на все, что было в зале с "поэтом", и как на рычаге поворачивает сцену, и вот как. — Ведь это Тула! Ведь эта ночь — ночь в Туле. Ночь в местах толстовской биографии. Диво ли, что тут начинают плясать магнитные стрелки? Происшествие — в природе местности. Это случай на территории совести, на ее гравитирующем, рудоносном участке. "Поэта" больше не станет. Он клянется тебе. Он клянется тебе, что когда-нибудь, когда он увидит с экрана "Смутное время" (ведь поставят его когда-нибудь), экспозиция сцены на Упе застанет его совсем одиноким, если не исправятся к тому времени актеры и, топтавшись однажды весь день на минированной территории духа, останутся целы в своем невежестве и фанфаронстве сновидцы всех толков».

Пока писались эти строки, из будок вышли и пополелись по путям низкие нашпальные огоньки. Стали раздаваться свистки. Пробуждался чугун, вскрикивали ушибленные цепи. Мимо дебаркадера тихо-тихо скользили вагоны. Они скользили давно уже, и им не было числа. За ними росло приближенье чего-то тяжело дышащего, безвестного, ночного. Потому что стык за стыком за паровозом близилось внезапное очищение путей, неожиданное явление ночи в кругозоре пустого дебаркадера, появленье тишины по всей шири семафоров и звезд, — наступление полевого покоя. Эта-то минута и храпела в хвосте товарного, нагибаясь под низким навесом, близилась и скользила.

Пока писались эти строки, стали составлять смешанный елецкий.

Писавший вышел на перрон. Была ночь на всем протяжении сырой русской совести. Ее озаряли фонари. По ней, подгибая рельсы, медленно следовали платформы с веялками за брезентом. Ее топтали тени и оглушали клочья пара, петушками выбивавшиеся из клапанов. Писавший обогнул вокзал. Он вышел за фасад.

Ничто не изменилось на всем пространстве совести, пока писались эти строки. От нее несло гнилостностью и глиной. Далеко, далеко, с того ее края, мерцала березка, и, как упавшая серьга, обозначался в болотце продав. Вырываясь из зала наружу, падали полосы света на коночный пол, под скамейки. Эти полосы буянили. Стук пива, безумья и смрада попадал под скамейки за ними. И еще, когда замирали вокзальные окна, где-то поблизости слышался хруст и храп. Писавший прохаживался. Он думал о многом. Он думал о своем искусстве и о том, как ему выйти на правильную дорогу. Он забыл, с кем ехал, кого проводил, кому писал. Он предположил, что все начнется, когда он перестанет слышать себя и в душе настанет полная физическая тишина. Не ибсеновская, но акустическая.

Так он думал. По телу его пробежала дрожь. Серел восток, и на лицо всей, еще в глубокую ночь погруженной совести выпадала быстрая, растерянная роса. Пора было подумать о билете. Пели петухи, и оживала касса.

II

Только тогда улегся наконец в городских номерах на Посольской чрезвычайно странный старик. Пока писались письма на вокзале, номер подрагивал от легких шажков, и свечка на окне ловила шепот, часто прерывавшийся молчанием. То не был голос старика, хотя, кроме него, не было ни души в комнате. Все это было удивительно странно.

Старик провел необычайный день. Он пошел опечаленный прочь с лужайки, когда узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фантазия, которая станет

пьесой, как только будет показана в «Чарах». Сначала, при виде бояр и воевод, колыхавшихся на том берегу, и черных людей, подводивших связанных и сшибавших с них шапки в крапиву, при виде поляков, цеплявшихся за ракитовые кусты по обрыву, и их секир, нечувствительных к солнцу и не издававших звона, старик стал рыться в своем собственном репертуаре. Он в нем не нашел такой хроники. Тогда он решил, что это из довременного еще ему, Озеров или Сумароков. Тут-то и указали ему на фотографа и, назвав «Чары», учреждение, которое он ненавидел от души, напомнили, что он стар и одинок и времена другие. Он пошел прочь, удрученный.

Он шел в старых нанковых штанах и думал о том, что на свете нетуже никого, кто бы звал его Саввушкой. День был праздничный. Он грелся на рассоренных подсолнушках.

Сквозь низкую грудную речь его заплевывали новым. В высоте рыхло, колобком, таял месяц. Небо казалось холодным, удивленно далеким. Голоса были промаслены еденым и питым. Рыжик, ржаная коврижка, сало и водка пропитали даже эхо, соловевшее за рекой. На иных улицах было людно. Грубые оборки придавали бабам и юбкам особую рябость.

Бурьян ни на шаг не отставал от гулявших. Подымалась пыль, слипая глаза и застилая лопух, клубами бившийся о плетни и пристававший к платьям. Палка казалась куском стариковского склероза. Он опирался на это продолженье своих узловатых жил судорожно и подагрически плотно.

Весь день у него было такое чувство, будто он побывал на не в меру шумной толкучке. Это были последствия зрелища. Оно оставило неудовлетворенной его потребность в трагической человеческой речи. Этот молчаливый пробел и звенел в ушах у старика.

Весь день он ходил больной тем, что не услышал с того берега ни одной пятистопной строчки.

А когда настала ночь, он присел к столу, подпер голову рукой и задумался. Он решил, что это смерть его. Так не похожа была на последние его годы, горькие и ровные, эта душевная смута. Он решил достать из шкапа ордена и предупредить кого-нибудь, хоть швейцара, все равно кого, а меж тем все сидел, ожидая, что, может, это так, пройдет.

Мимо, тенькая, протрусила конка. Это шла последняя к вокзалу.

Прошло с полчаса. Сияла звезда. Кроме не было ни души кругом. Было уже поздно. Горела, зябла и дрожала свеча. Волновался размягченный силуэт этажерки в четыре черных струи. В это время ночь издала долгий горловой звук. Далеко, далеко. На улице хлопнули дверью и заговорили взволнованно-тихо, как подобает в такую весеннюю ночь, когда вокруг ни души и только в номере наверху — свет и растворенное окошко.

Старик встал. Он преобразился. Наконец-то. Он нашел. Ее и себя. Ему помогли. И он бросился пособлять этим намекам, чтобы не упустить обоих, чтобы не ускользнули, чтобы впиться и замереть. Он достиг двери в несколько шагов, полузакрыв глаза и размахивая рукою, спрятав подбородок в другую. Он вспоминал. Вдруг он выпрямился и быстро прошелся назад, не своим, чужим шагом. По-видимому, он играл.

«Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна, — произнес он, и откашлялся, и сплюнул в платок, и вновь: — Ну и метет, и метет же, Любовь Петровна», — произнес он — и не стал кашлять, и теперь это вышло похоже.

Он стал шевелить руками и бросаться воздухом, будто пришел с непогоды, раскутывается, скидывает шубу. Он подождал, что ему ответят из-за переборки, и, будто не дождавшись, спросил: «Разь вы не дома, Любовь Петровна?» — все тем же чужим голосом, и вздрогнул, когда, как это полагалось, на расстоянии двух с половиной десятков лет услыхал за той перегородкой милое, веселое: «До-о-ма». Тогда

опять, и на этот раз всего сходней, с иллюзией, которая составила бы гордость иного его брата в таком положеньи, он протянул, как бы возясь в табаке и косым поглядываньем по переборке расстраивая части речи: «М-м, — а виноват, Любовь Петровна, — а Саввы Игнатьевича что ж — нету?»

Это было уже слишком. Он увидал обоих. Ее и себя. Старика душили беззвучные рыданья. Шли часы. Он плакал и шептал. Была необычайная тишина. А тем временем, как старик содрогался, и беспомощно обжимал платком глаза и лицо, и трясся, и мял его, мотая головой и отмахиваясь, как хихикающий, когда он давится и дивится, как это, прости господи, как это он цел еще и его не разорвало — на путях стали собирать смешанный елецкий.

Он в течение часа консервировал в слезах, как в спирту, свою молодость, и когда у него не стало слез все распалось, унеслось, исчезло. Он сразу потускнел и будто запылился. И тогда, вздыхая, как виноватый, и позевывая, стал укладываться спать.

Он тоже брил усы, как все в рассказе. Он тоже, как главное лицо, искал физической тишины. В рассказе только он один нашел ее, заставив своими устами говорить постороннего.

Шел поезд в Москву, и в нем везли огромное пунцовое солнце на множестве сонных тел. Оно только что показалось из-за холма и подымалось.

Апрель 1918

ДЕТСТВО ЛЮВЕРС

ДОЛГИЕДНИ

I

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женечкиной комнаты», — облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мото-вилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидала взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты — желты, сукно — зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась..Отец

вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

— Это — Мотовил иха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи.

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, — Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха — завод, казенный завод, и что делают там

чугун, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, — но это до сознания детей никогда не доходило, — между тем как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладанье. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставала его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был — страшен, в противоположность отцу раздраженному — чужому. Он трогал больше девочку, сына — меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегало все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без поводу вспыльчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению — маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе!» Хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долгому, унылому недоуменью.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укоренявшуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать — может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, — чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий, — психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось даже, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было втот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм passй и futur antйrieur, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припоминала тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их

одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного — питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденея, застывала на ночь редеющая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрянула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидала, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

— Она пудрится! Только этого недоставало. Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было — она это чувствовала — куда сквернее ее подозрений. Надо было — это чувствовалось до отупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках, — надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя, плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и изможданющее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло. «Menteuse!»1 Приходилось только отрицать, упорно заперевшись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

Ни она, ни француженка не услышали вовремя звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку — в краске. Она потребовала объяснения. Француженка напрямик объявила ей, что — не Женя, нет — votre enfant2, — сказала она, что ее дочь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей — ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

— Женя — ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только

1 «Лгунья!» (фр.)

2 ваш ребенок (фр.).

не распорядилась вовремя — и вот застает ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду — будет хуже! — что ты делала... — с пудреницей, — хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала: — с этой вещью, — и схватила «эту вещь» и взмахнула ею в воздухе.

— Мама, не верь mademoiselle, я никогда... — и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем, и она чувствовала виноватой себя и внутренне себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, «возвыситься до педагогических и благоразумных мер»: она решила не поддаваться состраданью. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блистала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся — серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывни. И — бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять — поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать. Но — педагогичность; она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

— Хорошая де... — вырвалось у нее скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видела француженки. Стояли слезы, стояла мать — во всю комнату.

— Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

— Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами, — горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...»; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что «может идти».

На другое утро мать сказала ей, что нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нераденье, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретилась на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше, чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. «Ноги, ноги оботрите!» — из конца в конец носил голый светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые,

преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неутолимо, щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, день-деньской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. «Ноги, ноги!» — но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упускали понять толком сказанное, и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот навылет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топленая, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наслеженного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, третьи — на затверделую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны, эти — с резвою искрой, как смерзшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенившейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глень.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутливой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними сталось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестях и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, втом конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полок со своим багажом; поравнялись; Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Л юбимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. «Здесь — крысятник», — подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже, — лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочные, и звукосочетание «класс» казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом как из-под земли выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе «начальником станции» и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта — в графине, и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне — горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу, среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купе. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купе и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно — утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались; он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. «Мама — в этом углу; она убралась уже и читает книжку, — отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка. — А Сережи нет и внизу. Так где же он?» И она сладко зевнула и потянулась. «Страшно жарко», — поняла она только

теперь и с голов заглянула на полуспущенное окошко. «А где же земля?» — ахнуло у ней в душе.

То, что она увидала, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглясь, круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание, и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча — какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое, горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз, в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там и та-а-ам вон;только его.

— Это — Урал? — спросила она у всего купе, перевесясь.

Весь остаток пути она не отрываясь провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как враще-нье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целости земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновенье в купе, сощурив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый, надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно, добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.

— Теперь скоро, — кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянул губы.

— Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: «Азия», — выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове «граница Азии» встала в виде фантасмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалась

сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купе к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сере-жин неистовый крик, мимо окна мелькнуло, и стало боком к ним, и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов, а все еще трепетали платки на летевших головах, и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все, в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей, его приносила по утрам Ульяша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то не то мраморные, не то алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями. — Как в Париже, — повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку, и сидел боком, и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город, и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил, и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось «вы», и, новая, — она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Уль-яша, верно, расспрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает, и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости, — и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

— Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая, — уже через минуту казалось девочке, — какую она наперед загадала в столовой и представила, — плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

— Да, она ремонтируется, — сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую, по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который

надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

— Изумительное масло, — сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

— Чем же это — Азия? — подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом:

— Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это, — вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. И, почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изумительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадеполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу — она высунулась — блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно, темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками, — и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как... «Ну вот, барышня...» — но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее, — ...как, — додумывала она свою мысль, — внизу под ними знают и, верно, говорят: «Вот во второй номер господа нынче приехали».

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь и проснулись: Сережа — в Екатеринбурге, Женя — в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать приставший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться «со своей будущей ученицей». Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испарявшуюся третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цирюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, «запрещавшие останавливаться» рогатки стали местом каких-то городских, запретно

останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это объявлялось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.

V

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: «Сегодня будут бельгийцы». Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какоенибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непочатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца, с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением вовремя сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентурах, о rйfйrences approuvйes и о fe'rocite's, то есть bestialitйs, ce que veut dire en russe1 — хищениях на Благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его fйrocitйs не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, t. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол, — все стало дозволенным, все смешалось — ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: «Нет, не могу», — и комкал носовой платок.

1 об одобренных рекомендациях и о жестокостях... зверствах, как говорится по-русски (фр.).

— Faites de nouveau, — поддавал жару Эванс. — Commencez1.

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским «еры».

— Dites:2 «увы, невыгодно», — спав с голоса, влажно и сипло, предлагал отец.

— Ouvoui, niйvoui.

— Entends tu?3 — ouvoui, niйvoui — ouvoui, niйvoui. Oui, oui, — chose inoupe, charmant!4 — закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполовину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волненья будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и вершков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? Граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастами скорпиона? Отчего в слове «полезный» пишется «е», а не «Ъ»! Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово «полезный», дикое и косматое в таком начертаньи. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена, и уже кроилась кофейного цвета форма, и примерялась потом на булавках, скупо и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

1 Скажите снова... Начинайте (фр.).

2 Скажите (фр.).

3 Слышишь? (фр.)

4 Да, да, — неслыханно, прелестно! (фр.)

ПОСТОРОННИЙ

I

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. «Колька!» — кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило — затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, идти потом наверх, начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога, прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещенье, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движеньем воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на «безобразную привычку». Другое дело — на дворе.

Прохор поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно

внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощеный в середке, он давно не перемащивался, и булыжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за «Демона»; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые дерева, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке, воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороной. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в куреслепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! «Счастливые», — позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово «затворница» в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли, и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью, — с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидала, что незнакомки поднялись и собираются идти. Они поодиночке, друг за дружкой, прошли в калитку. За ними странною, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала — спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился

и плясал, обрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно опускалось ниже мошек к земле и, не запылясь, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. «Хромой, — подумала она про незнакомца с альбомом, — хромой, а из господ, без костылей». Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. «С некоторых пор у мамы составилась целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками». Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то не-уследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком, — она задумалась, — в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает, — она носком отбросила валявшуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась, — в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Улья-шей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутье картофелины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сближеньи. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновенье Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей «шука» вместо «щука», «работам» вместо «работаем»; а вдруг — померещилось ей — придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: «К дверьми прислонь!»?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Дав-летша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

— Далеко не катай! до шлагбаума и назад; осторожней с горки!

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы, и, дотянувшись до тугой и веснушчатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, недававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабканьи ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизительности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал

подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку, из-за кустов, и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась. Лошадь шла шагом. .

— Свороти направо! — приказала Женя.

— Переезда не будет, — ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец, — тупик.

— Тогда стань, я погляжу.

— Это китайцы наши.

— Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкою «тпруу», и лошадь, колыхнув всем телом, стала как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебегали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этих можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склабящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изги-бистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу, с ворота по самые щиколки, они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

— Послушай, Давлетша, чего это ты?

— Лошадь рванула! рванула! не сто-иить! — раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

— Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

— Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелою вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнова под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

— Est-ce Pierre qui a volй la pomme?

— Oui. C'est Pierre qui vola... Etc.1

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться.

1 Это Петя украл яблоко? Да. Это Петя украл... И так далее (фр.).

Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонне Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендо-вым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит, — наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома потешается этим, — Женя принимала это как должное, как нечто лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались, та с сильным чувством, эта — безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовой воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвертоклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дроби, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще — значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Не-гарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется по-прежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон, на отбывку какого-то сбора.

— Как же вы в таком случае еще молоды! — сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понуря голову. Разговор не клеился.

— Завтра придут замазывать окна, — сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой вести. Но перед тем, как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

— В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

— Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения «своих стариков» так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

— Простите, я вас перебью, — сказала мать. — Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, буквально под присягой?

-Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия, — что эта воинская повинность за штука. «Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю», — благодарно и машинально твердила девочка.

— Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, учитесь, где все, — поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

«Да, да. Понимаю. Да, да, да», — опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростясь, пустились в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбурге. Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил. Они прощались.

— Часть книг я оставлю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

— Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

— Цветков.

— Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких, — и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака, и рассеянно дожидался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего. — Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

— Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

— О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день? — испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

—• Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

— Среда. Ecoutez, — дождался наконец своего череда отец, —• demain1.

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень шибко, и на

ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

— Так его везли на станцию? -Да.

— А почему он сидел в сене?

— То есть как?

— В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

— Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

— Его везут на каторгу?

— Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. 1ляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затруд-

1 Слушайте... завтра (фр.). 62 няя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленые; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобранные и теперь, запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на нёбе дешевой грушевой шипучкой.

— А в Перми есть тюремное правление?

— Да. Ведомство. По-моему — так идти. Ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург — уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

— Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

— Знаю.

— А ты боишься щекотки? -Да.

— Значит, ты — нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя — бегом, Сережа — неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартала. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видала его где-то раз. Они разминулись не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве.)

— Постой! — У Сережи случилась неприятность. Он опустился на одно колено. — Погоди.

— Зацепил?

— Нуда. Идиоты, не могут толком гвоздя забить! -Ну?

— Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава Богу.

— Разорвал?

— Нет, цела, слава Богу. А в подкладке дыра — это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли. Я его знаю. Это — с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал — собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самой-лово рожденье. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден ею в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она вслед за братом произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг — и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы, и уже в пути и что он только что — ну, назад минуту — говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попрощавшись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него. Женя обратилась к брату с таким вопросом:

— Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

— Нет. Никогда не бывал.

— Неправда, я сама тебя видала.

— На дровах? Ты...

— Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Савви-чевским садом.

— А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо идти, показываются. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди. Так это, значит, наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться — раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

— Сережа, покажешь мне дорогу туда?

— Опять. Ведь двор — наш. Чего показывать? Ты сама...

— Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

— И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо идти.

— Что ты?

— Да то. А медник?.. На углу.

— Так та пыльная, значит...

— Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи — в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о «полуде», то это такая горная порода — одним словом, руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она — про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа — про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой.

VI

Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказа,-но. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным, семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернула назад. Потом она вспомнила, что дело раннее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полок, как стояли в комнате, и колесца кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадушке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетавшим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полок, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: город, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

«Он простудится, только разложит вещи», — подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека, — человека вообще, валкой, на шаги разрозненной походкой расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромыхал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверью. Подымался и опускался чай в стакане на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Качались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика, в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущеньем укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть,

не раз и по-разному. То из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспламененного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной своей геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся неимоверными в стремлении сумерек принять форму площади, ложащейся в основанье этого помешательства пространства. Или, отделясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты, плавно, как на масле, сменявшие друг друга и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете, свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо, и с кроватью — девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась, и расструивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, переменившиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. По-видимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем расспрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

— Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Этого спрашивать не следовало. Это было еще глупее.

VII

Что это, никак, опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полость. День тычется

рылом в стекло, как телок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как с присвистом дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворешницы. Там будет дым, там — снег, здесь — иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по них. Они напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращали внимания. Отрывался ее, детский.

Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко! — как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: «Тридцатое, завтра — тридцать первое».

— Она уж третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидала, как далеко зашла в своем занятии. За самое Введение. Мать дотронулась до ее руки.

— Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как несказанное. Матери вперебой, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: «Усекновение главы Иоанна Предтечи». Мать повторила, недоумевая. Она не сказала: «Предтеича». Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самое себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, виясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой только потому, что опять услышали мост под Выкормышем. Улицы стали неузнаваемы; улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется перекладать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с

тем томом «Сказок Кота Мурлыки», что не для детей. Надо будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, й слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти неведомо откуда падавшие страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, этц царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взвывали будто плетьми огретые поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из судка, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными «серединками». Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винили. Ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело, — она расстегнула наконец этот противный крючок, — а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

— Нет, зачем же, поедем, — сказала мать, — надо рассеяться; ведь доктор позволил.

— Надо решить.

— А где же торт? — опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает.

Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

— Надо решить.

— Решено, едем. — И, грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменилась — метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное: он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, «без вреда для барабанных перепонок», взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

— Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

— Эванса? — рассеянно уронил отец.

— Мы не знаем этого человека, — горячо выпалила Женя.

— Вика! — послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ул ь-яшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом костюмчике.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец сами уехали.

Письмо извещало, что она «дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть»; а когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз

Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. «А вдруг корь повторяется? — мелькнуло у ней в голове. — Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность».

Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это было и что именно, — не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнова, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. «Окно не убежит, — подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное, — а их я вовремя услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука: 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить». Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что «не надо делить, а просто бросать прочь их». Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделывали у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за «Котом». Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкап был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокою бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, за чем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил: — Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за «Сказки». Она прочла повесть и принялась за другую, затая дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему, она вешала губу, и помертвелые зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик-эхо. Жене пришлось откашляться с немого надсада гортани. Нерусское имя «Мирры» вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. «Вот какая зима в Азии! Что теперь делают

китайцы, в такую темную ночь?» Взгляд Жени упал на часы. «Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки». Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, тараща глаза. Это — не вор. Их много, и они топочут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась неимоверная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна, дальняя, то казалось, что женщине затыкают рот. Но она снова распахивалась, и дом ошпаривало жгучим, полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать; она догадалась. Причитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то вталкивали Сережу, и он орал: «Не сметь на ключ!» — «Все — свои», — и, как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Ульяше.

— Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

— Папа!

— Где Липа? — не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеща на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновенье высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истошным шепотом.

— Что с мамой?

Вместо ответа Ульяша твердила в одно:

— Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочок. А-ах, о Господи!., ми-ил! Нельзя, нельзя, — приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

«Нельзя, нельзя», а чего нельзя — не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упадали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там, в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что — гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми ребятами. Чай им подали в классную. Сказали — в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным, разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

— Зачем? — перебила его Женя.

Но Сережа догадался — зачем, и предупредил отца:

— Чтоб не заразиться... — вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряден, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строеньи человеческой ступни: так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее, — в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою, — но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

— Уж и ждут? — насмешливо переспросил сын.

— Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. «Эйиох!» — остался в воздухе студеный вскрик пронесшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

— Чего ты возишься?

— Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?

— Все стонет. — Горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту. — Не мое это дело, — возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтелись рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колол лед.

— А много его с лета осталось? — расспрашивал Сережа.

— Скоро новый будет.

— Дай мне. Ты зря крошишь.

— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

— Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала: ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась меленько и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям.

Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв, и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло по-зимнему. Здесь оно нарывало. На дворе — коченело, зловонное. За окном — сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печенку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово «рекомендую», и Лиза трещала без

умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шутливые вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безошибочно одну какую-нибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих. Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки? — И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты: — Вальтер Скотта. Можно?

— Ступай, ступай, душенька! — зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту. — Жалко дитя, — обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект «Севера» кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенною пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы навертывались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

— У, егоза, пострел тебя!.. — кашляя, колыхала бабушка. Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит

девочку, смех которой раздается рядом и так далек, так не нужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренне видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие которой кончалось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми. Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное — маме. И словно подбодряемая последней: «Васса Васильевна!» — обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

— Можешь ты рожать? Лиза не сразу ответила Жене.

— Тсс, тише, не кричи. Нуда, как все девочки. — Она говорила прерывистым шепотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала все, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбованы Творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору — только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шепотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревоги, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее, души, не спросясь.

— Я знаю. («Ничего ты не знаешь», — подумала Лиза.) Я знаю, — повторила Женя, — я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг — и родишь вдруг, ну вот...

— Да войди ты! — прохрипела Лиза, превозмогая смех. — Нашла где орать. Ведь с порога слыхать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с рукомойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам. Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были непроизносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась открыто, нашедши повод. Она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Большую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расползались по

снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухою сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые, шаля, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный частокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, проносилось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так, — ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидала. Лизина постель была пуста. Просыпаясь,

Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугун с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидала его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая задом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали. IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец... — Выкормыш?!

— Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

— Как? Насмерть? -Увы!

— А мама?

— А мама заболела нервным расстройством, — и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское «partus praematurus»1.

— И тогда родился мертвый братец?!

— Кто вам сказал?.. Да.

— А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра — третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что, не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор. Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам, и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромы-хиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

— Отчего вы такой грустный?

— Разве? Все может быть. Я потерял друга.

— И у вас тоже горе? Сколько смертей — и все вдруг! — вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв, какою опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

1 «преждевременные роды» (лат.). 83

— Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Нега-рат; я вас видала еще с кем-то. Этот? — Она боялась сказать: «Цветков?»

Диких оторопел, услыхав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и, когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

— Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности? — размышлял репетитор. — Очевидно, покойный был у

девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дроби объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную... И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплачется и придет, наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!»

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее. «Не делай ты, особенный и живой, — говорят они, — этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь». Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, постоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидала, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

— Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов. Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

Михаилу Алексеевичу Кузмину

I

Под вековою шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнрчиков, знойно, трещавших в траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах и на свете не стало жизни.

— Куды, куды! — поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в предшествии молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.

Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, за-чумев от жары, и, втяпнувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше.

Когда, наконец, польет и обе пары рельс полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит вам,

чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике и было еще очень рано, когда, белоснежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновенье, как пузатая тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда-то, был другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы — поражающею его ум трещоткой.

В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы. Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакавшись, он повеселел уже с закругленья и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного гула. Это должно будет стечься к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск покрытой росой кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой и, ничего не разроняв из желобов, князьков и карнизцев, щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной рощи на дорогу выйдет луна. И тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтом и что теперь еще ее дарят детям на Рождество. Вы вспомните, что раз как-то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведерко с краской и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили, — негромко произнес женский голос. — Вы чувствуете? Пойдемте ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.

— Как? Как это — нету? Пропа-ал?! — одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.

— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты руки мои, ради Христа. Господи, да что ж это такое? Тоша мой, Тошенька!

Не сметь! Не сметь! В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная! — И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слыхать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разошлись и удалились. В промежутках между ними неслышно пыхтели и пере-фыркивались зябкие луга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то и дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное черт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали во рвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистей, досадливей и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрами взлетавших над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы проникаемся сознаньем его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что л и, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кроватки спустило с их голосов кожу. Но и с ободранною душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке

откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет наконец близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца и трофей вчерашней победы.

Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало, и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающийся трепет пробегал по деревьям. Чередом» пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтожества, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться в необозримом море росы, неспособной собраться с мыслями по рассеянности и спросонья. Ей это удавалось. Склонив головку набок и крепко за-жмурясь, она без звука упивалась глупостью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало. И вдруг,,прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажигался холодной звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдце с огромным удивляющимся глазом.

Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым светом. Тесней всего свет этот льнул к оштукатуренной стене, к усыпанным хрящом дорожкам и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким-то купоросным, беловатым, как известь, составом. И вот, стаким же мертвенным налетом на лице, по саду проплелась только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она не останавливаясь, подкашивающимся шагом прошла наперерез к задам, не замечая, что топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и подымающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение еще нуждалось во взбалтывании. Перешедши огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что она собирается что-то сказать и полностью приготовила свое короткое слово.

Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху, чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону полотна? Море лежало, холодея, как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватывалось и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно заре, прижавшейся к задней стене огромного, на сотни верст загаженного хлева, где во всякую минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же они ползали на брюхе и чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней.

На берег из-за скалы вышел мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень как по слюне рикошетом проскользнул вкось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и все мелководье. Только что, когда, совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал подходить к ней со стороны поляны, как Леля подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти вплотную, быстро проговорила:

— Мы больше не можем. Спаси! Найди его. Это твой сын.

Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и так, не переставая швырять их, стал удаляться и скрылся за выступом скалы.

А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось спать. Это ползь, осыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ и, погрохатывая, укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое.

III

Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно. Неизвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат. В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный грудами кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных жестянок, которые воскресали в оттепели и, отдышавшись, принимались двошить былыми веснами и каплющим, чиликающим, тряско прогромыхиваю-щим привольем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе. Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и, не двигаясь, куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.

Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая военная ветка, где-то в своем месте и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии, — тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную от него бегущее предместье. Это было небо Третьего Интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочался. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседованья тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою при-дают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что-то подобное лямке гигантских шагов с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу.

— Вот какое дело, — обратился он к нему, — из пленбежа были.

— Это опять насчет венгерцев?

— Нуда.

— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!

— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял.

— Ну, и что же?

— «Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело — бумаги чтобы в полном* порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее». Им помещенье освободить.

— Так. А еще что?

— А боле ничего. Только и толку, что бумаги им, помещенье, — говорят.

— Да нет! — перебил Поливанов. — Зачем повторять! Я не про то.

— С Канатной пакет, — сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь к нему, понизил голос до шепота, как на разводе.

—Да что ты! Так. Не может быть! — равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.

Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.

— Хлеба принесли? — неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе, и прибавил: — Да вот еще тут... гражданка к вам.

— Так, так, так, — в том же рассеяньи протянул Поливанов.

Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движенье.

— Пожалуйте, товарищ, — обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.

По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницу двигающимися стаканами, сухарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов былого Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье, отзывавшееся полем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да, — вероятно прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек. — Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с час. И это все? Да, буду и скажу. Да нет, через минут двадцать. Все?

— Ну-с, товарищ, — с коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серного пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее раздельный, волнующийся шепот.

— Леля! — сам не свой вскричал Поливанов. — Не может быть — виноват. Да нет же — Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот Бог привел, — однообразно задыхаясь и плача, шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная,

давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие — не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встре-тясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок... — так начала она.

— Опять! — мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить — быстро и безостановочно.

Он говорил, точно статью писал — с «которыми» и с запятыми. Он похаживал по комнате, и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять, попробовал съязвить он, и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных...

— Вы кончили? — сказала она, дав ему уходиться. — Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не понимаете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь?

Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь по-губит. Есть такой негодяй, авантюрист, — впрочем, Бог ему судья, — Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал как вкопанный и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?

Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше нее и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны:

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...

И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола, и куда-то звонил, и что-то

узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательно правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадною неразбившеюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который, в темноте и пока была в памяти, приняла за ковер.

ПОВЕСТЬ

I

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это — одна жизнь.

Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и грудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры, с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит, и для чего, и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасся, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, — с худых, прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных зажор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретьи сменялись голосами игравших детей.

Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамо-машины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолча-нья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, — она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошелку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточ-

ной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринад-цатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливам клеенки, Наташа сказала:

— Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. — Потом, замявшись, прибавила: — Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принялся за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти и он туда ездил.

— Как же, перед экзаменами. Мне писали, — вставила Наташа.

— Ах, да! — подхватил он, чуть не поперхнувшись. — Ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощенья, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и много еще чего (тут он снова все это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о «десяти талантах, что хуже одного, да верного», сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом и нарочно про него.

— Ну, как же? — спеша замять неловкость, спросила Наташа.

— Чего — как же? Гнал день и ночь, вот и все, — и он стал уверять, что никакое наслажденье не сравнится с такой гонкой, причем назвал ее экзальтацией недосуга. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с прирожденными искушениями, главное же — с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останутся навсегда недостроенными.

— Отчего же навсегда? — возразила она. — Разве ты ей конца не чаешь?

Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды и Калязин, вероятно, главным по этой части разливальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось слабенькое дребезжание звонка. Полагая, что это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложа руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдалбливала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел

лесистый кусок недавно совершённого пути. Он увидал станцию, пустой буфете досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

— Ты догадался? — сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда. — Это — Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

— Какой Лемох? Зачем ты кричишь? — вполголоса перебил ее Сережа. — Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу разъединили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с телефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе, на другом конце поселка.

— Милейшая девушка, — прибавила Наташа. — Между прочим шьет: жалованья не хватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, к ней с фронта приехали.

— Знаешь, — неожиданно объявил Сергей, — я, пожалуй, и правда прилягу.

— Вот и хорошо, — быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сережина письма для него приготовленную. — Удивительно, как тебя освободили, — заметила она на ходу, вполоборота оглядывая брата, — ведь ты нисколько не хромаешь.

— Вот, представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь? — воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало. — Оставь, я — одевшись. Не надо.

— Ну, как знаешь, — уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога: — Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели; в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень-очень интересный человек и достойный и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

— Но что же мне делать? — взмолился Сергей. — Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках.

С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца «Новик». Звали его Фардыба-сов. Он отнес прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отрыганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на Второй подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой каемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завьялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

— Отрыганьев! — подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе все сооруженье.

— Каких соков дерьмо гонишь? — с первого же приветствия спросил приезжий колченогого увальня, который вырос у двери, впривалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

— Еремка! — только и успел выпалить подошедший, сразу хваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля. — Хролофор, — пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

— Смолосады, подумаешь! — любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа.

Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот и все помещенье заволокло клубами белой раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь съел, — считанные, дескать, дни, — и стал тут же подбивать приятеля на то самое, за чем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту на весь свой отпускной срок.

А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнобязанными и заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое Рождество, они ночью на выходе из Финского напоролись на минное поле германца и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с «Новика», а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерек в вечер. Под вещевую «Дубинушку» полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выспавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала, где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она стаей материнских увещаний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам, никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим поздней, воплотилась она в басистое вторженье Калязина и его палки, и его глубоких, за десять лет брака все еще не поддавшихся никакому вразумленью, калош.

Чтобы примануть сон, Сережа упорно старался увидать какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон все не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого

года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспоминанья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с усоль-ской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечер-киванья, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее по-ездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотою, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнообъемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещеньям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правленье, она и этим развле-ченьям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещенье Художественного и Кор-ша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманьям при каждом новом перетряхивай ьи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванное ученье, работали в «Русском слове». Все обзавелись семьями, у всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не кучею, а врозь, кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

Надо также сказать, что, за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтеньем Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспоминалась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен Высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми ак-терскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблужденье это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были все же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И

тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего пониманья, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое подеялось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала расспрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличия, она, однако, тут же, как светлая личность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать

Сережу, но, вся дыша сознаньем прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпеньем, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелись и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, Бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудою действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям, драма. Потому что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово драма, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.

II

Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он, точно без шапки, вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем распяливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольного ожиданья помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самим рокотом мостовых сильно на вынос вложенная в хомут, за дугу. Все кругом подражало им. Орленная чистым булыжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов, праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Щемящей студености холостая заря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Все случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка величиной со всю, того часа, московскую жизнь владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но, вконец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горько-шерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролеток подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот как подмыло его в дымные номерные разговоры, подпертые с улицы троеруким керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной женской серебристо-мышиной и кое-где уже разобранной граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во фрестельнском особняке воспитателем хозяйского сына и тут остался, отряся олово с ног своих. И не удивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвесть без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельнского дела, а то никогда еще в жизни не случалось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парою кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу, за поворотом. Это было в Самотеках, и, несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, идти ли вольноопределяющимся или же по жребию. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стесненье. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший — очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший молчаливее и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы, и одобрял их, и, между прочим, собирался при помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников обновлять свое начинание. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменною усмешкой. Она и

вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положенья, и этою иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и, с двухэтажным фрестельнским особняком на языке, Сережа вовремя его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Сережей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой все это проделал Коваленко, ничего Сереже не сказала, потому что она была от говорившего неотделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не идти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучиваньи встречи, и адреса, и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умиленность; умилен же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступленье к Фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произошла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку, направо от детской и Сережиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где кроме трех ее комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной.

Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было именье в Тульской губернии. Хотя% покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности, и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозою воздух. Но по тому, как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий. И, видя все это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снарядился в путь и вот-вот поднырнет под горький, мокро-трепещущий, знойно-лавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного, камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, приискивая себе место, отлучалась без разбору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна АрильдТорнскьольд, а в доме, для краткости, — миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положеньях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно.

Именно так, в духе гнетущей странности, она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке, пересекая залу по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом, незаметно настал день, когда, обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами, — относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали, — с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светло-каштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало и само было как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкою написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустился на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

— Я знаю Чехова и Достоевского, — обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд, — и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, вроде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоулкам показывает, что вы живете не своей жизнью и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Постойте, я не кончила...

Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгновенье, справившись с какой-то непонятною заминкой, она продолжала:

— Прошлой весной, в марте, я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором.

— Послушайте, — все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то, — я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране.

— Ах, так вы вот о чем? Вы о Фрестел ьнах? Хорошего же вы мненья обо мне. Я дальше от таких.ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи и только это от нас скрывают?

— Какой вздор! Откуда вы это взяли?

— Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня, — с новым жаром начала она, не дав Сереже вовремя заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сластолюбьи — живой Толстой, то есть самое русское из всего, что достойно этого званья.

— Не в этом дело, — спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже, на край скамейки. — Послушайте, — взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. — Вы состоите при Гарри, но я уверена, что

вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтиранья.

От неожиданности Сережа упустил ее руки.

— Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель «Адлон». Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами — здравый, рассудительный человек, — вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь все это родилось по ту сторону границы, за Вержболовом... Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг — ее предложенье. Я о нем прочла в газете. И — по какой случайности, если бы вы знали!

Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою.

По стеклянной галерее, соединявшей особняк с кухнею, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движенье миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высо-комерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала.

— Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри и с гостями, когда бывают гости. Я сама, собственными ушами, слышала, как в ответ на ваше недоуменье, почему меня нет за столом, вам сказали, что я больна. И правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри, — не кивайте, пожалуйста, так радостно: дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу, за дверью, в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится), пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж, право, не знаю чем. И ведь я не все могу назвать, — неожиданно тихо заключила она и, вся в краске, переведя дыханье, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику.

Сережа молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это запало.

— Не утешайте меня, — попросила она и поднялась со скамьи. — Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не по-датски. We shall be friends, Гт sure1.

И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал gut а не well, не предупредив ее, что понимает по-английски, но то немногое, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему (и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это — просьба и предостереженье и чтобы все это он имел в виду.

III

Стояли душные дни. Сережа по Нуроку освежал свои скудные и запущенные познанья по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожи-

Мы будем друзьями, я уверена (англ., перевод Б. Пастернака).

даньи выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд.

Сережа громко беседовал с датчанкой и при появленьи хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожой Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало все более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свыкнуться с упорством, с каким Сережа звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пулярдок и раскладывали по тарелкам мороженое, — большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудаком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее, как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

В послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломаных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской неловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излияньями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездождьи, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возжженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за Китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несуразица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в именье был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучовые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насажденьями. По размягченным панелям, свесив полуосыпавшиеся головы, двигались пепельные, изо-млевшие тени. Только раз в воскресенье у Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали; когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду, у берега, с кислым шипеньем дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и все впопад. Они все быстрей и быстрей кружились по лабиринту, приводившему их все на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Изо всех пар, заполнявших рощу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследования. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шепот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось; они произносили слова как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей, коптящею тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во все лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обое-ликую, мольбой о милосердии искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они все быстрей и быстрей кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромынкой скакавших за ними вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллюминованном стекле. От них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

«Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, — думал Сережа, — чтобы, наперед отожествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!»

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все — женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался л ишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он не задумываясь назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая-рассамая, та самая, что уже до скончанья дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привесть, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиоконного домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого

мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И, однако, npi? всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи не чинясь и как попадется плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом, на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сере-жины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухою, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же, на месте, одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановень-ем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.

— Куда ты? Убьет! — всем нутром прохрипела Сашка и, протащившись по постели, повисла на его рукаве. — Сердце сорвать не штука, а уйдешь — спину мне подставлять?

Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволенья той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал

рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.

— Эх ты, Виновата Ивановна! — не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа.

Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

— Нет, ты не медик, — говорила Сашка, навалясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной. — Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас простотой не знаю, как — ну, иное, когда сзади идет, не видать, — хвостом признаю. Небось учитель? Ну вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?

Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.

Промежду болтовни, назвав Польшу Царством Польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцевитом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в далях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах; и булыжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и куреслеп, и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнею вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попы-хах, — точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль, — задом-задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелою, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным мешком брякается паровозный дым, тот самый, может статься, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он средь чайных и колониальных товаров, с продажею сигар и табаку, и кровельного железа, и городовых, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос, и разум, перед тем, как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот, видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой. Вот городовой при книжке холщовой с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну, и (мгновенный нажим похабной собачки) — та-тра-тра,

та-та-та, — конец один. И городовые смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.

— Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я — что, я против них простотки сказать — барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что, — может, скажешь, спят, — много ты про нас понимаешь! Ой, уморил, ой, помру, ха-ха-ха! Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смирный, ну конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь — он из двери; а то либо, вишь, спит, — поди добудись, да вперед найди. Потемки — не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные, вашего звания. Ну, готово, теперь только пудру и сумочку не забыть, на, подержи. Ну, пойдем, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро, глазок скосишь — так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну ладно, прощай, смотри, не забывай. А я одна пойду, кобелям поваднее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натощак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дутой голубиной грудью колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.

IV

Богатство следовало раздобыть немедленно. И, разумеется, не работою. Заработок не победа, а без победы не может быть освобожденья. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда — в земле, новой, с самого основанья.

«Главное, — говорил себе Сережа, — чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их. Но до исполненья плана, — говорил он себе (а плана-то никакого не было), — надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтораста. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознаньи, и Сашка; и Анна Арильд Торнскьольд была не на последнем месте.) И это — суммы совсем иного назначенья. Так что в виде временной меры их не колеблясь можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников, Раскольников, — повторил про себя Сережа. — Только при чем же закладчица? Закладчица — Сашка в старости, вот что... Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего».

Это было в один из первых дней июня. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гар-риной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд, в Полтавскую губернию, в военную семью.

— Not Souworoff, the other...1 — полногорло прокартавила она на лестнице, ленясь подняться за письмом. — I forget always2.

И Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропат-кина, пока не оказалось, что это — Скобелевы.

— Awfully! I cannot repeat. How do you pronounce it?3 Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей

пришлось задержаться решеньем. И вот почему. Едва получив предложенье, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер свалivший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятыми. Все это осталось загадкой, врачом не разъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять

1 Не Суворов, другой... (англ., перевод Б. Пастернака)

2 Поминутно забываю (англ., перевод Б. Пастернака).

3 Ужасно! Не повторить. Как вы это произносите? (англ., перевод Б. Пастернака) уже огласился громами «Aufschwung»^1, как в дни, когда Сереже о раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышлениях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ощутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного званья думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере не те, заветные, а из честного и сотенного разряда, и, все сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, недолго думая засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Нов это время его слух поразила та

1 Название одной из фортепьянных пьес Шумана (нем.). 124 же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. «А Торнскьольд?» — подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой наразлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В пролете за косой дверкой, выводившей во двор, горело белое, как песок, тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. «Какое легкомыслие, — подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все), — всюду окна настежь, в доме и на дворе ни души, можно все вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока ее

дошаришься, мало ли что может случиться». Он пустился назад, стремглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку, как из дома, объятого пламенем. И, как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой.

— Егор! — не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы, — научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее француженкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу). Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттоновна наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил.

— А вон окошко, — торопливо доматывая жеванное, коротко, длиной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, все время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье.

Оказалось, что часть убогого трехэтажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, откроена в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу, из особняка, по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камеристки. «Где все это было уже раз?» — полюбопытствовал

Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил — где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунною улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, рас-кружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничьего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо, и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблуками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легшей напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки.

— Анна, что с вами? — вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание.

Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья и его не доискивался. «Господи, господи!» — громче лошадиного топота толклось у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достиженья падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась.

— You, friend?1 — невнятно пробормотала она и открыла глаза.

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом,.точно в нее напустили детей.

1 Это вы, друг? (англ., перевод Б. Пастернака) 126

Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах», — без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходивший на север, плыл в лиловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки, подбегать с каждою в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось складками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движеньем, полным возвратившейся силы. Он также заставил ее принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, причем издала то мычанье, которым дети выражают полностью утоленную потребность.

— Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют? — отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час.

— Не знаю, — ответил Сережа, — вероятно, конец пятого.

— Часы на комоде. Посмотрите, пожалуйста, — попросила она и тут же удивленно прибавила: — Не понимаю, на что вы там зазевались! Они на самом виду. А, это — Арильд. За год до смерти.

— Удивительный лоб.

— Да, не правда ли?

— И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять.

— А теперь еще плед, пожалуйста, — вон на сундуке... Так, спасибо, спасибо, прекрасно... Я, пожалуй, немножко еще полежу.

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее ударили, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку.

— Вот, положите на лоб, — предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном. — Ну, как вам?

— О, бесподобно, разве вы не видите?

Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться. И потому сказал:

— Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть ворот и распустить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет.

— You'll not dare...1

— О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду, — тихо перебил он ее и, понурив голову, медленно и неповоротливо направился к двери.

У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью.

— Corne near, I did not wish to offend you2.

Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волненья он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовою лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то

размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить.

— Что вы, что вы! Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно! — зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье.

Однако (да она это и знала) ее утешенья только благоприятствовали слезам, и, гладя его по голове, она потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивленье повело бы к затяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, наконец, и поехали все эти Соколь-

1 Вы не осмелитесь... (англ., перевод Б. Пастернака)

2 Подойдите, я не хотела вас обидеть (англ., перевод Б. Пастернака).

ники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух последних недель! Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей.

Вдруг он поднял голову. Она увидала лицо, омытое и как бы отнесенное вдальтуманом. В состояньи какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой.

— Анна, — тихо сказал он, — не спешите отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой, — еще тише и тверже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое.

И, выждав мгновенье, чтобы справиться с улыбкой, вско-лебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего:

— Только не смейтесь, прошу вас, — это вас уронит.

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было таково, что при совершенном порядке платье ее казалось смятым, волосы — растрепанными.

— Друг мой, друг мой, ну можно ли так? — давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками. — Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движенье веки, — слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете! — как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушая.

Она ухватилась обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиваньем всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенно побеждаемого волненья:

— Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключен в вас самих. Может быть, все когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите — неужели нет? Как странно. Но все равно. Ну, так вот, я хочу, чтобы вам это было известно. — Она запнулась и переждала мгновенье. — Но я все время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положенье. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос,

чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? О, не пугайтесь, ради Бога! Разве несдержанное обещанье или неисполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Все это так не похоже на вас. Можете не отвечать — я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но, — задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно пустое, и в голосе у нее появилисьусталость и хрипота, — но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего.

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкла не сразу. По-прежнему двор был пуст и флигеля — как вымершие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел, подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Все было как раньше. Только в комнате стало чуть темнее.

Сережа молчал, потому что не знал, совладает лис голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на московские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на все была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе бездушной куклой и, клевеща на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в ее ответе. И вот, чтобы поправить этот воображаемый грех и уверенная, что теперь все пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобретшим сходство с Сережиным:

— Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки подымаются во мне против воли. Угадать или догадаться —- ваше дело. Затем вот что: ожиданье дастся мне нелегко. А теперь довольно, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть вполовину того... Ну что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы все уничтожите... Ну вот, спасибо.

— Вы что-то хотели сказать, — тихо напомнил он ей.

— Да, конечно, — и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайтесь меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте все-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самовнушенье. Заговорите, попробуйте, — положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного над-полья, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношенья. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косой, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловенье знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинутся на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилье и нагнать ушедшее, еще не поздно начать все сызнова и

кончить по-другому, еще все это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил? «Ну, и хорошо. Ну, и допустим», — в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим лихорадочно-машинальным мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношенья. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была прийти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движеньями он забыл, что должен был умыться.

«Ну, и Мария. Ну, и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина». Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещенья, гулкие шаги, незабытые положенья прошлоголета, невывезенные Мариины тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятья, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анну, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. «Ну, и — с провалом. Благодарствуйте, и вас так же. Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти. Ну, и дай ему Бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну, и — без вести, и бесследно. Ну, и допустим. Ну, и прекрасно».

А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Ко-валенке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал ее за границу Бальц, подлец (как это у него внутренне назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что — угадал. У него сжалось сердце.

Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Ан-нин час его могло заинтересовать нечто не Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положи-тельней.

Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положенье. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись.

«Я женюсь, — сообщал он Коваленке, — и мне дозарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах».

И он принялся излагать ее содержание:

«Однажды в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек — охотник запродать себя в полную другому собственность и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто опять от женщин, — в звон, без угадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащаюттерминами

индийского духоведения. В назначенный день, — ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят, — каждый отправляется за город с опаскою, не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на Дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика: наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит... Это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затрудненье с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы? Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну, хоть бы Игреком Третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из "Египетских (даже) ночей" что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность каковой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ним ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. "А теперь, — говорит Игрек Третий, — я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом, читать — готовое, хотя и свое". И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрека Третьего. В отличие от остальных друзей, распростившихся с ним поутру, этот остался при Игреке по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличье от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществленье Игрековой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершеньи сделки, которой сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключенье отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь...»

«Тут начинается дождь», — вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движенья. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна.

Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся марать и перемарывать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общенья восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понят-

ные, придут ему на память, и их предвосхищенье застилало ему зренье слезами, точно оптическими стеклами не по мерке.

Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросши, подобно облаку, за Сережи ной спиной, она, хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на са^ы переулка.

Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движеньям, произведенным Сережей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду, и ее пожизненную неисправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусываньем губ и так же бесшумно.

Отказывать ему не приходилось трудиться. Все произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещень-ями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывавшей тоскою. При одном допущеньи, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же сталось бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок, к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

«...Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускаютлистья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, путаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и еще раньше, чем раздается первый удар грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купо-росно-ладанном пару трепаной рощи, с сильным проступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с 'пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальной) чащей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвенью и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охапками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка знай отвешивает поклоны направо и налево и все что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдает маловера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего спо-

соба чувствованья и запоминанья. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскроить таз фортепьяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это — образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И значит, это — направленья, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде.

Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличье существованья от несуществованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явленья и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений земле?

Все это сплошь и без изъятий — непреложное искусство, все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтенье, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое и не прекращать его, — и все это не то.

И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно неполную и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудою. Все равно, он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтенье, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины, он достается наизадушевнейшему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю. И не сразу, не в этот вечер, отпускает его тот на свободу...»

V

Разумеется, это не подлинник Сережиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упиравшегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттоновна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Сережиной мысли предполагалось, что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив Игрека отдельно и истомив его роскошью ухода, а себя — заботами, богач не вынесет тоски и зайдет к нему в пристройку с просьбою, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А Игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе

беспорядках, начавшихся с буйств в околотке, куда Игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит. Игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновленье, никому не ведомое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...

— Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала. Je l'admets a l'їgard des domestiques, mais qu'en ai-je a penser si...1. Но Боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Постойте минуту, сейчас. Гарри, моментально, моментально в постель! Разотрете его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется; и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

— А что она сделала?

— Наконец-то! Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

— Все-таки, виноват, чем вам не угодила миссис?

— Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели! Ага, так вот оно что. Так, так. Ну хорошо. Да, так, значит, — о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались...

— А миссис Арильд?

— Но это неприлично. Почем я знаю, где ночует миссис Арильд? Suis-je sa confidente?2 Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы все это потом переделаете, и виду не подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Все это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что, где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте

1 Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда... (фр., перевод Б. Пастернака)

2 Разве я поверенная ее тайн? (фр., перевод Б. Пастернака)

я бы опускала абажур чуть пониже. Позвольте, ну, вот хоть так, что ли. Не правда ли, так лучше, как, по-вашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи!

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал поверять ее познанья. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два — Садовую-Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направленья, точно и Аннин выбор был ограничен его памятливостью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представленья о том, где и у кого искать, не было возможности. Другое дело — Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведенью его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось!) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глодать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела.

Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий и все утро, путаное и полное неожиданностей, — в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обедне в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна жительствовать одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрою зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, который поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину: Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалеку. Это была ротационная машина в типографии «Русских ведомостей». Нутро Сережи было все в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущенье, была совершенная буквальность страсти, то есть то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того — загадочными образованьями, не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кругум и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало! Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепью в его кратчайшем и драгоценнейшем извлеченьи, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он не оглядываясь пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих.

Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середке мостовой. Было похоже, будто они говорят шепотом, чтобы не разбудить столицы.

— Я давно слышу, — сказала Анна, — все кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он! Отчего вы не подошли сразу?

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных, плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на Пасху, по коридору в сапогах и шарова-ах, в круглой шапке и со свистком на ремешке катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегченье он поправлял на ходу строгое пенсне. Оно поражало своей мелкотой среди

крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию ил и другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвенья. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Всласть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе Фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношенья пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем — главной ее обязанностью, то и в таком случае ей было от чего прийти в отчаянье в недавней предотъездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, какой содом подымается в хозяйстве с самых спозаранок.

— Шторы, — неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор, — шторы, вот наказанье!

— Чего — шторы?

— Чаво — шторы, рыло! Так им, по-твоему, и висеть?

— А что им сделается?

— А ты их выколачивал?

— Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол!

— Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гуляньи.

«...Но, в конце концов, черте ней. Арильд так Арильд. Жаль, конечно, беднягу: дрянь женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил — и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там... осваивается и привыкает. Ну что тут делать? Рассчитать его?..»

— Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот — о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила — веревкой.

«...Но как его рассчитаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но, позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему можно сказать, что существует новое декадентское выраженье "переживать". Однако и переживать, то есть выставлять свои секреты для внешнего обозренья, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез — головой будет ящики заколачивать; а увы, никак не это требуется в хозяйстве, и не с такою целью держат воспитателя в порядочной семье... И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим, в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была

ужасна... Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется поднять, бедняжек».

Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то и дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разносе, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это Рух-лово: так походили на все слышанное белые проблески барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей. «Дорогие!» — прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.

Итак, вот для какой надобности существует у людей слово «счастье». Хотя и это были одни беседы, и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу... хотя и у них будет другая, полная близость... но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Все на свете понято, больше нечего понимать. Остается жить, то есть рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!

Но какая случайность, что она заговорила о родне! Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но о ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай!). Теперь понятно, откуда у ней такие знанья, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холостее. Все это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у нее было в девичестве, и — прегромкое.

Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало все утро облачному Чернышевскому переулку.

Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купе слезать на следующей остановке.

Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу все неистовей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитою лужей стоял отсвет дворового фонаря. «Зима, — сразу сообразил он, — и это первый сон у Наташи в Усольи». Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробужденья. И — ах! — да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное и такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это — Лемох, но поди доищись в этом смысла. Одно несомненно: надо встать, и аппетиту него волчий, если только он не проспал гостей.

Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших йодоформом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной наотлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как материализовавшаяся на ощупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним

совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались расспросы, отрывистые и деланно простецкие. Сережа стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга.

На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выспавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними по-капельмейстерски высились черные винные бутылки и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступленье ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою.

Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках.

Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещенья ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не завощенные расщеплины, а склеившийся и как бы нафабренный волос. Жаркой желтизною обстановки («Карельская береза, ты что думаешь?» — зачем-то соврал Калягин) было, как лимонною настойкою, налито все, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи чем-то вроде крошечной, полной угольков конфорки, вздутой среди сугробов.

— Ага, подморозило! Очень рад, — сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак.

— М-да, скрепило, — рассеянно промычал зять, протирая платком заантаренные соусами пальцы.

— А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить.

— Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, помилуй, тут, моносказать, человек из самого, моносказать... Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот, я и сам знал, что не слыхал.

Сереже становилось все веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха, румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед Калязина и поздоровался крупно, радостно и почти испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего

Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.

— Брат ваш как?.. — смущенно начал Сережа и запнулся.

— Жив пока, — отвечал Лемох, — ранен в ногу; у меня на поправке. Я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович.

— Представьте себе, — еще растеряннее замямлил Сережа, — может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали — маневры. Виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае, думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ именья, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

— Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

1929

ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Памяти Райнера Мария Рильке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, не-знакомецже говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слыхал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленное™.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловке-Засеке курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего за тем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне, потому что она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас, то же бесконечно важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому воплощенью не поддается. Оно видено в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, детским воображеньем давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее, — Николаю Николаевичу Ге.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругле-нье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся кубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности — лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущеньи, напоминавшем «шестое чувство» Гумилева, десятилетку открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растенья явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоенье душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после

нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движенья в гипсе, горели за рекой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и страхи и смотрит на историю как на рассказ с непрекращающимся продолженьем. Неизвестно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простирались его прогулки. Он весь тонет в предисловиях и введеньях,адля меня жизнь открывалась лишьтам, гдеон склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее члененье истории навязано моему пониманью в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заношу его домой, от него натекает на подоконник. Обо-жанье это бьет меня жесточе и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно — не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет, — этого не описать, — он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Приступают к прощанью. Раздаются пожеланья. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не попадающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем пюпитра еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложенье, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознагради мой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам являлась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отряжала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье,

испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.

3

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообрази-мость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». Как бы мне хотелось теперь заменить это названье, отдающее тугою мыльною оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам. Путь туда лежал разварной мглой, Фур-касовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская била яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремень под тростями концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множащаяся, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью и, вдруг достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль рампы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось вымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии загоралось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отозвалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся

современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унизить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я воспринял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае вырастал в моих глазах до какого-то кощунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выраженье любовь и свои извинения в воображаемой неловкости, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому, по колено в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышколены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волненья глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплоховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого, пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

Первую вещь я играл еще с волнением, вторую — почти справясь с ним, третью — поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом — брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И, опять, предпочтя красноречью факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признанье он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда — хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, — но я уже приступал к тревожному предмету и, перебитый на полуслове, уже глотал

в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..»

Мы прохаживались по залу. Он то клал мне руку на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравненья меня не смущала. Я соглашался, что без-личье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем, как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда, — с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признаньем. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с булыжника единодушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме ра-достнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым событьям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было неспокойно. Но все больше походило на радость сознанье, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всею моею, моей в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеде и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда по ее приеме человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на собрание «Сер-дарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принесть Юлиану Анисимову, читавшему перед тем отличные переводы из Демеля, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «Mir zur Feier»1 очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсырелое сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под тополями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник.

Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на коленках и я, помогая маме в уборке отцовых этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторкан-ная с четырех боков печатная требуха правильными рядами возвращалась на распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и надписанную отцу тою же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы соби-

1 «Мне на праздник» (нем.). 157 рать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принужденью. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед и, таким образом, не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами — в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечу на него ни теоретически, ни в достаточно

общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Кантц. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны, и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровеньем.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивеньи. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету». От других я узнал о существовании Марбурга: Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими впри-кидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагроможденья позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности, плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части существованья. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о ее движущемся целом, как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображенье, как это делает алгебра, стесненная такой же одноплоскостностью в отношении величины. Однако это изображенье всегда казалось мне выходом из затруднения, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду, или, что одно и то же, природу, — чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем повседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова, называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколеньями, рода.

Вот отчего ощущенье города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной прибой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника. Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада и в ожиданьи моего часа усаживались, разложа учебники, мои питомцы-второгодники, ярко накрашенные малоумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора поднимали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленым абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно позируя. Объединяя их в какое-то поселенье, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка нападала именно у основанья этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылала на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоенье.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выраставшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борова и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров Конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого за высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых меб-лирашек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал

талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих званий малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и, в редких ладах с собою, я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке вразнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценок. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятья давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачащали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Не покрытая, против обыкновения, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли вырастала у выхода с какой-то сухою сказкой на чуть шевелящихся губах. Подюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожицей, очертания переулка дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звезды, появленье которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно досужее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали порожние плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако дебелого пара, и что-то неслыханно волнующее угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подочтенный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полутени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности. На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друге другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревенистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознанье. Казалось, что представленье о земле, склоняющее их к ежегодному возвращенью, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже видавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового не-совершеннолетья тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлеченьем, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства. Согласья ради оба направления поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до сознания участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, все более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном. Приверженцы геттингенского гуссерлианства находили поддержку в Шпете. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собранье какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтенье, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызвал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсужденье доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из

Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названья, звали ее все «Cafй grec». Ее не закрывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось странною загадкой. Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружась сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном,

логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок Гегелевой бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения, вот он и соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описанье было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменилась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупою. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петляньи что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Дорогой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале, я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного бренчанья по такой сумме надо было натерпеться немало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными документами унес с Моховой некоторое сокровище. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтению на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, аза границей, если придется, и четвертый класс, поезда последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвованье обязывало к удесятеренной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег, и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал

их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущеньем, что увижу завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полати в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же за дешевое передвиженье приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделенья были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты, и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековье открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читаных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Заляпанное огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов.

Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, нежданно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трельяжа стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая дранка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвенья коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то, внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвидимо-стях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Созданье гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по «Истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основанья и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «из-мов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, то есть к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцати пяти вековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы

авторизованном самой историей, расположении философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, то есть гениально обобщенно, но в то же время и в точных границах здравого правдоподобья. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в ведение археолога или историка костюмов, нравов, литератур, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался да и не взялся бы говорить о ее существе. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, то есть о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознанья.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из лесу, промелькнул средневековым углекопом тысячелетний Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг иных подымались стародавние подробности.

Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся, как в «Страшной мести», и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городках и замках начинала волновать, как ночное небо.

10

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы. Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником» издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Мак-Лоррена перескакивал на Максвелла, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые.

Я стоял, заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я

вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротишь. Над башенными часами праздно стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Было видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносилась с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалденью. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяньями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. Неподвижные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели за чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим самым мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеву ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же нежданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвиженье. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, завороженную на живом слете к смененной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариным.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городком, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой мар-бургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновенья мне воображались Детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глазами, из которых хотелось выпустить немного воздуху, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм.

Однако для данной части Германии этот тип был не характерен. Здесь господствовал другой, среднегерманский, и даже в природу закрадывались первые подозренья о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати перед лицом ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась Barfьsserstrasse. Босомыгами же в средние века звали монахов францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима. Потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Сакса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетьями, а не часами. Зимы, зимы, зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое возникновенье новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь в дали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде Elend, Sorge1 и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякиванье механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупрежденье пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг поезд проносился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны сразу. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На горе по-

1 Горе, забота (нем., перевод Б. Пастернака). 172

оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправлялся в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в Вагнеровых «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы фомкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало преданье, сложенное об этом месте.

Давным-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам спускалось живое историческое лицо — Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что, если ее достигнуть воображеньем, в точке прибытья сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлажденья, по закону побежденной недосягаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизованной спустя три года после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображенья. Трезвый практик видел, что истязанья, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состоянье восхищенья. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушанья, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполненьи своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.

У нас — свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет.

По мере приближенья к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один

из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойств ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетья. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движенье чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г-в и Л-ц и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичанок, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже раздавался знакомый, разгорячен-но певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммле-ра, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образованье, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязив язык в двух обещаньях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существованье, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищенья или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбьем новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мненьи, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятьи бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, ферлякурничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...»1 И это будет значить, что выговор веку сделан, представленье кончилось и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз, за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В-е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические годы дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончанья гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю.

Большинство моих билетов содержало отделы, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расходившимися с моими, потому

1 «Итак, милостивые государи...» (нем., перевод 2>. Пас-тернака) что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положенье. Я ее не замечал. О своем чувстве к В-й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абелярова, чем Эвклидова. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные себе самим, праздно греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихою, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни и обмениваются на весь город громкими замечаньями слова по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкотит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в образе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску до влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображенье и отчего оно мне тут явилось?

Оттого, что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что я любил В-ю.

Оттого, что уже одна заметность настоящего есть будущее, будущее же человека есть любовь.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отношенье кжен-щине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающих самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственно полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Ведекинды, а их руками — сама природа. И только в их взаимопротиворе-чьи — полнота ее замысла.

Основав материю на сопротивленьи и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятье. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготовляет-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображенье!

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображенье, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только почти невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому — растенью. В том, как она затруднила его нам, сказалось ее захватывающе высокое мненье о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущеньем нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополняло.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого матерьяла в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим матерьялом так, что все усилья педагогов, направленные к облегченью естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движенье, приводящее к зачатью, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, — больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек?

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: только образ поспевает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитью.

Только искусство, твердя на протяженьи веков о любви, не поступает в распоряженье инстинкта для пополненья средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развитья, поколенье сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстоянья можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно.

Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я — в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», то есть: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь, сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одною младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то же время держа меня за плечо, чтобы я, чего доброго, не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл об этом, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направ-леньи отходил поутру. Я свободно мог бы дождаться его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции, расшатывающей больную музыку до корня, стем чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегченьи мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте было так же дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецоки-ванье улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянуто тихим броженьем дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я, как саженью, промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положенье моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положенье на ступеньке летевшего поезда и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было уплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружали изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить.

Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движенье. По всем направленьям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вожделенья. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без объясненья понятных притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистей, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверье. И все кругом было до головокруженья надежно, как закон, согласно которому по таким ссудам никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличье от первого, ехал днем, на готовое и — совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал предо мною.

Против меня, задом к цели движенья, куря, качались в ряд: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я

состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждым любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участьем за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица, для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили подробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изученье науки сильнее, чем это требуется предметом. Какое-то растительное мышленье сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятье, безмерно развертываясь в моем толкованьи, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влияньем обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанью, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожженью неперебелен-ной рукописи. Хозяйке было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое появленье налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятья. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое — местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими объявленьями, рукой Когена. Она содержала приглашенье на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор. «Какой нынче день?» — «Суббота». — «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду». — «Но ведь, если не

ошибаюсь, господин тайный советник...». — «Пустяки, успею». — «Но это невозможно. У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попеченьи обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состояньи рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаленья, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разборке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день въезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состояньи трепещущего окочененья поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончаньем трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в благородном заблужденьи.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер своего приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состояньем. Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведенья мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожде-ньи. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объясненьями с В-ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положенье, они сопровождались неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновенье было таким благом, что смывало волной ликованья отчетливую горечь услышанного и не подлежавшего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыханья, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в теченье дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движенье гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так яро ревновал В-ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолженье шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа.

Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми человека приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сраженье, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я назову чувством настоящего.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В срав-неньи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей поверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятьях, на понятьи силы и символа. Я показал бы, что, в отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержанья. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их —тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу — куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещенья. Оно его списывает с натуры. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор годится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменимость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно без-различны. Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознанья долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятью, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явленья.

Прямая речь чувства иносказательна, и ее нечем заменить1.

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописаньем. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в

1 Опасаясь недоразумений, напомню. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполненья, а о смысле его явленья, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе — воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятья, живут познаньем. Но не поддающееся цитированью слово всего искусства состоит в движеньи самого иносказанья, и это слово символически говорит о силе. (Прим. Б. Пастернака.) угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жизни — это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды — как званый вечер, Млечный Путь — как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и матиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что, похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. Я дрожал за целость моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно не мытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый потом этого дурацкого всерaство-ренья, и зашагал по комнате. «Что за свинство! — подумал я. — Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, как он педантичен и строг. «Was ist Apper-zepzion?»1 — спрашивает он у экзаменующегося неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать), — «Nein, das heisst durchfallen, mein Herr» (Нет, это значит провалиться), — раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтенья и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятье требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться и, когда я меньше всего этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?)

1 «Что такое апперцепция»? (нем.) 188

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить, как на пятью пять, — «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало легкое видоизмененье ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что, пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивавшаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраже-нье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины никто не решался. Тогда с движеньем, понятым как, дескать,

выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehrecht, sehr richtig; Sie merken wohl? Ja, ja; ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно; вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступишься ктакому? Что я скажу ему? «Verse?»1 — протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? — «Verse».

9

Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь ал мази ны восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень над ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в часы ученья перед плацем застаивались зеваки — мальчики из

1 «Стихи?» (нем.)

колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утро, и вот перед самым пробужденьем оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, — и необходимый.

Давно замечено, что, как много ни твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатленья не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это — Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридерициан-ском стиле, с шанцами и земляными укрепленьями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а совершалась. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, что-

бы механизм учебного поля пришел в движение и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я —- сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконников возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачешных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденьи, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступленье было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а по причине. И точка. Не по причине того-то и того-то, а понял по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым до-ходят, в отличье от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться — нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же по-ступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основополо-женья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупоривавшейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, — он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не прибавив к насмешливому молчанью упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мненью, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздражение, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажетли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на

пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г-вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось бедствовать всерьез, и как раз в эти периоды он много покатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем, при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряженье.

Он принял живейшее участие в обсужденьи итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г-ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь, с начала и с конца. Найдя в вихре страниц какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменованье чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку — грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено — еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте, — сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. — Вглядимтесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду.

Мы простились, я вышел вслед за Г-вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, — навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г-вым спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора», — сказал Г-в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, — Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не подавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция.

Когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществованья. Когда нас развезло жидкою тундрой и душу обложил затяжной дребезжащий, государственный дождик. Когда вода стала есть кость и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушенью вещей впасть в новое детство, задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полутораэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире вневременный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Г-в», — последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — вневременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитьем Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и — хотя за границей, но все под той же пасмурной войной за освобожденье малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросов-ского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, — и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобная реприза немыслима, я бежал удостовериться, чем она немыслима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится.

Так вот, на такую живую безвыходность, сознанье которой было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.

Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел

Германию до войны и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период Рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временам, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный) и вся поголовно на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь

всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, виднелась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоложенной комнаты, голые ветлы на горизонте — все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

Атеперьо Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак — станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазными яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город щурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes»1, — изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St-Gothard'oM, и — глубокой ночью, говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не

1 «Два франка сорок сантимов» (нем.-фр.). 196 подобало спать, — почти как какое-то «Симон, ты спишь?» — да простится мне. И все же мгновеньями пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сученьими нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микеланджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встряскими и отмашками. Музыку сосали слепни. Вероятно, на ней дёргом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливанье из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпанья не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом, в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытьи в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и подымалось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображенье Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался, и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятья о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi!»1 Но, разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клобучок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по

мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступали такие же дворцы, что и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противобе-режную даль. Вероятно, это была отдыхавшая прислуга палаццо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженая проседь, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидал его лицо. Оно

1 «Турецкий квартал! Немецкий квартал!» (um.)

показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем нэречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе руки вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появленья о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух семенившегося одуванчика и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знако-мости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и переваливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью наидешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопоривавших машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, — «Светлые ночи, — сказал бы я, — крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

«Ну-с, дружище, — громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе, — я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» — не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами a la Radetzki1. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношенье навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.

Поднявшись, как на стременах, из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился во дворик, где протекало наше ознакомление. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположенье, как только вы вошли», — злорадно процедил он, движеньем руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут какие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

1 как у Радецкого (фр.). 201

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил вниманье на странные исчезновенья и возвращения на тарелку ее влажно-розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, беспрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеваньем, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал обер-кельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вмененья, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтенья, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытье не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданья с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни идти на пьяццу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную, площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция — город, обитаемый зданьями — четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, которые были бы естественны при прощаньи с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

16

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколеньями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетья, а невдалеке от площади недвижной корабельной чащей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердаков, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уста-вясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флоттомил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это — значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значен ьи, «pianta leone» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), то есть, иными словами, — Венеция-завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд Гарольде»:

Her very byword sprung from victory,

The «Planterofthe Lion», wich through fire

And blood she bore o'er subject earth and sea1.

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона. Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

1 Даже ее прозвище произошло от победы, — // «Распространительница льва», которого сквозь огонь // И кровь она несла покоренной суше и морю (англ., пе-ревод Б. Пастернака).

Эмблема льва многоразлично фигурировала в Венеции. Так, и опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «Ьосса di leone»1 современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидать самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направленьи, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражаетживописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпач-чио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих

1 «львиная пасть» (um.).

и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполненья. Именно благодаря этой путанице мыслимы недоразуменья, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величья. Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, — львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того чтобы ощутить только это, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто.

Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпенья гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда, в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, — это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному, — как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье с веком Возрождения — явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений», «Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь» с их разнузданно великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и, пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца вываривше еся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки салганы, построили мир, — огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил: «В те

времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми».

Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьяцце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветною мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголо-вый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из Древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщение. Они оборачивались на ходу, точно с тем, чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмлен-ное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе allegro irato странно соответствовала черному дрожанью иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущение, навсегда связавшееся у меня с Венецией. Ночью перед отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться вдаль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездие, со смутно готовым представленьем о нем как о Со-звездьи Гитары.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посередке лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства.

Их только что стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаруживали поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающей неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы

страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведеньи, и одним из них является всякое новое поколенье.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за это сходство, как терпятся портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведеньи образца. Таково было искусство. Каково же было поколенье?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользованье старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаще природа ограничивает властителя тем полнее, что она не парламент и ее ограниченья абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии — и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскальзываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверченья.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объяс-ненья пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному.

Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближенье. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро подымаются Распутины, никогда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольк-лорно понятым народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несуразность, оголяя обреченную природу страшного призванья, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанью.

Когда я возвращался из-за границы, было столетье Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное зданье в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствованья — равнодушием к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское изданье «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в веденьи министерства императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спинке ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей, станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а

вовсе не были тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколенье было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для сужденья обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко времени, выступая со своими первыми заявленьями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объятья первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пережитого со всем волненьем, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влеченье без огня и дара. Новаторы — ничем, кроме выхолощенной ненависти, недвижимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещенья шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движенье называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирика», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явленье многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объясненье. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарожденье «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса.

Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливо. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, — а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, — я не отрываясь наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличье от игры в отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, — улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят видно во весь рост, но то же обстоятельство при появленьи Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явленьи. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, вопло-щенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости без-волье. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не

знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодною водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в.такой страсти, которая внутренне подобна Страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унизительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинно-язык собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались. Бабочки мгновеньями складывались, растворясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидал Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направленью к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состояньи негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом изданьи.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия — одно недоразуменье, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье.было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставал меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыка-нье мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтенье и разбор нетворческих «150 ООО ООО-нов». Потом больше десяти лет протомился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он во весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда в сохраненьи всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержанья, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С зарядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С, семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко на дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в именье. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травою двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я

его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанью. Поезд трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут за руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью проселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с земляками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голоше-нья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще за-косился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и замер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затменье, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х — З. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним) И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. Ктой поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколенья. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и,

при всей неряшливой пошлости, поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколенье выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращеньи от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидал тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на Огненной Земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими патагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И — бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сластями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознаньем, дальше всех зашедший в обнаженьи лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного Всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал

себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.

10

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченое, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М-вой напротив был дом московского полициймейсте-ра. Осенью в теченье нескольких дней меня там сталкивала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствован ьях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движенье столицы скрадывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепониманье покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основаньем. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положенье.

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выраженье совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатленье холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложеньями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его утренними чтеньями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступленьи темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в Доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до Корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, втом числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распо-ряженьи моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки к афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности — аффектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кроме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который

Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и

Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтенье. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритой Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома, ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправданья двух последовательно исчерпавших себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочтя ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 ООО ООО». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в теченье которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего пониманья, по-видимому — непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг по-детски пугались его, как темной комнаты, и ловили руки случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались веритьсвоим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть. Что она похожа на смерть. Что она похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминанья и произведенья, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданью. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведеньи.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнанье. С тех пор утекло много воды. Его признанье вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилье памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волненье. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают на счетах. Его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник по полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравненьи с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровней и правдоподобней.

Но она невероятна и бесподобна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить». «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот? Повесится? Будьте покойны». — «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измеренья правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполненьем, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движеньях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, — это так называемый Божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребованья. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Они идут вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастьи. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все бросились вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагона, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно обираете себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Сил-ловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

И чувствую, «я» для меня мало... —

складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волненья не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Л ил ину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакиванья прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Л иле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив вниманье на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стрясшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячащихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот мало-вероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз выреветься в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. «Молчит! — закричала она того пуще. — Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы.

Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествленьем неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяньей подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первою плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великом, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к нам не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мало, Кто-то из меня вырывается упрямо. Алло!

Кто говорит?! Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен. Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, Ему уже некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в фобу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состояньям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

1931

ЗАПИСКИ ПАТРИКА

1. УЕЗД В ТЫЛУ

Помню вечер, он как сейчас предо мною. Это было на мельнице тестя. Днем я ездил по его делам верхом в город.

Я выехал рано. Тоня с Шурой еще спали, когда я на цыпочках выбрался от них на свет кончавшейся ночи. Кругом по колено в траве и комарином плаче стояли березы, всматриваясь куда-то в одну точку, откуда близилась осень. Я шел в ту же сторону.

Там за оврагом был двор с домом, где мы жили раньше и откуда незадолго перед тем перебрались в лесную сторожку, чтобы освободить место для дачницы. Среди дел, предстоящих мне в городе, должен я был повидать и ее.

На мне были новые, неразношенные сапоги. Когда я нагнулся, чтобы пересунуть пятку в правом по подбору, в высоте надо мной прошумело что-то тяжелое. Я поднял голову. Две белки пулями лупили друг за дружкой сквозь листву. Там и сям оживали деревья, враскачку перебрасывая их с верхушки на верхушку.

Хотя преследование это прерывалось частыми полетами по воздуху, но с такой гладкостью, что оставляло впечатленье какой-то беготни по ровному предрассветному небу. А за оврагом гремел ведром, отпирал ворота конюшни и седлал Сороку работник Демид.

Последний раз я был в городе в середине июля. Прошло три недели, и за это время произошли новые перемены к худшему.

По правде хказать, мне трудно было о них судить. Свою безумную покупку Александр Александрович совершил в самом начале войны. В первый наш приезд из Москвы на мельницу, как здесь по старой памяти звали его лесное приобретение, уральское лицо Юрятина уже было заслонено беженцами, австрийскими военнопленными и множеством военных и штатских из обеих столиц, заброшенных сюда все усложнявшимися нуждами военного времени. Он сам уже ничего не представлял собою и только отражал как в зеркале изменения, происходившие в стране и на фронте.

Волны эвакуации докатывались сюда и раньше. Но когда с железнодорожного переезда за Скобянниками я увидел горы оборудования из Прибалтики, сваленные вдоль путей товарной станции под открытым небом, мне подумалось, что пройдут годы, прежде чем кто-нибудь вспомнит об этих Этнах, Ревель-ских трубопрокатных и Перунах, и что не мы, а именно эти груды ржавчины будут когда-нибудь свидетельствовать, чем все это кончится.

Несмотря на ранний час, присутствие у воинского начальника было в полном разгаре. На дворе старший из толпы татар и вотяков объяснял, что деревня плетет корзинки под сернокислотные бутыли для Объединения Малояшвинскихи Нижне-варынских, работающих на оборону. В таких случаях крестьян по простым заявкам заводов оставляли на месте целыми волостями. Ошибкой этой партии было то, что они сами проявили жизнь и кому-то показались. Их дело затеряли и теперь, тяготясь скучными поисками, гнали на фронт. Хотя в теплом помещении канцелярии признавали их доводы, на дворе их никто не слушал. Мои бумаги оказались в исправности, и статья о килах и грыжах,.по которой гулял Демид, также пока не оспаривалась.

За угол от воинского, на Сенной, против собора, был заезжий двор, куда я поставил Сороку, стеснявшую меня в городе за короткостью его расстояний. Был Успенский пост. Больше года не продавали вина в казенных лавках. Но своей тишиной и мрач-ностью двор выделялся и среди всеобщего потрезвенья. Под широкой его крышей тайно промышляли кумышкою. Если не считать хозяина, здесь было теперь бабье царство. Лошадь приняла одна из его снох.

— Продаваться не надумали? — спросил хозяин откуда-то сверху, высунувшись из окна и подперши голову рукою.

Я не сразу сообразил, к чему относится его вопрос.

— Нет, не собираемся, — ответил я. Очевидно, слухи о наших лесных владениях дошли до города и стали притчей во языцех.

Улица ослепила меня после дворовых потемок. Очутившись на своих ногах после седла, я ощутил наступленье утра как бы вторично. Поздней обычного тащились на рынок возы с капустой и морковью. Дальше Дворянской они не доезжали. Их уже останавливали на каждом шагу как какую-нибудь невидаль и раскупали дорогой. Стоя на телегах, бабы-огородницы, как со всенародного возвышения, клялись угодить каждому, но это не остепеняло толпы, не по-провинциальному шумной и сварливой, которая вокруг них вырастала.

По крашенной под мрамор лестнице в городскую контору Усть-Крымженских заводов я нагнал седобородого юрятинско-го горожанина в сибирке сборами, придававшими его талии сзади что-то бабье. Он медленно взбирался передо мной и, войдя в контору, высморкался в красный платок, надел серебряные очки и принялся разбирать объявления, испещрявшие ближайшую от входа левую стену. Кроме издавна ее покрывавших печатных реклам и проспектов, одноцветных и в краску, на ней

белело несколько столбцов бумажек, исписанных на машинке и от руки, которые и привлекли его внимание.

Здесь были публикации о покупке лесов на корню и в срубе, объявления о торгах для сдачи подрядов на всякого рода перевозки, извещение рабочих и служащих о единовременной прибавке на дороговизну в размере трехмесячного заработка, вызовы ратников ополченья второго разряда в стол личного состава. Висело тут и постановление об отпуске рабочим и служащим продовольственных товаров из заводских лавок в твердой месячной норме, по ценам, близким к довоенным.

— «Муки ржаной сорок пять фунтов, цена за пуд один рубль тридцать пять копеек, масла постного два фунта...» — читал по складам юрятинский мещанин.

Я застал его потом перед одной из конторок, за справками, согласилось ли бы правление рассчитываться по объявленным подрядам не кредитками, а карточными системами — как именно он сказал — вывешенного образца. Долго не могли взять в толк, что ему надо, а когда поняли, то сказали, что тут ему не лабаз. Я не слышал, чем кончилось недоразуменье. Меня отвлек Вяхрищев.

Он торчал в главном зале счетного отдела, разгороженного надвое решеткою со стойками, и, заставляя сторониться молодых людей в развевающихся пиджаках, кидавшихся с ворохами бумаг из дверей кабинета правления, рассказывал всему помещению анекдоты и давился горячим чаем, который стакан за стаканом, ни одного не допивая, брал с подноса у стряпухи, в несколько приемов разносившей его по конторе.

Это был военный из Петербурга, в чине капитана, бритый и саркастический, состоявший приемщиком Главного артиллерийского управления на заводах.

Заводы находились в двадцати пяти верстах к югу от Юряти-на, то есть в противоположную от нас сторону. Это было далекое путешествие, и его приходилось совершать на лошадях. Мы ездили иногда туда в гости, когда за нами посылали, однако это не имеет никакого отношения к Вяхрищеву. Надо рассказать, чем поддерживалось его постоянное остроумие.

Роль его была не из легких. Он был официальным лицом на заводах и жил там на положении гостя в доме для приезжающих, называвшемся приезжею. Кругом были специалисты, выдвинутые на первое место новыми военными требованиями, перед их авторитетом стушевывалось значение властей и владельцев. В большинстве это были люди университетские, по-разному, но все до одного прошедшие школу девятьсот пятого года. Для примера назову главного директора Льва Николаевича Голоменникова, имя которого, ныне покойного, известно по нескольким институтам, которым оно присвоено.

В студенческие годы он принадлежал к той группе российской социал-демократии, которой суждено было сказать миру так много нового. Однако было бы анахронизмом относить это замечание в нынешнем его значении к тем зимним вечеринкам, на которых принимал или появлялся этот высоченный, рано поседевший и слегка насмешливый человек.

Приезжая помещалась на выезде, близ нефтехранилища, вынесенного с заводской территории на пустырь, к реке, и Вях-рищев уверял, что там-то и содержится лабораторный спирт, раствор которого так оживлял эти вечерние собрания. Во всех увеселениях участвовал, разумеется, и он, и когда разговоры при нем немного умеряли не из страха перед его присутствием, а из опасения, как бы его чем-нибудь не обидеть, он, естественно, оскорблялся и, таким образом, нехотя сам способствовал их революционности.

Эту несуразность он отлично сознавал и при случае выражал достаточно ядовито. «Русский военный атташе на Крым-же», — представлялся он, давая понять, что заводы считает самостоятельной державой. Или пускался в перечисление союзников и, дойдя

до Румынии (это было позднее), продолжал: «хлорный, хромпиковый Лев Николаевич Голоменников». И все хохотали.

При виде меня он притворился, будто от неожиданности глотнул кипятку больше нужного, в испуге выкатил глаза, перекрестился и, поставив блюдце со стаканом на край загородки, стал отмахиваться, как от призрака.

— Значит, вы живы? — кончив представленье, затараторил он. — Где же вы пропадали? Что слышно в ваших лесах? Сепаратного еще не заключили?

— Тут сверток для господина Громеко. Не захватите? — спросил вышедший из-за решетки конторщик.

— Как же, конечно. Я за ним. А не тяжело? На себе утащу?

— Для ваших заплечных ремней, пожалуй, тяжеловат. Кулек ощутимый.

— Тогда я часа через два, я сейчас без лошади. Простите, — обратился я к Вяхрищеву, — меня отвлекли. Я к вашим услугам.

Он стал таскать меня из комнаты в комнату, засыпая невозможным вздором и убеждая тотчас же ехать с ним на Крым-жу на какой-то тамошний семейный праздник. По счастью, нам навстречу попался доктор, член юрятинской врачебной управы, выходивший в это время из директорской.

— Вас ли я вижу, дорогой доктор? — воскликнул Вяхрищев.

Фарс начался. Воспользовавшись освобождением, я поспешил в наше отделение Союза земств и городов, ютившееся в одной из квартир того же дома, со стороны Ермаковского сада.

Хотя Союз больше всего был занят задачами снабжения, в которых Александр Александрович не смыслил ни бельмеса, отделение, собственно, было местом его службы. Он состоял при разделе резервов вольным консультантом по молочному скоту и его селекции — специальность, по которой и окончил в свое время Женевский политехникум, и даже с каким-то отличьем. Сам он наведывался в Юрятин не часто и для подачи консультации пользовался представлявшимися оказиями или посылал в отделенье с записками Демида. Делать ему в отделенье было решительно нечего, и он лишь изредка напоминал о себе, чтобы не вышло скандала, то одному сослуживцу, то другому, видоизменяя поводы для живости и правдоподобия.

Сейчас я под самым праздным предлогом должен был повидать одного из основателей отделенья, редактора прогрессивной газеты края, почему-то охотнее принимавшего в земствах и городах, нежели у себя в редакции. Однако оказалось, что он накануне выехал в Москву. Я отправился к Истоминой.

Об этой женщине что-то рассказывали. Она была родом из здешних мест, кажется из Перми, и с какой-то сложной и несчастной судьбою. Ее отец, адвокат с нерусской фамилией Люверс, разорился при падении каких-то акций и застрелился, когда она была еще ребенком. Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. Дети с матерью переехали в Москву. Потом, по выходе замуж, дочь каким-то образом снова очутилась на родине. Ходившие о ней рассказы относились к позднейшему времени и займут нас нескоро.

Хотя преподаватели казенных учебных заведений мобилизации не подлежали, ее муж, физик и математик юрятинской гимназии Владимир Васильевич Истомин, пошел на войну добровольцем. Уже около двух лет о нем не было ни слуху ни духу. Его считали убитым, и жена его то вдруг уверялась в своем неустановленном вдовстве, то в нем сомневалась.

Я взбежал к ней по черной лестнице нового здания гимназии с несколько удлиненными маршами очень тесного и потому казавшегося кривым лестничного колодца. Лестница что-то напоминала.

Чувство той же знакомости охватило меня на пороге учительской квартиры. Дверь в нее была открыта. В передней стояло несколько мест дорожной клади, дожидавшейся обшивки. Из нее виднелся край темной гостиной с пустым и сдвинутым с места книжным шкапом и зеркалом, снятым с подзеркальника. В окнах, вероятно выходивших на север, горела зелень гимназического сада, освещенного сзади. Не по сезону пахло нафталином.

На полу в гостиной хорошенькая девочка лет шести укладывала и стягивала мотком грязной марли свое кукольное хозяйство. Я кашлянул. Она подняла голову. Из дальней комнаты в гостиную выглянула Истомина с охапкой пестрых платков, низ которых она волочила по полу, а верх придерживала подбородком. Она была вызывающе хороша, почти до оскорбительности. Связанность движений очень шла к ней и была, может быть, рассчитанна.

— Вот, наконец решилась, — сказала она, не выпуская из рук охапки. — Долго же я вас водила за нос.

Среди гостиной стояла раскрытая дорожная корзина. Она сбросила в нее платки, отряхнулась, огладилась и подошла ко мне. Мы поздоровались.

— Дача с обстановкой, — напомнил я ей. — На что вам туда мебель? — Основательность ее сборов меня смутила.

— А ведь и в самом деле! — заволновалась она. — Что ж теперь делать? К трем сговорены подводы. Дуня, сколько у вас там на кухонных? Ах, ведь я сама послала в дворницкую. Катя, не мешайся тут, ради Христа.

— Двенадцать, — сказал я. — Надо отказать лишним ломовикам, а одного оставить. У вас еще много времени.

— Ах, да разве в этом дело!

Это было сказано почти с отчаяньем. Я не мог понять, к чему оно относится. Вдруг я стал догадываться. Вероятно, ей отказывают от казенной квартиры и она надеется найти у нас постоянное пристанище. Этим объясняется ее поздний переезд. Надо предупредить ее, что зимы мы проводим в Москве, а дом заколачиваем.

В это время с лестницы донесся гул голосов. Вскоре им наполнилась и прихожая. В дверях гостиной показалась девушка с несколькими связками свежей рогожи и дворнике двумя ящиками, которые он со стуком опустил на пол. Опасаясь новой проволочки, я стал прощаться.

— Так что же, — сказал я, — в добрый час, Евгения Викен-тьевна. До скорого свидания. Дороги просохли, ехать сейчас одно удовольствие.

Выйдя на улицу, я вспомнил, что с постоялого мне не прямо домой, а еще в контору за тючком, отложенным для Александра Александровича. Однако до Сенной я решил зайти пообедать на вокзал, буфет которого славился дешевизной и Добротностью своей кухни.

Дорогой мысли мои вернулись к Истоминой.

До этого разговора я видел ее два или три раза, и во всякую встречу меня преследовало ощущение, будто сверх того я уже ее когда-то видел. Долгое время я считал это ощущение обманчивым и не искал ему объяснения. Сама Истомина ему способствовала. Она должна была что-нибудь напоминать каждому, потому что некоторой неопределенностью манер сама часто походила на воспоминанье.

На вокзале было сущее столпотворенье. Я сразу понял, что уйду несолоно хлебавши. Растекаясь рукавами от билетных касс, толпа уже без промежутков заливала все его залы. Публику в буфете составляли по преимуществу военные. Половине не хватало места за столами, и они толпились вокруг обедающих, прогуливались в проходах, курили, несмотря на развешанные за-прещенья, и сидели на подоконниках. Из-за конца главного стола все порывался вскочить какой-то военный. Товарищи его

удерживали. За общим шумом ничего не было слышно, но, судя по движениям оправдывавшего официанта, на него кричали. Направляясь туда, зал пересекал содержатель буфета, толстяк, раздутый, как казалось, до своих неестественных размеров посудными гулами помещенья и близостью дебаркадера.

На дебаркадер было сунулся я, чтобы, минуя давку, пройти в город путями, но швейцар меня не пустил. Сквозь стекла выхода бросалась в глаза его необычная пустоватость. Стоявшие на нем артельщики смотрели в сторону открытой, в глубь путей отнесенной платформы, служившей продолжением крытых перронов. Туда прошел начальник станции с двумя жандармами. Говорили, что при отправке маршевой роты там недавно произошел какой-то шум, рода которого никто толком не знал.

Обо всем этом вспомнил я в конце обратного пути лесной дорогой через рыньвенскую казенную дачу, где Сорока, точно заразясь моей усталостью, сама, встряхивая головой и поводя боками, пошла шагом.

В этом месте с лесом делалось то же самое, что со мной и с лошадью. Малоезженная дорога пролегала сечею. Она поросла травою. Казалось, ее проложил не человек, но сам лес, подавленный своей необъятностью, расступился здесь по своей воле, чтобы поразмыслить на досуге. Просека казалась его душою.

В ее конце мысом в жердяной изгороди вклинивался белый прямоугольник. Это были ясырские яровые. Немного дальше показывалась бедная деревенька. Обрамлявший ее с горизонта лес смыкался дальше новою стеною. Ясыри с их овсами оставались позади ничтожным островком. Вероятно, как и в соседнем Пятибратском, часть земли крестьяне арендовали у уделов.

Я ехал шагом и, хлопая комаров на руках у себя, на лбу и шее, думал о своих, о жене и сыне, к которым возвращался.

Я думал о них, ловя себя на мысли, что вот я приеду и опять никогда им не узнать, как я думал о них этою дорогой, и будет казаться, будто я люблю их недостаточно, будто так, как хотелось бы им, я люблю что-то другое и отдаленное, что-то подобное одиночеству и шаганью лошади, что-то подобное книге. Но растолковать им, что это-то все и есть они, не будет никаких сил, и их недовольство будет меня мучить.

Поразительно, сколько было на их стороне правды. Все это были знамения времени. Их улавливало бесхитростное чутье близких. Нечто более неведомое и отдаленное, чем все эти при-страстья, уже стояло за лесом и вихрем должно было пронестись по человеческим судьбам. И они угадывали веянье грядущих разлук и перемен.

Что-то странное было в той осени. Будто перед тем, как выпить море и закусить небом, природа вздумала перевести дыханье и его вдруг захватило. Не так куковала кукушка, не так белел и плющился спелый послеобеденный воздух, не так рос и розовел иван-чай. И не так возвращался человек к себе в семью, дороже которой он ничего не знал.

Через некоторое время лес поредел. За неглубоким логом, межевою его границей, куда спускалась и откуда подымалась затем дорога, показался пригорок с несколькими строеньями.

Роща, в которой стояла усадьба, заменяла ей ограду. Она была до того запущена, что могла позавидовать зимним кордонам лесников, попадавшимся в разных концах соседнего леса. Изо всех глупостей, совершенных Александром Александровичем, эта была самая непростительная. Какой-то школьный товарищ, занятый в здешней промышленности, присмотрел для него этот ведьмовской уголок. Александр Александрович не глядя дал письменное согласие на сделку вместо приобретения луговых земель где-нибудь в средней России, где ему с большей пользой пригодились бы

его животноводческие познанья. Но о пользе меньше всего думал этот образованный и тогда еще не старый человек. Он тоже посвящал свои мысли далекому и отвлеченному. Недаром получил я воспитание в его доме наравне с Тонею, его дочкой. Как бы то ни было, становилось не до шуток. Сокровище это надо было как можно скорее продать на дрова, благо был на них спрос. Фабрики переводили с минерального топлива на древесное, в городе больше всего говорили об этом.

При виде флигеля под малиновой крышей Сорока пошла вскачь. С горы я увидел Тоню и Шуру, со смехом бежавших ко мне со стороны оврага. Конюшня так и стояла с утра настежь. Только ступил я на землю, как лошадь, вырвав поводья, ринулась в нее, к корму и отдыху, слишком дразнившим ее глаз и обонянье. Шурка запрыгал и стал хлопать в ладоши, точно это было сделано нарочно для его забавы.

— Пойдем ужинать, — сказала Тоня. — Что это, ты хромаешь?

— Никак на ногу не ступлю, отсидел. Ничего, разомнусь, пройдет.

Из-за угла сарая вышел Демид и, скучливейше поклонившись, пошел расседлывать и убирать Сороку.

— Да, там в ремнях за седлом папе подношенье. Надо отвязать и отнести. Где он, кстати?

— Папа уехал до вторника. Днем были с заводов. Сегодня девятое, там какая-то Марья именинница. А что это такое?

— Продовольственный паек. Если он на Крымже, то тем лучше. Второй получит.

— Ты, кажется, сердишься?

— Суди сама, это начинает входить в систему. Мы не бездельники, не юроды, а папа твой так и попросту отличный человек. Между тем все детство я на хлебах у вас, папа — у своей родни, та — еще на чьих-то, и так далее, и так до бесконечности. Мы могли бы жить не дармоедствуя. Сколько раз предлагал я подсчитать наши знания и способности...

— Ну и что же?

— В том-то и дело, что теперь уже поздно. Это распространилось и стало всеобщим злом. В городе спят и видят, как бы попасть в приписанники к какому-нибудь горшку посытнее. Это возвращенье посессионных времен, знаешь ли ты, что это такое? Каждый, кого ни возьмешь, к чему-нибудь прикреплен и даже не знает, из каких рук в чьи завещан и передоверен. Источник самостоятельного существования утрачен. Согласись, радости в этом мало.

— Ах, как все это старо и надоело! Смотри, что ты делаешь. Это действие твоих монологов.

Мальчик плакал.

После ужина и примирения я ушел на кручу, обрывавшуюся в задней части рощи над рекою. Странно, как я до сих пор ничего не сказал об этом демоне места, упоминаемом в песнях и занесенном на карты любого масштаба.

Это была Рыньва в своих верховьях. Она выходила с севера вся разом как бы в сознаньи своего речного имени и тут же, на выходе, в полуверсте вверх от нашего обрыва, задерживалась в нерешительности, как бы проходя на глаз места, подлежавшие ее занятию. Каждое ее колебание разливалось излучиной. Ее созерцание создавало заводи. Самая широкая была под нами. Здесь ее легко было принять за лесное озеро. На том берегу был другой уезд.

Я лег на траву. Я давно уже лежал, растянувшись в ней, но вместо того чтобы смотреть на реку, шевелил без смысла носами тесных сапог, разглядывая их с высоты подложенного локтя. Чтобы увидеть реку, глаза надо было чуть-чуть приподнять. Я все время собирался это сделать и все откладывал.

Все шло не по-моему, но и не наперекор мне и, следовательно, ни по-какому. Пожеланиям моим не хватало настойчивости. Уступчивость моя была не с добра. Страшно было подумать, от чего только не был я готов отказаться. Без меня родным было бы лучше, я портил им жизнь.

Постепенно мною завладел круг мыслей, привычных в те годы всем людям на свете и разнообразившихся лишь их долею и личным складом да еще отличьями поры, в которую они приходили: тревожных в четырнадцатом году, еще более смутных в пятнадцатом и совершенно беспросветных в том шестнадцатом, осенью которого это происходило.

Мне снова подумалось, что было бы, может быть, лучше, если бы, несмотря на повторные браковки, я все же понюхал военного пороху. Я знал, что сожаленьям этим грош цена, добро бы я что-нибудь для этого делал.

Но прежде я жалел об этом из любви к жизни. Я жалел, что в ней остается пробел, если в памятный для отечества час я не разделю военных подвигов своих ровесников. Теперь я сожалел об этом из отвращенья. Мне было жалко, что неучастие в войне сохраняет мне жизнь, настолько уже на себя не похожую, что с ней хотелось расстаться раньше, чем она сама тебя покинет. А расстаться с нею всего достойнее и с наибольшей пользой можно было на фронте.

Тем временем наш берег покрылся тенью. У противоположного вода лежала куском треснувшего зеркала. Он повторился в ней на лаках зловещей яркости, в духе этой недоброй приметы. Берег был низкий. Отраженья засасывало под травяную бровку луга. Они стягивались и уменьшались.

Скоро солнце закатилось. Оно село за моей спиною. Река запылилась, поросла щетиной, засалилась. Вдруг ее бородавчатая гладь задымилась в нескольких местах сразу, точно ее подожгли сверху и снизу.

В Пятибратском чуть внятно, но с видимой причиной залаяли собаки. Их лай подхватили на ближнем кордоне громко, но без причины. Трава подо мной заметно сырела. В ней лесными ягодами бредовой ясности зажглись первые звезды.

Скоро лай вдали возобновился, но роли в пространстве переменились: теперь с явным поводом лаяли ближние, а дальние только подвывали. С лесной дороги послышался стук колес. Донеслись неровные звуки ровного дорожного разговора. Разговаривающих подбрасывало в тарантасе. Поднявшись с мокрой травы, я пошел встречать нашу дачницу.

2. ПЕРЕД РАЗЛУКОЙ

Не успела переехать Истомина, как промелькнула осень и мы стали собираться в Москву. А тем временем, как в каждом из нас пробуждался столичный житель, сама природа городом обступила нас отовсюду.

Темным утром конца сентября Тоня попросила меня вывесть Шуру на прогулку. Ей самой нездоровилось. Погода показалась мне неподходящей. Не выходила и Катя, каждое утро игравшая с Шурой во дворе. Однако, настаивая на своем,

Тоня уже кутала его и одевала. Взяв его за руку, я вышел с ним в лес.

Тьма и сырость тотчас огласились его разглагольствованиями. Это было щебетанье возраста, щелканье данного вида. Так, как он, рассуждала вся земная тварь, обществом которой, на аршин от земли, он наслаждался.

Вдруг он отбежал и стал звать меня к себе. По траве скакал и обрывался на взлетах галчонок с волочащимся крылом. Он не сразу дался нам в руки. Наконец, сложив ему крылья и выпустив из пригоршни колпачком нахлобученную головку, я с ним поднялся. То показывая его сыну, то поднося к груди, я долго стоял нагнувшись. Глаза мои были прикованы к рукам, а руки заняты колотившимся сквозь пух и перья сердцем. Когда, выпрямившись, я посмотрел кругом, глаз мой не поспел за быстрой

переменой положения. Тогда дружная обособленность лиственного леса в хвойном, главное чудо осени, бросилась мне в глаза чуть ли не впервые.

Расписным и золоченым городом стоял первый во втором, и его улицы, колокольни и кровли дождевым небом облегала черная, дымом ввысь уходившая хвоя. В этом городе все и произошло.

С тех пор прошло двадцать лет. Они падают на революцию, главное происшествие, заслоняющее все остальное. Родилось новое государство, никем не описанное, небывалое. Его родила Россия, та Россия, которую застают и потом покидают мои воспоминания.

Мой сын, физик с будущим, стал человеком в более прямом значении, чем если бы вырос, может быть, при мне. Мужественнее моего справилась со своими испытаниями так долго меня ему заменявшая мать. Жив Александр Александрович, неутомимый шестидесятилетний специалист-генетик. Казалось бы, на их счет я мог бы наконец успокоиться. И, однако, всякий раз, как я ворошу в памяти сцены той осени, я опять надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году, когда еще при жизни их главной виновницы стал впервые записывать эти происшествия.

Для их хода несущественно, в каком порядке они располагались. Внешность Истоминой не давала мне покоя. В этом не было особого дива. Она приглянулась бы всякому. Однако бешенство, называемое увлечением, завладело мною позднее. Сначала я испытал действие других сил.

На пороге третьей военной зимы, неотвратимо бл изившей народное бедствие нашего полного разгрома, Истомина единственная из нас была человеком с откровенно разбитой жизнью. Она всех полнее отвечала моему чувству конца. Не посвященный в подробности ее истории, я в ней угадывал улику времени, человека в неволе, помещенного во всем бессмертии его задатков в грязную клетку каких-то закабаляющих обстоятельств. И прежде всякой тяги к ней самой меня потянуло к ней именно в эту клетку.

Приближался день нашего отъезда, билеты были заказаны. В отличье от прошлых зим, Демид на эту просился к родным в Пятибратское. Учительскую квартиру в Юрятине получило новое лицо. Но не видно было, чтобы эти приготовления чем-нибудь беспокоили Истомину.

— Поговори с ней, — попросил меня Александр Александрович. — Не брать же ее, в самом деле, с собою в Москву.

Я не помню ее ответа, так памятно мне, что его-то я при этих обстоятельствах все равно что не получил ; Может быть, она сказала, что собирается стеречь дачу, если мы ее не гоним, но готовность прозимовать одной с ребенком в оглашаемом волками и заметенном вьюгами лесу — какой же это был ответ? Жаль, что не прибавила она, что одна не останется и защитники у ней найдутся.

Я передал разговор Александру Александровичу и сказал, чтобы они ехали, а я задержусь еще немного на мельнице, чтобы дописать статью об исторических источниках пугачевского преданья, начатую тем летом по его почину; когда же помогу Евгении Викентьевне приискать угол в Юрятине, вернусь домой с готовой статьей — по моим расчетам в ноябре или, во всяком случае, не позже его исхода.

Здесь не было задней мысли. Таковы были мои истинные намерения. Никто в этом не сомневался. Но родные оказались дальновиднее. Они приняли мое решение с большой тревогой, точно знали наперед, что случится, и стали меня от него отговаривать. Разговоры затягивались за полночь, нарушали распорядок дня и оканчивались общими слезами. Но я не сдавался. Отъезд пришлось отложить на несколько дней, после чего его больше не отменяли.

После одного такого разговора с Александром Александровичем я долго не мог уснуть на полу в сторожке, на который перебрался с постели, чтобы не мешать крепко спавшей Тоне напряженностью моего бодрствования.

Весь день недвижный дождь на границе измороси без капанья каплями висел в воздухе. Временами прояснялось. Набрав в жабры облаков, сколько они вмещали свежести и свету, вплавь показывалось небо, низко мчавшееся над двором. Мглу раздирало до ушей. Это длилось мгновенье. Ее концы сходились. Становилось темно, как ночью.

Мы разговаривали у него наверху, над истоминским низом. С некоторого времени упоминанья о ней в ее отсутствие ранили меня, получив ощутимость лишенья. Мне хотелось избежать этой слабости. Мы о ней не заикались.

В этот день она в первый раз топила. У Александра Александровича было жарко и накурено. Все время он то зажигал, то гасил огонь сообразно погоде и всякий раз, прежде чем насадить ламповое стекло на решетчатый кружок горелки, играл им, перекатывая в руке и согревая дыханьем. Но это не облегчало пониманья. У него было установлено, что я охладел к Тоне и недостаточно люблю Шуру, и легче было бы сдвинуть гору, чем переубедить его.

— Я больше не могу, — говорил я. — Тевтоны и проливы у меня вот где сидят. Я чувствую, как дичаю и дурею. Тоня и Шура не видят жизни. Выжиданием мира я развеществляю ее. Вспомните Протасова из «Живого трупа». Мне надо устраниться. Когда родился Шура, я был на его счет спокоен. Как все мне удавалось, какая деятельность рисовалась впереди! Я мог надеяться, что ему будет на кого оглянуться, как мне на вас, хоть вы мне и не отец. Какое детство вы мне обеспечили, какими окружили картинами! Правда, жалко, что я не обучен какому-нибудь ремеслу, но такие сожаленья в России будут раздаваться часто. Образование, направленное на обман, долго будет нашим проклятьем. Но это не ваша вина. Аза воспитанье навек вам спасибо. Нечто подобное хотел я оставить своему ребенку. Но кто мог думать, что на нас надвинется такая небывальщина. Вглядывались ли вы когда-нибудь в Шуру как следует? Чертами лица он в Тоню, а их жизнью и игрою — в меня. Глаза же у него не от нас, это свое, но лучше бы этого не бывало. В них мольба и недетский испуг. Точно это не зрачки, а руки, вытянутые в отвращенье близящегося несчастья. — Я не выдержал и заплакал. — Так смотрят обманутые. Это я обманул его, залучив в жизнь неосуществи-мыми надеждами. — И, окончательно разрыдавшись, я закрыл лицо руками.

Александр Александрович задул лампу. Бледный день, до неузнаваемости обезображенный ненастьем, пробрался в комнату. Александр Александрович шагал по ней и разносил меня на чем свет стоит. Внизу пекли картошку в золе и гремели печной заслонкой.

Вдруг какой-то удар в оконное стекло заставил нас обернуться. По нему, плющимая ветром, серебром* и ртутью разбегалась вода. Два кленовых листа сидели на нем, как приросшие. Мне страшно хотелось, чтобы они отвалились, точно это были не листья, а мое решение зимовать на мельнице, тяготившее меня не меньше близких. Но вода бежмя бежала по стеклу, а листья не трогались, и это меня угнетало.

— Что же вы остановились? — спросил я Александра Александровича. — Вы что-то хотели сказать о моих родителях. Ну да — ссыльный поляк и дочь кантониста... И я потерял их трех лет от роду и слишком поздно узнал по рассказам. Что же дальше? К чему вы их приплели?

— Так как же тебе не стыдно! В кого ты уродился? Уж ежели кому сокрушаться об отечестве, так мне сам Бог велел. Я явленье потомственное, Александр Громеко, член военно-промышленного комитета, ну, не член, черт с тобой, а консультант, и не

комитета — с тобой язык сломаешь, но дело не в этом. Я с верой смотрю на будущее, а тебя пугает приближенье революции.

— Боже мой, Боже мой, что за пошлость! Уши, честное слово, вянут! Смейтесь надо мной, но хоть без подчеркиванья.

— Какой тут смех? Тут, брат, не до шуток. Любопытно, что бы ты мне ответил, если бы это было не в шутку.

— Я бы вам напомнил ваши собственные слова по возвращении от Голоменникова, — помните, вы туда ездили на Марью? Помните, как он вас тогда срезал? Развал армии, понявшей свое поражение, еще не революция — так по крайней мере вы передавали. Волны общественного недовольствия выше, чем в пятом году, но обстановка другая. Дни рабочей группы в военно-промышленном комитете сочтены, и ее не сегоднязавтра арестуют. Если собирание распыленных сил не произойдет раньше, чем разразится ураган, нас может ждать анархия. А это — Голоменников, не мы с вами, человек свой в революции, со связями в Финляндии и петербургском подполье... Да что вы, в самом деле, глазами хлопаете? Ведь я вам повторяю, что сам от вас слышал, если только вы этого не сочинили. Так о какой же вы тогда революции? Да и разве в этом дело?

Разговор замедлился и вернулся к прежней теме. Я напомнил Александру Александровичу сцены детства, проведенного в его доме. Эти сцены и обступили меня ночью. Из-за печной разгородки доносилось бормотанье Шуры. Он смеялся во сне. Рядом раздавалось мерное дыханье Тони.

Я отдался воспоминаниям тем охотнее, что они куда дружнее соединяли меня со спавшими, нежели тогдашняя моя, на смех мне данная свобода. Кое-что я расскажу.

3. НАДМЕННЫЙ НИЩИЙ

Тысяча девятьсот второй или третий год, жаркий день апреля. Видимо, это на Фоминой, перед обычным в Москве майским похолоданием. Кругом простор и широкая слышимость, сменившие долгошумные проводы Пасхи. Небо еще не просохло от целодневного звона, которым его поливали всю Святую.

Мне девять лет — десятый. Уже полчаса как я без дела слоняюсь по 3-му Богоявленскому, заглядывая в его дворы и зазе-ываясь на колокольни. Скоро я тут поселюсь в доме Громеко. Пока же, хотя и частый его посетитель, я переулку еще чужой и плохо знаю эти места.

Какая-то площадь виднеется вдалеке, за дровяным двором, обрывающимся в нижнем конце переулка. Я не знаю, что это Большие Скотники, которые так поразят меня через два или три года, и что из двух домов на площади один, многостекольный и из голого кирпича, — Щепихинские мастерские, а другой, крашенный в охру, — Анилиновая фабрика Анонимного общества. Также не знаю я, что, вопреки настоящему своему названию, красивая церковь с тринадцатью куполами в верхней части переулка зовется Взысканьем погибших, по имени чудотворной иконы, в ней находящейся.

Еще квартирую я у Федора Степановича Остромысленского, дальнего родственника Громеко, их седьмой воды на киселе, которого вслед за всеми зову дядей Федей. Никогда не задумываюсь я над тем, кем он мне приходится. Матрена Ивановна Белестова, дочь псаломщика, молоденькая его сожительница и по этой причине отверженница родной семьи, величает его моим сухотником, то есть человеком, призванным обо мне заботиться. Сколько себя помню, я всегда с ним, хотя и не знаю, как у него очутился.

Сейчас он у Громеко, а меня оставил на улице, чтобы я случился под рукой, когда ему туда понадоблюсь. Я на часах — караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю.

Вчера его письмецом вызвали сюда, и, видимо, неприятным. Его подали вечером, а до этого день прошел по-заведен-ному. После обеда дядя Федя разбирал сломанные кухонные часы. Это была главная его страсть. Их он разобрал на своем веку несчетное множество, но не собрал ни одной пары. Потом, разбранив меня не за тот табак и послав на Сретенку за новым, набивал папиросы. Потом, вспомнив про расшатанные табуретки, со стамеской и рубанком пошел на кухню пристрагивать им новые ножки, но, не закончив дела, только задал хлопот Моте: засыпал стружками белье на гладильной доске и опрокинул на пол жбан с горячим столярным клеем.

Потом присел к окошку с «Единственным и его достоянием» Макса Штирнера, книгой действительно вредной и полной грубых заблуждений, но на которую он стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. Книги, вообще говоря, читал он только затем, чтобы потом их опровергать в моем и Мотином обществе. За чтением имел он привычку напевать что-нибудь вполголоса, а слуху у него не было никакого. Штирнера этого читал он почему-то на мотив: «Среди долины ровныя», прерывая его восклицаньями: «Ах, разбойник! Ну, погоди же, покажу я тебе!»

Тем временем жизнь двора шла своим чередом. Он помещался в одном из переулков между Сретенкой и Цветным бульваром. Цеженьми трелями заливались канарейки у бобыля, промышлявшего ими на Трубе по воскресеньям. Татарам, торговавшим кониной, привозили и выгружали синие конские туши с умными мраморными головами. Кот из конских барышников, недавно выпущенный из тюрьмы, избивал свою мамош-ку, как тут говорили, и она возбудительно визжала, а потом в соблазнительной растерзанное™ вырывалась наружу плакаться встречным и поперечным. Ко всему безучастная и как бы окаменев от запоя, раскорякой стояла старая нищенка близ помойной ямы. Старуха ветошница со щепой в мешке, казавшемся костлявым ее продолженьем, угощала ее козьей ножкой. Обе, жмурясь, затягивались, отхаркивались басом и, сплевывая и почесывая зады, смотрели на круглое небо с круглым солнцем, стоявшим прямо над дворовою дырою.

Письмо подали пред ужином. За рассольником с потрохами и студнем из телячьих ножек дядя Федя жаловался на людскую напраслину, смолоду его преследовавшую.

— Лучше бы вам все-таки куда-нибудь определиться, — робко замечала Мотя. — И самим было бы приятнее, и легче смотреть в глаза людям. При типографии Архива чем была не служба? Ну, о городском училище я не говорю. Обучение детей, видно, не по душе вам, и это правда, хуже нет, когда начальство в букварях ищет смутьянства.

«Чем живет дядя Федя?» — думаю и я, разгуливая по 3-му Богоявленскому. Александр Александрович читает в Петровской академии и пишет руководства по естествознанию, его брат Николай — профессор римского права, его зять Канчугин занимается врачебной практикой. Я перебираю всех, кого знаю, вплоть до знакомых столяров, сапожников и горничных, и прихожу к заключению, что у дяди Феди есть какой-то секрет ни жать, ни сеять и питаться как птицы небесные, если не лучше.

В противоположность нашим краям окрестности четырех Богоявленских полны чистоты и поэзии. В тени без угомону возятся воробьи, булыжины пахнут сковородной пригарью солнцепека. Точно в частом поту свешиваются липовые побеги в крепко, до едкости, пахнущих почках. А в церковном саду у Взысканья погибших тополя уже в молодой листве, точно во всем жары ради смененном летнем.

А внизу еще сыро. Груды белошафранного швырка на дровяном дворе плавают в горячем шоколаде черной слякоти.

Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, белооблач-ный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизне с последними сугробами.

Но теперь тут ни гусей, ни снега. Головастые ветлы над конторой угорают от грачиного крика. По двору дрогливо и рассудительно похаживают куры. Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей. Но вот и сам он, масленоголовый и шелковобородый, — рясофорная, бисерящаяся птица самоварного золота. Видно, опять пора ему раскатить свое «слушай» по всем караульням — так выпрямляется он, точно аршин проглотил, перед тем, как загорланить. Потом давится, как костью, кукареканьем и, обугливаясь жаром пера и хвостом осыпая искры, оправляется от запевки, точно облегчив желудок. Тихо кругом. Жарко.

Но что это? Не сигнал ли мне? Зажмурясь, как перед выстрелом, обеими руками открывает окно гостиной старая гро-мековская девушка Глафира Никитична. Приткнув половинки крючками и сложив руки под передником, она локтями и грудью ложится на подоконник. Перед ней через дорогу три этажа каменного противоположного дома.

— У вас, видать, новенькая, — негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу. — Вы ей прикажите наперед мелом, а то что ж это такое: возит, возит, не отмажется.

Не слышно, что ей отвечают. Из громековского полуподвала выходит обойщик Мухрыгин, личность, прежде времени сморщенная смешливостью и склонностью к душевным угрызениям.

— Вы их послушайте, мадам, — говорит он в ту же сторону. — Подол задирать — все равно крыши не покроешь. А окна мыть — на это самые знающие маляры. Тут не мыло, тут надоть мел.

Обогнув дом, я двором прохожу в него с черного хода.

Тут первым делом попадаю я в обширные сени. В них широкое трехстворчатое окно. Из них поднимается лестница в мезонин.

На дворе перед сенями растет старый трехстволый тополь. Летом, когда он зазеленеет, стекло в окне кажется бутылочным, и все играет пивными зайчиками бурого зноя.

Посмотрев через дверь, я вижу у окна в гостиной Тоню с детским рукодельем. Не глядя на работу, она к чему-то прислушивается.

— Что ты тут делаешь? — спрашиваю я, подойдя к ней. Ничего мне не ответив, она прикладывает палец к губам,

а потом вдруг говорит:

— Ты теперь бедный. Совсем-совсем. Они говорят, он тебя, как кустик, объел. Не спорь, я сама слыхала. Все, говорят, спустил и профарфорил. Тебя отдадут в гимназию. Ты будешь жить у нас.

Дверь из будуара Анны Губертовны, называемого бабушкиной угловушкой, приотворена. Ее за ручку придерживает изнутри дядя Федя. Видимо, он собирается уходить. Но вот он снова ее притворяет, оставив щель. Там дымно и много народу. Но это может быть обман чувств, этому способствует обстановка угловушки.

Там с потолка низвергается целый дождь благозвучных стеклянных подвесок, с бамбуковых жардиньерок спускаются усики вьющихся растений, перед окнами просвечивающие слюдяные картинки на цепочках, а у входа камышовая с бисером занавесь, в струйчатых изломах которой и стоит дядя Федя.

— Главное, он обижается! — голосом тигрицы вырывается из этой тростниковой заросли. — Подумаешь, казанская сирота!

Это голос громековской невестки, запойной кофейницы и любительницы меховых палантинов, бровастой брюнетки. Дяди Феди не слышно, он говорит вполголоса. Вероятно, он предлагает очную со мной ставку. Это вызывает новую бурю негодования. Все говорят разом, нельзя отличить, кто о чем.

— Детей впутывать? — Опомнитесь! — Вы тунеядец! — Недавно у нас в сиротском суде... Мамуриться, брат, можешь, с кем угодно, но дети... — Не ваше дело, Бога вы не боитесь. — Лучше скажите, что вы сделали с закладной? — Браво, Анета. Да, да, ты нам ответь, что ты сделал с закладной. — Наука? — В интересах науки? — Нет, он мертвого рассмешит! — Ну и горе-аптекарь, нечего сказать. — Анисовую настаивать или зверобой... Ха-ха-ха! — И Спаситель наш... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такую покажу тебе паперть — будешь у меня жал обить, как на Хитровке. — Успокойся, Саша, умоляю. Тебе вредно расстраиваться.

Голоса выравниваются. После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной. На семейном совете обсуждают что-то практическое. Дядю Федю просят вглубь, к круглому столу. Частыми вызовами посылают Глашу то за чаем с птифурами, то за чернильным прибором. Она его приносит на подносе, с сургучом и свечкой в подсвечнике. Составляют и подписывают какую-то бумагу.

Мы с Тоней собираемся наверх, в ее детскую, но, как пригвожденные, остаемся на месте. В дверях показывается дядя Федя, долговязая орясина в очках, с отращенными волосами, живая всему на свете укоризна в серых штанах, заправленных в мягкие валенки.

Он нас не видит. Дойдя до середины зала, он с разбегу останавливается. Наклонившись вперед и ладошкой подгребая бороду, он задумывается. Решив оставить последнее слово за собой, он поворачивается назад к будуару.

— Дядя Федя! — окликаем мы его, предупреждая о своем присутствии.

— Зачем вы тут, дети? — говорит он, забыв о данном мне поручении.

Передумав заходить в угловушку, он в рассеянности направляется к выходу, но, вспомнив о нас, возвращается.

— Прощай, Патрикий, — с дрожью в голосе говорит он. — Расти и тут, как рос у меня. Добрые семена, которые я заронил в тебе, не пропадут даром. Малы вы еще понимать, что тут приключилося, в этом женском кабинете. Господь терпел и нам велел. Прощай, Патрик. Прощай, Антонина. И, прошу, не провожайте меня.

На другой день я поселился под одним кровом с Тоней.

Впоследствии, когда наряду с историографией пристрастился я к литературе и призванье столкнуло меня с учением о типах, доверие к теории было у меня в корне отбито воспоминаниями о первом моем покровителе. На своем детском опыте научился я думать, что всякая типичность равносильна неестественности и типами, строго говоря, бывают лишь те, кто в ущерб природе сами в них умышленно лезут. Зачем, думалось мне, тащить типичность на сцену, когда уже и в жизни она театральна? Силу свою дядя Федя полагал в пародии на народника и светлую личность, которую, не имея об этих вещах никакого представления, он из себя корчил.

Свою склонность к отвлеченным существительным среднего рода и неопределенным местоименьям принимал он за философскую жилку. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе и свою ничем не выдающуюся серость считал качеством простого народа.

Как могло родиться такое притязайье? Рядом жил и двигался этот народ, сплошь ремесленник, деталист, знаток чего-нибудь одного, мастер и фанатик частности, дитя страсти и игрушка случая, а он не видел его острой отчетливости, воспринимая в той водянистой и напыщенной общности, которою сам являлся, ничему толком не обученный, приблизительный, никакой всякий.

Прошли годы и не изменили его. Не изменило и несчастье. За него отдувалась Мотя, распродававшая его книги и благодаря каллиграфической руке зарабатывавшая перепиской бумаг и нотариальных актов.

Химик-любитель по Рубакину, кипятил он однажды какую-то смесь. По неизвестной причине пробирку разнесло вдребезги. Мига не прошло, как лицо его превратилось в кровавую кашу. Он ослеп в несказанных мучениях, оба глаза были забиты мельчайшими стеклянными осколками.

В последних классах гимназии занимался я платным репетиторством. Один из уроков давал я на Царицынской. Остро-мысленские после несчастья жили в Хамовниках. У меня был их адрес. Я решил их навестить.

Окна кухоньки, которую они снимали в нежилой, сдававшейся под контору квартире, выходили на улицу. Из них раздавались ровные звуки Мотина голоса. Она вслух что-то читала. По перводвигателю, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель в каком-то допотопном переводе.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение.

— А что тут понимать? Явная галиматья. Автора не трону, имя почтенное, а переводчику не поздоровится. Продолжайте, пожалуйста.

Тут я их окликнул. Оба мне обрадовались и стали звать внутрь. Но у меня было подряд два урока. Я пообещал зайти в Другой раз, а пока, сказал, постою на улице. Так мы и разговаривали.

НекоторЬе время все шло хорошо. Дядя Федя мало изменился. Ранения на лице зажили без следов. Он слегка поседел. Разговор шел в соответствии с теплым уличным воздухом, с нашими местами в кухне и на тротуаре, с разницей нашего возраста.

— Ах, годы, годы, — говорил дядя Федя. — Где же ты столько пропадал. Мотя, обсмотри его со всех сторон и опиши. Важничает? Вырос? Небось важничает, морда лошадиная. А Матрена Ивановна в январе папашу похоронила, ты посочувствуй.

С этой фразы все переменилось. Мне бросилась в глаза Мотина молодость и миловидность. В нее так легко было влюбиться. Не должен был так говорить об ее утрате этот старый дурак, никакая ей не поддержка и горю ее вероятный виновник. Мне стало противно.

— Слухами земля полнится. О пробах пера твоих знаю, — сказал он и заговорил о них подробнее. В принципе он их одобрял, но предостерегал от дурных примеров. Под последними разумел он как раз все то, чему поклонялся я тогда, пред чем благоговел.

В вырезе усов и бороды двигались его губы, самодовольные, как две астраханских виноградины. На них страшно было глядеть, потому что в живом своем блеске производили они впечатление зрячего места на этом гладком лице, затянутом и успокоенном слепотой. Он поучал, наслаждаясь, точно десерт ел, а я вынужденно соглашался, чтобы не огорчать его.

—Хоть на крылечко бы зашел. На минутку, — позвала Мотя, чтобы прекратить мученье моего недобровольного предательства.

Я послушался. Завернув во дворик, я застал ее сидящей на ступеньке с толщеннейшим Священным Писанием на коленях. Мусля палец, она быстро его перелистывала и, не подымая головы, подала мне для пожатия левую руку.

— Вот гляди, Патричок, что покажу тебе. Вот гляди, на что на днях наткнулась. Ах, да куда ж оно занапастилось? Вот. Вот, смотри.

— «И три рода людей, — прочел я в стихе, — возненавидела душа моя: надменного нищего, лживого богача и старика прелюбодея...»

— Надменного нищего, — с торжеством повторила Мотя. — Каково, Патричок? Не в бровь, а в глаз!

4. ТЕТЯ ОЛЯ

У Александра Александровича была сводная сестра Ольга Васильевна, слушательница Высших женских курсов Герье. Это была миловидная блондинка, любившая поговорить и подурачиться, существо компанейское и страшная непоседа.

Она принимала близко к сердцу все частности академической жизни у себя в университете, и значенье, которое она им придавала, часто производило комическое впечатление.

В девятьсот четвертом году, работая одно время в студенческой столовой, она с увлечением рассказывала о борьбе, которая ведется между кассой взаимопомощи и прежним Обществом вспомоществования, которое она призвана заменить.

Александр Александрович не понимал, как можно с таким жаром толковать не о помощи нуждающимся, а о том, где и под каким именем она будет производиться.

— Что ж тут непонятного? — в свою очередь удивлялась Оля. — Общество — учреждение официальное, утвержденное попечительством, а касса — начинание демократическое и, занимаясь текущими нуждами, не будет чуждаться политики.

— Виноват, — поправлялся тогда Александр Александрович. — Я не говорю, что не вижу разницы. Наоборот, она так очевидна, что разговор выеденного яйца не стоит. Ты же рассуждаешь об этом как об историческом событии.

Историческим событием все это потом и стало.

Весь год Оля носилась по студенческим сходкам и не пропустила ни одной демонстрации, с которых иногда влетала к нам со свежими политическими новостями. К весне тысяча девятьсот пятого года она была уже записной и признанной пропагандисткой. Тогда случай свел ее с одним любопытным человеком.

В середине января, вскоре после событий девятого, выступала она на парфюмерной фабрике Дюшателя, где было много работниц. Собрание происходило на фабричном дворе, под открытым небом. Взобравшись на перевернутый ящик, Оля призывала собравшихся примкнуть к забастовке протеста, готовившейся в ответ на происшедшее. Ее слушали с земли и таких же ящиков, во множестве загромождавших вход в экспедицию и браковочную.

Хозяева вызвали казаков. В те месяцы их было не узнать. Булыгинский проект узаконил крамолу. Им все чаще давали отпор на улицах. Казаки стали в отдаленье за воротами фабрики и нагаек в ход не пускали.

Как бы то ни было, собравшимся предложили разойтись, и Оле, которую застали говорящей, грозил неминуемый арест. Тогда, чтобы запутать картину, работницы стали влезать на ящики и перекрикиваться издали и, постепенно окружив Олю, дали ей с ними смешаться. В давке, образовавшейся перед проходною, чьи-то руки накинули на нее тулуп и платок. В тулупе внакидку вместе со всей ватагой Оля вышла со двора и неузнанною прошла мимо казаков. Дальше толпа разбилась, и когда улицы через три Оля вспомнила про платок и тулуп, не у кого было спросить, кому их отдавать.

За ними от Дюшателевой работницы пришел в воскресенье упаковщик той же фабрики Петр Терентьев, рослый малый в ватном пиджаке и высоких сапогах. Он стал у двери и не проронил ни слова, пока Оля суетилась, оправдывалась и увязывала вещи в худую, но чистую простыню.

В марте она его видела два раза на загородных массовках. На первой, где она выступала, они только поздоровались. На второй, по нездоровью отказавшись от слова, она сама попала в его слушательницы, и они потом разговорились.

Массовку устраивали мебельщики со Стромынки при участии соседей, рабочих Ярославской железной дороги. Ни к тем, ни к другим Терентьев не имел никакого отношения. Олю удивило, что все его знают.

Весна только начиналась. По ложбинам кусками черного мела залеживался снег. Сидели на пнях и бревнах недавней лесной валки.

На собрании выступил анархист. Еще раньше Терентьев подсел к Оле. Разложив на коленях газету, он резал хлеб и чистил крутые яйца. Когда заговорил анархист, он стал

сопровождать его речь замечаниями, обнаружившими ум и начитанность. Оля подумала: «Какой же это укладчик?»

Вдруг анархист кончил и все закричали:

— Терентьев! Петька! Валяй анархию по косточкам! — Он не дал себя упрашивать, аккуратно стряхнул с платья яичную скорлупу и крошки ситного, утер рукою рот и, поднявшись, стал возражать предшествующему оратору.

Интеллигенты-общественники любят говорить под народ, что выходит нарочито, даже когда не перевирают поговорок. Подымаясь в общественники, народ потом копирует эту копию, хотя мог бы без чувства фальши пользоваться живущим в нем оригиналом. Так, то вдруг нескладно-книжно, то неумеренно образно, говорил и Терентьев. Но все это было умно и живо.

Пустую вырубку окружали голенастые ели и сосны. За ними лиловела голая, еще только что отзимовавшая чаща. Из нее заплывал паровозный дым и тянул клочьями до самой заставы.

Обратно шли пешком. По Сокольническому шоссе летели вагоны недавно проложенной электрички. Оля что-то сморозила насчет тока и тяги, и Терентьев подивился ее техническому невежеству. Чтобы сгладить неловкость, он сказал:

— Тянет «Коммунистический манифест» почитать, а по истории я ни в зуб. Скоро лето, вам не учиться. Что, если б вместе?

После двух-трех встреч она узнала. Он сын клепальщика Люберецкого депо, чуть ли не с двенадцати лет стал на ноги, одну за другою окончив две школы, городскую и ремесленную; шестнадцати лет поступил на службу мастером на пятнадцатирублевое жалованье; учась на каждом новом месте и чтением пополняя образование, переходил с фабрики на фабрику; рано просветился политически; сидел в частях и высылался по этапу; а главное, как она давно уже подозревала, в парфюмерных упаковщиках скрывался с последнего места, где, кроме сборки дуговых фонарей, был организатором среди товарищей и откуда должен был исчезнуть.

— Вы очень способны, знаете ли вы это? — говорила она ему, когда невзначай он ненадолго заходил к ней, всегда куда-нибудь торопясь.

От хозяйки приносили самовар, и, заварив чай, Оля принималась что-нибудь рассказывать, про что сама узнавала из десятых рук утром или накануне. Про недавно состоявшийся Третий съезд, например, или про то, как относятся к вопросу власти в Лондоне и Женеве. «Мы, социал-демократы, полагаем», — говорила она. Или о тогда еще новом расколе: органы социал-демократии стали органами борьбы против социал-демократии. И на цыпочках подходила к двери проверить, не подслушивают ли. Терентьев выпивал стакан-другой и уходил, поблагодарив за беседу.

Иногда, но это было позднее, летом, дождь или какая-нибудь другая нечаянность задерживали его. Он садился что-нибудь обдумывать и вычерчивать. Идеи механических упрощений занимали его и задачи вроде изобретенья сверла, развертывающего четырехугольные отверстия.

Оля читала что-нибудь вслух, а он сопел, откидывая голову набок, справа и слева осматривая рисунок и насвистывал, и эта работа нисколько не мешала ему следить за Олиным чтением. Комната была в два света, и они отворяли в ней все окна.

В задних, за спинками стульев, виднелся двор, в передних переулок, и трудно было поверить, что и в природе они не разделены так же полно. Но внезапно их объединяла смена тождественного освещения.

Двор и переулок заливало желтым, как сера, светом, признаком кончающегося дождя. Но он возобновлялся, весь в мерцающих струях, точно натянутых на раму ткацкого стана. Желтое освещенье сменялось черным, если такое выражение допустимо, черное — красным. В закате загорался притвор Спаса в Песках и черепные

впадины его звонниц. Заглохший самовар приходилось раздувать. Это почти никогда не удавалось. Его разводили снова.

Подкрадывались сумерки. Оля закрывала книгу. Чай садились пить в надвинувшейся темноте. Только руки, сахарница и что-нибудь из закусок озарялись на минуту красноватым вздохом угольков, падавших в решетку самоварного поддувала. Вдруг занавески или страницы книги приходили в трепещущее движение, легкомысленное и тревожное, как мелькание ночной бабочки. Отблеск уличного фонаря заскакивал на вздрагивающую оконницу, или на глазной белок Терентьева, или на голую кафлю голландки. И тогда неловкое волнение, давно охватывавшее Олю, становилось очевидным.

— Опять гроза от Дорогомилова, — говорила Оля и поднималась, чтобы затворить окна надворного ряда, а когда возвращалась на место, мысли ее получали неожиданное направление.

Ей вспоминалась работница, не пожалевшая для нее платка и тулупа, и все относящееся к этой неведомой женщине начинало необычайно ее занимать. Но что-то не нравилось Те-рентьеву в ее расспросах. «Вдова, трое детей, мал мала меньше, золотое сердце», — почти отмалчивался он, и Оля не знала, чем ей огорчаться: тем ли, что она может причинить огорченье незнакомой женщине, ничего, кроме добра, Оле не сделавшей, или тем, что никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила.

Но это было летом, а друзьями они стали раньше, и раннею еще весной предложил он ей как-то навестить своих. Она стала перелистывать расписание, думая, что он приглашает к старикам в Люберцы. Но свои оказались инструментальной) Казанских железнодорожных мастерских.

На станках рядами притирали какие-то части, и так как гул валов все равно заглушил бы голоса, то Терентьеву только знаками выразили свою радость и неопределенно кивнули Оле. Кто помахал рукой, ладонью разгоняя круглую рукоятку тисков, кто, нагнувшись к соседу, мотнул на вошедших головой и, что-то крича ему в самое ухо и смеясь, почесал бритую морщинистую щеку и стал рыться с выбором в груде железной мелочи, чтобы сменить резец в гнезде или переменить деталь в патроне. С ленивой телесностью, как волос в парикмахерской, на пол падало жирное серебро стальной стружки. Как иные званья объединяет язык и платье, все движенья, вплоть до сверканья зубов и улыбки, подчинялись ходу незримого двигателя, раздувавшего тёщины языки вытянувшихся трансмиссий. Мимо обширного застекления с полопавшимися стеклами, сотрясая полы и своды, пробегали поезда и паровозы. Но свистков не было слышно, лишь видно было, как отрывались от клапанов петушки белого пара и отлетали в пустое послеобеденное небо.

Все же несколько человек терентьевских приятелей вышли в разных местах из рядов. Одни, отлучаясь на короткое время, перевели станки на холостой ход. Другие, имея в виду постоять и поговорить, сняли их с привода.

Части при вращении сплошь казавшиеся круглыми, по его прекращении лишались симметрии. Воображаемые валы и оси, приходя с замедленного бега в состояние покоя, оказывались четырехгранными брусами неправильной формы, с вынутыми шейками и непарными шипами. То же самое делалось с товарищами Терентьева по мере их приближения. Общетипическое отступало перед силою разностей и несходств.

С видом его ровесников, хотя некоторые были вдвое старше, они окружили стол у входа с какими-то наглухо приделанными к доске лекалами и винкелями, на который он сел и, помогши Оле вспрыгнуть, усадил ее рядом.

— Никак престол на парфюмерной, что в прогулочке? — спросили его, здороваясь.

— Н-да, святомученика Дюшателя, — понимающе усмехнулся он и прибавил: — нет. Сами по себе шабашуем, — и рекомендующим округленьем показал на Олю, знакомя.

Все стали здороваться за руку, и, как всегда, рук оказалось больше, чем кажется сразу в толпе. Некоторые знали ее по митингам в Консерватории. Это ей польстило. Посыпались новости. Кто-то сказал:

— Помнишь Назарова?

— Ну как же.

— Попадется — остерегайся. Провокатор.

— Быть не может.

— Будьте покойны.

— Где ж он теперь?

— А мы что — каменные? В февральскую стачку четверых уволили по нашему требованию. Ну, то же и он.

— Видите, как вас ублажают. На задних лапках ходят. А вы не верили.

— Это кто же не верил?

— Да я первый.

— Вот так клюква!

— А ты что думаешь? Бывало, подымаешь вас на шарап, сулишь вам золотые горы, а самого раздумки берут. Быть-то оно, думаешь, будет, да только за тем морем, что хвалилась синица зажечь. А она его, стерва, возьми и зажги. Зажгла. Показали мы им прибавочную стоимость.

Ему стали рассказывать о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы и других улучшениях, достигнутых без него в февральскую стачку.

В разговор давно старался вмешаться темный, как прокуренный мундштук, модельщик с пучками волос в ушах и ноздрях, морщивший лоб с такой натугой, точно весь его надо было упрятать под черные очки. Ввиду неисполнимости намеренья верхняя часть лица выходила у него разочарованно-сердитой, а нижняя, в свисающих усах, удовлетворенно улыбалась. Наконец к нему прислушались.

— Это что! — рванул он и, как клещами гвозди, стал тащить хрипотою погнутые слова со дна самой, казалось, селезенки. —

По свистку в главной конторе курсы Французской революции. Ей-богу, правда, расшиби меня гром. Лектор каждую середу, по казенному найму.

— Правда, правда, — подтвердили остальные.

— А также Соединенные Штаты, — добавил кто-то для точности.

— Это для желающих, — одернули выскочку, чтобы не портил цельности впечатленья.

Слово вернулось к модельщику.

— Пуговкин в ночной смене, — пожалел он. А то б ты послушал, как он солдат перевозил.

— Это какой же Пуговкин?

— Да знаешь ты его. Такой сознательный. Песочная пара.

— Не знаю. При мне не было.

— Выдумывай! Двадцать раз вместе видали. Выговор такой польский: ах, быуа не быуа, песочная пара. Такой аккуратненький.

— Не помню.

— Сижу в бюре, и часы от Буре...

— А, Козодой, что ли?

— Во-во.

— Так бы ты прямо и сказал.

— В феврале дорога нас поддерживала. Он от мастерских прошел в комитет. Пуговкин. Да, да, Пуговкин — ты не мешай. Приходит на линию военный эшелон, возвращающийся с Дальнего Востока. С направленьем на брестскую ветку. Но, как сказано, состав ни тпру ни ну. Забастовка. В один прекрасный день отворяется дверь в комитет и входит сам начальник тракции фон Дебервиц-Свистелкин. Мать честная, те так и ахнули! Ты, конечно, имеешь понятье про эту селедочную потроху, какой это фурор и язва здешних мест. И, можете себе представить, прямо к Пуговкину; просит, чтобы он позволил передать эшелон на ветку. «Господа члены стачечного комитета, говорит, прошу, говорит, вашего разрешения передать эшелон на ветку». И чуть не плачет. А в комитете виднейшие теоретики сидели. Вот и делают виднейшие теоретики Пуговкину указания бровями и глазами. «Ступайте, говорят, товарищ Пуговкин, на паровоз, как бы с машинистом не получилось недоразуменья». А эти брови и глаза он так понял, что сам, дескать, не промах, срывай, как говорится, цветы, пока горячо, и, как сказать, лови момент. То есть чтоб он их разагитировал. И действительно, что он и сделал.

Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему. «Что малые дети, — думал он. — Напроказили и радуются. А что дальше, об том никто и не думает».

— Ну а ты как? — спросили его.

Вместо ответа он выпрямился и, закинув руки за голову, потянулся.

Он сказал, что как это все ни распрекрасно, но далеко еще не все. Надо вперед смотреть. Даже когда и форма правления полетит в тартарары, это будет с полдела, пока мы сами не переменимся. Самим надо по-другому жить, повторил он, ничего не объяснив. Вот они кое-чего добились, а о том не подумали, что на то и перемены, чтобы их обживать по-новому. И опять все осталось в неясности.

Тут была какая-то важная для него идея. Ближе определить ее он не мог и про себя решил, что надо будет насчет этого справиться в местах распорядительной мысли, где это должны знать лучше. Таких мест тогда было два: окружной и городской комитеты. В окружном он никого не знал, а в городском у него были знакомые. Как бы то ни было, в мастерских о таких вещах и не задумывались, и, следовательно, как ни смутны были его собственные догадки, во вразумители сюда он еще годился. И тогда он вспомнил, зачем, собственно, пришел сюда. Он сказал, что собирается вернуться в мастерские. Время стало легче, прятаться больше нечего. На днях он потребует расчета у Дюшателя и попробует устроиться у них. Есть у него, кроме того, одна вещичка, которую надо будет у них выточить и потом испытать.

— Пойдемте, Левицкая, — сказал он, спрыгнув со стола, и стал прощаться с товарищами, а когда вышел с нею за двери, предложил: — Хочешь в Сокольники?

5. НОЧЬ В ДЕКАБРЕ

Осенью в гимназии, где я учился, произошли беспорядки. В младших классах они выразились в глупейших безобразиях, в старших сомкнулись со студенческим движением, полным смысла и мужества. Мы забастовали.

Я жил в семье либеральной, а то как бы очутился я в ней, безымянный отпрыск осужденных политических. Не ругать правительство считалось у нас дурным тоном. Да и как было его не осуждать.

Из многочисленной громековской родни были взяты на Дальний Восток кто военным врачом, кто инженером запаса. Но и без того о войне нельзя было забыть ни на минуту. В отличье от предшественников, царствование любило шум. Оно не только обманывало народ, но всеми видами слова ежедневно ему об этом обмане напоминало.

Нас били — оно выдавало это за победы. Мы шли на постыднейшую капитуляцию — оно и этот позор ухитрялось обернуть в какой-то трофей. Обнародовался манифест

о свободах, которыми пользуется все образованное человечество, — но каким-то образом обстоятельство это ничего в наших порядках не изменяло.

Александр Александрович швырял газету на стол и в раздражении шагал по комнате. Потом надевал медвежью шубу и, зайдя к Анне Губертовне, отводил у ней душу, после чего, нахлобучив шапку и сунув ноги в глубокие ботики, летел на извозчичьих санках к какому-нибудь из университетских товарищей и жертвовал на организации.

В октябре после университетской осады нас посетила полиция. Сразу подумали, что разыскивают Ольгу Васильевну. Тогда Александру Александровичу было бы несдобровать. Но произошло недоразумение. Требовался некто Фалетеров, которого никто у нас не знал. Помощник пристава преобразился, установив ошибку, и изогнулся надвое, устремившись к выходу, точно дверная притолка опустилась и ему предстояло лезть от нас как из погреба. «Ничего, помилуйте, пустяки», — говорил Александр Александрович, а он все рассыпался в извинениях, прикладывал руку к козырьку и, изящно оступаясь, стучал кожаными калошами с медными подшпорниками.

После этого Ольга Васильевна перестала бывать у нас. Но этот визит имел еще другие последствия.

В сени к нам пришел с повинною пьяный обойщик Мух-рыгин и покаялся в совершенном на нас ложном обносе.

Если бы о деле надо было догадываться по собственным показаниям обойщика, толку добились бы не скоро. Но оно было наполовину известно. Появлению Мухрыгина предшествовали пересуды нашего дворника с соседскими, перешепты-ванья Глафиры Никитичны с Анной Губертовной.

Мухрыгин сложил об Александре Александровиче кудрявую сказку, будто тот по подписному листу набирает охотников в жидовскую веру, сам подписался первым и даже его подбивал. Это была его основная мысль. Он ее на разные лады варьировал.

С ним на правах кума был соседский дворник. Сопровождение провинившихся было второй его природой. Забывая о кумовстве, он ни в чем обойщику не давал потачки. Усы в сосульках придавали ему вид блюстительный и свирепый.

Почему-то все мы оказались при этом в сборе. Анна Губер-товна с утра просила мужа обойтись с обойщиком гуманно, дабы не сталкивать его с доброго пути, на который он вступил. Александр Александрович с трудом себя пересиливал.

— Отчего огня не зажигают? Лампу заправили? — спрашивал он. — Тогда пора зажигать. Да и что его слушать? Гнать в шею, и кончено. Я тебя, милочка, не понимаю.

Но Анна Губертовна делала ему знаки глазами. Александр Александрович пожимал плечами и, засунув руки в карманы, зевал и переминался с ноги на ногу. В сенях было холодно. Он скучал и зябнул.

Мухрыгин не сразу овладел речью. Он долго плакал, неутешно болтая поникшей головой. Несвязные восклицания душили его. Им в подкрепленье собирал он пальцы в триперстие и, задерживая руку на подъеме, медленно осенял себя широким крестом. Потом, распустив щепоть, вытягивал руку вперед и плавательными движениями разгребал перед собою воздух в поисках слова. Он не раз рухнул бы лицом наземь, если бы плечо не ныло у него в плоской клешне Дворниковой рукавицы. Это раздражало его.

— Да что ты, шут гороховый, меня держишь? — возмущался он. — Кто ты есть такой, воротная петля, так меня держать? Я у их квартирующий в обоюдном согласье, а твое дело скребок да метла. Дозвольте, барин дорогой, слово сказать. Вы не то глядите, что я, как говорится, пьян, а глядите, об чем я плачу и убиваюсь. Слова нет, может, я действительно не в своем виде, ну я весь перед вами как на ладони, ваша воля казнить, ваша миловать, и притом не в буйном хмелю. Матушка барыня Анна

Кувертовна, детки дорогие, надоть глядеть, откедова у человека слезы, верно я говорю? Какой, может, о душе, а какой об за-кащицком кредите, это надоть понимать. Теперь, к примеру, может, которому вашему знакомому гарнитур перетянуть или, скажем, новый лак и чтобы человек знающий и, главная вещь, с рекомендацией. Так ведь у вас в настоящее время на мою фамилию и язык не повернется, видите, какой грех. И как такое попритчилось, ума не приложу. Люди ведь, не кто-нибудь, коренные домовладельцы, своя косточка, а вот поди ж ты, на таких людей да вдруг такую канифоль.

— Что ж ты там все-таки сказал? — хмурясь, перебивал Александр Александрович.

— И не говорите, грех поминать. Тут и ночи курляндские, и пятьдесят два разбойника, и под Кремль подкоп.

— Как это пятьдесят два? Не много ли сразу?

— А ето карты-с, ежели вы насчет разбойников. Обнако-венный ночной картеж.

— Ну и враль же ты, сукин сын! Карты он у нас видал, как это тебе, Анна, нравится? Ну да черт с тобой. Кремлю поверили, вот ты мне что скажи?

— А кто ж, ваша милость, такой околесной станет верить? Из Сущева, сами знаете, крюк немалый. Диви б какой антирес, а то какой вам расчет копать?

— Так какого ж черта ты все это молол? — Терпенье Александра Александровича истощалось. — Вот что, — сказал он. — За тебя барыня просила. А то б ты мне за клевету ответил. На этот раз ступай. Но вперед смотри. Таких квартирантов мне не надо.

В тот же день проводили мы вечер у Тониных двоюродных сестер. Все взрослые были в отлучке. Мы играли во мнения. Когда пришла моя очередь выйти из круга, меня вывели через две комнаты в третью дожидаться обратного вызова.

Это была гостиная. В ней горела одна стенная лампа в круглом абажуре. Тусклое сиянье кое-как добиралось до первого блестящего предмета, которому можно было бы сдать это трудное ночное дежурство. Ближайшим был ящик аквариума. Листья водорослей перехватывали луч-другой сквозь стекло и воду.

Мне не игралось. Я из этих глупостей вырос. Меня не занимало, что наврут обо мне братья Лунцы или сестры Ярыго, но, подумав о Тоне, я вдруг почувствовал, что огорчусь, если и в шутку она отзовется обо мне обидно. Этой чувствительности я раньше за собой не знал. «Да еще и этот Мухрыгин...» — ни к селу ни к городу подумал я.

Сцена во всех нас оставила неловкий осадок. Я смутно чувствовал, что надо что-то поправить не в обойной под нами, а во всем свете, но что именно и каким способом, не пытался и думать, такая томительная неразрешимость исходила от вопроса. Что ж это они? — удивился я. Неужто не готовы? Ну и наслушаюсь!

По переулку со жмущим капустным скрипом прошел пешеход. Видно, сильно подморозило. В два яруса сразу, по земле и небу, пронеслась карета. С занавеси на занавесь поплыли безногие блики. Рыбки в аквариуме вспомнили, что они живые, и, какая зеркальцем, какая медной денежкой, обошли грот с фонтанчиком, распылив несколько капель огня этой части гостиной.

В комнату влетела младшая из сестер, хохотушка Нонна.

— Он подслушивает! — крикнула она в глубь темной анфилады. — Надо переиграть. — И с хохотом убежала, затворив за собой дверь и задернув портьеру.

На рояль падал свет уличного фонаря, горевшего через дорогу. Он стоял у садового забора. Над рожком свешивалось несколько сучьев. Они бросали на окно, покрытое зернистой мутью мороза, серые тени в бревно толщиной.

Вдруг низ дома огласился шагами и звуками. «Неужели сами? — подумал я. — Здорово ж тогда мы засиделись у дочек!» Но это была бабушка девочек, старуха Харлушкина.

Только она появилась, как пустой дом населился по всем направлениям голосами и изъявлениями задушевности. Медленно следуя через их ряды и делясь с ними какою-то очередною радостью, она вплыла в гостиную с туго замотанной в шаль головой. От нее пахло миндальным мылом. Она как-то вкусно отдувалась. Я сразу понял, что она из бани.

— С легким паром, Нимфодора Пеоновна, — сказал я ей, подходя к ручке из своего прикрытия, и густо покраснел, так это глупо получилось.

— Ну тебя совсем, как напугал! — сказала она, тряхнув пухлою ладошкой в перчатке, и продолжала: — А я правда из маскарада. Ну, спасибо. Это что, что с легким, ты скажи — с последним. Во всем мне счастье, на все легкая рука. Еду, ничего не знаю, приезжаю — и что же? Завтра не топят, понедельник — трудный день, а во вторник станут бани, забастовка. Я последний пар захватила, честное слово! Что же ты стала как пень, неси в спальню, — сказала она молодой горничной с такою же закутанной в платок головою, которая вошла в гостиную с саквояжем в одной руке и пустым тазом с мочалкою под другой. — Что на свете творится, баррикады, как в Париже, ты подумай! А я с мыльным подарком и на санях прокатилась. Эх, сбавить бы мне десяток-полтора, я двух не требую, — я б вам показала. Все мать твою вспоминаю, покойницу. Немного не дожила, порадовалась бы бедняжка. Правда восторжествовала, ты вникни. Это, брат, знаешь ли, не шутка. А вы у вертихвосток наших? Ну ладно. Спущусь потом, или сам ко мне подымись, небось знаешь дорогу.

Этим намекала она на частые мои посещения всякий раз, как мы бывали у девочек. Только ради нее и ходил я сюда. Слушать ее было истинное удовольствие. Выставляя вперед подбородок, она говорила нараспев и несколько в нос, растягивая слова, с чуть замедленными придыханьями и столь же мало заметными ускореньями. При круглоте и дородности была она неподражаемая умница и, что называется, шило, то есть, видя всякую вещь насквозь, сверлом входила в ее обсужденье, сверлом выходя наружу. И не удивительно, что считали ее близкой приятельницей старика Лужницына, всей Москве известного хранителя одного из музеев, а также радикала из славянофилов Татьбищина, в свою очередь друживших с Федоровым, Толстым и Соловьевым.

Но не всегда бывала она в таком ударе, как сейчас, когда ее обуревала банная удаль. Любила она и поплакать.

Тогда, откинувшись в кресло и подперши голову рукою, вдруг переходила она со мной на «вы», точно чтя во мне какое-то воспоминанье. Щурясь от приятности, она медленно, с грудными скрипами говорила:

— Ах, Патрик, ваша мать была такая милочка. Она бесподобно пела, ее знали братья Рубинштейны. А Соня, Софья Григорьевна, та просто в ней души не чаяла. Вы скажите вашему Громеке (все второе поколенье она презирала, терпя лишь третье, внучатное) — пусть вас когда-нибудь к ней сводят. Перемрет наша гвардия, тогда хватитесь. А главное — это был человек не от мира сего.

При этих словах Нимфодора Пеоновна изящно, углышком платка, точно извлекая из глаз соринку или мушку, утирала слезы, а потом с кряхтеньем, утвердясь на ручках кресел, из них поднималась. Достав из комода пачку шелковистых, как карты, фотографий на скользком картоне, она мне их совала, забывая, что мамы среди них не будет, потому что, как сама она мне раз поведала, мама не любила сниматься. Но между этими мужчинами в форме и штатском и красивыми и некрасивыми женщинами были две молочно-сиреневых выцветших карточки, на которых снят был в молодости мой отец.

Глядя на это лицо, полное силы и представительности и в доверчивости как бы готовое улыбнуться, я заключал, что, значит, я целиком в маму, потому что ничего своего я в этих приятных чертах не находил.

— Если бы не этот человек, — продолжала Нимфодора Пеоновна, снова опустившись в кресло, — она бы никогда своего таланта в землю не зарыла. Но она была человек не от мира сего. И у нее были более высокие цели.

И тут в очень общих выражениях, рисовавших мамино самопожертвованье, Нимфодора Пеоновна подводила разговор к концу и убирала фотографии, и мама моя, молодая моя мамочка кончалась на моих глазах, не успев родиться, потому что далее следовала история освободительного движения в России, в которой Нимфодора Пеоновна не была сильна.

Отчего так скудны были эти сведения? Это не было случайное забвение. Его обидную дымку я обязательно бы отличил и ни с чем на свете не спутал. Но нет, этой неизвестности не хотелось трогать. На ней лежала печать безмятежности и удовлетворенья. Очевидно, она была добровольна. Покойная сама хотела остаться в тени и сумела этого добиться. Откуда же могло явиться такое желанье?

Не может быть, чтобы она стыдилась своего происхождения. Я этой мысли не допускал. Это слишком расходилось с ее нравственным обликом. С этим не мирились мои чувства.

Вероятно, это был ревнивый характер с повышенными представлениями о душевной красоте и долге, все с меньшим удовлетворением меривший ими свою жизнь. К поре, когда человек начинает управляться привычками и дает санкцию всему, что не в его власти, она попущенью предпочла одиночество.

Неизвестно, как это внешне у ней проявилось, но утверждающего одобренья прожитому она не дала: след невольной к нему причастности стерла и на память о себе ничего не оставила, кроме меня, единственного и прямого своего продолженья...

Предсказанья Харлушкиной оправдались. В ту же ночь артиллерия осадила училище Фидлера на Чистых прудах. Драгуны обстреляли мирную толпу на Тверской. В наших местах и по соседству стали строить баррикады.

Улицы опустели. На них было небезопасно соваться. Бледные ряды зданий в крышах, подъездах и чердаках стояли как отсутствующие, точно пространство отступилось от них и повернулось к ним спиною.

Что делалось при этом с воздухом! Это заслуживает особого описания. Весь он, с земли до неба, был приобщен к восстанью и весь, морозный, высокий и безлюдный, вертелся и гудел, как медный волчок, до смерти закруженный выстрелами и взрывами. Они уже не воспринимались раздельно. Оглушенное небо было сплошь пропитано их колебаньем. Слуха достигало другое. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье...

Пулей пробило форточку в домашней лаборатории Александра Александровича. Пройдя сквозь стену, она сколупнула кусок штукатурки с потолка в его кабинете. Нас держали взаперти и экономили керосин и дрова, потому что их не запасли и они были на исходе. В эти дни случилось несчастье с Анной Губертовной.

В ноябре, между обеими забастовками, любитель старины Александр Александрович купил где-то по случаю чудовищных размеров гардероб, величиной с екатерининскую выездную колымагу. Человек в пальто, доставивший эту вещь на ломовике, внес ее по частям в зал. Возник вопрос, где ее собирать и ставить. Анна Губертовна была в отчаянье от покупки. Комнаты ломились от мебели. В них негде было повернуться.

Дело было к ночи. Ломовик просил отпустить его. Человеку в пальто не хотелось возвращаться пешком по морозу. Он не торопил Анну Губертовну, но и не снимал пальто. Это ее нервировало.

Второпях, за невозможностью выбрать место получше, решили гардероб временно оставить в зале как самой просторной комнате дома, где он и был в пять минут без шума собран искусником в пальто, который безмолвно затем откланялся, как артист, исполнивший на большом вечере свой коротенький номер. «Смерть это моя, а не шкап», — вздыхала Анна Губертовна, когда проходила мимо него из своей угловушки. Он мозолил всем глаза. Я тоже его возненавидел.

Одиннадцатого вечером, доставая с пыльного его верха какой-то узел с теплыми вещами, Анна Губертовна ступила в темноте на борт выдвинутого ящика, ухватилась за край развертки и, потеряв равновесие, упала, усложнив падение тем, что, балансируя, повернулась вперед всем корпусом. Она так больно расшибла коленку, что в первые минуты лишилась сознанья.

Двенадцатого в перестрелке наступило затишье. Пользуясь им, в ближайшей окрестности разыскали и с трудом уговорили прийти врача не по специальности. Хотя он и не установил перелома, но допускал возможность костной трещины и велел прикладывать лед.

С этой вылазки Глафира Никитична явилась победительницей, полная гордого достоинства. Все ее расспрашивали о виденном, но ровням она отвечала неохотно, а в спальне рассказала, что Скотники и прилегающие переулки перегорожены пустыми баррикатами. Народ с них ушел и засел в Верхнем Ко-пытниковском, но к ночи фабричные беспременно спустятся и устроят отраженье на площади.

Александр Александрович посылал ее за льдом и просил не утомлять больной таким вздором, потому что члены боевых дружин не такие дураки, чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду сверху. Глаша обижалась и надувала губы. Нас на несколько минут выпустили во двор.

Состояние, царившее на нем, в обычное время называется тишиной. Однако в те минуты оно казалось лишенным имени и необъяснимым. Воздух, который столько дней подряд дырявили плеточные щелчки выстрелов, поражал нетронутостью и благодаря заре и сумеркам был румян и гладок, как кожа у девушки.

В этой тишине и раздался вдруг негромкий разговор, слышный от слова до слова. Ерофей, старый наш дворник, завел его, может быть, нарочно для нас. Он беседовал с Мухрыгиным за углом дома, в воротном проходе. Край стены скрывал их от нас.

— В Троицу веровать не диво, — говорил Ерофей, — так уж люди родятся. Да ино вещь делом, ино языком. Эли запущать поглыбже, так сейчас встрелись, семик и антисемик, какие за весну народного ослобождения, а какому наплевать. И верно про тебя господа сказали — антисемик, как ты хоша и богомольный, ну выходишь супротивник семика. Жисти ты настоящей не знаешь, живешь без проветру в каменном помещенье, как мокрая склизь или какая-нибудь древесная губа, и тута и кашель твой, и табак, и запой, а дворник завсегда находящий на вольном воздухе, и от этого польза уму и грудям.

Среди ночи я проснулся.

— Вставай, мы горим! — кричала в дверь Тоня, одеваясь.

— Тише, дом подымешь. Это костры. У нас отходники качают. Слышишь, какая вонь?

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся.

Весь дом был на ногах. Внизу хлопали дверьми. Стрельба в городе возобновилась с неиспытанной силой. Верно, это были пушки. Тоня, растолкавшая меня на этот раз, стояла надо мной одевшись.

— Выйди на минуту, — сказал я ей.

Накинув одеяло, я вскочил на подоконник и распахнул форточку. Меня обдало прежним зловоньем, но раз ощутив его, я больше не стал его слышать. Его очистила дикая тревога, исходившая от зрелища.

Небо лопалось и дышало огнем и гулом орудий. Его опоясывали зарева нескольких пожаров. Один полыхал где-то поблизости. Неразличимые голоса сталкивались в темноте, бежали друг за другом, друг друга обгоняя. Кто-то кого-то звал, куда-то посылал, что-то приказывал. Срывая дома с оснований, по переулку проскакала кавалерия. Языки пламени дернулись в ту сторону. Все смолкло.

Я не заметил, как оделся. Вверх по лестнице гремели шаги Александра Александровича. С никогда не слыханной зычностью он звал нас вниз со средней площадки.

Услышав наш ответ и еще раз в нем уверясь, он с грохотом сбежал с лестницы.

Мы собрались в столовой все в верхнем, чтобы быть наготове, если придется идти из дому. Суконные гардины на окнах задернули за полу, свечку на обеденном столе заставили стойком поставленной книгой.

Анна Губертовна в накинутой на плече ротонде лежала на диване, закатив по своей привычке глаза под опущенные веки. Из-под ресниц просвечивали полоски белков. Тоня бросилась целовать ее. Покусывая губы, она высвободила руку из ротонды и, кривясь от слез, стала с прерывистым шепотом крестить себя, и дочку, и стены собравшей нас столовой.

Вдруг в дверь заглянул бледный как смерть Ерофей и позвал Александра Александровича. Оба были слишком озабоченны, чтобы заниматься мною. Пользуясь замешательством, я выбежал за ними.

Каждое утро выходил я отсюда при огне, на исходе синей зимней ночи. По гимназической привычке показалось мне, что светает. С улицы стучали в ворота. Они трещали. Их высаживали силой.

— Сбегать бы на парадное, посмотреть — кто, отпирать ли. Не успел Александр Александрович договорить, как во двор

вбежало человек пять-шесть вооруженных, кто в ватном пальто, кто в полушубке.

— Кто хозяин? — спросила порт-артурская косматая папаха.

— Я, — отвечал Александр Александрович.

— Можно спрятаться?

— О, конечно! Прячьтесь, господа. Можно в сарай. Можно в дом. Ерофей, ключи! Впрочем, уж не знаю, как... В доме больные...

Дружинники переглянулись. Десятник в папахе, а за ним и другие стали осматриваться.

— Что за забором? — спросил десятник.

— Глухой соседский сад.

— А сзади?

— Пустырь со свалками.

— А дальше?

— Система переулков с выходом на Долгоруковскую.

— Прятаться не будем? — полувопросом, полуутвердительно предложил старший.

— Нет, — отвечали остальные. — Двор невелик и стоять не велит.

Все рассмеялись.

— Правильно. Айда, товарищи, — сказал старший, и все бросились к забору.

—Лестницу, Ерофей! — крикнул Александр Александрович. Но все до одного были по ту сторону. Прошло несколько минут.

— А мороз-то злющий, — сказал Александр Александрович и зевнул.

— Как есть злющий. Так точно.

— Ты, Ерофей, смотри. Длинный у тебя язык.

— Что вы? Глыбше могилы... Лестницу прикажете убрать?

— Да. Давай вместе снесем. Фу-ты, следов сколько, затоптать бы.

Этим и занялись, когда заперли в сарай лестницу.

— Заходи от забора. Опять ты задом, дуралей! — кричал Александр Александрович. — Я ведь тебе сказал как, а ты все норовишь по-своему. Надо, чтобы от нас шли следы, а не к нам.

В это время переулок огласился тем же топотом, что я слышал, проснувшись. По легкости разбега отряд должен был пролететь дальше. Вдруг он остановился. Лошадей осадили у нашего дома. Они стали, скользя и разъезжаясь.

Послышался шум прыжков, шаги и бряцанье. Ерофей спрятался за сараем. Александр Александрович вбежал на крыльцо и стал к дверной коробке. На середку двора, освещенную заревом, вышли несколько спешенных казаков.

Ремни и винтовки за плечами кургузили их. Все казались окривевшими от водки, мороза и недосыпу. Им было скользко в сапогах. Кавалерийская походка их сутулила.

— Дубровин, пятерых к забору! — орал хорунжий. — Ониси-менко, я сказал — дворника! Ах, вот он, каналья! Кому служишь, мать твою в пяла? Приказ градоначальника знаешь? Отчего ворота расстегашкой? Отчего, я спрашиваю, ворота, — хлясь, хлясь, — я тебя научу, — хлясь, хлясь, — отвечать, вихлозадый черт. Иметь наблюдение. Очухается — допрошу. Ничего не понимаю, рапортуй толком, Дубровин. Следы? Какие следы? А, следы на снегу!

Тут он оглянулся и забыл об ефрейторе. Он отскочил в сторону и выхватил револьвер.

— Застрелю! Ни с места! — закричал он. — Подымите руки! Кто вы такой, милостивый государь?

— За что вы дворника бьете? — тихо, с дрожью в голосе спросил Александр Александрович.

— Прошу меня не учить. После девяти запрещено выходить на улицы. На каком основании вы здесь и кто вы сами?

— Я владелец дома и должен вам сообщить что-то важное. Но вперед велите обыскать меня. Я не могу отвечать под дулом револьвера. У меня затекают руки.

— Фамилия.

— Громеко.

— Не слыхал. Так вы хозяин? Тем хуже. Вас придется привлечь к ответственности по всей строгости закона. Вы приказ градоначальника читали? А знаете ли вы, в каком виде у вас наружные ворота? Вот видите. Ну нельзя же так, нельзя же так, молодой человек. Вы только рот раскрыли, и ваше первое слово —дворник. А знаете ли вы его? Готовы ли за него поручиться? Да и только ли это? Отчего в доме не спят? На душе неспокойно? Это курьезно. Отчего же у вас неспокойно на душе? Ну хо-рошо-с Оружие есть?

— Нету.

— Вы дворянин? -Да.

— Можете опустить руки.

— Мерси, — машинально пробормотал Александр Александрович и, спускаясь со ступеньки на ступеньку, сошел с крыльца на землю.

— В доме спали, — начал он. — Ворота были на запоре. Вдруг переполох. Бужу дворника. На дворе несколько вооруженных. Рабочие.

— Какие это рабочие. Надо называть вещи своими именами. Это воры, висельники, хамово племя.

— Нуда. Несколько этих... висельников. — Александр Александрович замялся. — Вижу, они с Долгоруковской пробрались соседними владениями и рубят ворота, пробиваясь в переулок. Удивляюсь, как вы с ними не столкнулись. Это было назад минут пять, десять. Значит, они кинулись в Скотники.

— А скажите, оттуда эти дни не постреливали? С соседних садов. Не замечали?

— Нет. Там все спокойно.

— Так-с, так-с. Вы ответите, если это неправда. Вольно, Дубровин. Ты докладывал — следы. Пойдем, покажи. До свиданья, милостивый государь. Помните, чем вы рискуете. Я охраны не выставлю, но вас везде найти сумею.

Они удалились. В темной глубине двора раздались слова команды. Было слышно, как построились казаки и стройно, стройнее, чем входили, вышли на улицу. Отряду скомандовали в седла. Лошадей тронули и с нескольких шагов перешли в галоп. Беспамятный скок, слышанный мною ночью и как раз возле нас так страшно пресекшийся, возобновился с прежней гладкостью и стал стихать и замер. Все скрылось, как прерванное сновиденье.

На крыльце стояли Глаша с Тоней и дергали меня за рукав.

— Сейчас. Отвяжитесь, — отмахивался я, но уже сам все им рассказывал.

Но Александр Александрович не мог вымолвить ни слова. Невольное унижение не давало ему покоя. У него дрожали губы. Он что-то с трудом в себе превозмогал.

Как только отряд тронулся, он подошел к Ерофею. Но тот и сам поднялся без труда. Обморок его был наполовину притворен. У него слегка подбит был глаз, и на скуле кровавилась небольшая ссадинка с содранной кожей. Нас отправили по кроватям, и, странно, мы тотчас заснули.

Я встал поздно. Занавеска, как в варенье, вымокала в гранатовом соку заката. Спросонья мне показалось, что весна. Со двора неслись влажные, чавкающие звуки. Проваливаясь в мокрый снег, по нему что-то тащили. Была оттепель. Убирали остатки ночного обстрела. И по-прежнему воняло тепло и тошнотворно.

Я все вспомнил. Но в такой час вставал я впервые. Это чувство было ново. Оно затмевало ночные воспоминанья. Знакомство с ним так мне понравилось, что я решил искать случая встать еще раз в такое время.

У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. Она плохо спала и стонала ночами. Если бы я устерег такую минуту и спустился к ней за сиделку, я заработал бы это право. Но я эти возможности безбожно просыпал.

Я не помню, каким для этого воспользовался предлогом. Восстанье кончилось. Все полно было сознанием его крушенья и слухами о расправе. Рассказывали об изуверстве семеновцев и наглости уличных казачьих пикетов. Начались выезды военно-полевых судов.

Александр Александрович ходил сам не свой. Сверх общих огорчений его удручало состояние больной. Чтобы сделать ей приятное, он в первый выход в город, когда открыли магазины, купил ей синих и белых гиацинтов, несколько кустов цинерарий и три горшка лакфиоля. Когда вслед за остальными цветами лакфиоль внесли в спальню, она раскапризничалась. Оказалось, лакфиоля она не любит. Непамятливость мужа ее обидела. Лакфиоль поставили в столовой.

Я проснулся в шестом часу вечера. Как и в первый раз, неведомо как без меня прошедший день был весь позади. Пока я одевался, сгущался сумрак, похожий на облако дорожной пыли, поднятой его отбытием. С непобедимой грустью смотрел я на бордовый глазок заката, как на кондукторский фонарь в хвосте отошедшего поезда. И так же болела голова.

Я спустился в столовую. Там спиной ко мне стояла Глафира Никитична, чем-то занятая. Она только что полила цветы и расправляла подвернутые края лиловой

обертки. Я спросил чаю. «Сейчас», — ответила она, наблюдая, как натекает вода в поддонники, чтобы подтереть, если перельется.

Из спальни от Анны Губертовны вышла массажистка. Ей должны были сегодня отказать. Вчера новый доктор пришел в ужас, узнав, что целую неделю материю разгоняли по всему телу. Глафира Никитична пошла провожать ее.

В это время позвонили с улицы. «Ну вот. Теперь она про чай забудет...» — подумал я и подошел к горке с лакфиолем.

Вдруг в гостиную рядом вихрем ворвался дядя Федя. По каким-то признакам я узнал его. Он нервно прошелся по коврам из угла в угол. Александр Александрович вышел к нему. Разговаривая, они вошли в столовую.

Дядя Федя был в страшном возбуждении. Слова рвались из него с такой силою, что он заплевывал бороду и мычал, утирая губы платком, чтобы не потерять ни минуты в безгласности.

— Ты знаешь, Саша, как я люблю тебя, — говорил он. — Но вы чудовищные люди. Кажется, свет перевернись, а вы будете развлекаться массажами и возделывать комнатные растения. Приготовься к самому страшному. Где сестра твоя Оля?

— Если ты что-нибудь знаешь, то говори прямо.

— Нет, вперед ты. Вспомнил ли ты ее хоть раз? Догадался ли подумать?

— Я разыскиваю ее третий день. И пока — безрезультатно. Но это в порядке вещей и меня не смущает. Потому что, согласись, на другой день после подавления при нынешних условиях отыскать ее — это, понимаешь ли, не лапоть сплесть.

—Лапти! Условья! Не то ищешь! Не там ищешь! Тело надо!.. В приемных покоях!.. В анатомическом...

Но Александр Александрович уже держал его за руку выше кисти.

— Остановись! — крикнул он. — Что с ней?

— Она убита.

— Откуда ты знаешь?

— Чувство подсказало.

— Но... ты его проверил?

— Я был два раза у общих знакомых. О ней ни слуху ни духу.

— Свинья же ты после этого, типун тебе на язык! Спасибо за сведенье и... участье... Все равно, с дубу ли, с ветру ль, лишь бы шум и эффект. Во сне ли там приснилось или под шелудями завелось, он тут как тут. «Чувство подсказало».

— Постой, Саша, не горячись. В таком случае что же... Я не жалею, что пришел. Я рад. Ты меня успокоил. Мне сообщилась твоя вера.

— И это в такое время, когда я буквально изнемогаю... Нюта хворает...

— А, это коленка? Бог даст, обойдется.

— Ну конечно. В особенности твоими молитвами. К сожалению, я естественник. Существо и опасность септических процессов мне известны... И вместо того, чтобы помочь мне, когда я буквально разрываюсь...

Его напоили чаем. Он сходил в спальню проведать больную. Потом стал прощаться. Уходя, он сказал:

— Я догадываюсь, зачем у вас цветы. Но никакими тут кактусами и рододендронами не поможешь. Не заглушают. Перешибает смрад. Откуда такое?

— Это двенадцатого ночью у Жогловых снарядом колодец разворотило. Выгребной, ты понимаешь?

Через два дня Ольга Васильевна отыскалась.

6. ДОМ С ГАЛЕРЕЯМИ

Надо описать нашу последнюю встречу. Александр Александрович взял меня с собой. Мы наняли извозчика. Никогда в жизни нас не везли так далеко и долго. Это было у черта на куличках, где-то в другом конце Москвы.

Положение об усиленной охране еще не было снято. Пока мы ехали нашими краями, нам попадались следы недавних разрушений.

На углу Расторгуева переулка показывали насквозь прогоревший дом с провалившимися полами и обрушившейся лестницей. От нее оставались одни перила. Скрутившись от жара, они висели в воздухе мотками железного серпантина.

Несколько дальше стоял трехэтажный дом с выдававшимися над тротуаром углами верхних этажей. Дому недоставало ворот. По стенам чернели четырехугольные следы сорванных вывесок. Из земли торчали круги спиленных телеграфных столбов. Видно, здесь залегали дружинники, и я вспомнил. На одной из баррикад, рассказывали, смерть следовала за смертью от таинственных выстрелов без видимого противника, пока не догадались выследить их происхождение.

Их производили из такого же, как эти каменные выступы, фонаря. В квартире жил скотопромышленник, член союза Михаила Архангела. Стрелял его сын, новопроизведенный прапорщик. Обоих отвели в революционный штаб, помещавшийся где-то поблизости. Может быть, здесь это все и происходило.

Два раза попались нам казачьи разъезды, патрулировавшие город.

— То-то осмелели, — сказал извозчик и смолк.

Александр Александрович ничего не ответил.

У въезда в Леонтьевский солдаты в поисках оружья с головы до ног охлопывали прохожих, а выезд из Газетного преграждали конные жандармы, и лошади под ними ходили боком, скача от тротуара к середке мостовой между идущими и едущими. Тут и там нас пропустили не глядя.

Дозоры и заставы возобновлялись у вокзалов. Остановившись по требованию жандарма, подскакивавшего на лошади, мы подслушали разговор между четою в соседних санях и другим конным, их остановившим.

— Не задерживайте извозчика. Мы опоздаем к поезду, — возмущалась дама. — Покажи им паспорт, что за наказанье...

— Вы за границу? — спросил жандарм, нагибаясь с седла и зажигая спичку за спичкой.

Мы тронулись дальше. Но и их пропустили. Оглянувшись, я увидел, как их извозчик стоя нахлестывал к Николаевскому.

— Какая же с этих вокзалов «заграница»? — изумился я.

— Сколько угодно, — отвечал Александр Александрович. — Во-первых, Финляндия. Морем из Петербурга. Кроме того, через Тосно или Режицу. А с Ярославского — так даже и в Америку.

Наконец мы приехали. Я потом таких домов больше не видел. Скользкая лестница с сильным капустным кваском пролегала крытою холодною галереей. На нее выходили окна и двери квартир, по три, по четыре на ярус. К наружной стене жались кладовки и нужники. Первые были под висячими замками, вторые с деревянными завертками на гвоздиках.

Квартира за требующимся номером оказалась в третьем этаже налево. На медной, ввинченной в протисьменную клеенку дощечке без дальнего значилось «Вязлова» и больше ничего: ни буквенных инициалов, ни званья.

Я знал, что в квартире помещаются частные курсы, на которых готовят во все классы гимназии, в юнкерские училища и прочая, и удивился, что снаружи нет об этом объявления.

Не найдя звонка, Александр Александрович стал дубасить в дверь кулаком, но удары получались слабые. Их глушили войлочные подушки обивки.

Невдалеке стояла кадка с питьевой водой под немного сдвинутой крышкой. Вода была, наверное, на самом дне, а нутро кадки стягивал лед в несколько пустых, насквозь проломанных пластов. На краю верхнего, с лучеобразно рассачивающимися трещинами, стояла кружка.

Наконец нам отперли. Сухая старушка с часиками на черном шнурке молча пропустила нас вперед, ни о чем не спрашивая. Потом я узнал, что это сама Вязлова.

— Виноват, — сказал Александр Александрович. — Мы к Левицкой. Если не ошибаюсь, она у вас. Как к ней пройти?

К концу его слов Вязлова очутилась у него под самым подбородком.

— Пожалуйте. Она отдыхает, — сказала она, подняв голову и снизу заглядывая ему в глаза.

Из темной передней, куда мы за ней последовали, мне представилось зрелище, по тихой выразительности похожее на писаную картину. Громеко с Вязловой прошли дальше, я же остановился как вкопанный.

Передо мною было три комнаты. В средней, наверное, занимались. Дверь в нее была закрыта. Из нее доносились голоса, сменявшиеся в порядке, не похожем на разумную беседу.

В обеих боковых горели висячие лампы, и вполголоса, чтобы не помешать занимающимся, сидя и стоя переговаривались бедно и скромно одетые люди. Разговоры были не общие. Их вели парами и по трое по разным углам. Потом я узнал, что большинство — учащиеся других групп, дожидавшиеся очереди в среднюю комнату.

В квартире стоял тяжкий, настоянный на нужде и стесненье, кроваво-тюфячный запах. Вдруг я ощутил зуд в висках. Потом за ушами. Скоро у меня зачесалось запястье. Здесь было много клопов.

В комнате слева народу было меньше. С помощью комода и умывальника, скрытых откидным пологом, в ней отгорожен был угол. В проеме полога, как у входа в палатку, стоял угрюмого вида молодой человек. На нем была грубая рубашка с шитым воротом. Косясь за драпировку, он кого-то слушал. Судя по взглядам, которые он бросал за плечо, товарищ его лежал, не отпуская его от себя и в чем-то урезонивая. Молодой человек закашлялся, махнул на товарища рукой и вышел из-за полога в комнату. Мужская рука сунулась за ним вдогонку, но не поймала. Он пересек комнату и чуть не столкнулся со мной в дверях.

Справа вышла Вязлова. Она подошла к нему вплотную.

— Скоро вам, Нелль? — сказал она. — Митя кончает. Сейчас телеграфисты меня чуть до хрипоты не довели. Уверяют, будто при округе требуются сложные проценты. Точно я сейчас родилась и никогда программ не видела, а я любую назубок скажу. Например, в кадетских...

— Дайте мне ячменного сахару, и ну вас к черту с вашими корпусами, — сказал молодой человек и закашлялся.

— Как вы переменились, — вздохнула Вязлова. — С тех пор, как вы повернулись к Леле спиной...

— Мамочка, какие выражения. Ноги меня не держат, ей-богу, так вы меня пронзили. Вон Петька валяется, если у вас язык чешется. Это почва поблагодарней.

Вязлова пожала плечами и отвернулась. Тут она меня заметила.

— Ах вот он, малютка! — воскликнула она, впадая в тот же насмешливый тон. — А мы думали, вы в пути затерялись. Что же вы в передней топчетесь, юный классик? Ступайте за мной, там ваши старшие.

Миновав правую боковую комнату, мы вошли в крошечную спальню.

Комната освещалась с потолка цветным фонарем. Александр Александрович сидел в темноте. Золотистый свет падал решетчатым кружком на Олино лицо и платье. Она поражала худобой, лихорадочной говорливостью и утомительностью поз, которые принимала, лежа на незастланной кровати.

— Как, и Патрик тут? Что ж ты мне, Саша, не сказал? — упрекнула она Громеко и, соскочив с постели, меня расцеловала.

Наступило молчание. Продолжению разговора мешало присутствие Вязловой. Когда она вышла, Оля его возобновила.

— Накануне вечером Фидлер, директор, при мне просит к телефону генерала Руднева. Ради бога, говорит, что вы делаете, ведь это дети, это просто безбожно. Потому что половина была его ученики, реалисты старших классов. Ты себе представляешь, Сашенька, положение? Там такая мраморная лестница с золотыми досками медалистов. Типичный институтский вестибюль. Ее забаррикадировали скамьями и классными досками. Так и провели всю ночь. На рассвете нам дают слово, что сдавшихся не тронут, и мы всей ватагой из училища. Но это обещал ротмистр осаждавшей части, кажется, Рахманинов или Рахманов. А тем временем, как мы в Мыльников, из Машкова откуда ни возьмись другая. Рахманов кричит — стой-стой, потому что он поручился честью, ему стыдно, а тем хоть кол теши на голове, и ну рубить. Господи, твоя воля, что тут сделалось! Кругом темным-темно, на уме одно — поскорей бы в подворотню, а рядом валятся, у кого ухо отсечено, кому отхватили пальцы. А крики... А стоны... Ротмистр, кричу, так вот оно, ваше честное слово? А что он может сделать, когда его не слушают... Но ведь перед тем, что дальше было, Фидлер — капля в море.

Она спустила ноги с кровати и рассеянно это повторила. По звуку ее голоса я догадался, что она думает о чем-то другом и каждую минуту может расплакаться. Она привстала и прошлась по комнате. На каждом шагу она на что-нибудь натыкалась. От круженья на одном месте юбка стала хлестать ее по ногам. Вдруг она остановилась и закрыла глаза. Содроганье прошло по ней, точно ее знобило.

— Нет, нет и нет, — сказала она, словно очнувшись от сна, — вон из этого клоповника. Завтра же куда-нибудь перееду. Посадят — подумаешь, какая важность. По крайней мере, хоть высплюсь. У вас не искали?

— Нет покамест.

— А в Спасопесковский наведывались.

— Да купи ты себе, дура ты этакая, персидского порошку и будешь спать как убитая.

Снова наступило молчание. Александр Александрович посмотрел на часы и, крякнув, стал подыматься.

— Ты куда это? — встрепенулась Оля. — И не думай. С семи до девяти перерыв, можно будет уединиться. Оставайтесь, прошу вас. Петя тоже не спит. Хочешь, я позову его. Вы с ним еще не видались? Послушай, будь с ним повнимательней, у него ужасное горе. Мы от него скрываем, но он догадывается. По Казанской прошла карательная экспедиция, ты слыхал? Волосы встают дыбом, какие душегубства. А в Люберцах у него родные.

Оля не выдержала и, упав лицом в подушки, зарыдала. Прошло несколько минут. Послышался храп со свистящими переливами. Мы переглянулись. Оля спала, разинув рот, ничком и наискось поперек кровати.

Как мы провели следующие час или полтора, не помню. В их исходе мы очутились в комнате рядом с той самой, что располагалась вправо от меня, пока я был в передней.

Ученики разошлись. Наступил перерыв, о котором говорила Оля. За столом сидело человек пять-шесть народу — сын Вязловой Дмитрий Дмитриевич, студент-путеец; желчный молодой человек Анемподист Дудоров; Петр Терентьев, которого я видел впервые, да еще два-три студента университета. Нас перезнакомили.

— Сперва все шло хорошо, — рассказывал Терентьев. — У полиции хлопот по горло. Их еще не хватились. Но только добираются до деревни, мужички их чуть ли не в колья. Вот вы как, говорят. Фабрику у себя сожгли, нас пришли бунтовать? И грозятся собрать сход. Еле ноги унесли.

— Ничего удивительного. Это в порядке вещей, — сказал Дудоров.

Все на него накинулись.

— Что ты рисуешься? — возмутился Вязлов. — Объясни ты мне, пожалуйста, эту бессмыслицу. Ты совсем не то, что прикидываешься. Никуда ты из Москвы не выезжал, видели тебя на баррикадах. Тогда к чему ломанье?

— Глупости. Не могли меня видеть, я под Муромом охотился. Это какой-нибудь двойник.

После долгих споров он признался, что не устоял против искушения и действительно дрался в районе Мещанских, но особняком и только за свой страх.

Тут я узнал, что он из княжеского рода Дудоровых, несмотря на молодость, отбыл три года административной ссылки, но теперь отошел от привычного круга и к теоретическому марксизму охладел совершенно. С родными он давно порвал и жил бедно и одиноко, принятый обратно в университет по чьей-то сильной протекции. Он что-то переводил и пописывал, но еще без того имени, которое составил себе позднее, а сюда ходил преподавать языки и историю, выслушивать нападки былых товарищей и на них огрызаться. Здесь не могли ему в особенности простить разрыва с одной девушкой этого круга.

Терентьев развивал две излюбленных мысли. Что по своей молодости пролетариат у нас еще неотделим от крестьянства и что индустриальный рабочий является носителем новой, грядущей культуры. В защиту этой мысли приводил он следующие соображения. Природа и законы природы для современной интеллигенции — две разные вещи. Первое — предмет праздного любования, второе — пища для сухого и бесстрастного изучения. Для рабочего же это одно. Он и за формулами не забывает того, что это законы именно природы, а не чего-нибудь другого, той самой производящей земной природы, которая в грубом упрощении есть его родная деревня, но на этот раз в ее всеобщности, с целую подлунную, во вселенском, так сказать, ее размахе. Потому что физические устои мира открываются ему за работой, в той первичности, как его бабке сроки и особенности коровьего отела. Для этой мысли находил он свои слова, смелые и яркие. Но вдруг профессиональная дидактика завладевала им, и, забывая про то дорогое, живущее и меняющееся, что было в этой мысли, он терял ее нить и принимался за доказательство доказанного и вытверживание общеизвестного. Делал он это книжно, по-заученному и совсем не к месту, потому что кругом на этом собаку съели и повторять это в этой компании было все равно что яйцам учить курицу.

— Всмотримся пристально в процесс, — говорил он, — что мы имеем. В ходе обнищания деревни крестьянский сын прощается с домом и в геометрической профессии отливает в города. Погодите, Варвара Ивановна. С другой стороны, в потребности рабочих рук промышленность все щедрее и щедрее черпает из этого резервуара. Но обратимся к нашему бездомному скитальцу, где мы его оставили, что мы увидим? В ходе развития промышленности приставленный к котлам, охладительным змеевикам и аккумуляторам, он мало-помалу подымается по железной лестнице на такую площадку, где с него с неизбежностью спросятся начатки механики,

знание электричества и бойкое, не сходя с места, умозаключение. Знакомство с машиной откроет перед ним заветные страницы физики. Вот вы говорите, природа. Это, грубо говоря, молоко, грибы и ягоды в березовой роще, летний отдых в тенистой усадьбе. А потом вы говорите, законы природы. Это, грубо говоря, тихие своды университета, приборы, зимние теоретические выкладки. А он и над магнитным полем гнется, как над паровым перед распашкой под озимь. Потому что для него это одно...

Тут и следовала мысль, которую он выражал так самостоятельно и не избито. Дальше возвращались очевидности.

— Теперь последуем, однако, за ним по этой лесенке, где мы его оставили, и посмотрим вниз через перила, что мы видим? Дамы-благотворительницы между собой стараются, как бы елку ему устроить и общество трезвости, и дай им волю — первой грамоте будут учить или, чего доброго, соску купят или погремушку. Ну вот он руки об паклю, а потом об блузу — и с этой лесенки прямо к ним вниз. Вот хомут и дуга, больше я вам не слуга.

— Да ты меня не агитируй, — говорил Дудоров. — Торжества революции я жду нетерпеливей всех вас. Сто лет как ее у нас готовят. Лучшие силы России ушли на эту подготовку, и в нравственном плане она даже уже будто когда-то была. Однако платонизм тут неуместен. Ее надо увидеть своими глазами. Еще лет десять оттяжки, и мы задохнемся. Погоди улыбаться. И, конечно, она придет. На первых порах это будет именно то, о чем мы так много говорим. Освобождение от самодержавия, от уродств капиталистической эксплуатации. Но придет наконец и настоящая свобода. Освободится время, отданное несколькими поколениями ей, ее обсуждению, жизни и гибели за нее, освободятся мысли и силы. А согласись, за свои вековые жертвы Россия это заслужила... Только ли огорошивать ей и ошарашивать. А вдруг дано ей выдумать что-нибудь непредвосхитимо непритязательное, просиять, улыбнуться...

Его перебили в самом интересном месте. С галереи позвонили. «Звонок, — сказал Вязлов. — Петька, мотай на ус, потом ответим». И вышел отпирать. Вернувшись, он наклонился сзади к Терентьеву и шепнул ему что-то на ухо. Оба посмотрели на Дудорова и вышли. Тот тоже поднялся, смутился и в нерешительности затоптался на месте.

— Оставайтесь тут, — приказала Вязлова. — Они у Мити переговорят. Незачем вам встречаться.

Минут через пятнадцать послышались шаги и голоса у самого входа в столовую, но, минуя ее, удалились через переднюю и кухню наружу.

В столовую быстро вошел Терентьев. Он сиял и спешил к Оле.

— Митя провожать пошел, Варвара Ивановна, — сказал он на ходу.

В эту минуту сама Оля вышла из спальни, красная и заспанная. Она взглянула на его глаза и губы и как бы прочла новость, рвавшуюся с его языка.

— Леля Осипович? — воскликнула она и сделала такое движение, точно собиралась вцепиться в ответ руками.

—Да. Большая радость. Папаша и все домашние живы, здоровы и невредимы. Она прямо от них, минуту б раньше сама расспросила. Папаша, — продолжал он, обращаясь ко всем и в особенности к Александру Александровичу, — оказывается, об нас расстраивались. Этим и избыли беду. Ато ведь там... язык прилипает, что было... И попадись он им под горячую руку...

не знаю, чем от мысли зачураться. Но они еще раньше расстроились. Мамашу с сестрой спрятали в матушкиной семье, Бронницкий уезд, дальняя волость. А сами пешком в Москву за справками. Оттого и дом пустой, ни души, а мы-то напугались.

Оля слушала и смотрела на него. Он кончил и все сиял. Какая-то радость, еще одна, была у него про запас для нее, тайная, неизрасходованная. И вот, забыв правила не то

что конспирации, а просто-напросто благоразумия (чтобы не сказать — приличия), Оля на минуту задумалась...

— Паспорта принесли? — с тем же движением вскричала она, и все поднялись, замахали на нее и зашикали.

— Ну что ты с ней поделаешь, — сказал Терентьев, по-прежнему обращаясь к Александру Александровичу.

1936

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

МЛАДЕНЧЕСТВО 1

В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанном в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет. В настоящем очерке я не избегну некоторого пересказа ее, хотя постараюсь не повторяться.

2

Я родился в Москве 29 января 1890 года по старому стилю в доме Лыжина, против Духовной семинарии, в Оружейном переулке. Необъяснимым образом что-то запомнилось из осенних прогулок с кормилицей по семинарскому парку. Размокшие дорожки под кучами опавших листьев, пруды, насыпные горки и крашеные рогатки семинарии, игры и побоища гогочущих семинаристов на больших переменах.

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом с двором для извозчиков и нашею квартирой над воротами, в арке их сводчатого перекрытия.

3

Ощущения младенчества складывались из элементов испуга и восторга. Сказочностью красок они восходили к двум центральным образам, надо всем господствовавшим и все объединявшим. К образу медвежьих чучел в экипажных заведениях Каретного ряда и к образу добряка великана, сутулого, косматого, глухо басившего книгоиздателя П. П. Кончаловского, к его семье и к рисункам карандашом, пером и тушью Серова, Врубеля, моего отца и братьев Васнецовых, висевшим в комнатах его квартиры.

Околоток был самый подозрительный — Тверские-Ямские, Труба, переулки Цветного. То и дело оттаскивали за руку. Чего-то не надо было знать, что-то не следовало слышать. Но няни и мамки не терпели одиночества, и тогда пестрое общество окружало нас. И в полдень учили конных жандармов на открытом плацу Знаменских казарм.

Из этого общения с нищими и странницами, по соседству с миром отверженных и их историй и истерик на близких бульварах, я преждевременно рано на всю жизнь вынес пугающую до замирания жалость к женщине и еще более нестерпимую жалость к родителям, которые умрут раньше меня и ради избавления которых от мук ада я должен совершить что-то неслыханно светлое, небывалое.

4

Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания.

Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине, дом давал тайное убежище масонской ложе. Боковое закругление на углу Мясницкой и Юшкова переулка заключало полукруглый балкон с колоннами. Вместительная площадка балкона нишею входила в стену и сообщалась с актовым залом Училища. С балкона было видно насквозь продолжение Мясницкой, убегавшей вдаль, к вокзалам.

С этого балкона население дома наблюдало в 1894 году церемониал перенесения праха императора Александра Третьего, а затем, спустя два года, отдельные сцены коронационных торжеств при воцарении Николая Второго.

Стояли учащиеся, преподаватели. Мать держала меня на руках в толпе у перил балкона. Под ногами у нее расступалась пропасть. На дне пропасти посыпанная песком пустая улица замирала в ожидании. Суетились военные, отдавая во всеуслы-

шание громкие приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей наверху, на балконе, точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного шпалерами солдат с мостовой к краям тротуаров, поглощала звуки без остатка, как песок воду. Зазвонили уныло, протяжно. Издалека катящаяся и дальше прокатывающаяся волна колыхнулась морем рук к головам. Москва снимала шапки, крестилась. Под отовсюду поднявшийся погребальный перезвон показалась голова нескончаемого шествия, войска, духовенство, лошади в черных попонах с султанами, немыслимой пышности катафалк, герольды в невиданных костюмах иного века. И процессия шла и шла, и фасады домов были затянуты целыми полосами крепа и обиты черным, и потупленно висели траурные флаги.

Дух помпы был неотделим от Училища. Оно состояло в ведении министерства императорского двора. Великий князь Сергий Александрович был его попечителем, посещал его акты и выставки. Великий князь был худ и долговяз. Прикрывая шапками альбомы, отец и Серов рисовали карикатуры на него на вечерах у Голицыных и Якунчиковых, где он присутствовал.

5

Во дворе, против калитки в небольшой сад с очень старыми деревьями, среди надворных построек, служб и сараев возвышался флигель. В подвале внизу отпускали горячие завтраки учащимся. На лестнице стоял вечный чад пирожков на сале и жареных котлет. На следующей площадке была дверь в нашу квартиру. Этажом выше жил письмоводитель Училища.

Вот что я прочел пятьдесят лет спустя, совсем недавно, в позднейшее советское время, в книге Н. С. Родионова «Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого», на странице 125-й, под 1894-м годом:

«23 ноября Толстой с дочерьми ездил к художнику Л. О. Пастернаку в дом Училища живописи, ваяния и зодчества, где Пастернак был директором, на концерт, в котором принимали участие жена Пастернака и профессора Консерватории скрипач И. В. Гржимали и виолончелист А. А. Брандуков».

Тут все верно, кроме небольшой ошибки. Директором Училища был князь Львов, а не отец.

Записанную Родионовым ночь я прекрасно помню. Посреди нее я проснулся от сладкой, щемящей муки, в такой мере ранее не испытанной. Я закричал и заплакал от тоски и страха. Но музыка заглушала мои слезы, и только когда разбудившую меня часть трио доиграли до конца, меня услышали. Занавеска, за которой я лежал и которая разделяла комнату надвое, раздвинулась. Показалась мать, склонилась надо мной и быстро меня успокоила. Наверное, меня вынесли к гостям, или, может быть, сквозь раму открытой двери я увидел гостиную. Она полна была табачного дыма. Мигали ресницами свечи, точно он ел им глаза. Они ярко освещали красное лакированное дерево скрипки и виолончели. Чернел рояль. Чернели сюртуки мужчин. Дамы до плеч высовывались из платьев, как именинные цветы из цветочных корзин. С кольцами дыма сливались седины двух или трех стариков. Одного я потом хорошо знал и часто видел. Это был художник Н. Н. Ге. Образ другого, как у большинства, прошел через всю мою жизнь, в особенности потому, что отец иллюстрировал его, ездил к нему, почитал его и что его духом проникнут был весь наш дом. Это был Лев Николаевич.

Отчего же я плакал так и так памятно мне мое страдание? К звуку фортепиано в доме я привык, на нем артистически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой музыки. Тембры струнных, особенно в камерном соединении, были мне непривычны и встревожили, как действительные, в форточку снаружи донесшиеся зовы на помощь и вести о несчастьи.

То была, кажется, зима двух кончин — смерти Антона Рубинштейна и Чайковского. Вероятно, играли знаменитое трио последнего.

Эта ночь межевою вехой пролегла между беспамятностью младенчества и моим дальнейшим детством. С нее пришла в действие моя память и заработало сознание, отныне без больших перерывов и провалов, как у взрослого.

6

Весной в залах Училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линиею тянулись за нашим домом,

против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие Училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранений.

Близкие отцу художники и он сам выставлялись у передвижников только вначале и недолго. Скоро Серов, Левитан, Коровин, Врубель, Иванов, отец и другие составили более молодое объединение «Союз русских художников».

В конце девяностых годов в Москву приехал всю жизнь проведший в Италии скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели, от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской.

Из той же кухни производилась отправка в Петербург замечательных отцовских иллюстраций к толстовскому «Воскресению». Роман по мере окончательной отделки глава за главой печатался в журнале «Нива», у петербургского издателя Маркса. Работа была лихорадочная. Я помню отцову спешку. Номера журнала выходили регулярно, без опоздания. Надо было поспеть к сроку каждого.

Толстой задерживал корректуры и в них все переделывал. Возникала опасность, что рисунки к начальному тексту разойдутся с его последующими изменениями. Но отец делал зарисовки там же, откуда писатель черпал свои наблюдения, — в суде, пересыльной тюрьме, в деревне, на железной дороге. От опасности отступлений спасал запас живых подробностей, общность реалистического смысла.

Рисунки ввиду спешности отправляли с оказией. К делу привлечена была кондукторская бригада курьерских поездов

Николаевской железной дороги. Детское воображение поражал вид кондуктора в форменной железнодорожной шинели, стоявшего в ожидании на пороге кухни, как на перроне у вагонной дверцы отправляемого поезда.

На плите варился столярный клей. Рисунки второпях протирали, сушили фиксативом, наклеивали на картон, заворачивали, завязывали. Готовые пакеты запечатывали сургучом и сдавали кондуктору.

Два первые десятилетия моей жизни сильно отличаются одно от другого. В девяностых годах Москва еще сохраняла свой старый облик живописного до сказочности захолустья с легендарными чертами третьего Рима или былинного стольного града и всем великолепием своих знаменитых сорока сороков. Были в силе старые обычаи. Осенью в Юшковом переулке, куда выходил двор Училища, во дворе церкви Флора и Лавра, считавшихся покровителями коневодства, производилось освящение лошадей, и ими, вместе с приводившими их на освящение кучерами и конюхами, наводнялся весь переулок до ворот Училища, как в конную ярмарку.

С наступлением нового века на моей детской памяти мановением волшебного жезла все преобразилось. Москву охватило деловое неистовство первых мировых столиц. Бурно стали строить высокие доходные дома на предпринимательских началах быстрой прибыли. На всех улицах к небу поднялись незаметно выросшие кирпичные гиганты. Вместе с ними, обгоняя Петербург, Москва дала начало новому русскому искусству — искусству большого города, молодому, современному, свежему.

2

Горячка девятисотых годов отразилась и на Училище. Казенных ассигнований не хватало на его содержание. Поручили дельцам изыскание денежных средств для пополнения бюджета. Решено было возводить на земле Училища многоэтажные жилые корпуса для сдачи квартир внаем, а посередине владения, на месте прежнего сада, выстроить стеклянные выставочные помещения для сдачи в аренду. В конце девяностых годов стали сносить дворовые флигеля и сараи. На месте выкорчеванного сада вырыли глубокие котлованы. Котлованы наполнялись водою. В них, как в прудах, плавали утонувшие крысы, с земли в них прыгали и ныряли лягушки. Наш флигель тоже предназначен был на слом.

Зимой нам оборудовали новую квартиру из двух или трех классных комнат и аудиторий в главном здании. Мы в нее перебрались в 1901 году. Так как квартиру перекраивали из помещений, из которых одно было круглое, а другое еще более прихотливой формы, то в новом жилище, в котором мы прожили десять лет, были чулан и ванна с площадью в виде полумесяца, овальная кухня и столовая со входящим в нее полукруглым выемом. За дверью всегда слышался заглушённый гул училищных мастерских и коридоров, а из крайней, пограничной комнаты можно было слушать лекции по устройству отопления профессора Чаплина в архитектурном классе.

Предшествующие годы, еще на старой квартире, со мной занимались дошкольным обучением то мать, то какой-нибудь приглашенный частный преподаватель. Одно время меня готовили в Петропавловскую гимназию, и я проходил все предметы начальной программы по-немецки.

Из этих наставников, которых я вспоминаю с благодарностью, назову первую свою учительницу Екатерину Ивановну Боратынскую, детскую писательницу и переводчицу литературы для юношества с английского. Она обучала меня грамоте, начаткам арифметики и французскому с самых азов, с того, как сидеть на стуле и держать ручку с пером в руке. Меня водили к ней на урок в занимаемый ею номер меблированных комнат. В номере было темно. Он снизу доверху был набит книгами. В нем пахло чистотой, строгостью, кипяченым молоком и жженым кофе. За окном, покрытым кружевною вязаной занавеской, шел, напоминая петли вязанья, грязноватый, серо-кремовый снег. Он отвлекал меня, и я отвечал Екатерине Ивановне, разговаривавшей со мной по-французски, невпопад. По окончании Урока Екатерина Ивановна вытирала перо изнанкой кофты и, дождавшись, когда за мной зайдут, отпускала меня.

В 1901 году я поступил во второй класс Московской пятой гимназии, оставшейся классической после реформы Банковского и сверх введенного в курс естествознания и других новых предметов сохранившей в программе древнегреческий.

3

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и Господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903-го, а не 1803-го года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, «как у Бетховена», «как у Глинки», «как у Ивана Ивановича», «как у княгини Марьи Алексевны», но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, вденьседьмый почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, ницшеанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. Скоро он на шесть лет уехал в Швейцарию.

В ту осень возвращение наше в город было задержано несчастным случаем со мной. Отец задумал картину «В ночное». На ней изображались девушки из села Бочарова, на закате верхом во весь опор гнавшие табун в болотистые луга под нашим

холмом. Увязавшись однажды за ними, я на прыжке через широкий ручей свалился с разомчавшейся лошади и сломал себе ногу, сросшуюся с укорочением, что освобождало меня впоследствии от военной службы при всех призывах.

Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного бренчал на рояле и с грехом пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю. Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р. М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с «Экстазом» и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, взывавшее к отплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионов-ской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь летя был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка неугодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно пропадающего навыка. Но потом я решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами.

4

Скрябинские рассуждения о сверхчеловеке были исконной русской тягой к чрезвычайности. Действительно, не только музыке надо быть сверхмузыкой, чтобы что-то значить, но и все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собою. Человек, деятельность человека должны заключать элемент бесконечности, придающий явлению определенность, характер.

Ввиду моей нынешней отсталости от музыки и моих отмерших и совершенно истлевших связей с ней, Скрябиным моих воспоминаний, Скрябиным, которым я жил и питался, как хлебом насущным, остался Скрябин среднего периода, приблизительно от третьей сонаты до пятой.

Гармонические зарницы Прометея и его последних произведений кажутся мне только свидетельствами его гения, а не повседневною пищею для души, а в этих свидетельствах я не нуждаюсь, потому что поверил ему без доказательства.

Люди, рано умиравшие, Андрей Белый, Хлебников и некоторые другие, перед смертью углублялись в поиски новых средств выражения, в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные.

Я никогда не понимал этих розысков. По-моему, самые поразительные открытия производились, когда переполнявшее художника содержание не давало ему времени задуматься и второпях он говорил свое новое слово на старом языке, не разобрав, стар он или нов.

Так на старом моцартовско-фильдовском языке Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно стало вторым ее началом.

Так Скрябин почти средствами предшественников обновил ощущение музыки до основания в самом начале своего поприща. Уже в этюдах восьмого опуса или в прелюдиях одиннадцатого все современно, все полно внутренними, доступными музыке соответствиями с миром внешним, окружающим, с тем, как жили тогда, думали, чувствовали, путешествовали, одевались.

Мелодии этих произведений вступают так, как тотчас же начинают течь у вас слезы, от уголков глаз по щекам, к уголкам рта. Мелодии, смешиваясь со слезами, текут прямо по вашему нерву к сердцу, и вы плачете не оттого, что вам печально, а оттого, что путь к вам вовнутрь угадан так верно и проницательно.

Вдруг в течение мелодии врывается ответ или возражение ей в другом, более высоком и женском голосе и другом, более простом и разговорном тоне. Нечаянное препирательство, мгновенно улаживаемое несогласье. И нота потрясающей естественности вносится в произведение, той естественности, которою в творчестве все решается.

Вещами общеизвестными, ходовыми истинами полно искусство. Хотя пользование ими всем открыто, общеизвестные правила дол го ждут и не находят применения.

Общеизвестной истине должно выпасть редкое, раз в сто лет улыбающееся счастье, и тогда она находит приложение. Таким счастьем был Скрябин. Как Достоевский не романист только и как Блок не только поэт, так Скрябин не только композитор, но повод для вечных поздравлений, олицетворенное торжество и праздник русской культуры.

ДЕВЯТИСОТЫЕ ГОДЫ 1

В ответ на выступления студенчества после манифеста 17 октября буйствовавший охотнорядский сброд громил высшие учебные заведения, университет, Техническое училище. Училищу живописи тоже грозило нападение. На площадках парадной лестницы по распоряжению директора были заготовлены кучи булыжника и ввинчены шланги в пожарные краны для встречи погромщиков.

В Училище заворачивали демонстранты из мимо идущих уличных шествий, устраивали митинги в актовом зале, завладевали помещениями, выходили на балкон, произносили сверху речи оставшимся на улице. Студенты Училища входили в боевые организации, в здании ночью дежурила своя Дружина.

В бумагах отца остались наброски: в агитаторшу, говорившую с балкона, снизу стреляют налетевшие на толпу драгуны.

Ее ранят, она продолжает говорить, хватаясь за колонну, чтобы не упасть.

В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу.

Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича», «Жупела» и других, куда тот его приглашал.

Вероятно, тогда или позже, после годичного пребывания с родителями в Берлине, я увидел первые в моей жизни строки Блока. Я не помню, что это было такое, «Вербочки» или из «Детского», посвященного Олениной д'Альгейм, или что-нибудь революционное, городское, но свое впечатление помню так отчетливо, что могу его восстановить и берусь описать.

2

Что такое литература в ходовом, распространеннейшем смысле слова? Это мир красноречия, общих мест, закругленных фраз и почтенных имен, в молодости наблюдавших жизнь, а по достижении известности перешедших к абстракциям, перепевам, рассудительности. И когда в этом царстве установившейся и только потому незамечаемой неестественности кто-нибудь откроет рот не из склонности к изящной словесности, а потому, что он что-то знает и хочет сказать, это производит впечатление переворота, точно распахиваются двери и в них проникает шум идущей снаружи жизни, точно не человек сообщает о том, что делается в городе, а сам город устами человека заявляет о себе. Так было и с Блоком. Таково было его одинокое, по-детски неиспорченное слово, такова сила его действия.

Бумага содержала некоторую новость. Казалось, что новость сама без спроса расположилась на печатном листе, а стихотворения никто не писал и не сочинял. Казалось, страницу покрывают не стихи о ветре и лужах, фонарях и звездах, но фонари и лужи сами гонят по поверхности журнала свою ветреную рябь, сами оставили в нем сырые, могучие воздействующие следы.

3

С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников, о которых речь будет ниже. У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого, все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба. Из этих

качеств и еще многих других остановлюсь на одной стороне, может быть наложившей на меня наибольший отпечаток и потому кажущейся мне преимущественной, — на блоковской стремительности, на его блуждающей пристальности, на беглости его наблюдений.

Свет в окошке шатался. В полумраке — один — У подъезда шептался С темнотой арлекин.

По улицам метель метет, Свивается, шатается, Мне кто-то руку подает И кто-то улыбается.

Там кто-то машет, дразнит светом. Так зимней ночью на крыльцо Тень чья-то глянет силуэтом И быстро скроется лицо.

Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, подпольному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица.

Эти черты проникают существо Блока, Блока основного и преобладающего, Блока второго тома ал коностовского издания, Блока «Страшного мира», «Последнего дня», «Обмана», «Повести», «Легенды», «Митинга», «Незнакомки», стихов: «В туманах, над сверканьем рос», «В кабаках, в переулках, в извивах», «Девушка пела в церковном хоре».

Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло бы показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это тоже не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.

Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.

Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.

В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такою нервною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира.

4

Я имел случай и счастье знать многих старших поэтов, живших в Москве, — Брюсова, Андрея Белого, Ходасевича, Вячеслава Иванова, Балтрушайтиса. Блоку я впервые представился в его последний наезд в Москву, в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья.

В этот вечер он выступал с чтением своих стихов в трех местах: в Политехническом, в Доме печати и в Обществе Данте Алигьери, где собрались самые ревностные его поклонники и где он читал свои «Итальянские стихи».

На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят бенефис, разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоем отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление в машине, и пока мы добрались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности. Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку после чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мертв, с чем он спокойно соглашался. Это говорилось за несколько месяцев до его действительной кончины.

5

В те годы наших первых дерзаний только два человека, Асеев и Цветаева, владели зрелым, совершенно сложившимся поэтическим слогом. Хваленая самобытность других, в том числе и моя, проистекала от полной беспомощности и связанности, которые не мешали нам, однако, писать, печататься и переводить. Среди удручающе неумелых писаний моих того времени самые страшные — переведенная мною пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гете в моем переводе. Есть отзыв Блока об этом переводе среди других его рецензий, написанных для издательства «Всемирная литература» и помещенных в последнем томе его собрания. Пренебрежительный, уничтожающий отзыв, в оценке своей заслуженный, справедливый. Однако от забежавших вперед подробностей пора вернуться к покинутому нами изложению, остановившемуся у нас на годах давно прошедших, девятисотых.

6

Гимназистом третьего или четвертого класса я по бесплатному билету, предоставленному дядею, начальником петербургской товарной станции Николаевской железной дороги, один ездил в Петербург на рождественские каникулы. Целые дни я бродил по улицам бессмертного города, точно ногами и глазами пожирая какую-то гениальную каменную книгу, а по вечерам пропадал в театре Комиссаржевской. Я был отравлен новейшей литературой, бредил Андреем Белым, Гамсуном, Пшибышевским.

Еще большее, настоящее представление о путешествии получил я от поездки всей семьей в 1906 году в Берлин. Я в первый раз попал тогда за границу.

Все необычно, все по-другому. Как будто не живешь, а видишь сон, участвуешь в выдуманном, ни для кого не обязательном театральном представлении. Никого не знаешь, никто тебе не указ. Длинный ряд распахивающихся и захлопывающихся дверец вдоль всей стены вагона, по отдельной дверце в каждое купе. Четыре рельсовых пути по кольцевой эстакаде, высящейся над улицами, каналами, скаковыми конюшнями и задними дворами исполинского города. Нагоняющие, обгоняющие друг друга, идущие рядом и расходящиеся поезда. Двоящиеся, скрещивающиеся, пересекающие друг друга огни улиц под мостами, огни вторых и третьих этажей на уровне свайных путей, иллюминованные разноцветными огоньками автоматические машины в вокзальных буфетах, выбрасывающие сигары, лакомства, засахаренный миндаль. Скоро я привык к Берлину, слонялся по его бесчисленным улицам и беспредельному парку, говорил по-немецки, подделываясь под берлинский выговор, дышал смесью паровозного дыма, светильного газа и пивного чада, слушал Вагнера.

Берлин был полон русскими. Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку» и делил музыку на три периода: на музыку животную, до Бетховена, музыку человеческую в следующем периоде и музыку будущего после себя.

Был в Берлине и Горький. Отец рисовал его. Андреевой не понравилось, что на рисунке скулы выступили, получились угловатыми. Она сказала: «Вы его не поняли. Он — готический». Так тогда выражались.

7

Наверное, после этого путешествия, по возвращении в Москву, в жизнь мою вошел другой великий лирик века, тогда едва известный, а теперь всем миром признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке.

В 1900 году он ездил в Ясную Поляну, к Толстому, был знаком и переписывался с отцом и одно лето прогостил под Клином, в Завидове, у крестьянского поэта Дрожжина.

В эти далекие годы он дарил отцу свои ранние сборники с теплыми надписями. Две такие книги с большим запозданием попались мне в руки в одну из описываемых зим и ошеломили меня тем же, чем поразили первые виденные стихотворения Блока: настоятельностью сказанного, безусловностью, нешуточ-ностью, прямым назначением речи.

8

У нас Рильке совсем не знают. Немногочисленные попытки передать его по-русски неудачны. Переводчики не виноваты. Они привыкли воспроизводить смысл, а не тон сказанного, а тут все дело в тоне.

В 1913 году в Москве был Верхарн. Отец рисовал его. Иногда он обращался ко мне с просьбой занять портретируемого, чтобы у модели не застывало и не мертвело лицо. Так однажды я развлекал историка В. О. Ключевского. Так пришлось мне занимать Верхарна. С понятным восхищением я говорил ему о нем самом и потом робко спросил его, слышал ли он когда-нибудь о Рильке. Я не предполагал, что Верхарн его знает. Позировавший преобразился. Отцу лучшего и не надо было. Одно это имя оживило модель больше всех моих разговоров. «Это лучший поэт Европы, — сказал Верхарн, — и мой любимый названый брат».

У Блока проза остается источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от языка и стиля его поэзии.

Однако сколько бы я ни разбирал и ни описывал его особенностей, я не дам о нем понятия, пока не приведу из него примеров, которые я нарочно перевел для этой главы с целью такого ознакомления.

9

ЗА КНИГОЙ

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь по всем приметам.
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог

Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
1лаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему.
Но надо глубже вжиться в полутьму
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
И крайняя звезда в конце села
Как свет в последнем домике прихода.
СОЗЕРЦАНИЕ
Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать средь нежданных
Невзгод, в скитаньях постоянных,
Один, без друга и сестры.
Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.

Как мелки с жизнью наши споры, Как крупно то, что против нас. Когда б мы поддались напору Стихии, ищущей простора, Мы выросли бы во сто раз.

Все, что мы побеждаем, — малость, Нас унижает наш успех. Необычайность, небывалость Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил, Тот правым, не гордясь собою, Выходит из такого боя В сознаньи и расцвете сил. Не станет он искать побед. Он ждет, чтоб высшее начало Его все чаще побеждало, Чтобы расти ему в ответ.

10

Приблизительно с 1907 года стали расти как грибы издательства, часто давали концерты новой музыки, одна задругою открывались выставки картин «Мира искусства», «Золотого руна», «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубой розы». Вместе с русскими именами Сомова, Сапунова, Судейкина, Кры-мова, Ларионова, Гончаровой мелькали французские имена Боннара и Вюйара. На выставках «Золотого руна», в затененных занавесями залах, где пахло землей, как в теплицах, от наставленных кругом горшков с гиацинтами, можно было видеть присланные на выставку работы Матисса и Родена. Молодежь примыкала к этим направлениям.

На территории одного из новых домов Разгуляя во дворе сохранялось старое деревянное жилье домовладельца-генерала. В мезонине сын хозяина, поэт и художник Юлиан Павлович Анисимов, собирал молодых людей своего толка. У него были слабые легкие. Зимы он проводил за границей. Знакомые собирались у него в хорошую

погоду весной и осенью. Читали, музицировали, рисовали, рассуждали, закусывали и пили чай с ромом. Здесь я познакомился со множеством народа.

Хозяин, талантливейшее существо и человек большого вкуса, начитанный и образованный, говоривший на нескольких иностранных языках свободно, как по-русски, сам воплощал собою поэзию в той степени, которая составляет очарование любительства и при которой трудно быть еще вдобавок творчески сильною личностью, характером, из которого вырабатывается мастер. У нас были сходные интересы, общие любимцы. Он мне очень нравился.

Здесь бывал ныне умерший Сергей Николаевич Дурылин, тогда писавший под псевдонимом Сергей Раевский. Это он переманил меня из музыки в литературу, по доброте своей сумев найти что-то достойное внимания в моих первых опытах. Он жил бедно, содержа мать и тетку уроками, и своей восторженной прямотой и неистовой убежденностью напоминал образ Белинского, как его рисуют предания.

Здесь университетский мой товарищ К. Г. Локс, которого я знал раньше, впервые показал мне стихотворения Иннокентия Анненского, по признакам родства, которое он установил между моими писаниями и блужданиями и замечательным поэтом, мне тогда еще неведомым.

У кружка было свое название. Его окрестили «Сердардой», именем, значения которого никто не знал. Это слово будто бы слышал член кружка, поэт и бас Аркадий Гурьев однажды на Волге. Он его слышал в ночной суматохе двух сошедшихся у пристани пароходов, когда один пришвартовывают к другому и публика с нового парохода проходит с багажом на пристань через внутренность ранее причаленного, смешиваясь с его пассажирами и вещами.

Гурьев был из Саратова. Он обладал могучим и мягким голосом и артистически передавал драматические и вокальные тонкости того, что он пел. Как все самородки, он одинаково поражал беспрерывным скоморошничаньем и задатками глубокой подлинности, проглядывавшимисквозьеголоманье. Незаурядные стихи его предвосхищали будущую необузданную искренность Маяковского и живо передающиеся читателю отчетливые образы Есенина. Это был готовый артист, оперный и драматический, в исконной актерской своей сути, неоднократно изображенной Островским.

У него была лобастая, круглая, как луковица, голова с едва заметным носом и признаками будущей лысины во весь череп, от лба до затылка. Весь он был движение, выразительность. Он не жестикулировал, не размахивал руками, но верх туловища, когда он стоя рассуждал или декламировал, ходил, играл, говорил у него. Он склонял голову, откидывался назад корпусом и ноги ставил врозь, как бы застигнутый в плясовой с притопыванием. Он немного зашибал и в запое начинал верить в свои выдумки. К концу своих номеров он делал вид, что пятка пристала у него к полу и ее не оторвать, и уверял, будто черт ловит его за ногу.

В «Сердарде» бывали поэты, художники, Б. Б. Красин, положивший на музыку блоковские «Вербочки», будущий сотоварищ ранних моих дебютов Сергей Бобров, появлению которого на Разгуляе предшествовали слухи, будто это ново-народившийся русский Рембо, издатель «Мусагета» А. М. Ко-жебаткин, наезжавший в Москву издатель «Аполлона» Сергей Маковский.

Сам я вступил в «Сердарду» на старых правах музыканта, импровизациями на фортепиано изображая каждого входящего в начале вечера, пока собирались.

Быстро проходила короткая весенняя ночь. В раскрытое окошко веяло утренним холодом. Его дыхание подымало полы занавесей, шевелило пламя догоравших свечей, шелестело лежавшими на столе листами бумаги. И все зевали, гости, хозяин, пустые дали, серое небо, комнаты, лестницы. Мы расходились, обгоняя по широким и

удлинившимся от безлюдья улицам громыхающие бочки нескончаемого ассенизационного обоза. «Кентавры», — говорил кто-нибудь на языке времени.

11

Вокруг издательства «Мусагет» образовалось нечто вроде академии. Андрей Белый, Степун, Рачинский, Борис Садовской, Эмилий Метнер, Шенрок, Петровский, Эллис, Нилендер занимались с сочувственной молодежью вопросами ритмики, историей немецкой романтики, русской лирикой, эстетикой Гёте и Рихарда Вагнера, Бодлером и французскими символистами, древнегреческой досократовской философией.

Душой всех этих начинаний был Андрей Белый, неотразимый авторитет этого круга тех дней, первостепенный поэт и еще более поразительный автор «Симфоний» в прозе и романов «Серебряный голубь» и «Петербург», совершивших переворот в дореволюционных вкусах современников и от которых пошла первая советская проза.

Андрей Белый обладал всеми признаками гениальности, не введенной в русло житейскими помехами, семьей, непониманием близких, разгулявшейся вхолостую и из силы производительной превратившейся в бесплодную и разрушительную силу. Этот изъян излишнего одухотворения не ронял его, а вызывал участие и прибавлял страдальческую черту к его обаянию.

Он вел курс практического изучения русского классического ямба и методом статистического подсчета разбирал вместе со слушателями его ритмические фигуры и разновидности. Я не посещал работ кружка, потому что, как и сейчас, всегда считал, что музыка слова — явление совсем не акустическое и состоит не в благозвучии гласных и согласных, отдельно взятых, а в соотношении значения речи и ее звучания.

Иногда молодежь при «Мусагете» собиралась не в конторе издательства, а в других местах. Таким сборным местом была мастерская скульптора Крахта на Пресне.

В мастерской был жилой верх в виде неогороженных, свешивавшихся над ней полатей, а внизу, задрапированные плющом и другой декоративной зеленью, белели слепки с античных обломков, гипсовые маски и собственные работы хозяина.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад под названием «Символизм и бессмертие». Часть общества сидела внизу, часть слушала сверху, разлегшись на полу антресолей и выставив за их край головы.

Доклад основывался на соображении о субъективности наших восприятий, на том, что ощущаемым нами звукам и краскам в природе соответствует нечто иное, объективное колебание звуковых и световых волн. В докладе проводилась мысль, что эта субъективность не является свойством отдельного человека, но есть качество родовое, сверхличное, что это субъективность человеческого мира, человеческого рода. Я предполагал в докладе, что от каждой умирающей личности остается доля этой неумирающей, родовой субъективности, которая содержалась в человеке при жизни и которою он участвовал в истории человеческого существования. Главною целью доклада было выставить допущение, что, может быть, этот предельно субъективный и всечеловеческий угол или выдел души есть извечный круг действия и главное содержание искусства. Что, кроме того, хотя художник, конечно, смертен, как все, счастье существования, которое он испытал, бессмертно и в некотором приближении к личной и кровной форме его первоначальных ощущений может быть испытано другими спустя века после него по его произведениям.

Доклад назывался «Символизм и бессмертие» потому, что в нем утверждалась символическая, условная сущность всякого искусства в том самом общем смысле, как можно говорить о символике алгебры.

Доклад произвел впечатление. О нем говорили. Я с него вернулся поздно. Дома я узнал, что задержанный болезнью в пути после ухода из Ясной Поляны Толстой

скончался на станции Ас-тапово и что отец вызван туда телеграммою. Мы быстро собрались и отправились на Павелецкий вокзал, к ночному поезду.

12

Тогда выезд за город был заметнее, чем теперь, сельская местность больше отличалась от городской, чем в настоящее время. С утра окно вагона наполнила и уже весь день не оставляла ровная, едва оживляемая редкими селениями ширь паров и озимей, тысячеверстная ширь России пахотной, деревенской, которая кормила небольшую городскую Россию и на нее работала. Землю уже посеребрили первые морозы, и необлетевшее золото берез обрамляло ее по межам, и это серебро морозов и золото берез скромным украшением лежало на ней, как листочки накладного золота и серебряной фольги на ее святой и смиренной старине.

Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки.

13

Наверное, стало известно, что покойного будут рисовать, а потом приехавший с Меркуровым формовщик будет снимать с головы маску, и прощавшихся удалили из комнаты. Когда мы вошли, она была пуста. Из дальнего угла навстречу отцу быстро шагнула заплаканная Софья Андреевна и, схватив его за руки, судорожно и прерывисто промолвила сквозь слезы: «Ах, Леонид Осипович, что я перенесла! Вы ведь знаете, как я его любила!» И она стала рассказывать, как она пыталась покончить с собой, когда Толстой ушел, и топилась и как ее, едва живую, вытащили из пруда.

В комнате лежала гора, вроде Эльбруса, и она была ее большой отдельною скалой. Комнату занимала грозовая туча в полнеба, и она была ее отдельною молнией. И она не знала, что обладает правом скалы и молнии безмолвствовать, и подавлять загадочностью поведения, и не вступать в тяжбу с тем, что было самым нетолстовским на свете, — с толстовцами, и не принимать карликового боя с этой стороною.

А она оправдывалась и призывала отца в свидетели того, что преданностью и идейным пониманием превосходит соперников и уберегла бы покойного лучше, чем они. Боже, думал я, до чего можно довести человека и более того: жену Толстого.

Странно, в самом деле. Современный человек, отрицающий дуэль как устаревший предрассудок, пишет огромное сочинение на тему о дуэли и смерти Пушкина. Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щеголеве и позднейшем пушкиноведении, и все было бы в порядке. Он дожил бы до наших дней, присочинил бы несколько продолжений к «Онегину» и написал бы пять «Полтав» вместо одной. А мне всегда казалось, что я перестал бы понимать Пушкина, если бы допустил, что он нуждался в нашем понимании больше, чем в Наталии Николаевне.

14

Но в углу лежала не гора, а маленький сморщенный старичок, один из сочиненных Толстым старичков, которых десятки он описал и рассыпал по своим страницам. Место было кругом утыкано невысокими елочками. Садившееся солнце четырьмя наклонными снопами света пересекало комнату и крестило угол с телом крупной тенью оконных крестовин и мелкими, детскими крестиками вычертившихся елочек.

Станционный поселок Астапово представлял в тот день нестройно шумевший табор мировой журналистики. Бойко торговал буфет на вокзале, официанты сбивались с ног, не поспевая за требованиями и бегом разнося поджаристые бифштексы с кровью. Рекою лилось пиво.

На вокзале были Толстые Илья и Андрей Львовичи. Сергей Львович прибыл в поезде, пришедшем за прахом Толстого для перевоза его в Ясную Поляну.

С пением «Вечной памяти» студенты и молодежь перенесли гроб с телом по станционному дворику и саду на перрон, к поданному поезду, и поставили в товарный вагон. Толпа на платформе обнажила головы, и под возобновившееся пенье поезд тихо отошел в тульском направлении.

Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги, как странник, близ проездных путей тогдашней России, по которым продолжали пролетать и круговращаться его герои и героини и смотрели в вагонные окна на ничтожную мимолежащую станцию, не зная, что глаза, которые всю жизнь на них смотрели, и обняли их взором, и увековечили, навсегда на ней закрылись.

15

Если взять по одному качеству от каждого писателя, например, назвать страстность Лермонтова, многосодержательность Тютчева, поэтичность Чехова, ослепительность Гоголя, силу воображения Достоевского, — что сказать о Толстом, ограничив определение одной чертою?

Главным качеством этого моралиста, уравнителя, проповедника законности, которая охватывала бы всех без послаблений и изъятий, была ни на кого не похожая, парадоксальности достигавшая оригинальность.

Он всю жизнь, во всякое время обладал способностью видеть явления в оторванной окончательности отдельного мгновения, в исчерпывающем выпуклом очерке, как глядим мы только в редких случаях, в детстве, или на гребне всеобновляющего счастья, или в торжестве большой душевной победы.

Для того чтобы так видеть, глаз наш должна направлять страсть. Она-то именно и озаряет своей вспышкой предмет, усиливая его видимость.

Такую страсть, страсть творческого созерцания, Толстой постоянно носил в себе. Это в ее именно свете он видел все в первоначальной свежести, по-новому и как бы впервые. Подлинность виденного им так расходится с нашими привычками, что может показаться нам странной. Но Толстой не искал этой странности, не преследовал ее в качестве цели, а тем более не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема.

ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЮ ВОЙНОЮ 1

Половину 1912 года, весну и лето, я пробыл за границей. Время наших учебных каникул приходится на Западе на летний семестр. Этот семестр я провел в старинном университете города Марбурга.

В этом университете Ломоносов слушал математика и философа Христиана Вольфа. За полтора столетия до него здесь проездом из-за границы, перед возвращением на родину и смертью на костре в Риме, читал очерк своей новой астрономии Джордано Бруно.

Марбург — маленький средневековый городок. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты. Он живописно лепится по горе, из которой добыт камень, пошедший на постройку его домов и церквей, замка и университета, и утопает в густых садах, темных как ночь.

У меня остались крохи от средств, отложенных на жизнь и учение в Германии. На этот неизрасходованный остаток я съездил в Италию. Я видел Венецию, кирпично-розовую и аквама-риново-зеленую, как прозрачные камешки, выбрасываемые морем на берег, и посетил Флоренцию, темную, тесную, стройную, — живое извлечение из дантовских терцин. На осмотр Рима у меня не хватило денег.

В следующем году я окончил Московский университет. Мне в этом помог Мансуров, оставленный при университете молодой историк. Он снабдил меня целым

собранием подготовительных пособий, по которым сам он сдавал государственный экзамен в предшествующем году. Профессорская библиотека с избытком превышала экзаменационные требования и кроме общих руководств содержала подробные справочники по классическим древностям и отдельные монографии по разным вопросам. Я насилу увез это богатство на извозчике.

Мансуров был родней и другом молодого Трубецкого и Дмитрия Самарина. Я их знал по Пятой гимназии, где они ежегодно сдавали экзамены экстернами, обучаясь дома.

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая, были — один профессором энциклопедии права, другой ректором университета и известным философом. Оба отличались крупной корпуленцией и, слонами в сюртуках без талий взгромоздясь на кафедру, тоном упрашивания глуховатыми, аристократически картавыми, клянчащими голосами читали свои замечательные курсы.

Сходной породы были молодые люди, неразлучною тройкой заглядывавшие в университет, рослые даровитые юноши со сросшимися бровями и громкими голосами и именами.

В этом кругу была в почете Марбургская философская школа. Трубецкой писал о ней и посылал туда наиболее одаренных учеников совершенствоваться. Побывавший там до меня Дмитрий Самарин был в городке своим человеком и патриотом Мар-бурга. Я туда отправился по его совету.

Дмитрий Самарин был из знаменитой славянофильской семьи, в бывшем имении которой теперь раскинулся городок писателей в Переделкине и Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Философия, диалектика, знание Гегеля были у него в крови, были наследственными. Он разбрасывался, был рассеян и, наверное, не вполне нормален. Благодаря странным выходкам, которыми он поражал, когда на него находило, он был тяжел и в общежитии невыносим. Нельзя винить родных, не уживавшихся с ним и с которыми он вечно ссорился.

В начале нэпа он очень опростившимся и всепонимающим прибыл в Москву из Сибири, по которой его долго носила гражданская война. Он опух от голода и был с пути во вшах. Измученные лишениями близкие окружили его заботами. Но было уже поздно. Вскоре он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль.

Я не знаю, что сталось с Мансуровым, а знаменитый филолог Николай Трубецкой прославился на весь мир и недавно умер в Вене.

2

Лето после государственных экзаменов я провел у родителей на даче в Молодях, близ станции Столбовой по Московско-Курской железной дороге.

В доме, по преданию, казаки нашей отступавшей армии отстреливались от наседавших передовых частей Наполеона. В глубине парка, сливавшегося с кладбищем, зарастали и приходили в ветхость их могилы.

Внутри дома были узкие, по сравнению с их высотою, комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала гигантских размеров тени по углам темно-бордовых стен и потолку.

Под парком вилась небольшая речка, вся в крутых водоро-инах. Над одним из омутов полуоборвалась и продолжала расти в опрокинутом виде большая старая береза.

Зеленая путаница ее ветвей представляла висевшую над водою воздушную беседку. В их крепком переплетении можно было расположиться сидя или полулежа. Здесь обосновал я свой рабочий угол. Я читал Тютчева и впервые в жизни писал стихи не в виде редкого исключения, а часто и постоянно, как занимаются живописью или пишут музыку.

В гуще этого дерева я в течение двух или трех летних месяцев написал стихотворения своей первой книги.

Книга называлась до глупости притязательно «Близнец в тучах», из подражания космологическим мудреностям, которыми отличались книжные заглавия символистов и названия их издательств.

Писать эти стихи, перемарывать и восстанавливать зачеркнутое было глубокой потребностью и доставляло ни с чем не сравнимое, до слез доводящее удовольствие.

Я старался избегать романтического наигрыша, посторонней интересности. Мне не требовалось громыхать их с эстрады, чтобы от них шарахались люди умственного труда, негодуя: «Какое падение! Какое варварство!» Мне не надо было, чтобы от их скромного изящества мерли мухи и дамы-профессорши после их чтения в кругу шести или семи почитателей говорили: «Позвольте пожать вашу честную руку». Я не добивался отчетливой ритмики, плясовой или песенной, от действия которой почти без участия слов сами собой начинают двигаться ноги и руки. Я ничего не выражал, не отражал, не отображал, не изображал.

Впоследствии, ради ненужных сближений меня с Маяковским, находили у меня задатки ораторские и интонационные. Это неправильно. Их у меня не больше, чем у всякого говорящего.

Совсем напротив, моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину. Чтобы всеми своими особенностями оно было вгравировано внутрь книги и говорило с ее страниц всем своим молчанием и всеми красками своей черной, бескрасочной печати.

Например, я писал стихотворение «Венеция» или стихотворение «Вокзал». Город на воде стоял предо мной, и круги и восьмерки его отражений плыли и множились, разбухая, как сухарь в чаю. Или вдали, в конце путей и перронов, возвышался, весь в облаках и дымах, железнодорожный прощальный горизонт, за которым скрывались поезда и который заключал целую историю отношений, встречи и проводы и события до них и после них.

Мне ничего не надо было от себя, от читателей, от теории искусства. Мне нужно было, чтобы одно стихотворение содержало город Венецию, а в другом заключался Брестский, ныне

Белорусско-Балтийский вокзал. Строки «Бывало, раздвинется запад в маневрах ненастий и шпал» из названного «Вокзала» нравились Боброву. У нас было в сообществе с Асеевым и несколькими другими начинающими небольшое содружеское издательство на началах складчины. Знавший типографское дело по службе в «Русском архиве» Бобров сам печатался с нами и выпускал нас. Он издал «Близнеца» с дружеским предисловием Асеева.

Мария Ивановна Балтрушайтис, жена поэта, говорила: «Вы когда-нибудь пожалеете о выпуске незрелой книжки». Она была права. Я часто жалел о том.

3

Жарким летом 1914 года, с засухой и полным затмением солнца, я жил на даче у Балтрушайтисов в большом имении на Оке, близ города Алексина. Я занимался предметами с их сыном и переводил для возникшего тогда Камерного театра, которого Балтрушайтис был литературным руководителем, немецкую комедию Клейста «Разбитый кувшин».

В имении было много лиц из художественного мира: поэт Вячеслав Иванов, художник Ульянов, жена писателя Муратова. Неподалеку, в Тарусе, Бальмонт для того же театра переводил «Сакунталу» Калидасы.

В июле я ездил в Москву на комиссию, призываться, и получил белый билет, чистую отставку, по укорочению сломанной в детстве ноги, с чем и вернулся на Оку к Балтрушайтисам.

Вскоре после этого выдался такой вечер. По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка, польки и марши. Потом из-за мыса выплыл небольшой буксирный пароходик с тремя баржами. Наверное, с парохода увидали имение на горе и решили причалить. Пароход повернул через реку наперерез и подвел баржи к нашему берегу. На них оказались солдаты, многочисленная гренадерская воинская часть. Они высадились и развели костры под горою. Офицеров пригласили наверх ужинать и ночевать. Утром они отвалили. Это была одна из частностей заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война.

4

Тогда я в два срока с перерывами около года прослужил домашним учителем в семье богатого коммерсанта Морица Филиппа, гувернером их сына Вальтера, славного и привязчивого мальчика.

Летом во время московских противонемецких беспорядков в числе крупнейших фирм Эйнема, Ферейна и других громили также Филиппа, контору и жилой особняк.

Разрушения производили по плану, с ведома полиции. Имущества служащих не трогали, только хозяйское. В творившемся хаосе мне сохранили белье, гардероб и другие вещи, но мои книги и рукописи попали в общую кашу и были уничтожены.

Потом у меня много пропадало при более мирных обстоятельствах. Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог. Я не тужу об исчезновении работ порочных и несовершенных. Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи.

Терять в жизни более необходимо, чем приобретать. Зерно не даст всхода, если не умрет. Надо жить не уставая, смотреть вперед и питаться живыми запасами, которые совместно с памятью вырабатывает забвение.

В разное время у меня по разным причинам затерялись: текст доклада «Символизм и бессмертие». Статьи футуристического периода. Сказка для детей в прозе. Две поэмы. Тетрадь стихов, промежуточная между сборником «Поверх барьеров» и «Сестрой моей жизнью». Черновик романа в нескольких листового формата тетрадях, которого отделанное начало было напечатано в виде повести «Детство Люверс». Перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт.

Из разоренного и наполовину сожженного дома Филиппы перебрались в наемную квартиру. Тут тоже имелась для меня отдельная комната. Я хорошо помню. Лучи садившегося осеннего солнца бороздили комнату и книгу, которую я перелистывал. Вечер в двух видах заключался в ней. Один легким порозовени-ем лежал на ее страницах. Другой составлял содержание и душу стихов, напечатанных в ней. Я завидовал автору, сумевшему такими простыми средствами удержать частицы действительности, в нее занесенные. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник».

5

В те же годы, между службою у Филиппов, я ездил на Урал и в Прикамье. Одну зиму я прожил во Всеволодо-Вильве, на севере Пермской губернии, в месте, некогда посещенном Чеховым и Левитаном, по свидетельству А. Н. Тихонова, изобразившего эти места в своих воспоминаниях. Другую перезимовал в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушковых.

В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону.

Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь.

Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву.

На Ижевском заводе я должен был найти и захватить ранее командированного туда инженера и замечательного человека Збар-ского, поступить в его распоряжение и следовать с ним дальше.

Из Тихих Гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекатывался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.

Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стежку. Часто возок крышею наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался по ним, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.

Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала.

Я опять засыпал, теряя представление о протекшем той порою времени, и вдруг пробуждался от толчка и прекратившегося движения.

Ямской стан в лесу, совершенно как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим, может быть, за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть стано-вихой, новый утирает усы и губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.

И опять гон вовсю, свист полозьев и дремота и сон. А потом, на другой день, — неведомая даль в фабричных трубах, бескрайняя снежная пустыня большой замерзшей реки и какая-то железная дорога.

6

Бобров незаслуженно тепло относился ко мне. Он неусыпно следил за моей футуристической чистотой и берег меня от вредных влияний. Под таковыми он разумел сочувствие старших. Едва он замечал признаки их внимания, как из страха, чтобы их ласка не ввергла меня в академизм, любыми способами торопился разрушить наметившуюся связь. Я не переставал со всеми ссориться по его милости.

Мне были по душе супруги Анисимовы, Юлиан и его жена Вера Станевич. Невольным образом мне пришлось участвовать в разрыве Боброва с ними.

Мне сделал трогательную надпись на подаренной книге Вячеслав Иванов. Бобров в кругу Брюсова высмеял надпись в таком духе, точно я сам дал толчок зубоскальству. Вячеслав Иванов перестал со мною кланяться.

Журнал «Современник» поместил мой перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин». Работа была незрелая, неинтересная. Мне следовало в ноги поклониться журналу за ее помещение. Кроме того, еще больше надлежало мне поблагодарить редакцию за то, что чья-то неведомая рука прошлась по рукописи к ее вящей красе и пользе.

Но чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства. Принято было задирать нос, ходить гоголем и нахальничать, и, как это мне ни претило, я против воли тянулся за всеми, чтобы не упасть во мнении товарищей.

Что-то случилось с корректурой комедии. Она опоздала и содержала посторонние приписки наборной, к тексту не относившиеся.

В оправдание Боброва надо сказать, что сам он о деле не имел ни малейшего представления и в данном случае действительно не ведал, что творил. Он сказал, что так этого безобразия, мазни в корректуре и непрошеной стилистической правки оригинала нельзя оставить и что я должен на это пожаловаться Горькому, негласно причастному, по его сведениям, к ведению журнала. Так я и сделал. Вместо благодарности редакции «Современника» я в глупом письме, полном деланной, невежественной фанаберии, жаловался Горькому на то, что со мною были внимательны и оказали мне любезность. Годы прошли, и оказалось, что я жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою.

Наконец, и знакомство мое с Маяковским началось с полемической встречи двух враждовавших между собой футуристических групп, из которых к одной принадлежал он, а к другой я. По мысли устроителей должна была произойти некоторая потасовка, но ссоре помешало с первых слов обнаружившееся взаимопонимание нас обоих.

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Признание, которым он меня дарил, преувеличивают. Его точку зрения на мои вещи искажают.

Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги — «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений.

Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физическою пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен, впадая в беспамятство от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем, и если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут помочь ему.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себе, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть, в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого, что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая — как знать, может быть, это еще не конец и, не ровен час, бабушка еще надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать

увлекательною страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, и в испуге отшатнулась, и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунула голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше недостоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, все кончено. Прощай, Саша».

Но все они мучились неописуемо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевною болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны были я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шерше-невич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до чрезвычайности. Это были те первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый, мрачного вида юноша с басом протодиакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив, и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда в период упадка главных центров глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так, в царство танго и скетинг-рингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустьи еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной громоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл.

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничания ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся, была так необычна. Это была поэзия

мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

Время, молю, хоть ты слепой богомаз, Лик намалюй мой в божницу уродца века! Я одинок, как единственный глаз У идущего к слепым человека!

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать!

Или он говорит:

Вам ли понять, почему я, спокойный, Насмешек грозою Душу на блюде несу К обеду грядущих лет...

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах-пустынниках» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений были дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали и помнили с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружились непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремление к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией создали особый, странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход турге-невщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихиею.

Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве. По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды, во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным мрачным юмором так определил наше несходство: «Ну что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я — в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компаней-ства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное полуискусство, которое процветало в Лефе, не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями, и, например, Есенин в период недовольства имажинизмом просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на «вы», а с Есениным на «ты», мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главною опорою.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из

В июле 1917 года меня, по совету Брюсова, разыскал Эренбург. Тогда я узнал этого умного писателя, человека противоположного мне склада, деятельного, незамкнутого.

состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей жизни» с такими среди прочих строками:

Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха!
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу яличным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ей. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Тогда начался большой приток возвращающихся из-за границы политических эмигрантов, людей, застигнутых на чужбине войной и там интернированных, и других. Приехал из Швейцарии Андрей Белый. Приехал Эренбург.

Эренбург расхваливал мне Цветаеву, показывал ее стихи. На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня.

Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившими кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали.

Именно гармония цветаевских стихов, ясность их смысла, наличие одних достоинств и отсутствие недостатков служили мне препятствием, мешали понять, в чем их суть. Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты.

Я долго недооценивал Цветаеву, как по-разному недооценил многих — Багрицкого, Хлебникова, Мандельштама, Гумилева.

Я уже сказал, что среди молодежи, не умевшей изъясняться осмысленно, возводившей косноязычие в добродетель и оригинальной поневоле, только двое, Асеев и Цветаева, выражались по-человечески и писали классическим языком и стилем.

И вдруг оба отказались от своего умения. Асеева прельстил пример Хлебникова. С Цветаевой произошли собственные внутренние перемены. Но победить меня успела еще прежняя, преемственная Цветаева, до перерождения.

2

В нее надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и силы. Ничего подобного нигде кругом не существовало. Сокращу рассуждения. Не возьму греха на душу, если скажу. За вычетом Анненского и Блока и с некоторыми ограничениями Андрея Белого, ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли все остальные символисты, вместе взятые. Там, где их словесность бессильно барахталась в мире надуманных схем и безжизненных архаизмов, Цветаева легко носилась над трудностями настоящего творчества, справляясь с его задачами играючи, с несравненным техническим блеском.

Весной 1922 года, когда она была уже за границей, я в Москве купил маленькую книжечку ее «Верст». Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов.

Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений.

Я написал Цветаевой в Прагу письмо, полное восторгов и удивления по поводу того, что я так долго прозевывал ее и так поздно узнал. Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма конца», «Поэма горы» и «Крысолов». Мы подружились.

Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж, на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте, без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения.

3

В начале этого вступительного очерка, на страницах, относящихся к детству, я давал реальные картины и сцены и описывал живые происшествия, а с середины перешел к обобщениям и стал ограничивать изложение беглыми характеристиками. Это пришлось сделать в интересах сжатости.

Если бы я стал рассказывать случай за случаем и положение за положением историю объединявших меня с Цветаевой стремлений и интересов, я далеко вышел бы из поставленных себе границ. Я должен был бы посвятить этому целую книгу, так много пережито было тогда совместного, менявшегося, радостного и трагического, всегда неожиданного и всегда, от раза к разу, обоюдно расширявшего кругозор.

Но и здесь, и в оставшихся главах я воздержусь отличного и частного и ограничусь существенным и общим.

Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.

Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.

Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.

Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву.

Мы были друзьями. У меня хранилось около ста писем от нее в ответ на мои. Несмотря на место, которое, как я раньше сказал, занимали в моей жизни потери и пропажи, нельзя было вообразить, каким бы образом могли когда-нибудь пропасть эти бережно хранимые драгоценные письма. Их погубила излишняя тщательность их хранения.

В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой.

4

На протяжении десятилетий, протекших с напечатания «Охранной грамоты», я много раз думал, что если бы пришлось переиздать ее, я приписал бы к ней главу о Кавказе и двух грузинских поэтах. Время шло, и надобности в других дополнениях не представлялось. Единственным пробелом оставалась эта недостающая глава. Сейчас я напишу ее.

Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт ПаолоЯшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.

Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.

Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное блеяние волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен.

5

Паоло Яшвили — замечательный поэт послесимволистическо-го времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит.

Первая мировая война застала Яшвили в Париже, студентом Сорбонны. Он кружным путем возвращался к себе на родину. На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал. Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл. Случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку.

Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.

В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.

6

Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же, в тот же вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.

Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.

7

Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждою своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.

Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес не сказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию.

Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят в голову, комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках.

Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря.

Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотная и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и

постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким.

Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристою листвою тополя, белобархатною с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И, как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды.

Или мы на Военно-Грузинской дороге, или в Боржоме, или в Абастумане. Или после поездок, красот, приключений и возлияний мы кто с чем, а я с подбитым от падения глазом в Баку-рианах, в гостях у Леонидзе, самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу.

Ночное пиршество на траве в лесу, красавица хозяйка, две маленьких очаровательных дочки. На другой день неожиданный приход мествире, бродячего народного импровизатора, с волынкой и величание экспромтом всего стола подряд, гостя за гостем, с подобающим каждому текстом и умением ухватиться за любой подвернувшийся повод для тоста, за мой подбитый глаз например.

Или мы на море, в Кобулетах, дожди и штормы, и в одной гостинице с нами Симон Чиковани, будущий мастер яркого живописного образа, тогда еще совсем юный. И над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мной улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице. И если я еще раз прощусь с ним теперь на этих страницах, пусть будет это в его лице прощанием со всеми остальными воспоминаниями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здесь кончается мой биографический очерк. Продолжать его дальше было бы непомерно трудно. Соблюдая последовательность, дальше пришлось бы говорить о годах, обстоятельствах, людях и судьбах, охваченных рамою революции.

О мире ранее неведомых целей и стремлений, задач и подвигов, новой сдержанности, новой строгости и новых испытаний, которые ставил этот мир человеческой личности, чести и гордости, трудолюбию и выносливости человека.

Вот он отступил в даль воспоминаний, этот единственный и подобия не имеющий мир, и высится на горизонте, как горы, видимые с поля, или как дымящийся в ночном зареве далекий большой город.

Писать о нем надо так, чтобы замирало сердце и подымались дыбом волосы.

Писать о нем затверженно и привычно, писать не ошеломляюще, писать бледнее, чем изображали Петербург Гоголь и Достоевский, — не только бессмысленно и бесцельно, писать так — низко и бессовестно.

Мы далеки еще от этого идеала.

Весна 1956, ноябрь 1957

НЕОКОНЧЕННАЯ ПРОЗА

БЫЛ СТРАННЫЙ ГОД

Опасности и болезни, обыкновенно подстерегавшие отдельных людей и, бывало, бережно обходившие соседей, чтобы попасть с черного хода к какому-нибудь определенному лицу, порвали все свои связи с определенными лицами и стали знаться с целыми государствами, навязывая им новыми формами своих сношений с людьми новые обычаи и повадки.

Началось массовое лечение государств. От опасностей их стали лечить солдаты; солдат — от увечий, причиненных опасностью государств, — врачи. Эти последние, по уши заваленнне работой, не могли, понятно, найти времени для того, чтобы приступить к исцелению поветрия главного и существенного, того, которое влекло за собой все остальные болезни, — к исцелению самих опасностей.

Но было ясно, что корень зла лежит в том, что опасности помешались, что они, противореча собственной своей природе, накинулись на целые народности, утратив естественное и прирожденное свойство свое: склонность к отдельным фаворитам.

Опасности повели себя так, как вообще по плану Творца должно вести себя благоденствие, объединяющее отдельных людей в целое общество и этим их обезличивающее. Такова была основная болезнь тех лет: опасности выродились, извращенная природа их сказалась в том, что, лишась собственных привычек, они усвоили себе привычки благоденствия и в ложном этом положении стали, как поступает благоденствие: объединять обезличенных людей в роты, полки, нации, комитеты и санитарные отряды.

Рожь, попорченная спорыньей, — больная рожь. Деревня, питающаяся такой рожью, заболевает поголовно — почти поголовно. Почти поголовно больны были люди тех лет, употреблявшие в виде опасности — больную опасность и объединявшиеся вокруг опасности так, как если б опасность была благоденствием.

Исключением из всех были люди здоровые, те, которых принято называть талантливыми, те, которые глухо заклепаны от всех остальных, и не так, как запечатывает эгоиста бессердечие, но так, как заливает лавой города, когда мимоходом, устремляясь к выходу, волна из себя вышедшего события, всепожирающая, разрушив все на своем пути, делает изъятие для маленького городка и вместо того, чтобы смести его, увековечивает римское захолустье, а также вместе с р<имским> з<ахо-лустьем> и себя вдень своего гнева.

1916

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КОНТРОКТАВЫ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

I

Богослужение окончилось. Пучащаяся волна чопорных робронд и оттопыренных оборок хлынула к выходу. Когда отбушевало платье последней прихожанки, под сводами стало холодно и бессмысленно пусто: внутренность бездушной церкви уподобилась стеклянному колоколу огромного воздушного насоса; через узкие клапаны долгих окон на спинки скамей и на завитки лепных украшений лились охлажденные потоки белого, обеспложенного полдня; их всасывало сюда пустотой огромного помещения; они были похожи на колонны, поваленные набок, и упирались всею массой своего света в деревянные бордюры широких сидений, чтобы не поскользнуться на каменном полу и не рухнуть на пыльные доски пюпитров.

А тем временем органист поддавал жару. Он дал волю своей машине в тот еще момент, когда вслед за брюзгливым визгом протяжно затормаживаемой каденции с гулким шарканьем повставали со своих мест крестьяне и горожанки и толпою направились к выходным дверям.

На пороге образовалась давка; навстречу к выходящим тронулся и пошел, сдвинувшись с насиженного места, горячий нагрев сухого майского вёдра. Толпа

выходила на паперть с говором, какой сразу завязывается на воле, громким, сборным и людным; говор этот облит был солнцем, и его ожгло чириканьем птиц. Но и за таким говором, с яркой площади, через раскрытые двери, было слышно, как провожает прихожан радушный Кнауер. В толпе легко могли затереть или помять подголоски его ликующей инвенции, которые прыгали промеж расходящихся и кидались им на грудь, как резвящиеся лягавые, в полном исступлении от радости, что их так много при одном хозяине, — потому что органист имел обыкновение спускать всю свору бесчисленных своих регистров к концу службы. Постепенно церковь опустела. Но органист продолжал играть.

Всякая сила, отдавшись непланомерно быстрому росту, достигает, наконец, до того предела, где, осмотревшись по сторонам, она не видит уже никого возле себя. Мелодическая кантилена инвенции с минуты на минуту становилась лучше; она хорошела и наливалась зрелой силой, а когда сквозь нее потянуло одиночеством и свело ее по всему ее телу недомоганием силы, не находящей дела по себе, органист содрогнулся оттого чувства, которое знакомо только артисту; он содрогнулся оттого свойства, которое существовало в этот миг между ним и кантиленой, от смутной догадки, что она знает его так же хорошо, как и он ее; и его влекло к ней влечением равного к равному, он гордился ею, не зная, что их чувства взаимны.

Органист играл, позабыв обо всем на свете. Одна инвенция сменялась другой. Случилась и такая, где вся звуковая знать верхов неприметно, друг за дружкой перебралась в басы. Тут, в баронии благородных октав, верх надо всем взяла одна, сильнейшая и благороднейшая, и завладела темою безраздельно. Тема приближалась к органному пункту, шумно развивая неслыханную, угрожающую скорость. Она благополучно пронеслась мимо последнего звена секвенции; от доминанты ее отделяло несколько шагов, как вдруг вся инвенция, — инвенция целиком, сразу в одно мгновение ока непоправимо катастрофически осиротела, словно со всех этих звуков одновременно посшибали шапки или сами они, всею толпой пообнажали головы; когда, на рискованнейшем повороте одного басового предложения, орган отказал двум клавишам в повиновении и из грандиозного бастиона труб и клапанов рванулся какой-то нечеловеческий крик, нечеловеческий оттого, что он казался принадлежащим человеку.

Этот необъяснимый вопль был, впрочем, скоро покрыт и замят иными звуками; и хотя из-под свихнувшегося клавиша нельзя было уже извлечь ничего, кроме стука деревяшки об деревяшку, органист мужественно снес свое лишение. И так же, как не дал органист оторвать себя от мануали получасом раньше своей жене, так точно и сейчас его не могло остановить в его излияниях неповиновение какого-то клавиша. А получасом раньше жена его, зайдя в пустую церковь через боковой вход, громко через всю церковь прокричала ему на галерею, что Аугуста, сестра его и ее невестка, — здесь, что она приехала уже, и хорошо бы ему сойти к ней; она тут в церковном саду сейчас и ждет его, она хочет поскорей увидеть маленького Готлиба, а Кнауер зачем-то прихватил мальчика с собой, и ребенок, наверное, проголодался; что если Кнауер останется играть, пусть бы он мальчика по крайности ей сдал, и они бы тогда с Аугустой домой пошли, атак... и чем, собственно, ребенок виноват, что отец...

— Готлиба здесь нет, — отрезал, не оборачиваясь, Кнауер. — Он вертелся тут — а теперь не знаю, где — он, наверное, у Пок-кеннарбов — я видел его вместе с Терезой.

— Опять эти пономарята, Кнауер, сколько раз!..

— Не слышу. Ступай домой, Дортхен. Я ничего не слышу. Столько же внимания Кнауер уделил и покалеченному

клавишу. Он перенес свой уход за звуками с басов в средние октавы, где несколько заключительных аккордов вернули ему, наконец, самообладание и спокойствие. Затем

он поднялся с сиденья, запер мануаль на ключ и, отпустив раздувальщика Зеебальда домой, прошел во внутреннее помещение органного корпуса, чтобы на месте исследовать повреждение вентилей Gis и Ais.

II

Был вечер Троицына дня. В малоосвещенных частях города, как слова, произнесенные ровным голосом среди полнейшей тишины, со светлеющего неба срывались краткие, до черноты стесненные и сжатые линии коньков, стрельчатых карнизов, свесов, подзоров и прочих чудес средневекового зодчества, закопченного сумраком и стариной. Черные края их лихорадило от прикосновения небесного озера, в котором, тая и питая его глубины темным холодком, плавал о два куска колотого льда: две крупных обтаивающих звезды, переполнявших через и без того полное колыханной светлости небо. И черные края гребней и стрех бросало в тонкий озноб от близости таких ключей, в озноб тем более резкий, что не было таких закруглений и таких выемок в строе кровель, до которых не добирался бы, доставая и прощупывая их — зыблящийся наплыв этой бледной, неосев-шей ночи.

В этих частях было тихо, и тишина действовала чудным, возбуждающим образом на небо; оно, настораживаясь и вздрагивая, прислушивалось к чему-то издалека. Но стоило появиться трактирному фонарю в купе садовых каштанов, как тотчас же мутные его лучи зажигали целый муравейник шелеста вокруг; и муравейник этот, кучась, становился вдруг муравейником сонных и скучных слов, когда, раздвигая садовые стулья и не дожевав своих речей, занесенных с улицы, вокруг столов рассаживались домовитые жители Ансбаха со своими чадами и домочадцами. Тогда, распростав заскорузлые сучья каштанов, небо нагибалось к беседующим; оно свешивалось на кончиках веток к самым скатертям, гибкое и мускулистое, как гимнаст, смуглое, покрывшееся оливковым загаром от присутствия горящих там и сям садовых фонарей. И мимоходом задетые им пирамидальные соцветия изредка роняли отдельные цветы со своих стоячих горок; лепестки эти упадали в кружки с пивом и, кружась, успокаивались, наконец, в кольчатом кружеве пивной пены на поверхности, изошедшей сплетением петель и похожей на вытекший бычий глаз. А на холщовые скатерти ночь швыряла целые пригоршни жуков, ночных мушек и мотылей и пригоршнями жирного кофейного семени, с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей. Как в казане жаровни, богатой, полновесною гущей сыпались, крушась, речи в садах, где словно кто мешал и поворашивал их железным совком, руша и пересыпая их с глухим снотворным звоном.

Здесь за столами только и говорили, что о несчастии у Кнау-еров, — и у людей охота пропадала веселиться, лишь только об этом заходила речь. Лавочники и цеховые, с женами и детьми, признав однажды, что праздник испорчен уже этим мгновенно весь город облетевшим известием, исхищрялись в старании испортить друг другу последний хотя бы остаток праздничного расположения духа, раз уж в угоду лицемерной участливости каждому из них пришлось отказаться от своих праздничных повадок. И они надоедали друг другу повторяющимися пересудами о том, может ли такая беда стрястись над всяким; поделом или нет посетил Господь заносчивого органиста, и если поделом, то не угодней ли Создателю они, эти простые и в этот вечер простоту свою удовлетворенно признавшие души. Чутьем домашних животных чуяли они, что праздник святой Троицы — праздник их сословия, что грузные и узловатые своды каштановых деревьев — сословная их сень, и что пиво, изошедшее сомкнутыми петлями и кольцами и похожее на вытекший бычий глаз, — их сословный напиток. И так как именно в этот день и как раз на общей почве родного города был наказан Провидением чуждавшийся их органист — не еще где-нибудь и не в иной какой день, — то им казалось всем, что он не случайно и с умыслом наказан Провидением в их

присутствии; что они призваны всем своим присутствием судить Кнауера и осудить. И они осудили его, присудив органиста к тому, что произошло уже и без их вмешательства, несколькими часами раньше, в этот мирный и незаносящийся теплый и, следовательно, сословный их день святой Троицы. Весь город только и говорил, что об органисте. И когда Юлий Розариус на возвратном пути из Лоллара, позднею ночью, при проезде через Старые графские ворота, не сходя с экипажа, спросил по давнишней своей привычке сторожа у этих ворот, нет ли чего нового в городе, он услышал в ответ приблизительно следующее. Кнауер, органист, насмерть задавил собственного своего ребенка; говорят, это случилось во время бешеных его экстемпорирований; ребенок забрел во внутреннее помещенье органа, и его придушило там боковым каким-то рычагом. Одному Богу известно, как это случилось. Не верится, чтобы это было возможно, и, однако, это так.

Всю ночь на квартире у Кнауеров кресла, столы и шкафы, часы и книги чувствовали себя так, как будто на них надели парусиновые чехлы, хозяева в отъезде, двери на замке; между тем наружные двери и не притворялись ни разу за весь день, хозяева были дома и неложились, и некоторая доля правды былалишь в том, что касалось чехлов: потому что чехлы, чехлы из частых всхлипываний, сдержанных рыданий и неслышных шагов—до полу висели на всем инвентаре и не было такой вещи в столовой, — дверь об дверь примыкавшей к той комнате, где кропотливо кроились эти чехлы, которой не превращал бы в катафалк этот над ней колеблющийся балдахин заглушённого плача.

А в горах, отдаленные вздохи которых проникали в окно, раскрытое настежь, в горах долго не могли добудиться рассвета. Но вот его растолкали, наконец, и он потянулся, разминая иззябшие кости. Он встал сизо-белою полосой и широко, как людоед, зевнув во весь рот, пошел своей обычною дорогой. Он приходил сюда из-за Рабенклинне и страшно уставал, пройдя натощак семь миль пешком по совершенно безлюдной и еще темной почтовой дороге. Приходил усталый и невыспавшийся, с толстыми налипками сырого дорожного песку на подошвах сапог. Он останавливался обыкновенно у окна, пожирая большими голодными глазами все, что находилось внутри, в столовой. Он был большой охотник до сыру, не прибранного с вечера, и был мастер строить глазки мышатам, похожим на хлопья теплой сырой ваты. Хозяев же он отроду в лицо не видал.

Как же удивился он сегодня, когда, чаля к окну, он нашел его раскрытым настежь и вместо мыши за стеклом застал свечу, горевшую на воле, — потому что и столовая была на воле, и от нее пахло улицей — и потому, что вслед за рассветом в столовую потянулись гуськом его раздушенные окольные сады, огороды, далекие торфяники и еще более далекие горы; и огонь на свече, оплытый таким множеством таких радостных пространств, салютуя им, взволнованно схлынул со свечки, волоча за собой фитиль. Схлынул, отдал на караул и занял вновь свой пост, бледный, осунувшийся и прямой как палка. Всю ночь напролет прогоревшая свеча умирала от усталости. Она уже не светила, и отнявшийся язычок расслабленного пламени рыбной холодной мертвою фиринкой плыл брюхом вверх по течению, заливаемый потоком предутренней прохлады.

Не успело утро сделать пару шагов по комнате, как оно столкнулось в дверях с теткой Аугустой, шедшей прямо на него со свечою в руке и его не замечавшей. Она закрыла дверь перед самым его носом, задула обе свечи и, громко вздохнув, прошла к брату. Так и осталась заветною заветная дверь.

А за заветною дверью, в спальне, — в комнате, где висли до полу самые пышные и тяжеловесные кисти и банты чехлового плача, — вот что происходило в этой комнате, при спущенных занавесках.

Здесь находилось тело ребенка и развалиной над ним мрела и реяла мать. Когда-то вскормившая его собственной грудью, теперь она кормила собственную грудь, корчившуюся от голодных судорог, изобильными подачками от щедрого своего горя. Ненасытная, как ополоумевшая сука, она догола уже изгрызла клыками тоски все, что могло идти в пищу ее страданью. И — ни на востроносом личике ребенка, ни в собственных ее воспоминаниях не было уже ни одной такой черты, которая избежала бы укушения: все было отравлено вокруг, все обглодано, а бешеный голод ее терзаний не желал уняться. Перебирая в памяти еще нетронутые подробности былого материнства — она заметила вдруг в углу какую-то игрушку. И с новою, удвоенною жадностью она впилась в эту вещь. Это была деревянная лошадка, припасенная для мальчика Аугустой; ему так и не пришлось порадоваться подарку. Он так и не увидал ее, бедный, удушё... — Господи, да что же это такое!--О!

И в самом деле, вид этого существа вымогательски исторгал слезу.

Всю ночь лицо его освещалось бледным светом смерти. Смерть как будто нарочно светила матери так, чтобы пучок лучей из ее омерзительной плошки падал только на крошечное личико ребенка. Лицо это было единственною бледною вещью во всей комнате. Оно сразу бросалось в глаза и ужасало своей белизной. Кончающиеся в белой горячке видят часто в предсмертном бреду, вот уже который век, одну и ту же голову гильотинированного, повязанную салфеткой брадобрея. Голова ребенка, вес которой можно было определить на глаз, потому что это была мертвая голова, отлитая из белой сальной массы так, как брус фунтовой свечи отливается из фунта белого воску, голова эта, расставаясь с жизнью, этим богатейшим собранием всевозможных улыбок, ужимок, гримас и усмешек, выбрала себе на дорогу в загробный мир одно только выражение детского испуга. Оно не сходило с воскового личика и в дороге, за неимением другого под рукой, этому выражению не предвиделось смены никогда, никогда.

А в детской стояло множество игрушек, и столько ужимок и радостных гримас сохранялось в воспоминаниях матери, что ее подмывало сбегать куда-то и дать ему еще что-нибудь на дорогу, что-нибудь нужное и такое, что может пригодиться ему там, — дать ему, пока еще не поздно, пока он еще здесь, потому что скоро станет поздно, поздно навсегда, невозвратимо поздно.

И она металась. Как! Оставить его теперь, когда он будет без призору и один-одинешенек. Предоставить ему такую свободу и самостоятельность! А ведь, бывало, она умела утешать его, когда их разделяла какая-нибудь переборка, и когда ей стоило перебежать всего коридор только, чтобы поспеть как раз вовремя к нему. Сейчас же, когда их отымут друг у друга и всего его, с глазами, и ручками, и со звонким его голоском, закопают в землю — оставить, оставить его неутешенным, перепуганным и растерявшимся. —

Если бы были думами эти немые и истерические вскрикивания материнской души, мявшие и безобразившие ее грудь, как складки отравленной сорочки, — если бы мозг ее мог совладать с ними, — мысль о самоубийстве пришла бы ей в голову как напутствие, ниспосланное свыше.

Но она не думала ни о чем или не знала, что истерические мысли, как слепые, бледные черви, неуемно вьются и бесятся в ней. И червивая ими, обессилев от рыданий, она опала лицом и телом. Руки, как чужие, повисли у ней, и, глядя куда-то и ничего не видя, она мешковато и неуклюже отдалась тихим слезам, которых она уже не чувствовала и которые лились без ее ведома и согласия на то, лились лениво, сами по себе, растекаясь по всему давно уже мокрому ее лицу.

Эти новые слезы делали с ее чертами то, что делает со всяким видом любое дождливое, непогожее время, заволакивая его своей плачевной сеткой. Откуда-то

издалека пригнанные, тянущиеся куда-то вдаль, слезы эти туманили и искажали ее лицо, растянув его в маску какого-то давно, давно бессмысленного и надолго затупившегося недоуменья. Покойник был в мать: стоило только взглянуть сейчас на обоих.

В это мгновение дверь полураскрылась, и с порога, не заходя в комнату и не глядя на жену, органист тихо, сдерживая себя, сказал ей: «Выйди. Дай мне побыть с ним одному».

— Амадей, ты! И теперь, Амадей!.. — бессвязно воскликнула жена, подымаясь с места с каким-то порывистым движеньем. Но она не кончила, — силы оставили ее, она зашаталась и упала на руки подоспевшей к ней Аугусты, которая, поддерживая, вывела ее из комнаты. Органист притворил за ними дверь и медленно приблизился к телу сына. Он сел в кресло, только что оставленное его женой. Он подпер правою рукой голову и другою рукой, с движениями левши, стал гладить по-праздничному принаряженное тельце.

Кнауер закрыл глаза. Он не знал, что вот уже тринадцать часов скоро, как он — тронувшись, и что это случилось там же, во внутреннем аппарате органа.

Кнауер находился в положении человека, впервые самолично, не от других — узнавшего, что у него есть душа. Он ощущал ее и чувствовал, где она, потому что она у него болела. В ней творилось что-то, что напоминало ревматическое перерождение сосудов (при склерозе); как мышечная мякоть, душа ожесточалась у него и медленно нарывала. Тугая, вплоть прилегая изнутри к каждой полости его тела, она бредила, как бредит вся-кий болезнетворный орган. Она бредила и до размеров бессовестных и маловероятных преувеличивала свои собственные размеры, наделе не изменяя их, как, не изменяя собственных размеров и не выходя из челюсти, зуб с дуплом растет до кошмарной бесконечности, выращивая за собой и по себе сумасшедшую басню о челюсти Голиафа. Но Кнауер не терял равновесия.

Душа шевелилась в нем, как солитер. Но это был солитер вездесущий. И человека не тошнило от сокращений его души только оттого, что каждую частицу его тела тошнило ее особой тошнотой; эти разновидности тошноты взаимно погашались друг другом. И в итоге человек, охваченный тошнотою, не испытывал головокружения только оттого, что тонул в нем, соблюдая закон удельного веса в этом омуте души, осязательной и, следовательно, тошнотворной.

Но как он вздрогнул, когда сквозь темную толщу своего забытья он заметил, что делает с телом ребенка тайком от него его собственная левая кисть! Он поспешно отдернул ее. Он оторвал ее от тела сына так, как отрывают всползшую гадюку или как, обжигаясь и дуя на пальцы, убирают каминную головешку с ковра. Рука ласкала сына в октавах: она брала октавы на нем.

Органист выпрямился, нагнулся, поцеловал мальчика в лобик и пошел к двери. Он остановился у порога и оглянулся, что-то припоминая или силясь что-то сообразить. Потом повернулся назад, вновь подошел к телу, вновь нагнулся и поцеловал его, продлив этот поцелуй на целую вечность дольше, чем в первый раз, оттягивая на непозволительно долгий срок исполнение какого-то ему одному известного и по всему потрясающе торжественного решения. В течение всего непозволительно долгого этого мгновения он старался перевести что-то со своих губ на восковой лобик мальчика, а вместо того свел с воскового лба себе на губы пленку холодного налета, как сводят туманные картинки с мокрого листа на сухой. Потом, поднеся платок к глазам и крепко закусивши губы, органист стремительно бросился вон из комнаты, быстро прошел в прихожую, схватил шляпу и выбежал наружу, не затворив дверей за собой.

Сырое утро накипью взбежало на его глаза, откипело на них, осушило их. В голову ударили: дерн, сирень, прогорклость тополей, пыльные дождевины. И были птицы. Они щебетали. Щебетали. Он слышал их. Все время — их.

С этого дня больше его в городке не видали. Как похоронили маленького Готлиба, отец так никогда и не узнал.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ I

— Ну, что, все нет еще? Не воротились? С такими и подобными вопросами обступали нетерпеливые путешественники смотрителя Шлиппе, каждый раз как он, стараясь умалиться в размерах, на цыпочках проходил через громадный и сумрачный зал почтовой станции к себе, во внутренние покои. Тогда он останавливался и, подымая обе руки с вывернутыми наружу ладонями, словно готовясь отразить чей-то натиск, громким шепотом отвечал:

— Нарочный еще не возвращался. У Лемке лошадей нет, справлялись. А на станции, вы уже знаете, ни одной, — их высокопреподобие со свитой всех разобрали нынче, вы разминулись с ним — прогон велик, вам придется ночевать, господа.

— Не в ночевке дело, господин смотритель, — в десятый раз повторял господин в парике и ботфортах, — многие из нас, не правда ли, — продолжал он, обращаясь к молодым, совершавшим свое свадебное путешествие; — многие из нас, — продолжал он, улыбаясь так, словно бы он уличал смотрителя в невежестве, — многие из нас не ездят, не останавливаясь на ночь в гостинице; но мы могли бы в Трейзе заночевать, меж тем как мы даром потеряли десять часов, десять часов, господин смотритель, — но к концу такой или подобной речи смотритель, крадучись, добирался до порога внутренних своих апартаментов; и с порога же, разводя руками, громким шепотом отвечал, адресуясь ко всей зале, как к лицу государственному:

— Делать нечего, господа, их высокопреподобие, — и исчезал, изнутри замыкаясь ключом от нетерпеливых путешественников, которые жались по углам и казались крошечными и невзрачными, оттого что зала в четыре окна на улицу и об двух круглых люках на двор была огромна и пуста, и застарелый сумрак стоял серыми воздушными столбами от полу до потолка в ней, и сумеречная эта колоннада, не сходя с места, двигалась на них, и не было лампы, которую можно было бы поставить между ними и ею. А на дворе бушевал дождь. Почтовая дорога, бушуя каштановым обсадом, протащив по полю через ревучий летний дождь это шумное пышное свое одеяние, круто сворачивала на всем разбеге прямо на почтовый двор, и семиверстный шлейф ее с размаху разбивался об пять стекол полого зала; и когда сверкала молния, то, как лапки гальванизированной лягушки, содрогались все жилки и трещины под серый мрамор выкрашенных стен, и в воротах вскакивали бледностью облицованные чистые лица, похожие каждое по-своему на плоский месяц; и когда сверкала молния — взглянуть в окно, — только сверкнет, и жилистое небо обольется мутными и черными ручьями; негашеная известь польет из него, и, словно мыльною водою из шаек охлестывая небо, споласкивают его и раскатываются, друг друга нагоняя, волны обмылков.

У шестерых при каждом небесном выкресе вскакивали над воротниками белые лица. У человека в парике и ботфортах. У молодых: < >

А дождь шел с удвоенной силой. Горластый, он захлебывался уже в горловине листвы, и листья давились им и заливал ись закатывающимися воплями. На дворе шум бушующих масс был роскошен и шумен, как обожание. Но все же, когда до ворот почтового двора докатилось < > громыхание камня, шестеро путешественников отличили его от раскатов грома, которыми это громыханье было напутствуемо и в которых оно запуталось, вырываясь из них гулкими усилиями двенадцати подков, тяжелых, как молоты.

Остальные говорили о близости отдыха и сухой постели с предвкушением блаженства в тоне, которому мешала развернуться вовсю только та опасливая предусмотрительность, с которой опускали свои ноги на мокрые плиты, боясь оступиться или наступить на что-нибудь живое в темноте, которую сбивал в крутые комки качающийся фонарь проводника, ее не рассеивая. Остальные говорили также и об удивительной <случайнос-ти>, отклонившей громовой удар от обоих путешественников, и тогда молодой человек, шедший об руку со стариком следом за слугою, оборачивал голову и, обращаясь к разночинному хвосту шествия вообще и ни к кому в особенности не обращаясь — мало разнящиеся днем, они совсем сливались в одно подмокшее пятно, — ронял несколько учтивых слов, несколько отставая от слуги и заставляя прочих тыкаться носками в пятки его башмаков.

Говорили также, позволив себе свободу в выборе предмета для бесед в присутствии такого <человека>, о красотах городка и великолепии <мокрой>, как воробышек выкупавшийся, охорашивающейся черной зелени.

— Скажите, — обратился старик к слуге, — все тот же ли... скажите, кто хозяин гостиницы?

— Вюрценау, — промычал слуга, — а вы что, с ним знакомы?

— Нет, нет. Но я — мне говорили — я думал, что Маркус.

— Маркус? — подхватил слуга, — да это прежний владелец, — он помер... в девя... в десятом году, постойте, да, да, десять лет тому — это когда французы — лихой был день, летом, — как сейчас помню — пыльно, ветрено — ветер пылом обдавал — спадет, пыль поляжет, дерева замрут, — слышно: паф, паф, треск ружей со стороны Кронверка, ну да вы не знаете — сонный такой, знаете, треск, так, через пень колоду, как брань послеобеденная. Совсем не страшно было, ну, как на кухне тут, рядышком, шаг и взойти, мясо бы рубили или кастрюлями ляскали, полдень был, на улице ни души, но только что ветер был ужас какой и очень горячий, спадет только, и вдруг дымом пороховым щекотно и горько так потянет, и слышно явственно: паф-паф < >, относило все это ветром, прямо туда дул, это я сейчас все соображаю, тогда не понимал, мал был еще, годов девять мне тогда было. Город опустел. Да, так о чем это, ах да, Маркус. В тот день утром его похоронили, а вечером уже французы в город вошли и с месяц в гостинице хозяйничали, а потом только Вюрценау...

— Как он хорошо рассказывает, Георг.

— Хорошо? Удивляюсь, право. Сплошная бессвязность! И этот стиль!

— Что вы?

— Ничего, продолжай.

— Вюрценау — отделал ее — заново. Что это вы, сударь, на дома стали заглядываться, знать, вы бывали уже здесь, вот вы и Маркуса помянули? А?

Старик не отвечал. Он боролся с каким-то волнением, которое рвалось вперед и чего-то ожидало от правой стороны улицы, противоположной той, по которой они шли; оно не в силах было держаться в той полосе, которая падала от фонаря и вела, и когда в эту полносветную полосу мгновенно и без предупреждения вкралось громадное, громоздкое и целое подножие готической церкви, и, как желтую речку вброд, не пошевельнувшись ни единым камнем, перешло ее, плывя по желтому плитняку и с половины, грудью и маковкой кутаясь в ночь, когда, говорю я, <она> совершила свой переход через желтую полосу, старик стал чудить как-то: он произвел громкий и сухой звук гортанью, и гласная, против воли вырвавшаяся у него, была похожа бы на смех, если бы своею краткостью она не напоминала щелканья языком или неодоленной икоты. Затем он остановился и, решившись, очевидно, высморкаться непременно на этом месте, вынул из старомодного сюртука носовой платок. На

полдороге между полой сюртука и носом вытянутая рука его задержалась в воздухе, и платок выпал из нее на землю.

— По-подыми, — раздались в тишине шесть распадающихся костлявых слогов. Конюх поставил фонарь на землю и поднял платок. Он передал его старику, смотря на него с удивлением.

— Что с вами?

Но старик оторвал уже подошву одного сапога от намагниченной плиты, ступил еще раз, и шествие двинулось дальше.

— Ради Бога, что с вами! Вас так напугал случай с лошадью?.. Нельзя же, право. Успокойтесь. Не думайте об этом. Думайте о чем-нибудь другом. Давайте заговорим о более веселом чем. Да вот, кстати. Вы ему так и не ответили, откуда вам Маркус известен, которого хоронили под стук кухонной посуды в жаркий летний день при ужасном ветре? Нет, серьезно, не смейтесь, пожалуйста, — говорил <юноша> старику, который не слышал слов своего воспитанника и передвигался так, как будто каждый шаг стоил ему сознательных усилий и предпринимался им с обдуманным намерением. Юноша стал трясти его за руку. — Да проснитесь! Ну, вот. Вы уже проезжали здесь когда-нибудь, по всей вероятности? А?

— Я? —Здесь? —Да.

— Ну, вот. А я ведь и не знал этого. Но в таком случае, почему же вы ни за что не соглашались остановиться здесь проездом, тогда, до грозы, в карете?

А волнение старика рвалось вперед. Оно сразу замерло только в тот момент, когда проводник свернул влево, дав фонарной полосе слизнуть по широкому кругу перекресток. Тут старику стало немного легче. Волнение его запамятовало или упустило из виду, что для того, чтобы попасть в гостиницу <«Шют-ценпфуль»> с улицы Св. Елизаветы, сворачивают в сторону на углу Елизаветинской и Рыночной. <...>

— Тть! А гостиница ведь переполнена, — досадливо произнес слуга, когда в конце улицы, отлого спускающейся к реке, показалось покривившееся и мрачное здание, все окна которого были освещены. — Взгляните сами, везде свет. Ярмарка скоро, ну и понаехали. Теперь, пожалуй, и сами дорогу найдете. А я назад пойду, домой. Доброй ночи, почтенные господа мои.

И <слуга> пошел в обратный путь, в пояс поклонившись знатному юноше.

— Ну, как-нибудь устроимся, — заговорили Путешественники^ когда какая-то боковая уличка легко глотнула удалявшуюся полосу и они очутились в темноте.

Послегрозовое небо, бодря <кроны> деревьев, выравниваясь по стрежню с величавой и возрастающей быстротой, дыша полной грудью, катилось, <не разбирая> направлений, по нему неслись, нахлобучиваясь друг на друга, растерзанные и терзающиеся клочки былых облаков, как остатки флота, где-то, не здесь потерпевшего поражение; там, где шелуху былого этого великолепия смывало какой-нибудь водокрутью, — может быть, в этом месте какой-нибудь заоблачный ключ округло вливался, исчерна-ясный и холодный — там, в гирле холодного этого вто-ка, показывалась звезда, острая и ломкая, когтистая и блистающая, как вскрытая раковина с жемчужиной на перламутровом дне, твердая и режущая, как алмаз стеклореза; это были места наиглубочайшей черноты и наибольшей холодцом вкруг сверкающего зубца колыхающейся глубины.

— Что ж мы остановились? Опять из-за вас, добрейший Амадеус?

— Да, среди нас — дама! — обернувшись к хвосту группы, громко и певуче произнес молодой дворянин. — Если в гостинице окажется местечко, — я уступаю мою долю нашего общего права на ночлег, господа, Madame...

— Шерер, — но моя жена, благородный сударь...

— Madame Шерер и ее супругу, конечно, что необходимо следует из... pardon, обоюдного их обстоятельства.

— Mille grвces, Monsieur1, но я и муж мой... не рассчитываем, право...

— Оставьте, оставьте, пожалуйста, это решено, Madame, Madame Шерер.

— Но вы-то, вы, господин Амадеус. Что вы на это скажете? Вы, впрочем, отдохнете, тоже отдохнете, не пугайтесь; да что с вами, наконец; ну так, ну, слава Богу; мы об этом позаботимся, не правда ли, господа, и у вас будет где отдохнуть.

— Они так взволнованны, — конечно, мы все рады, — oh le pauvre, dieu le bйnit2 — однако...

— Ну вот, мы и у цели путешествия, господа. Какой шум там. Где же, господин Амадеус, господин Амадеус, где колотушка здесь?

1 Тысяча благодарностей, сударь (фр.).

2 о, бедный, — Бог да благословит его (фр.).

— Позвольте, молодой человек!

— Погодите, я сам найду, господин Шерер, — мой наставник господин Амадеус — у вас огниво — ну? А, вот доска! Раз, два, три! Сильней нельзя, кажется, идут. Послушайте, господин Амадеус, я вас не узнаю сегодня.

Шорохи и звуки в гостинице дремали в эту пору, как бывает в домах, где много спящих, и безразлично сколько — борющихся с одолевающим сном, и где бригада сновидений наводит оцепенение на все кругом, и сослепу, мимо идучи, и на бодрящихся. Шорохи гостиницы? Их немного. Неизвестно, где кегельбан. Далеко ли до кегельбана — или он рядом через одну пустую комнату. Место нахождения биллиардной тоже неуяс-нимо. В той зале, куда попадают, пройдя через мудреные, закоулками крадущиеся сени и прихожую, — в зале тикают стенные часы; маятник за стеклом; качаясь, он засевает залу тиканьем, частым и мелким, как просо; но кружком он замахивается так мертво и скучно, словно это зануженная, ноющая рука сеятеля к вечеру севного дня.

По соседству или через несколько комнат однообразно на аптекарских весах отвешивают скрупулы наглухо укупоренного гула. Там играют. Там играют и, возможно, громко говорят об игре. Там катают тяжелые шары, и шары ударяются об лаковое дерево, и галдя бултыхаются на пол круглые кегли. Вслед за тем там подымается явственное шарканье; а за шарканьем сразу воцаряется паралитически затекшая тишина. Там, по соседству с залой или через несколько комнат, громко и заразительно зевает игра. И может быть, разговаривают о сощелкивающихся шарах. Но голоса наглухо закупорены; они опечатаны синим табачным дымом и догорающими лампами, они упакованы в опилки тиканьем часов и сновидениями спящих во втором этаже. Голоса, вслух следящие за шарами, опечатаны, наконец, и поздним часом; как опечатываются места происшествий. А в эту ночь чем не место происшествия гостиница, чем не место происшествия она, если происшествие — громкий троекратный стук снаружи, с улицы — и долгая пауза затем, и вновь, более настойчивый и совсем оглушительный стук по двери, топотание башмаков по коридору, лязг замка и кулачная свалка голосов на пороге, где одному, сном расслабленному, в пухлой охриплости валяному голосу приходится иметь дело с целою капеллой голосов с улицы, с холоду, со льда, свежих и освежающих.

— Тогда как же...

— Да нет, милейший, я не привык разговаривать с трактирным слугой, где, как бишь его, этот Маркус?

— Вюрценау, Георг.

— Да, Вюрценау. Позови своего хозяина сюда.

— Да уж не знаю, право.

— Тебе нечего знать, ты ступай просто к господину Вюрценау и Вюрценау, понял, сюда позови.

— Сейчас, господа, вы будете свидетелями того, с какой готовностью господин Вюрценау уступит свою комнату и кровать госпоже Шерер, моей, ха-ха, сестре.

— Какая честь.

— А вы мой шурин, шурин, — позвольте вас спросить, вы быстро засыпаете, если это — si ce n'est pas une indiscrйtion exagйrйe1.

— О да, в особенности сегодня. Я в пять минут сегодня бы уснул.

— Итак, вы шурин мой, шурин на пять минут. А мы, господа, как-нибудь здесь приспособимся. Хотя, собственно говоря, я предчувствую взрыв любезности и услужливости со стороны этого Вюрценау ко мне лично, ко мне как брату госпожи Шерер, и если вы только не догадались — князю Георгу Кунцу фон Вёльфлингу.

— Ах. — Ах да. — Вот как. — Я так и думал. — Какая честь!

— Оставьте, пожалуйста!.. Садитесь, господа, здесь стулья. Позвольте предложить вам кресло, Madame. Я привык, знаете.

— Георг.

— Да, господин Амадеус.

— Вот что, Георг. Я вас покину. Я должен, понимаешь. Вот какая вещь, Георг, я на улице кошелек потерял. Такая вещь. Так я бы. — Я знаю ведь где, я, помнишь, возле Святой Елизаветы... возле церкви, — я платок...

— Ваш собственный кошелек? -Да.

если это не слишком нескромно (фр.).

— Я никогда до сих пор не предполагал, что у вас... Короче, вы хотите сейчас без фонаря отправиться на поиски...

— Да. Это ведь в двух шагах отсюда, Георг.

— Господин Амадеус, я вас сегодня не узнаю. Я никогда не знал вас таким и вообразить себе не мог, что дорожная катастрофа может такие длительные следы... Слушайте, господин Амадеус, — поверьте мне, ваше намерение, простите, — чистое безумие, а ваша пропажа...

— Георг...

— А ваша пропажа — чистейшая пустяковина, если...

— Георг...

— Если вы примете во внимание то, что вам сказал отец мой Кунцфон...

— Дай мне сказать, Георг.

— У нас общая касса, господин Амадеус, и вы можете взять утерянную вами сумму — из моих средств; вы меня обижаете, стоит ли, господин Амадеус, из-за таких пустяков — без фонаря — какая, какая, простите, мелочная нервозность.

— Георг, все равно. Мне душно здесь, и мне как-то не по себе — я чем-то расстроен. Я выйду. Я пройдусь немножко. И — я не прощаюсь — я скоро вернусь — вон он идет, это, вероятно...

II

Если для некоторых обитателей городка «N» 17-е число июля месяца и не осталось памятным числом, то день этот, во всяком случае, для многих был не из рядовых. Он тянулся на редкость долго. Насчет его продолжительности сходились мнения многих. На этот день было назначено заседание городского совета, посвященное вопросам, связанным с приближающимся днем ярмарки. Оно происходило в большой зале ратуши, обращенной окнами на закат, и уже близилось к концу, когда сообщение одного из членов городского совета внезапно поставило перед всеми на очередь новое неожиданное дело. Было несколько человек в совете, которых сообщение Курта Зеебальда взволновало и озадачило настолько, что, засыпав Зеебальда кучей нетер-

пеливых восклицаний, они на минуту вышли из делового тона и завязали в общественном месте частный и чрезвычайно оживленный разговор. Разговор этот был беспорядочен и уснащен недоуменными знаками шумного изумления в его крайней степени. Живость, с какою предались эти гласные внеочередной беседе, не подобала их годам — каждому из них шел или исполнялся седьмой десяток.

За одним из пыльных окон в воздухе висело пылом обливающееся солнце и медлило, задержанное в своем пути общим замешательством этого странного, нездорового дня. Светло-пунцовая полоса предвечернего его жара початою штукой оранжевого штофа лежала поперек зеленой скатерти, которою был покрыт думский стол. Из пяти других окон полосы шли в упор к противоположной стене толстыми балками густого свету. В этой такими балками с улицы протараненной зале казалось, что вечереющая улица, на которой сейчас несравненно лучше, чем здесь, что улица подпирает залу, < > и уйди куда или сократись эта несдержанно озаренная улица, и зала перекосится и рухнет.

Затеявших посторонний разговор с Зеебальдом было семеро; остальные семнадцать младших их товарищей вмешались в их взволнованную беседу, требуя от них объяснений насчет предмета их разговора. Волнение этих стариков было так же непонятно им, как и самые их слова. Те поспешили удовлетворить любопытству непосвященных, сразу вшестером, наперебой забросав их клочками какой-то запутанной повести из стародавнего прошлого родного городка. Этот рассказ сам по себе явился в то же время и изложением дела, предложенного на их благоусмотрение Куртом Зеебальдом. Так постепенно улеглось волнение старейших из членов совета, и достойный такого собрания тон был снова найден и восстановлен. В этом тоне они, покончив с ярмарочными делами, и повели дело того человека, от лица которого Зеебальд выступил со своим внеочередным предложением, так сильно взволновавшим их.

А солнце продолжало висеть в воздухе, сером от мусора и сумерек, за пыльным стеклом крайнего из окон, — оно висело, обливаясь волнистым пылом под нижним поперечным брусом оконной рамы, задержанное в своем спуске последним замешательством этого странного нездорового дня.

Он был на редкость продолжителен. Восстановить его начало трудно. С утра по городу шли толки о вчерашней грозе. Рассказывали о чудесном случае в соседней деревушке за Ра-бенклинне. Молния ударила в дом, где праздновалась свадьба.

Хозяева, гости и молодые отделались одним испугом, а были на волосок от гибели. Передавали и о другом случае. Молнией убило лошадь в упряжи перед самым домом смотрителя, при въезде на почтовый двор. Карета повреждена, путешественники целы и невредимы. Передачею и прикрашиванием этих слухов начался для многих этот день, теперь уже клонящийся к закату.

Но для Зеебальда день начался гораздо раньше. Эти подсчеты следов вчерашнего паводка застали его уже на ногах. Он был поднят из постели в начале шестого еще часу, каким-то почтенным господином, не желавшим сказать своего имени Анне Марии, второй жене Зеебальда, вышедшей в сени на его продолжительный стук. Изумление Зеебальда при виде гостя, дожидавшегося его в темных сенях, когда он, наконец, после долгих зевков, переговоров с Анной и досадных пожатий плечами вышел из своей каморки в убогую прихожую, было тем сильнее и порывистее, что по догадкам жены он ожидал узнать в посетителе одного из родственников покойницы Сусанны: этот старый черт, — говорила Анна, — смотрит на меня так недоверчиво, — я сказала ему, что я госпожа Зеебальд — он, верно, не знает, что ты во втором браке — он вообще так глаза вытаращил на меня — как будто он и слухом вообще не слыхал, что такие вещи на свете водятся и в этом ничего диковинного нет. Зеебальд долго не

мог слова выговорить; он тряс руку гостя и обнимал его, в глазах у обоих стояли слезы; вскоре Зеебальд увлек за собой в дом этого странного посетителя. Там они оба, верно, пришли в себя, потому что вскоре голоса их запрыгали уступами, быстро сладившись в продолжительную и оживленную беседу. Всего выше подскакивал голос Зеебальда, и Анне Марии, которая снова легла в постель и не думала даже подслушивать их, удалось с налету подхватить несколько одиноких и несвязуемых друге другом восклицаний своего супруга.

— Случай?! — Так это — если б не погода. — Ну? — И вас не... — удивлялся Зеебальд, — остальные слова его, равно как и голос гостя, наглухо вмуровывались в стену скучным гутором. Гутор этот был крут и нерастворим. Последовало непродолжительное молчание. Заговорил гость. Анна Мария задремала.

Вы?! Вы сами?! — громогласно и негодующе кричал за стеной Зеебальд. Анна Мария открыла глаза. За окном распространялось горячее и сухое щебетание птиц. По стене же вязко

пласталась и слоилась речь гостя. Анна уставилась на рдяный узор, который выжигала на бордовых обоях занимающаяся заря. Она подложила голый полный локоть под разгоряченную щеку. По городу шла круговая перекличка петухов. <...>

— Сегодня?! — Были там? — Играть?.. Вы могли? Чтобы я... на том же органе!

Но затем Зеебальд, вероятно, услышал от своего гостя что-то успокоительное, потому что после этих его выкриков старческая речь их выровнялась настолько, что трудно было решить, когда кто из них говорит; прерываемая частым кашлем посетителя, речь эта громоздилась и осыпалась, ползла и выветривалась, наглухо втягиваясь в стену и застревая в ней.

И Анна Мария снова задремала. Она угодила в самую глушь и дичь одолевающей дремоты и надолго увязла в ней. Она была на двадцать пять лет моложе мужа, любила и умела спать. И она не слышала.

— Вы думаете? — Нет. — Соглася-яятся! Что вы — они? Нет. Как вы можете?..

Потом было кем-то из них явственно упомянуто имя Туха и вслед за ним после небольшого промежутка назван вслух Штурцваге. Но об этом можно было только догадаться: Штурц-ваге был помянут гораздо неувереннее и тише, чем Тух.

Так рано и так необычайно начался день заседанья в ратуше для Зеебальда. Но сам по себе этот непомерно долгий день начался еще раньше. Ни души не было на призрачных, непрозрев-ших улицах городка, и только кишмя кишели в нем черепитчатые крыши, как бесплотные привидения, бесшумно умывавшиеся холодною мутью слабо означающегося рассвета, — ни души не было на улицах, на которые пала роса, смочив холодным потом лобные выпуклости мостовых, — мостовых и зданий, проступавших за слюдяною <пеленой> тумана, как след от округло раскрытого рта по выпотелому оконному стеклу; ни души не было на них, говорю я, когда среди всех прочих бестелесных <зданий> родилось новое, в этот миг только на свет Божий появившееся и более всех прочих бестелесное здание: это было здание из <звуков>, оно простонало, заволакиваемое неодолимой отдаленностью, и отстонало затем. Отстонало не потому, чтобы оно ушло в землю, как где-то воздвиглось оно, выйдя из земли. Но уловить его можно было только в его появлении и только как нечеловеческую попытку заживо похороненных — сдвинуть с места тишину. И только одно мгновение фантом этой осторожной стройности отличался от призрачного воздуха, призрачных крыш и призрачной росы. По истечении этого мгновения — он перестал от росы отличаться и его негде уже было искать.

Ни души не было на площади Св. Елизаветы, когда козою низко загнусавили два < > утеса. <...> Вся каменная мякоть их отяжелела внезапно, до основания пропитавшись гнусавым и дребезгливым, невозмутимо протяжным сопением.

Ни души. Проходи здесь кто мимо, он остановился бы, поняв, что там заиграли на органе; и прежде всего — он услышал бы лавинные раскаты хроматической гаммы, быстро сыгранной полностью от самых низов до последних дискантов и обратно, по самое а субконтроктавы, через всю мануаль; < > он узнал бы в лицо тот прием, при помощи которого, пробуя новый инструмент, профессионалы убеждаются в полной исправности всех его труб.

Но на улице не было ни души.

Первыми появились на ней два человека, вышедшие из церкви через низенькую боковую дверь, ведущую в церковный сад. Они разошлись потом в разные стороны, обмолвившись на прощанье немногими словами, малопонятными.

— Замечательно! — А главное: по вас нельзя было ожидать, что такой <музыкант>, — нараспев <сказал> один.

— Хронометр у тебя?

— Пять минут шестого.

— Ну, теперь можно и за Зеебальдом. А ты пойди, выспись.

— Ведь нисколько не утомительно качать. Даже приятно, как в кузнице. А я виноват перед вами. Я, правда, думал, что вы сумасбродите, оттого и побежал. А это вы вчера заметили, что дверь...

— Да, да, я ж говорил тебе. Мимо шли, я и увидел. Маляры, вероятно, оставили. Ремонт. Ну, ступай.

— А вы?

— Я сам по себе. А ты ложись, иди.

— Ну, до скорого свиданья. Нет, правда, замечательно. Главное...

На деле же день начался с того, что с задов гостиницы, за конюшнями, из-за смородинника, послышалось мелкое звяканье правленой стали и заляскал точильный брусок по лезвию. Черный двор гостиницы подбирался к изгороди небольшого фруктового сада вплотную. Он взбегал на нее бахромчатою кромкой бурьяна и крапивы, обезображенной усохшими меловыми оплесками. Утра не было еще и в помине, когда там, за смородинником, взмах за взмахом стал сучиться сонный, тонкий и легковесный звон косы по пьяной траве, сырой, взмокшей и еще не отдышавшейся. Мертвые капли вчерашнего дождя тяжелыми мочками оттягивали книзу <стебли>. Несметное множество было их в мокрой мгле, помертвелых, незыблемых, налившихся и молчаливых. <...> Их незыблемость предвещала, что день будет жаркий и что днем незыблем будет зной. <...>

И только звенела коса за смородинником. Изредка запинаясь, раз в раз огревала она воздух жгучей бечевой.

Этой-то косьбой и был поднят день из густой травы за смородинником. Ею, а не двумя о чем-то споривши ми голосами, которые затеяли громкое препирательство по какому-то поводу на улице, перед воротами гостиницы в такую раннюю пору. Косьбой. Потому что, когда двое приезжих были выпущены из дверей гостиницы и остались за ее порогом, посреди мостовой, они слышали, как косят с надворной стороны; и они догадались, что выкашивают ту самую лужайку, за конюшней, которая была видна им из их окошка и с такой великой мукой превозмогала предутреннюю мглу, высвобождаясь из нее светло-серым призрачным ромбом. Слова споривших были произнесены совсем негромко. Но среди совершенно безлюдной тишины, постоем стоявшей на всех перекрестках и дворах и во всех закоулках города, слова эти представляли собой настолько громкую и неутаи-мую достопримечательность, что можно было дивиться отваге и бодрому риску этих двух единственных в городе голосов.

Они удалялись, и речь их шла скачками, как скачками передвигались и они, спеша куда-то в направлении к улице Св. Елизаветы.

— Ты будешь качать воздух.

— А ответственность?

— На мне.

— Как вы проникнете туда?

— Боковая дверь не прикрыта. -Как?

— Я вчера заметил. Мы ведь мимо проходили, я и заметил. Верно, маляры оставили. Ремонт.

— Безумие!

— Обойди.

— Перескочу.

— Ну вот, видишь?

— Дайте платок.

— Высохнет, тогда щеткой.

— Озера целые. Такой грозы не запомню!

— Нам в гору. Дальше суше будет.

III

Заседание в ратуше давно уже окончилось. Гильдейские и цеховые разбились на несколько шумных кучек. Так, в кучках, и стали выходить они из советского зала, не прерывая своих непринужденных бесед и задерживаясь только в дверях, чтобы пропустить виднейших и наиболее именитых вперед. Многие же остались в зале вместе с Тухом, бургомистром. Часть оставшихся бродила взад и вперед по переднему, свободному концу зала, не заставленному креслами. Большая же часть столпилась вокруг стола, обступив Грунера, городского нотариуса, быстро дописывавшего копию резолютивного эдикта господ градоправителей.

Заседание ратуши давно уже кончилось, и многие разбрелись уже по домам, а низящееся солнце все еще билось огромным грузным шмелем в правом углу. Какое-то скопление народу на площади привлекло к себе внимание гулявших по залу. Постепенно все они собрались у окна. К ним мало-помалу перешли и те, что стояли у стола, поторапливая Грунера. Грунер один остался сидеть за столом; он поминутно откидывал прочь поминутно спадавший ему на лоб гладкий вычес белокурой пакли, и гусиное перо его размашисто плясало по плотной бумаге, непокорно коробившейся и норовившей свернуться в трубку.

Уличное шествие, наращивая себе пышный хвост из зевак и праздношатающихся, завернуло <за угол>.

Члены совета снова перешли к столу.

— Что там такое? — спросил подошедших Грунер.

— Цыгане. Скоро, Грунер?

— Сейчас, сейчас.

— Ну, мы вам мешать не станем.

— А помните, Штурцваге, медведицу его на последней ярмарке?

— Сейчас я что-то ее не заметил.

— Я тоже не заметил.

— Медведицы не было теперь. Жалко. А какая медведица была! А в остальном как в прошлые годы. Верблюд, обезьяны.

— Да, да. В остальном как прошлые разы. Верблюд, обезьяны.

— Ну, Грунер?

Толпа стояла на обкошенной лужайке лицом на закатывающееся солнце, спиною ко все вновь и вновь прибывающим, заслонив собою цыгана и зверей и кровавое солнце,

которое валилось в самую чащу смородинника огромною дымящеюся тушей, подминая под себя исковерканные понадломленные кусты. Только узкомордая голова верблюда возвышалась над толпой и плыла над нею. Верблюд обносил толпящихся этою узкомордою головой, плоско лежавшей и ходившей на колыху-чей шее так, как лежат и ходят лотки или подносы на ладони, отведенной стольником за плечо. Привлеченные звуками шарманки, через дворовые ворота подходили все новые и новые ротозеи с улицы. Они всходили на лужайку и присоединялись к толпе. Вся гостиница была уже тут. Дворня стояла сторонкою от господ, скопом на холмике. Приезжие, парами и врозь, на невыгодных местах. Лишь немногие из челяди, задержанные делом за плитой или в гардеробе, пересмеиваясь и крича что-то на ходу, быстро перебегали мощеный двор и больше уже не оглядывались, попав на лужайку.

Толпа стояла спиной ко вновь подбирающимся, лицом на зверей и на солнце. Дымно-малиновые лучи несдержанно и страстно озаряли лужайку. Сапоги цыгана утопали в красной, жидкой и, как мед, тягучей траве. На тележке стоял ящик со вделанными с одного боку железными прутьями. По крыше ящика гомозились, гримасничая и ища друг у дружки в шерсти, голые мартышки. Голубой загар на их чалых рожицах был темен в той мере, в какой должна быть темна древняя печать навек одичалой мудрости. Мелочно и угрюмо помаргивая, слушали они протяжную музыку шарманки так, как будто эта музыка была выношена ими в их мартышечьих волосатых утробах. Толпа стояла лицом на зверей и на солнце; старый гувернер стоял с остальными, на том холмике, который облюбовала себе дворня. Дымно-малиновые лучи цеплялись за колючки кустарника. Кора дикой груши, испеченная в закатной золе, коробилась струйчатой бронзой, ворсинки крыжовника задыхались в розовом паре, бенгальское тленье ползком стлалось по лужайке и, доволокшись до органчика — отдавало ему свою душу, глянцем зацеловав босые, пыльные ноги цыганки, вращавшей ручку машины в лад верблюжьему колыханью. В толпе стоял и старый гувернер. В толпе перекидывались выразительными замечаниями по поводу обезьян. Тогда, не меняя своего положения, эти звери спускали на толпу тучу мартышечьих глаз, и глаза эти щурились и лоснились черным лоском, сигали по лицам, как блохи, и, всласть напрыгавшись по ним, одним прыжком вскакивали обратно на свои места, в глубокие свои впадины.

Закат густел и становился уже редкостью, как самородок, отдельные слитки его мало-помалу пропадали во взрыхленных грядках смородинника. Особенное любопытство всех возбуждала клетка, на крыше которой грудой расположились мартышки. Она была пуста.

В ней не было ничего, кроме вороха настланной соломы да разве еще тех неопределимых и остро воняющих потемков, какие бывают в закрытых помещениях зоологических садов зимой и гнездятся в последней глубине полутемных клеток. Эта пустая клетка возбуждала особенное любопытство каждого до тех пор, пока, приглядевшись, он не обнаруживал, что в правом углу задней стенки все-таки лежит что-то. Какая-то богатая женская муфта, большая, черная или темно-серая, наполовину зарывшаяся в солому. И тогда его любопытство...

— Кнауер! — донеслось со стороны гостиницы. Гувернер обернулся, как будто этот зов относился к нему.

— Кнауер! — звали его с деревянной галереи, шедшей с надворной стороны вдоль всего второго этажа.

Гувернер, выйдя из толпы, направился к этой группе, стоявшей у перил галереи. Он вглядывался в них и узнавал их. Он узнал Туха, Штурцваге, Розариуса и узнал всех, кроме двух-трех ему незнакомых людей. Он был страшно взволнован и непременно снял бы шляпу и стал махать ею, чтобы с лужайки уже подать знак о чувствах радости,

заполнивших его горло, им на галерее, тронутым отблеском заката, если бы шляпа была при нем; но он сошел поглядеть на зверей, позабыв надеть шляпу.

О чем они говорили наверху — неизвестно. Переговоры их были непродолжительны. Вскоре на галерее показался Тух, вполоборота беседуя со следовавшими за ним товарищами. Они прошли двором на улицу и разошлись по домам. Целью их прихода была информация Кнауера, как они это называли. Они шли сюда, чтобы поставить Кнауера в известность о том, что ходатайство о принятии его на службу городским органистом не только отклонено. Но они видят в нем редкий по его дерзостности образец занесшегося безумия. И это — не только ввиду того, что место органиста никак не вакантно еще пока, как он по неискоренимому его самомнению не мог не думать, но еще и потому, и в особенности, что присутствие его в городе недопустимо и дальше ни в коем случае терпимо быть не может по некоторым, ему самому лучше других известным, причинам, которые удесятерились сегодня в числе и в весе после того, как он, никого не спросясь, не спросясь даже голоса собственной совести — на это они напирали, — осмелился хозяйничать по своему произволу в церкви, распорядившись по-своему вещью, которая, — и на это они напирали тоже, — должна была бы стать неприкосновенною святыней для него, и страшною святыней.

Их целью было информировать Кнауера, и хотя неизвестно, о чем они говорили с ним, но можно думать, что они успели и достигли своего.

Когда они от него вышли, на лицах их не было уже того смущения, с каким они шли сюда. Слог резолютивного эдикта, который был прочтен Кнауеру Тухом вслух, владел еще всеми их движениями, когда они прошли двором гостиницы. Слог этот облегал еще их старческие станы ортопедическим корсетом, подоткнутым под короткие брюки, и строгая почтительность намордником приструнивала <их лица>. Они отходили уже от этой апоплексии, когда ее как рукой сняло заявление Грунера:

— Да! Я ведь Игнаца спрашивал. Медведица действительно околела.

— Околела?!

И они вышли в ворота.

Зеебальда не было среди них. Когда на следующий день он перед обедом зашел в гостиницу наведать Кнауера, он уже значился выбывшим. Оба приезжие покинули город еще поутру.

Тем и кончается повесть о двойной октаве и начинается басня про недобрую славу Кнауера. Басня эта не басня даже, а побасенка.

Мартене, тоже органист, бывший у Кнауера при чтении резолютивного эдикта, человек высокой наблюдательности и очень незлобивый, долго еще впоследствии, случалось, припоминал остальным своим товарищам по предмету информации Кнауера, как странно вел себя последний.

— Ну, не чудак ли! Ему говорят о гневе Господне. Он и ухом не ведет. Ну, допустим, безбожник. Ему — Тух, должен я сказать, хватил все-таки через край, меня выхваливая, — это я не из скромности говорю, — но правда же: несчастная, нуждающаяся женщина, покинутая мужем, — ну как не помочь — всякий из нас бы — и потом — покойница Доротея ангельской кротости была, надо быть справедливым. Чудак! Тух на меня указывает: этот достойный муж, я уж не помню подлинных его слов, —да! — если бы не этот человеколюбивый и достойнейший муж (право же, чересчур лестно), бывший ей вторым, если можно так выразиться, супругом, принимая во внимание бескорыстное его участие в судьбе вашей супруги и т. д. и т. д. А он! Он и это мимо ушей пропускает. Чудак! Ну, допустим, — старик; в чувствах медлен. Какой там старик! Ему вскользь роняют, что он, мол, заступил вас в должности или что-то в этом роде, — и этот чудак вскидывает на меня глазами и только тут-то и обнаруживается, что он не окончательно немой. «Вы — органист?!» Ну так как же не чудак! Это

ведь единственные его слова за все то время, что мы у него провели. Чудак, что и говорить! Дивлюсь вам всем, господа, простите. Явись я немного раньше в Ансбах...

-Ну?

— Живи я здесь в его времена, как все вы, — я бы по первому же взгляду его определил. Предсказал бы все. Вот как.

Январь 1917

ДИАЛОГ

Лица диалога: Субъект. Чиновник полиции. Л ефевр.

Чиновник полиции. Это называется у нас кражей. Субъект. Я знаю.

Чиновник полиции. Кража преследуется законом.

Субъект. Здесь? В данный момент?

Чиновник полиции. Везде. Во всякое время.

Субъект (бросается к окну). Где? Я не вижу.

Чиновник (спокойно). Оставьте эти штуки.

Субъект. Собственность? Я читал. Я знаю. Я знаю географию.

Виновато не мое невежество. Виной всему — рассеянность.

И привычка.

Чиновник. Вот именно. (Внушительно.) Пагубная.

Субъект (хладнокровно). Опять вы не поняли. Я забыл, что за границей. (Пауза.) Дело было за городом. Везли арестантов. Впрочем, началось после. Знаете, там спуск к лодкам. Черная косая тень. Смоленые заборы, парусина. Народу собралось (глубокое вдыханье) не рассказать. (Вздох; пауза.) Видите ли (комкает какую-то бумажонку и, опустив голову, рассматривает ее), вас, верно, ставит в тупик секрет моего воздействия на ваши массы?

Чиновник (за писаньем, рассеянно, без видимой связи). Да. В вас сразу узнаешь иностранца, чуть заговорите.

Субъект. Я разделяю ваше изумление. Но странности моего выговора — ничто в сравнении со странностями (подымается)...

Чиновник. Лефевр, держи!

Субъект. Зачем вы кричите?

Чиновник. Куда вы? (Спокойно.) Это — моя жена.

Субъект. Мы тут кричим. Правда, это в конце коридора. Но все-таки. Она ни разу не обернулась. Она глуха?

Чиновник (раздраженно). Она готовит. Она стоит у плиты, вы слышите? (Спокойней.) Но вы мастер заговаривать зубы. Признаете ли вы себя виновным?

Субъект. Конечно. Рассеянность — порок. Естественный у человека на чужбине.

Чиновник. При чем тут рассеянность?

Субъект. Там спуск. Толпа растянулась до самых лодок. Запомнил корму с надписью «Дюгонь».

Чиновник. Лодка Фабра. Прекрасно. Дальше (оба вслушиваются)...

Субъект. Когда я кончил, посыпались вопросы. Им предшествовало восхищение. Сразу догадались, откуда я. Заинтересовались. Стали спрашивать: «Ваша профессия?» Я не успел ответить. «Ваш заработок?» Я ответил движением руки. Указал на них, на себя, на море.

Чиновник (перебивая). Вздор. Что вы имели в виду при этом?

Субъект. Ситуацию. Отношения. Их положенье кругом меня, мое — среди них, положенье каждого из них среди...

Чиновник (взмахнувручкой). Так вы проповедник? (Собирается зачеркнуть строчку в протоколе.)

Субъект. Оставьте, что вы? У вас верно написано. Я — то, чем назвался. (Заходит за спину чиновника.)

Чиновник (оборачиваясь). Отойдите, пожалуйста. Вот ваше место.

Субъект. Так вот. Тогда... (Оба вслушиваются.)

Чиновник (нервно). Ну — что вы тянете? Тогда... Не отвлекайтесь (пауза, затем совершенно спокойно). Это — наш знакомый.

Субъект (выразительно, с расстановкой). У нас этого не бывает.

Чиновник (возмущенно). Это вас не касается. Не ваше дело. (Оба вслушиваются.)

Чиновник. Сейчас. (Захлопывает бюро, встает.) Лефевр, смотри за ним. (Уходит. Слышны долгие удаляющиеся шаги по коридору.)

Лефевр и Субъект. (Молчат. Субъект читает номер местной газеты. Улыбка снисходительного сожаления.)

Лефевр (преодолев смущение). Я давно хотел спросить, что это

за язык — священно-славянский? Субъект (поправляет). Церковно-славянский.

Лефевр. Церковно-славянский. Это вроде латинского? Это ваша латынь?

Субъект. Это древняя форма нашего языка. Сколько вы дали за

этот велосипед? Лефевр. Это — подношенье. Я — борец. Субъект. Где же чиновник? Надоедает дожидаться. Лефевр. Придет. Сегодня суббота. Он в Леклозо собирается.

К сыну. Субъект. Очень рад.

Лефевр. Нет, вы не смейтесь. Я не зря сказал. Он вас долго не задержит. Торопится на дачу. То есть вас задержат, конечно. Нельзя. Закон. (Молчание.)

Лефевр (мечтательно). На даче хорошо сейчас. Я семью всегда помещаю куда-нибудь на лето. Благодаря сбереженьям. Здесь — пыль, духота. Ну, море, конечно. Но такая даль! И загажено. А в городе...

Субъект. Оставьте. Что она вам дурного сделала?

Лефевр. Да, правда. (Машинально.) Как начнешь о даче говорить, рука невольно как-то к окошку тянется. И давишь... Это мясная, зеленая... Разносчица заразы... Вот он идет. Что это вы?

Субъект. Ногу натер. (Стучит носком стянутого сапога по краю стула, вытрясая песок.)

Чиновник (входит с часами в руках). Что это вы?

Субъект. Берегом набилось. Сейчас.

Чиновник. Ну. Я тороплюсь. Рассказывайте. (Садится.)

Субъект. Вообразили, что я со шляпой обойду их. Стали вытаскивать кошельки. Между тем дело было после обеда, на мне было все чистое, я возвращался с купанья.

Чиновник. Так что же? Не понимаю.

Субъект. У меня не было никаких потребностей в тот момент.

Кроме одной. Чиновник. Какой? Субъект. Потребности производить. Чиновник. Ну? Что ж вы остановились? Субъект (не понимает). Чиновник. Что производить?

Субъект (только теперь сообразив). А. Понимаю. Это несущественно. Производить — ну, впечатление, скажем. Это моя специальность.

Чиновник пожимает плечами, смотрит на Лефевра, который отворачивается, фыркает в клетчатый платок и отходит к окошку.

Чиновник (кусаяус, нервно). Прекрасно. Прекрасно. Итак. Позвольте. Но нас не это занимает. Нас интересует нечто иное. Нас...

Субъект (захвати воздуху, чтоб выложить все сразу до конца; возбужденно). Вот что. Я забыл, что за фан идей. Дома это так у нас делается. Всякий отводит душу в работе. Как бы вам объяснить. Вот. Как у вас телеграф, водопровод, газ, так труд у нас. Повсюду проведен. Станции. Аппараты. Человек играючи живет. Производит.

Мимоходом. То тут, то там. Где день его застанет. Где в горючем состоянье он попадет на искру. Хорошо. Никто с ним не расплачивается. Это — абсурд. Этот абсурд прикрепляет к месту. Ваш человек — место на пространстве человечества. Его точка. А у нас он...

Чиновник. А у вас?

Субъект. А у нас — его состоянье. Состоянье человечества. Степень. Градус его кипенья.

Чиновник. Ну, дальше. Лефевр, саквояж мой, пожалуйста. А потом кликнешь фиакра. Ну, дальше. Все это я знаю. Нас это не занимает. Нам интересно...

Субъект. Знаю. Дело было вечером. В другом конце. Мне понравилось расположенье рынка. Перед этим я был у моего французского издателя.

Чиновник. Чего вы смеетесь?

Субъект. Вспомнил церемонию приема. Правда, до того мы

были незнакомы. Только по переписке. Чиновник. Ну?

Субъект. От ужина отказался. Не хотелось есть. Какого труда стоило! Насилу уговорил его. Уговорил все-таки. Стали убирать. Мы убирали портьеры и ковры. Некому было. Консьерж ушел со двора. И прислуга. Заделом объяснял ему (устройство) подвешенных насаждений и преломленных...

Чиновник (быстро). Читал! Вы молодцы там! Да. Хорошо, положи, Лефевр. Вот тут. Куда ты? Нет, погоди. Не надо. Ступай. Я сам найму. Рано. Ну, продолжайте. Послушайте. Зауборку вы могли получить три франка, а прочти вы доклад о рефракционных культурах ячменя, и все триста собрали бы. А зимой, так тысячу. Верное слово. Ведь и это чертовски интересно. Но теперь в городе ни души. К вечеру все бегут отсюда. Да. И не было бы надобности (мнется; тихим, бархатистым голосом) — воровать.

Субъект. Когда дорогой назад я опять попал на рынок, почувствовал вдруг, что голоден. Чудная площадь. Хорошо, что глухие стены. Окна все бы портили. Атак, вы заметили? Впечатленье, будто у облаков — головокруженье и они избегают смотреть вниз. Вы заметили? Стараются избегать. Но лишь взглянуть, разом темнеет в глазах. Быстро меркнут ведра, чепцы торговок — простите, уклонился. Так вот, я почувствовал голод. Забыл, что за границей. Выбрал дыню. К булочнику там наискосок. Зажигали уже. Ну поднялся крик. Дальше вы сами знаете. Наше государство — живой банк. Ничего не может быть проще. Тело и дух ручались, что где-то, — где именно — не важно, сделаны были ими посильные вклады в этот день. А то бы они роптали. Тогда б я не чувствовал голода. Тогда б я попал в больницу.

Чиновник (волнуясь). Ну, ну, — я вас слушаю. (Восхищенно.) Ты понимаешь, Лефевр? Я всегда восторгался вашей системой. Но здесь вы подчинены общим законам. Что, Лефевр?

Лефевр. У нас это бы не привилось.

Чиновник (рассеянно). Да. (Субъекту, порывисто.) Ну. Продолжайте. Как биржа, говорите вы?

Субъект. Важно то, что были вклады сделаны. Где? На этой планете, под этим небом. Так вот, под этим самым небом мне и предстояло сделать выемку. Потребность — лучший учетчик. У нас страшно развилось чувство природы. Нас бросает в моральный озноб, когда мы находим температуру человечества ниже той, какую оно приобретает с сообщенья ей нашей. Ежедневно просыпаешься в состоянье горенья, с запасом жара, и невозможно не отдать его. Так наступает охлажденье. Тут идешь запасаться новым теплом. Все равно куда. Это — биржа жарообмена. У вас это называется чувством долга. Мы без этого задохнулись бы. У вас это называется

обязанностью трудиться, социальной справедливостью. Моральные пластыри на больных местах.

Дикое мясо. У нас эти места омоложены. Вот видите. (Показывает.) Эти ногти не стали когтями. А эти — копытами. Боялись — все набросятся на приятное. И что же. Вы сами знаете. Вот. (Кивком ссылается на газету.)

Чиновник. Да, да. Впрочем, поживем — увидим.

Субъект. Одним нравится разнообразие. Ходят по разным мастерским. Это — бывший человек. Он вырождается. Редчает. Другие — рабы своих особенных задатков. Это — будущие породы. Каждое новое поколенье умножает несходства. Сегодня еще это — племена. Завтра это будут расы. Когда-нибудь — разновидности высшего животного. Еще поздней — разные миры. Не бойтесь. Мы знаем. У нас уже есть ручательства. Я вижу, вы торопитесь.

Чиновник. Да. Лефевр, фиакра, пожалуйста. (Лефевруходит.) Послушайте. Скажите, зачем вы покинули такую страну? Ведь это лучшее место в мире. Я не понимаю поездок от вас к нам. Я не понимаю ваших соотечественников, путеше...

Субъект. А я понимаю. Я объясню вам. Я люблю мою родину так, как... Ах, знаете, до умопомешательства порою! Так у нас любят все. А как у нас любят! Ведь это будущее вселенной! Ведь это будущее сквозит во всем. Все гениальны, потому что как лен отдают всего себя, до последнего волокна ему, его ткани. Найдите мне посредственную кошку? Бездарную ласточку? А чтобы дать, чтобы быть в состоянии дать, берут все, что могут взять. Оказалось, что в состоянии гения человечество вносит утраченный баланс в шатающуюся жизнь. Она не колеблется у вас только оттого, что она пала, лежит и еще не поднялась.

Чиновник. Нуда, тем непонятнее мне. Как можно уехать оттуда. И при таком... (не находит слова) патриотизме.

Субъект. Родина. О, как я люблю ее. А что это значит! Ваши любящие вот. Вот, видите. Этот дом и забор. Да подойдите же. Ну.

Чиновник (усмехается). Зачем. Нуда, я знаю их. Нечего смотреть. Dix parcelles1. А внизу. En vente. Courtois. V. L.2 63807. Во сне скажу.

'Десятьотделений (фр.).

2 Продается. Куртуа. В. Л. (фр.).

Субъект. Вот видите. Пока они целы — стоят рядом. Стоят давно и долго еще простоят. Чиновник. Да. Распродаются вяло.

Субъект. Вот. У вас любовь — в расположенье. Виноват, это двусмысленно, в местоположении, хотел я сказать. В место-положенье двоих среди множества. Оседлость духа и без того неподвижного. А у нас человек находит себя там, куда его занесла та сила, которая бродит в нем. Куда его забросила буря. Иногда она бросается в руки и в ноги, в грудь; а иногда — в голову. В последнем случае человек ищет одиночества. Вам многое неизвестно. А мы видали лбы, пылавшие от любви к женщине. Буря заносила их на Марс. Вот как именно любовь к родине приводит нас по временам за границу.

Чиновник. И все же, я не понимаю ваших. Вот и N. приехал. Субъект. Да. Я знаю. Он — в Дьепе. Чиновник. Нет, здесь. Субъект. Как? Здесь?

Чиновник. Да. Вот, дайте-ка сюда газету. Я найду сейчас. Ну,

вот. Пожалуйста. Субъект. Вот чудно! Верно... Верно... Писал знающий. Лефевр. Весь квартал обошел.

Чиновник. Ах, да! Нынче они ведь бастуют. Ну, делать нечего.

Отправлюсь пешком. А вам придется посидеть денек. Это

ведь не от меня зависит. Субъект. Здесь?

Чиновник. Нет, при арестном доме. Вас отведут. Лефевр. Я отведу вас.

Чиновник. Ну, я еду. До свиданья. Не взыщите. Я тут ни при
чем. До лучшего будущего. Субъект. Всего хорошего.
Чиновник уходит.
Лефевр. Ну, собирайтесь, сударь.

ВТОРАЯ КАРТИНА. ПЕТЕРБУРГ

1-я глава. ВОКЗАЛ

Поезд последними широкими шагами, как спешащий, достигающий цели и приободрившийся пешеход, отпыхиваясь, остановился у дебаркадера и стал сдавать пассажиров. Он вынимал их, как добрый святочный гость игрушки из оттопыренных карманов, и расставлял по платформе. Сначала они, бессильные и непонимающие — где они и что с ними, — группировались и чернели каждый у своего кармана — вагона. У них тоже оказывались свои карманы, из которых тоже что-то вынималось, и уже после этого они приходили в действие, словно у них кто-то заводил механизм, и опять игрушечно, не по-настоящему, не по-людски быстро-быстро, толкая друг друга и ничего не видя вокруг себя, они бросились в направлении летящей и прибитой к серой стене вокзала стрелы и рядом с ней черного слова — «вход»! Эта стрела символизовала их стремительность.

Не дойдя до барьера решетки, люди натыкались на обратный полет той же стрелы с надписанным внизу словом — «выход»!.. (И трудно себе представить, что сталось бы с городом за время существования ж<елезной> д<ороги>, если бы не этот «выход».)... При этом они поднимали головы, вытягивая шеи друг над другом, как будто что-то главное было там впереди и из-за него они могли не видеть окружающего. Они набегали друг на друга, механически, как заводные, говорили «pardon», это спасающее когда-то русских французское слово, на звук которого, как на пароль, сдавалось все: произнесший его мог безнаказанно толкнуть еще раз и проложить себе дорогу к цели. Знанием этого слова обладали не все, и не обладавшие им оставались позади.

В этой механизированной обстановке сегодня было четыре «живых» человека. «Они» вышли со своим несложным ручным багажом и, сразу выделяясь из всех обычных узаконенных своим неожиданным внешним видом, казалось, требовали к себе чьего-то особенного внимания.

Это внимание было им уделено. За ними наблюдал кто-то такой же свежий, такой же не слизанный языком однообразия, и этот наблюдатель звался Жизнью.

Жизнь сразу же отметила своих и здесь. Во-первых, она им подсказала, что там, где топчутся, — и топчут. И что поэтому им следует быть здесь настороже — в особенности, если у них есть свои завоевательные планы. А планы эти были, и были вывезены оттуда, откуда вместе с Жизнью перекочевали они сюда...

На каждой станции и при всяком удобном случае из окна вагона, в особенности, когда можно было его открыть и высунуться, сверялись они с нею, — она с ними. Часто влетала она шумом ветра на повороте или уклоне густым и свежим, сдавленным в оконный глоток воздухом, врывалась в вагон и шевелила пальцами волосы своих четырех сыновей.

Нетерпеливая, как мать, она то и дело справлялась о них и, обласкав, вылетала обратно, оставляя детей дотерпевать день и потом полдня и, наконец, несколько минут в этих вневременных домиках, герметически закупоренных от «настоящего» и катящихся между прошлым и будущим.

Иногда было странно, отводя глаза от шелухи подсолнухов, окурков и плевков на полу вагона, встретиться с вечером или полднем там. Там все это было и подавалось в окно большими, щедрыми и аппетитными кусками: — то это было стадо сгоняемых к водопою слитно мычащих коров, — и это означало полдень в августе. — То это была кавалькада бесседельных наездников, мчащихся вихрем в обгонку поезда ниже насыпи

мальчуганов, и это был вечер, торопящий звезды и тишину покоя и созерцания: «в ночное». — То это была девушка, садящаяся в соседний вагон второго класса и провожающая ее остающаяся здесь мать. Тогда это был такой-то год; революционное время; такой-то год девушки, порывающей со всем прошлым: с теплым крылом матери, с знакомой лампой в столовой по вечерам, с знакомой ночной библиотечной полкой, откуда

рвался мир, в который теперь рвалась она, с знакомыми голосами птиц под окном и... — что все то, что там позади, исчезнет с ее отъездом.

В жертвенный рот постоянного движения поездов совались куски пейзажа, целые жизни. Казалось, все, что текло, притекало роковым образом к рельсам и покорно склоняло свою голову на рельсовый путь, и железное чудовище торжественно перерезало в каждом метре своего вращения бесчисленные жертвы выкупающей будущее, — пошедшей на приманку быстроты, — жизни. Жизнь поэтому заглядывала в вагоны вездесущим глазом, отыскивала своих и предостерегала их: «Я здесь!»...

«Здесь, здесь!..» — рубили колеса на стыках...

Теперь жизнь предупреждала своих четырех: «держитесь крепче за меня и вслушивайтесь в мои знаки. Для чего иначе одарила я вас чувствами и предчувствиями, как не для того, чтобы вы умели пользоваться ими — завоеватели?..»

Во-первых, она им все это сказала. Во-вторых, по запаху гари и города, волнующему и полному мужества, они догадались, что здесь есть и их стихия. И, — в-третьих, и теперь это было самым главным, — они поняли, что, переступив порог этой станции, переступят они ту границу, к которой шли и не ожидали, что так близка.

Так на них ты различишь, читатель, в разных местах этой повести начавшее звучать, чтобы где-то прийти к созвучию и быть разрешенным в гармонию, время. — Время, сегодня одевшее на себя четыре разных тела. Время — сухой скелет, обросший их индивидуальностями (то есть вневременным, или, еще вернее, безвременным, — потому что индивидуальность — Платонова идея).

И они, не спеша и как бы в нерешительности раздумья, последними прошли в вокзал.

Их досадливо ожидали, уважающие заведенную в правилах вокзалов торопливость игрушечных, контролер и часовой у решетки — тоже игрушечные, которых разбудили и заставили быть живыми — (раз — уж разозлившимися), — эти отставшие последние подошедшие к сетке, где у них полагалось отбирать билеты.

Это было видно по тому, как хлопнули вслед им железной дверкой: она два раза отскочила, прежде чем прихватилась зубами замка, и по всем деленьям проволочного невода, ловящего рыбу городов, долго отражалась рябь ударившейся о берег волны их злобы... — звяканье: «цзы-цзы...ц...з..!..»

При этом четыре были лишены билетов.

Я уже сказал, что в запахе гари уловили они себе родное, успокоительное и тянулись к нему. Никифор уловил себя на чувстве беспокойства, когда у буфета запахло закуской, свежими булками, духами и сигарой «игрушечного», заглушая настоящий, верный запах.

Ему, как сеттеру, захотелось лайнуть от досады на эту потерю. Задыхаясь еще от бега, удовлетворенный, он останавливается у кочки, откуда тянуло бекасом, и — весь напряженье — стоит и втягивает в себя волнующий дух дичи, и вдруг его относит ветром. Он еще не решается проявлять беспокойство, но весь подергивается от нетерпенья и взвизгивает как-то судорогой живота: — бекас взлетает.

Такой же судорогой повело и Никифора, когда вдруг <его> сбил этот запах духов и сигары! —

Он поторопился уйти от стойки и опять попасть в полосу желаемого запаха.

— Как хорошо пахнет Петербургом! — захотел он проверить остальных. Все переглянулись: оказывается, это было общее удовлетворение.

Читатель удивится такой длительной остановке на, казалось бы, незначащем моменте различения ими этого петербургского запаха. Но в это ощущение вкладывалось ими так же инстинктивно, как в трижды переписанный мазок живописцем и так же упорно, как им, его последний вкус. — Он знает, что то и есть возбудитель, он чувствует, что здесь ключ для зрителя, — что им он вскрывает тайну своего сердцебиения, вводит в намагниченную творческую среду. Этот мазок неразличим отдельно, но он-то и дает зрителю фокус картины.

Они чувствовали также себя сразу попавшими в полосу искомого — на верном следу: здесь им надлежало быть. И это страшно волновало. Вспоминался отличный от этого запах солнечной запекшейся отлета земли, — запах клейких весенних листьев: — там было зрелость и рождение — здесь смерть

(законная, как стадия развития). Эти моменты, как полюсы, давали искру: зажигалось и билось в пульсе напряжение, так необходимое, и было больно, как от приведенного электрического тока, и вместе сладко. Это тянуло.

Нет, в этом не было специфического плакатного запаха заводских труб, хотя сейчас здесь и нуждались в плакате. — О, нет, этот запах не давался на зубок подстрочника, зачитанного букварика времени.

Он уходил широкими плечами в седину — людских возрастов.

Да, очень может быть, что он попахивал страницей Достоевского, ибо страницы Достоевского хранили его, — ибо этим страницам не существовать бы — не обладай художник вкусом и не измерь он удельный вес дыхания туманов петроградских болот...

Может быть, именно этот запах довел когда-то Петра до галлюцинаций, чтоб он увидел город во всей его далечайшей исторической будущности — вплоть до настоящего момента, чтобы скользить по нем и дальше.

Казалось, в настойчивости этого запаха был заказ исписывать еще и еще жадные, отдающиеся почерку страницы: — неудовлетворенность, мужественность, головокружительная активность, почти безумие действия вдыхалось в нем.

2-я глава. ПЕРВАЯ ПАРА

Невский тонул в тумане. — Четыре разбрелись по парам: одной надо было идти в коалиционную (правительственную) пятерку, другой не надо было никуда.

Они вошли в туман, как в сказочную заводную табакерку, в которой выгаллюцинированный город играл вступление—темп был медленно...

Рвали туман только восточные лица, отчасти лица южан. Какой-то нелепейший, как солнце на Шпицбергене, туркмен в чалме под зонтиком, — топил не только воздух, — стены.

От четырех скул, взятых нами под наблюдение, корпией, рвалась простыня туманов на чью-то рану. Раной могла быть мостовая. Было больно от проезжавшего автомобиля; от подков коня она страдала невыносимо.

Крик мостовой и крик копыт был взрывом музыкального клохтанья.

Дирижирующий при этом брал палочку тремя пальцами, и палочка вибрировала, как и жилка на седом виске.

Малейшее движение вправо раскачивавшегося «Направника»: — чалма и скулы звенели, как медные тарелки... Проститутки и чиновники, новый народ, войной окрашенный в серое, входил в лейтмотив тумана. Трамвай позвякивал, как дверь на звонке в фойе театра. (И всякий раз при этом казалось, что входят новые лица и войдет кто-то нужный, кого здесь ждут.)

Занавес был еще опущен.

Сморкался капельмейстер. В ложах шуршали платья, поправляли шлейфы, облокачивались лорнетами.

Вошли мужчины: открыли лысины, извинились, что опоздали... Кин брился. Вместо него вышел актер на вторые роли и предупредил о чем-то капельмейстера. Тот вновь показал манжеты, взмахнув ими, как ученая птица, показывающая десяток лет в Зоологическом сноровку утерянного права лета, — и улыбнулся посочувствовавшему соседу — первой скрипке: оба знали сейчас свою обязанность подтвердить торжественность момента секретом у рампы — и это было более действительно, чем первый и второй звонок. Электричества не было — фикция, но для толпы и этого (и шевеленья у рампы) было достаточно. Здесь запах гари подменялся запахом дорогих и потому дешевых сигар.

Они будут играть Шекспира!!!

Галерки не было — она была в пригороде...

Двое свернули с Невского и пошли по Шлиссельбурке. Лавра и дальше амбары сразу могли дать понятие о XVI веке: здесь действительно мог бродить Лир с сотней добрых Корделий!

Здесь красочность декораций, позабывших о лаконизме их языка художников, лишалась места: оно отводилось актеру.

На каждом булыжнике читался жирный шрифт афиш о трагедии с соблюдением трех единств.

На бревнах, десятилетиями не дотянутых до места провала, берега которого они должны были соединить и куда они завезены были размахнувшимся в росчерке городским думцем, а потом деревенским людом, читалась та же надпись. Бревна репетировали.

Афиша была на чайных, прачешных; она же была на лицах едущих на паровичке.

В наивности метел, приделанных к футлярам колес, чтобы сметать щебень, крошащийся в рельсы, была наивность сказки о бабе Яге, заметающей след. Паровичок казался прирученным ежом в кухне, куда ради него ходят дети хозяев каждый час, и он это знает и добродушно чмышет...

Запах гари здесь был доведен до полного совершенства. Пора было появиться и Кину.

3-я глава. ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Четыре рвущих туман скулы, с четырьмя проведенными сквозь время пригорода, — сквозь это двухсотлетие от впадения кого-то там в галлюцинацию, — глазами, преодолевали косность времени, как пространства, легшего между ними, и продолжали галлюцинировать... (Все тоже.)

Им это также снилось вместе с миром. Мир спал, как мать, что бредит детьми, и дети слушали — они не спали.

Бред матери, — жизни, что ль, родины ль? но этому четырехглазому пешеходу казалось знакомым... Он предчувствовал уже по вступлению, как скорлупе опавшему и совлекшему с поврежденного маской лица белый гипс туманов, — что эта наступающая ночь (а до нее оставалось еще столько шагов, сколько надо для того, чтобы и мы, идя за ними, могли бы быть достаточно подготовленными к встрече), что эта ночь покроет своим «сегодня» значение города со всеми двухсотлетними его аксессуарами.

Брались октавы, которыми помимовольно побуждались к дальнейшему пальцы глухого.

Лошадиные бега по клавишам камней бывают громче, чем Бетховен.

Музыкант, наконец, перестал настраивать первую скрипку. Направник перестал демонстрировать держащие на нервах партер белейшие манжеты. Они давно были

поглощены и втянуты, как эти пешеходы в улицы, в лабазы, не монастыря — не музыкальной пустоты, — в игру великого.

Кин вышел... Последней музыкальной фразой (паузой) была часовня «Матерь Всех Скорбящих» — это граничило с голосовой возможностью скрипки. Скрипка добирала уже, как обертывавшееся над звездами озеро, небо, тогда как звезды слишком навалились (они очутились теперь в обратном зеркале: озеро со звездами падало сверху, небо тонуло и втягивалось в болото), звезды были на куполе часовни. — На нее нельзя было глядеть без головокружения. Выносили чей-то гроб...

Музыкант испытывал тоже головокружение: стоя на одной ноге и отводя, как бы в падении, другую, он старался так, не перелив ни капли и не нарушив двух глубин, — переместить их звуком; и затем играть на самых низких и успокоительных, — как бром, тупящих нотах. И тотчас же вас усыпить, не дав почувствовать всей остроты падения.

В тех случаях, когда рвут связки самых эластичных сгибов, дают страдающему морфий.

И шок, закупоривающий дыхание скрипачу, излечивался глотком воды.

Была даже салфетка, предохраняющая шею... Часовня была этим бромом.

Низкими нотами колокола лечили скорбь...

4-яглава. КИН

Он — двое — прошли широкую вдоль целой улицы писанную забором рекламу — «Жестяно-гвоздильный завод»... Дом, глядевший из тупика вдоль этой улицы, был желтым гробом: — форма его, — то, что он был с мезонином, — казалась пирамидой гробов с последним сверху; вокзальный цвет окраски.

Дом-гроба поглядывал восемью глазами с куриной слепотой гераней в стеклах (о, этот запах цветочного горшка!) вдоль жестяно-гвоздильной улицы. Название ее было «Прогонная», и черный палец «к сапожнику» указывал и — куда гнать. Он мог быть истолкован двояко — этот черный палец...

На ней постоянно дул сквозняк. Одна щель выходила сквозь все восемь заплесневевших разгераненных глаз тремя такими же с затылка. На сквозной двор — дальше, через Неву, на Охту. Там был лес, туда тянуло пригород в праздники. И эхо условленного оклика «рябина-рябинушка!» — долетало оттуда, как «нуу — штоо?!...». Этим кончалась щель. Дальше была уже географическая карта Европейской России и — в бинокль ее не было видно.

Другая — с противоположного конца. — На этой щели была надпись «Чайня С. Букетова».

Синяя вывеска, — недавно выкрашенная, пахла дешевой шоколадкой в желатиновой обертке с вклеенным ангелом или букетом, той, которой украшают елки в пригородах их благотворители (из года в год снимая и пряча в жестяную коробку до следующих вихрастых поколений).

На вывеске С. Букетова по естественной ассоциации вывесочных дел мастера — два розовых букета (наследственной герани в рыжих глиняных вазочках).

Не жил ли С. Букетов в грободоме? И не нарочно ли «чай-ня», имевшая такой же мезонин и шпиц на нем, и высунулась брюхом вперед и отошла на мостовую два лишних шага, чтобы беззастенчивый Эс. Бук. (назовем вкратце) мог всеми восемью подслеповатыми оттуда наблюдать из-за сербаемого и студимого блюдечка (с букетами же) и одурманенного соседством с ним самовара — свой увеличенный «с расчетом на сто персон» самовар-дом и гордо помысливать, макая усы и приглаживая к шее бороду, о том, что — «переулок-то собственно наш, ибо по нем, окромя сапожника Семиона Владимирова, никто не вывесил вывесок и не приглашал к себе, и не потому ли (наконец да!) — и называется он "Прогонный", что по нему не столько раз проходят

глупые рогоживотные на пастбища, сколько бегает Мишка, Терентий и прочие половые чайного дома Семиона Букетова» и Сам старший тезка сапожника, Семион Титыч Бук., как крещен был маститый «чаепытыч» добрососедством с неоскорбительным дружелюбным лукавством... Елочным благотвори-тельством казалась вывеска, и ей не приходилось жаловаться на неблагодарность.

Посетители захаживали, засиживались и хвалили...

Этим людям, чьи чаянья не кончались, а лишь начинались за чайной вывеской... холились чаянья, о которых в голову не приходило потребляющим густой, на соде китайский кипяток.

Чаянья эти простирались вплоть до вещей политического порядка. Вплоть, например, до мечты о конституции (купеческой), где бы благородные роды принуждены были сесть рядом с благородным капиталистом в столь засаленной поддевке, пахнувшим канарейкой и цветочным (геранным) горшком, чьи бороды напоминали запыленные и сбившиеся от частой мойки тюлевые занавески.

Круто деревянными были шаги по этому переулку, когда на утренней и вечерней заре приходили, мыча, животные, пахло временами Ноя.

Никифор припомнил осень прошлого и лето будущего года.

Он вспомнил, как ветер, дувший постоянно вдоль Прогонного, взметал бумажки; бумажки танцевали. После танцевали девушки; на них были цветные косынки: — гурьбой они вошли и вышли со смехом, относящимся к нему, — со смехом, полным молодых восторгов странному, так взволновавшему их посетителю и доброго пути ему, — вытанцевали, а не вышли они на крыльцо, и еще ветер долго доносил обрывки звонких голосов, как клочки дорогих писем, разорванных и пущенных по ветру.

Два года, прошлый и будущий, дугой перегибались над настоящим — таким недотрогой,— хохотали и радовали. Алгебраическая формула с двумя неизвестными, веселая шарада — наслаждение для гибкого, свежего, требующего движения ума. Темперамент был окован ненужной миссией. Меловою маской миссии прикрыли и хотели придушить румянец. Маска срывалась, румяня щеки еще сильнее.

Но слепщик шел рядом и примеривал белые, как гипс, слова к душе взбунтовавшегося вдруг спутника.

Он и он: у четырехскулого появиласьтень и раздражала. Игра случайно находила новые поводы, тема варьировалась. Кин играл.

5-яглава. КОМНАТА

Занавес опять отдернулся, открыв болото и четыре корпуса; один был институтом, остальные — приютом сумасшедших — материалом института, здесь их изучали. В них искали разгадку — ключ к бытию. Свое падение неизбежное старались знать заранее, к этому выработался элементарный вкус. Кин вышел — пригород торжествовал: галерка хлопала им сумасшедшими домами.

Никифор и Даниил искали комнату. У них был старый адрес брата, оставшегося в следующей паре: «Морев — Рабочий цеха медников. Екатерининская, 9.1». Они дошли. Хозяева их знали по фотографиям, оставшимся от прежнего жильца. Их напоили чаем с леденцами, сырыми блинчиками из картофельной муки (по рюмке водки) и показали комнату: ту самую, в которой жил Глеб. Алексей Михайлович Морев обещал пристроить на завод.

— Что, не хотите быть табельщиками?

— Ну, нет, в жестяницкий не рекомендую: будете вот так токовать, как я, весь разговор испортите. Куда-нибудь уладим. Токарями. На Механический не выйдет! Ладно!.. Как Глебушка?..

Да комната была «та самая», то есть в ней были все признаки, идущие из будущего. Угадывали по приметам: когда уселись здесь, казалось, вот и возвратились из долгих странствий.

Горька была чаша этой комнаты, но в этом-то она больше всего и ценилась. Горечи ль не быть? Только скорее бы все шло и делалось. Они томились.

Старшая, Леля, принесла цветок в старой коробке из-под монпасье (здесь называли это «ландрином»). Цветок посажен Глебом: ему уже три года. Он периодически то умирает, то оживает вновь, сейчас он ожил — да, «с неделю места». Ожил, извольте видеть!..

— Как Глебушка? Где есть сейчас? — спрашивает Алексей. Условлено было не говорить, что Глеб приехал.

— Работает — эсэрничает.

— Та-ак... А вы — позвольте?..

— Мы — большевики...

Посмотрел, порезал ножиками глазных щелей: выдерживают.

— Это спокойнее, хотя и не по времени, я тоже записался в партию, с неделю места. Обмякли народовольцы-то: Исусис-то!.. Опять же фронт...

В двух местах продранные со стены шпалеры открывали прежнее. Два голубых засиженных квадрата дышали плесенью и вместе зноем каникулярного — мухолетописи.

Нужна решимость Сведенборга, чтобы стены означали Ангела, —две рамы — выклеванные глаза, кровати были полюсами, стол бел и холоден, как лед, — безмолвье скатерти сибирской ночью, — окно трещало; не влезал, что ль, гроб?

Кресло — последнею попыткою бессмертия, — печь из железных листов, круглая, окрашенная под цвет легких, — свидетель и уничтожитель. В такой комнате должно завести пса, вертящегося со времен Гете, и все это имело бы тысячу других значений. Беднейшая из бедных комнат могла быть лучшим снарядом, чем тот, что выдуман Райтом. [Была насыщена и годилась для преодолений веса.] Времени в ней не было, она была вся в настоящем. Решили поселиться здесь. Им дали зеркало. Привесили. Ушли.

— Могучие неврастеники, — сказал о них Морев.

7-яглава. ПЕРВАЯ НОЧЬ Опять они на Невском.

Вечер — музыкальное приготовление к ночи. Опять темп беше-нейших встреч в ином, не сжитом с ними мире. Пульс неизвестных жизней пропитывал, как малярия. Сердце стучало в голове и мыслило...

Казалось, что проспект гадал на картах или играл азартный, но расчетливый игрок.

А может быть, просто — старушечий пасьянс.

Белые пряди из-под чепца — туман, все вырывавшийся из-под ночи: она их подбирала, но непослушливые падали.

Очки сползли на кончик носа. На холодный кончик, вынюхавший свои семьдесят лет, теперь имевший только этот смысл: — поддерживать оплывшие очки.

Она откидывалась, выдавая за высокомерие отсутствие живых движений.

Но карты оживали. И карты были черными.

Лишь попадая в полосу особо ярких кафе, фигуры загорались королями и дамами. Чаще всего шли трефы.

Вот фланер — трефовый туз. И дама в шляпе с наколкой — пиковая. Вот пара — трефовой четверкой: вверху отогнуты поля у шляп, внизу закатаны по-английски клёши и боты дамы с отворотами.

Вот три фланера под руку — трефовая шестерка: три пары ног и шляп...

Но эти двое: кем были они на молоке туманов? Может быть, их сердца просвечивал и двумя червонными тузами, может быть, горели спины двумя бубновыми? Они приберегались, как последний козырь.

Лечь сверху в гран-пасьянсе Пиковой Дамы: хваленый ее секрет. Опять тасует и сдает проспект: идут лишь пики, трефы, — черный креп мастей. И ночь шарахается и подбирает седые пряди с мокрых улиц, но они волочатся и смешивают карты.

Голова вздремнула, сбился чепчик, и холодный кончик носа приплюскивается к груди червонного туза, наконец, выпавшего... Хруст очков...

Вбегает Герман: «Карту!»

— Что я — дурочка? — откидывается старуха.

— Две карты! — беснуется вошедший.

— Вздор!

— Три! — старуха падает.

Герман тревожно выбирает карту. Старуха остается лежать, разметывая волосы тумана вдоль проспекта. Чепчик — ночь или Исакий.

Они остановились на углу, где скрещиваются проспекты и автомобили, купцы и проститутки. Все дороги ведут в Рим: эти дороги привели недостающих; в руках у Германа было три карты.

Нашли ночлег. Какая чернота. Из нижнего плыл чад: топилась кухня. Они попали в синеву его по лестнице.

Казалось, он десятками десятков лет, прижавшись к стенкам, шел, шаря, как слепой, вдоль лестниц и страдал одышкой. Это он посизил стены беззрачными белками: стены мучили — сплошные бельма.

Запах слез и пота — тяжелое дыхание свалившегося на перила пара; запах жареного и вареного мяса: лошадей, собак, коров, кошек и кроликов; запах окисшей крови на ножах—тошнило. Поевший чувствовал себя детоубийцей.

Номер, расположенный наискось коридора, был также вызывающий: по форме (округлого угла) и номером 77. Все их готовило к совместной ночи.

В номере один диван и два стола; три кресла.

Сообразив, где ночью лягут, испытали жуть взрослых. Жуть эта создала примету поваров: спишь на столе — зарежут.

Холодок повязал нитями локти и у щиколок. Сидели, закурив, молчали. Обменивались незначащими фразами.

Глеб, узнав, что под квартиру снята его комната, как-то вобрался в плечи и сидел, полный предчувствий и беспокойства.

Чем была для него его комната? Ничем особенным! В ней он завел раз установленный порядок вещей, по-студенчески теплично жил и занимался при пятилинейной лампе.

Утром бывал только в праздник, и то ненадолго. Утра эти и были окрашены как будто праздником. Поэтому и во всякое утро, когда он вставал, спеша в институт, захватывал с собой немного праздничности снов и одиночества.

Праздничность лекций была другой: обширность мыслей; в конце концов, во всем этом, пожалуй, больше было будней, чем в нескольких захваченных минутах утра из бедной комнатенки. Бедность жилья подчеркивала богатство достижений в области знаний, черпаемых здесь. На всем этом лежал привкус студенческого быта, но что-то просачивалось, точно первые лучи в окошко комнаты и точно первый мир, где он вставал с постели, обязанный дать имена природе.

Теперь ему казалось, что это-то и было самым главным: сонное в той комнате. Об этом думал он теперь.

Особенно теперь ему все это показалось нужным; он ревновал тех двух к их будущему в комнате, — к недоговоренному им его прошедшему и ежился. Сказать об этом теперь нельзя.

[Его инстинктом, выделившим себе защиту для уединенных мыслей позой, изучалась боль. Она спасала от их вмешательства.]

Он еще раз проверил: — ревность разыгрывалась, как зубная боль, — вернулся к общему незначащему разговору, оставив много для себя молчания.

Странно было то, что дядька Николай держался так же: он так же, как и первый, вбирался в плечи и ревниво поглядывал на остальных.

Они, разбившись утром надвое и теперь сойдясь, казались чуждыми одни другим. Было такое впечатление, что с этими, как с теми, в это шестичасовье произошло многое — чего взаимно не решались открыть. И, не условившись заранее, боялись, как бы кто-то не оказался неосторожным и не нарушил заключенной тайны.

Бессознательно они копировали друг у друга движения: двойник по тайне, как бы желая миной воспроизвесть думу другого и боясь растроганности, жался. Но могли не бояться: выдать было нечего. Безмолвие ж всегда разгадано безмолвием: об этом забывали.

Николай, скопировав состояние Глеба, стал понимать, что это поняли и те, и ежиться вдруг перестал.

— Глеб, и тебе бы надо перестать горбиться. Глебенок, а? Что ты там прячешь? Знают они все это. Ну! Шея втиснулась, как черепаха.

— Потеря, к сожалению, невозвратимая, — повернулся тоже к Глебу шагавший между креслами, выписывая странную какую-то кривую, которая как будто помогала ему мыслить, Никифор.

Руки у него были за спиной, замком, и вид немного приподнятый, возбужденно веселый. Он как будто продолжал и замыкал последнюю мысль Глеба.

— Ты не беснуйся! Хочешь с нами в ту самую? Ведь ты ревнуешь теперь больше, чем раньше! Ты различаешь, — чутья у тебя хватает, — что все, что здесь происходит, — из действительной жизни, о которой тебе только снилось. А сладострастия в тебе столько же, как во всех нас; это не плохо: это единственное, что в тебе не плохо. Остальное ты понимаешь, но сам на это не способен: скажем — музыку; а действительность — это твой магический круг, куда тебя тянет — настоящего. Если бы ты пошел этим путем естественного развития твоих сил, ты не был бы мумией, какой сейчас стал. Ведь отчего ты шею вбираешь, как черепаха, как сказал Николай? Это ты себя настоящего втягиваешь в мумию. Я вот совсем из другого порядка — музыки, но вас вижу, и на тебя мне глядеть досадно. Ты более действительный, чем все мы. Вот Данила — тоже, но он естественен. В нем пока много хаотического, но это пройдет, он уже видит дальше себя. А ты заткнул нос ватой... Я-то тут при чем? А я занимаю твое место. Мне бы сейчас надо бросить все и уйти прочь. Мне только хотелось раскрыть тебе глаза на все. Самое вредное это то, что ты хочешь вобрать в черепаху не только свою шею, но и чужую—Данилину. А он, — как ты этого не понимаешь, — уже распух от воздуха и не влезает. Ну и сиди теперь со своей фальшивой миссией...

Никто не выкрал твоей миссии: лежит спокойно в боковом кармане — документы, подписи... — больше ничем не грозит!..

Глеб вздрогнул, но тотчас же справился, чуть-чуть приподнял брови, чуть дрогнул губами.

— Вот что я тебе скажу: того, что мы решили, ты не отменишь. Что ты за эти шесть часов обвеял Николая своим толстовским стариковством и нежностью, отваливается вот здесь же.

Он повернул к Николаю и, вынув из кармана его пальто браунинг, положил в свой.

Николай сидел и глядел во все глаза, с каким-то почти детским любопытством. Он вдруг просветлел, как юноша:

— Рано, сокол! — поднялся он.

И, вынув браунинг у несопротивлявшегося Никифора, положил обратно себе в штаны.

— Я знал это, — сказал Глеб. — Одно только — зачем вы меня брали?

— Ты сам покинул свое болото. Никто тебя не звал — фабрика — предлог, ты это тоже знал.

— Но ведь ты эгоист, и во имя только своих страстей ты не имеешь права посягать на дело общества. Ты вне его. Зачем ты вмешиваешься и вовлекаешь нас?

— Нас?! О ком ты говоришь, Глеб? — отозвался Данила. Обиженного тона не было, но мыслью вопроса передавалась обида.

— О тебе.

— Я так и знал. Сообрази, что из одного протеста против твоего нянченья я пойду с Никифором.

— А почему с ним, а не сам?

— Из протеста, в пику тебе и твоим нелепым подозрениям о моей незрелости! А впрочем, все это ради спора. На самом деле вовсе не Никифор решал вопрос, а я. Никифор просто моторная сила в данном случае. [В нем есть упругость: — мы его выбрали пружиной часов. Дойдет до места, — шлепнет Николай, зайдет опять — пойду я. А что он сам потом будет делать — это совершенно не важно ни тебе, ни нам. В таком деле должен существовать слепой механизм — для исполнителя. Вся воля собрана в волевой момент решения, но другой волевой момент — точка — действие, должен быть предоставлен или часам, или — ему. В нем насыпан песок какой-то чуткой упругости; он — время. В это я верю и в правильность его формы (колбы с песком).]

— Как все это литературно: [Кириловщина, причем сам Кирилов — Никифор, разыгрывает роль Ставрогина... аты... По-моему, вы поменялись ролями. Не в этом ли выход из того, чтобы вовсе не стал обезьянами «бесов»? Все-таки это оттуда...] По мне, роль Никифора [в то же время еще и] — роль Верховен-ского, только и тот был честнее...

—Да, — такой же идиот, как ты: верил в Ивана-царевича! — не утерпел Никифор. — Это на меня не похоже.

— Веришь! — как-то повелся весь судорогой Глеб.

— Что за тарабарщина: — это в него? Бросим. Не хочу говорить в эту сторону. У тебя литературный зуд в голове. Если бы кто-нибудь мне сказал то же самое, другой, я бы даже не рассердился: ничего, пожалуйста; но тебе мне хочется вдолбить... или, вернее, [выдолбить] вышибить из тебя эту плесень. Ты ведь и в партии литературишь. Не можно идти в монастырь — ты на послушании у эсэров. Покаянная сволочь! Тошнит. Противно! Совсем ты не тот!.. Эх, не к чему!..

— А я ведь из эстетики, как ты говоришь, — повернулся он опять, продолжая шагать.

— Знаю, знаю, что ты из эстетики. Знаю, откуда это началось: греки [или ничто]. «Террор Антиквус» [—тактебя, кажется, звали твои...]. Но, послушайте: при чем тут дядько Николай со своими семью ребятишками?

— Ребята — вещь коллективная, мой друг, — провел ему Николай сухой ладонью по плечу, и в этом жесте опять была такая юность, что Глеба обожгло на минуту. Он тотчас сообразил и вернулся опять в свою линию мыслей.

— Я... — начал было снова Глеб. Никифор вдруг предложил:

— Вот что, недурной выход: кто пойдет за чаем? —Данила, пойдем! — кивнул Николай. Они захватили чайник и вышли.

— Уф, какая вонь, — послышался вздох из-за двери. — Дядька, иди ты сам, я не могу.

— Пойду я с ним, — подошел к двери Никифор. ' — Да ничего, я и один справлюсь.

— Не справишься: запутаешься.

— Справлюсь: иди. — Оба брата вернулись.

1леб сидел, глубоко вобравшись плечами в диван и подняв острые худые коленки.

— Пока нет дядьки, я тебе вот что скажу: если ты будешь мешать, поезжай завтра же. Не только делом — мыслью. Мы надеялись, что ты увидишь [хари на своих иконах] и сам поймешь и пойдешь с нами. По тайне благочестие. Тогда весь план перестраивался бы. Этого не случилось.

— Я поеду, — упавшим голосом отозвался Глеб.

— Глебенок, не плачь, не унывай! Жалко на тебя глядеть, какой ты большой дурак, — подошел к нему Никифор.

— Ты — чудовище!

— Я знал, что ты все время так и думаешь обо мне, хотя и любишь всегда; кое-чего не добираешь — самую малость.

— Оставь свою теорию в голове.

— У тебя другая мысль: «Оставь мне этих двоих и иди... на Хитров». Я, дорогой мой, оглохну и пропаду в такой стране дурацкой, а если жить, так — дышать и слышать... Хитров — хитер — он на это не пойдет; он ко всякой вони приучился. А этих двух я знаю и крепко их люблю; мы можем думать вместе, радоваться и умереть. В этом вся штука. Ты не хочешь, и ради тебя — чтобы дать тебе почувствовать себя, мы, может быть, делаем сейчас вот много ненужных вещей. Ты тоже в этом механизме не последняя шпулька, своим упрямством. [Неужели ты — студент, а не человек? Вот вопрос, который меня интересует. Моль учебников съела тебя — изжевала.] Энциклопедист.

— Пожалуй, я не могу быть таким дикарем, как ты.

— Скажи, вернее — ты этого не мог и раньше, и потому это клеймо так и пристало к тебе. В тебе нет дарованья. [Ты взял трудом и самолюбием и потому дорожишь завоеванным.] Боишься остаться банкротом, отказавшись от искусственных зубов. [Желал ли ты когда-нибудь... как конь — сена...]

Вошел Николай.

— Вот весь сказ. Теперь рассуждай и принимай решенье: большей любви, чем сейчас была во мне к тебе, нигде, никогда не встретишь.

— Ну, парнята, раздобыл!.. — Он поставил чайник и достал из кармана красноголовую полбутыл ку и сверток сельдей и огурцов. Хлеб принес под мышкой.

Достали кружки и уселись у стола.

Немного оживились. Всем досталось по полкружки водки и по огурцу.

— Глебенок, вот что я тебе, дорогой, должен сказать: пощадил я тебя сегодня, когда не выклеил ему лбишку — этому пузырьку из «Народного труда». — Студент, но мерзавец, и остальные такая же дрянь... Преклоняться перед наукой умею, но перед наукой опыта и если это — теория, так в дело; а все остальное — вещь подпольная, комнатная — мозговой бред — барство. Подожди-ка, еще сбегаю за полбутылкой: на вас не рассчитывал, — улыбнулся он.

— Я пойду, — встал Никифор и вышел.

— Подожди, дядька, одну минуту; все это знаю наизусть, что ты скажешь, и ты-то, конечно, будешь прав, а не Никифор, о котором тоже можно сказать, что это — из области подпольного бреда и никого не касается. Скажи ты мне одно: думал ты о детях и как решил, если это серьезно?

— На этот раз подумал, хотя те-то [тысячи отцов], идя за «царя и отечество», не думали об этом. Устрою. Есть подпольный союз — будет помогать до переворота. А потом — пенсия.

— Да что ты думаешь, я так и сдался; мне не в первый раз этим ведать... — Он запнулся и помрачнел.

— То есть... что это? Я не понял: о ком ты? Разве ты стрелял кого-нибудь?

— Ну да, стрелял!

— Я не знал. — Ах, правда, у тебя что-то на Дальнем Востоке, помню, тебе не хотели дать солдатское жалованье, как инвалиду.

— Не то! Ну, да не важно!

— Ну да, не важно. Как же ты думаешь?

— Что ты входишь во вкус или...? Скажи прямо, Глеб: — не станешь поперек дороги? Стыдись! Ведь нас три головы, твоя одна: мы, может быть, чище втроем-то обмозговали. Как ты?

— Нет, не стану. Завтра уеду.

— Дядька, не имеешь права, — сверкнул <...>

1917-1918

БЕЗЛЮБЬЕ

Глава из повести

У него был брат. Это он, скрипя по снегу, обошел дом и, скрипя по мерзлым ступенькам, поднялся на крыльцо и стал стучаться, как стучится человек в дом, обметаемый со всех концов бураном, когда вьюга леденит его кулак и, свища и завывая, орет ему в уши, чтобы он стучался чаще и сильней, а то как бы не... а меж тем сама дубасит в ставни, чтобы заглушить его стук и сбить с толку обитателей.

Его услышали. Ему отперли. Дом стоял на пригорке. Дверь вырвало у него из рук вместе с рукавицей. Пока она летала и ее ловили, — седое вьюжное поле хлынуло в прихожую, его дыханье коснулось ламп, и до слуха долетело отдаленное звяканье колокольца. Он тонул в широком поле и, захлебываясь, звал на помощь. Его несло к дому неудержимой тягой вихря, ухватившегося за дверь, увалами санной дороги, пришедшей в дьявольское движение, ползавшей под полозьями и дымившейся на десятки верст кругом столбами душного снега.

Когда дверь поймали и заперли, все поднялись навстречу призраку, стоявшему в пимах, как на задних лапах, в дверях прихожей.

— Подают? — спросил Ковалевский.

— Да. Выехали. Едут. Вам пора собираться. — Он облизнулся и утер нос.

Поднялась суматоха. Стали выносить узлы и корзины, и дети, хандрившие с самых сумерек, с развески изюма, которой занялись, опростав стол, спуста и сдуру, когда выяснилось, что все уже уложено, а говорить как будто не о чем, времени же

впереди еще много, дети ударились в рев, оговариваясь друг другом: ревет-де Петя, — а я, — что папа уезжает, и они тыкались в передники обеих матерей. За правдой, за избавлением от сумерек и сушеной коринки, от вьюжного поля и хаоса; от уезжающих пап и от ламп, от корзин и от шуб.

Вместо всего этого их, как по знаку, подняли на руки няньки и матери и в порыве душевного волнения, все вдруг, разом, понесли в коридор и в сенях, обеими половинками дверей перекликавшихся с ямщиками, протянули уезжавшим. Головы обнажились. Все стали, крестясь и умиляясь, прикладываться, кто к кому, торопясь и поторапливая.

А меж тем с огнем в руках, плескавшим в ночь и не выплескивавшимся на снег, татары — их было трое, а казалось — десятеро, — подскочили к коням, запряженным гусем, и, едва успев сникнуть и озарить постромки и бабки, привскочили и как

угорелые стали хлопотать и бегать, маша пламенем и поднося его то к стоявшим кругом кибитки сундукам, то к ее задку, то под морды лошадей, узкою и цельной гирляндой взвивавшихся на воздух, как от порыва ветра, то в снег, то под самый их под-пузник и под паха.

Миг отъезда зависел от них. А кругом — снегом гудели леса, снегом бредило поле, и напористый шум этой ночи, казалось, знает по-татарски, и, громко споря с Миннибаем, взобравшимся на крышу кибитки, хватает его за руки, и советует взять чемоданы не так, как кричит Гимазетдин, и не так, как полагает сшибаемый вихрем и вовсе осипший Галлиула. Миг отъезда зависел от них. Татар так подмывало взяться за кнут, засвистать и отдаться на волю последнего удалого айда. По всем этом не удержать бы уже больше коней. А ямщиков, как пьяниц к рюмке, тянуло уже безудержно и миг от мига горячей в печаль ямского гиканья и воркованья. И оттого в движеньях, с которыми они бросились напяливать азямы поверх дох на господ, была лихорадка и страсть обезумевших алкоголических рук.

И вот, прощаясь, последний поцелуй послало пламя остающимся. Гольцев уже ковырнулся в глубь кибитки. За ним, путаясь в трех парах дошных пол, пролез под полость и Ковалевский. Оба, не слыша тупыми валеными дна, стали, обминаясь, тонуть в подушках, в сене, в овчине. Пламя зашло с того бока кибитки и, неожиданно снизясь, исчезло.

Кибитку дернуло и покоробило. Она скользнула, скрени-лась и стала валиться набок. Раздался тихий, из самой глубины азиатской души шедший свист, и, на плечах выправляя падавшую кибитку, Миннибай за Гимазетдином с разбега взвились на облучок.

Кибитку вынесло как на крыльях. Она потонула за ближней рощей. Поле встало за ней, ерошась и завывая. Оно радовалось гибели кибитки. Она исчезла без следа между ветвей, походивших на босовики, за поворотом у выезда на Чистополь-ско-Казанское шоссе. Тут Миннибай слез и, пожелав барину счастливой дороги, пропал, прахом развеявшись по бурану. Их мчало и мчало прямым, как стрела, большаком.

«Собираясь сюда, я звал ее с собой»,—так думал один, дыша влагою талого меха.

Это было, помнится, так. У театра скопилось множество трамваев, и у переднего толпился и тревожился народ. «Спектакль начался», — шепотом доверился капельдинер и, серый, в сукне, отвел рукой суконную полу, укрывавшую черное хайло амфитеатров от освещенных вешалок, лавок, калош и афиш. В антракте (он затянулся) они прогуливались, косясь по зеркалам и не зная, куда им девать руки, свои и чужие, одинаково красные и разгоряченные. «И вот, перебирая все это, — она хлебнула сельтерской, — я и не знаю, что выбрать и как поступить. А потому и не удивляйтесь, пожалуйста, если услышите, что поехала сестрой. На днях запишусь в общину». — «Лучше поедемте со мной на Каму», — сказал он. Она рассмеялась.

Антракт затянулся оттого, что в начале второго действия предполагался музыкальный номер. А номер без гобоя неисполним. В гобое же и заключалась несчастная причина скопления трамваев перед театром.

«Он изувечен», — передавали вполголоса, рассаживаясь по местам, когда засветился крашеный низ занавеса.

«Он извлечен замертво из-под колес», — узнавали от знакомых, стуча тяжелыми калошами по суконке и волоча концы платков и шалей, упущенных из муфт и рукавов.

«А, теперь они удивятся», — так думал один, стараясь слить ход своих мыслей с ходом саней и обрести сон в усыпительном подскакиваньи кибитки.

Другой думал о цели их внезапного выезда. Он думал о событиях, о своем былом отрочестве, о том, как встретят его теперь там, и о том, что надлежит сделать в первую голову, за что взяться и с чего начать. Он думал также, что Гольцев спит, и не

подозревал того, что Гольцев бодрствует, а спит-то он сам, ныряя из дремы в дрему, из ухаба в ухаб вместе со своими мыслями о революции, которые были ему опять, как когда-то, дороже шубы и дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже собственной жизни и дороже чужой и которых он ни за что бы не выпустил и во сне, раз за них уцепившись и их на себе отогрев.

Сами собой, безучастно приподнялись веки. Их изумление было безотчетно. Село покоилось глубоким загробным сном. Сверкал снег. Тройка завернулась. Лошади сошли с дороги и стояли, сбившись в кучку, завитком. Была тихая, ясная ночь. Передовая, подняв голову, вглядывалась с высоты сугроба во что-то оставшееся далеко позади. За избой, схваченная клоком морозного воздуха, загадочно чернелась луна. После торжественности лесов и вьюжного безлюдья полей было былинным дивом наткнуться на людское жилье. Оно словно сознавало, как страшно и как сказочно оно, и, сверкая, не торопилось отвечать на стук ямщика. Оно безмолвствовало и длило свое гнетущее очарованье. Сверкал снег.

Но вскоре два голоса, не видя друг друга, громко затолковали через ворота, и целый мир переделили между собой пополам эти двое, беседуя сквозь тес среди безрубежного затишья, и тот, который отпирал, взял себе ту, что глядела на север и открывалась за крышей избы, а тот, который дожидался, — ту, что виделась с сугроба тонко высившейся передовой.

На той станции Гимазетдин разбудил одного Ковалевского, и теперешний их ямщик был Гольцеву незнаком. Зато он сразу признал того Дементия Механошина, которому выдавал однажды в конторе, и, значит, верст за шестьдесят отсюда, удостоверенье в том, что, содержа тройку и правя последний год между Биляром и Сюгинским, он работает на оборону.

Было странно подумать, что тогда он удостоверял эту избу и двор и, совершенно про них не ведая, подписывал свидетельство этому сказочному селу и звездной ночи.

Потом, пока на дворе шла перепряжка и сонная ямщичка поила их чаем, пока тикали часы и за невязавшимся разговором душно ползли клопы по календарям и коронованным особам, пока равномерно и невпопад, как механизмы с разным заводом, всхрапывали и подсвистывали сопатые тела, спавшие на лавках, Дементий входил и выходил, меняясь во всем с каждым новым появлением, смотря по тому, что снимал с гвоздя или вытаскивал из-под перины. В первый раз он вошел в зипуне — мужиком-хлебосолом, сказать жене, чтобы дала господам с сахаром и вынула булку, в другой — работником, в короткой сибирке—за вожжами, и, наконец, втретий явился ямщиком вармяке и, не входя, сказал, нагибаясь, из сеней, что лошади готовы, а час уже четвертый, время-де собираться, и, пнув кнутовищем дверь, вышел на темную, звонко разбренчавшуюся при его выходе волю.

Вся остальная дорога прошла мимо памяти обоих. Светало, когда проснулся Гольцев, и поле туманилось. По нем, пря-мясь и растягиваясь, тяжело и парно дымился нескончаемый обоз; они его обгоняли, и потому казалось, что сани с дровами и возчики только топочут на месте, чтобы отогреться, и только отвизгиваются, кренясь со стороны на сторону, и раскачиваются, вперед не подвигаясь.

Широкая гужевая дорога шла стороной от той тропки, по которой летели они. Она была многим выше. Меся непогаснув-шие звезды, подымались и опускались ноги, двигались руки, морды лошадей, башлыки и дровни. Казалось, само подслобод-ное утро, серое и трудное, дюжими клоками сырости плывет по прозрачному небу в ту сторону, где ему почуялась чугунка, кирпич фабричных корпусов, сырой, лежалый уголь, майный, горемычный гар и дым. А кибитка неслась, вылетая из выбоин и перелетая ухабы, захлебывался колокольчик, и обозу не предвиделось скончанья, и давно было уже время взойти солнцу, но до солнца было еще далеко.

До солнца было еще далеко. До солнца оставалось еще верст пять пути, короткая остановка на въезжей, вызов к директору завода и долгое шарканье по половику прихожей.

Тогда оно выглянуло. Оно вошло вместе с ними в кабинет, где оно разбежалось по коврику и, закатившись за цветочные горшки, усмехнулось клеткам и пичужкам в окне, елкам за окошком, и печке, и всем сорока четырем корешкам кожаного Брокгауза.

Потом, во все время разговора Ковалевского с заводоправи-телем, двор играл за окном, и уже не бросал играть, и не уставал сыпать бирюзой и ручьями терпкого хвойного пота, каплями сварившегося инея и янтарем.

Директор движеньем глаз указал на Гольцева.

— Это мой друг, — живо вставил Ковалевский. — При нем можно. Будьте покойны. Так вы знали Брешковскую?..

Вдруг он поднялся и, повернувшись к Гольцеву, воскликнул, как в испуге:

— А мои бумаги? Я говорил — так и есть. Ах, Костя! Ну что теперь делать?

Тот не сразу понял его.

— Паспорта со мной.

— Сверток, — рассерженно перебил его Ковалевский, — ведь я просил вас напомнить.

— Ах, Юра, простите. Он остался там. Это в самом деле свинство. И как это я...

Меж тем хозяин, плотный и одышливый коротыш, отдавал приказания по хозяйству, фыркал, смотря на часы, поворачивал кочергой дрова в печке и вдруг, до чего-нибудь не добежав, словно передумавши, круто поворачивал назад и, возвращаясь, с разбега внезапно вырастал у стола, за которым Ковалевский писал брату: «словом, лучше нельзя, дай Бог дальше так. Теперь перехожу к главному. Исполни все в точности. В передней, Костя говорит, на Машином сундуке, остался сверток с моей нелегальщиной. Разверни, и если среди брошюр найдешь рукописи (воспоминания, организац. границы, шифрованн. корреспонд. периода конспират. квартиры у нас и побега Кулишера и т. п.), то заверни все, как было, и при первой же верной оказии запечатай и перешли на мое имя в Москву, в адрес Теплорядной конторы. Смотря, разумеется, по обстоятельствам.

Ты ведь и сам не дурак, и при изменившейся...»

— Пожалуйте кофе пить, — шаркнув и отшаркнувшись, осторожно шепнул хозяин. — Вам, молодой человек, — еще осторожнее пояснил он Гольцеву, с почтительным умолчанием в сторону манжеты Ковалевского, целившейся в нужное выраженье и застывшей над бумагой в ожиданьи его пролета.

Мимо окна прошли, беседуя и на ходу сморкаясь, три пленных австрийца. Они шли, обхаживая образовавшиеся лужи.

« — при изменившейся — »

Ворона, взлетевшая при появлении австрийцев, тяжело опустилась на прежний сук.

«...при изменившейся конъюнктуре, — обрел недоставав-шее Ковалевский, — свертка в Москву не посылай, а припрячь поверней. Полагаюсь на тебя, как и во всем остальном, о чем уговор у нас. Скоро садиться в поезд. Смертельно устал. Думаем выспаться в вагоне. Маше пишу отдельно. Ну, прощай.

P. S. Представь, оказывается, Р., директор, — старый соц.-рев. Вот и говори после».

В это время в кабинет заглянул Гольцев с откушенной тартинкой и, сглатывая недожеванный мякиш, сказал:

— Вы — Мише ведь? Напишите, чтобы и папку мою, — он укусил тартинку и продолжал, глотая и жуя, — послали. Я передумал. Не забудьте, Юра. И идите кофе пить.

20 ноября 1918 г.

ТРИ ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ

I. НЕСКОЛЬКО ДАТ

Это было давно. Каз-за! — Они заскакивали крику в лицо, и вдруг, оказавшись на самом хребте огромного расседланного моря голов, бежавшего перед ними и за ними, верхом на нем, стремительно поворотив толпу, гнали ее вниз по тротуарам на своих кудластых и, как вы б тогда выразились, курдских лошадях. Тряслись гривы, тряслись серьги, — внезапно они перестраивались и уносились.

Аа-а! — подымавшийся не узнавал Никитской. Куда все девалось? Тумбы и небо, и от только что еще ревевшего, черного, завивавшегося барашка — ни следа.

Шютц был сыном богатых родителей и родственником известнейших революционеров. Этого было достаточно, чтобы считать его революционером и богачом. Прочие достоинства Шютца отличались тою же особенностью. Он обладал загадочностью, которая поражает и редко разгадывается, потому что двадцать предположений переберешь прежде, чем догадаешься, что у больного — солитер. Глистою Шютцевой загадочности была лживость. Она играла в нем и, когда ей хотелось есть, головкой щекотала ему горло. Она теряла и наращивала кольца. Ему казалось, что все это так и надо и что червя этого он вычитал у Ницше.

Прошлое Лемоха было связано с революцией чище, чем связывал себя с нею Шютц. Знаете ли вы украинскую ночь? — Такой именно развертывалась в его воображении чуткая речонка, врезавшаяся в мозг политических глубже, нежели ее темные воды в подольский ил, и контрабандисты, подставы, пограничники, телеги и звезды звучали в его устах речитативом, более романтическим, чем музыка, под которую идет Кармен.

Рано или поздно Спекторский должен был столкнуться с Шютцем, ибо точно так же, как всюду попадал Шютц, чтобы лгать, блазнить и очаровывать, так всюду заносило Спекторско-го, чтобы очаровываться и поражаться.

В 1916-м году, к которому относится собственное начало повествования, Шютц помнился Спекторскому не как-нибудь, но именно таким, каким он некоторое время стал казаться, месяцев пять спустя после их первого знакомства, в июле девятьсот девятого года.

Не то бросив свою новую жену, не то будучи ею брошен, он приехал из-за границы готовым морфинистом. Он проживал в меблированных комнатах под вымышленной фамилией. В то же время, под его истинною, велось дело об его освобождении от воинской повинности.

Днем он бывал занят. Он ездил в глазную лечебницу за белладонной. Знакомый врач заверял его, что, когда он к ним поступит на испытание, окулисты выдадут ему чистую отставку. Белым билетом это стали называть несколько поздней.

Положено, чтоб анютин глазок был котильонным бантом желто-лилового колера. Однако встречаются и сплошь фиолетовые, атропические. Эти всегда кажутся ближе и больше, нежели они есть на самом деле. В этот период знакомства у Шютца были глаза без белков.

Зарницы окидывали город взглядом умственно отсталых. Их вспышки падали за шкафы, в чернильницы, в рюмки с карандашами. На всем лете, как отпечаток меланхолии на умалишенном, лежала пыль. Номера назывались «Номера Воробьева». Удивительное впечатление производило это бесшумное совещание занавесок, тершихся у окон и вдруг перебегавших комнату с явственным запахом где-то переместившейся листвы. Случайные капли дождя мгновенно осыхали. Кисею озаряло в полете, и она...

Спекторского преследовало ощущение, будто их разговоры происходят в чье-то определенное отсутствие. Они прислушивались. Ощущение не проходило. Иллюзии вызывались без-громными зарницами. Это были чтенья в отсутствие грозы.

II. ДЕВА ОБИДА

Шли годы. Они забывались. Прошло много лет. Много весен и зим. Забылось многое. Забылись лица.

Забылись змеи, при протоке которых орешник неслышно пошевеливал своими палыми, прозрачными клешнями. Забылись змеи, бывшие теми единственными струйками влаги, которые еще узнавала в ту страшную засуху уже добитая, кончавшаяся земля. Они текли, капля по капле, по всему Рухлову, и пошипывали, и по всему пути их следования вскрикивали, вскипали и мгновенно испарялись воробьи.

Миновало лето, во все продолженье которого под самыми настурциями, кидавшимися за каменный парапет бельведера, работала на отмелях Рухловского переката речная землечерпалка.

Миновал вечер, в который на грязнушке1 до времени зажгли огни, и, отпыхтев в последний раз, она свернулась и ушла, залившись прощальной руладой частых, учащавшихся и потом редких и все редевших гудков.

По ее уходе вздохнули облегченно берега, и Ока всклянь, до ободков, налилась тишиной, сочной, как лозняк, грузной, как отжиманье кос, чуткой, как пьющая лошадь.

Миновал миг, в который луна, едва заглянув в затон, обернулась на призрак отдаленной полковой музыки, который внезапно всплыл вслед за ней неизвестно где.

Некоторое время необъяснимость явленья еще отдавала чудесным. Вскоре же она была так велика, что уже не пугала и не настраивала. Она раздражала.

Беспричинное возбужденье овладело женщинами. Они толпились на каменной площадке в блузках, воспалявшихся как от прохлады, посылали мужчин за шалями и, слушая это диво, глядели на плесы, по которым там и сям, как поплавки, уже заигрывали звезды.

А марш Преображенского полка, — ибо это был он и все его уже признали, — плыл и плыл неизвестно где, плыл и замирал, плыл и был как никогда печален.

Прошла вечность, пока над мысом, за который ушла грязнушка, стала показываться труба буксирного парохода, ничего, каза-

1 Грязнушка — землечерпалка. (Прим. Б. Пастернака.)

лось бы, не знавшая о марше, и за долго, долго вытягивавшимся канатом, между камышей и звезд, между луною, лесом и тишиной встал гарный абрис баржи, шедшей прямо на парк, на змей, на Мюллера, на Виноградскую, на ее сестру, на Ольгу Дежневу.

Баржа была как баржа, на ней стояли сундуки, койки и козлы. На ней не было людей, и она ничего не объясняла.

Но уже чувствовалось, что музыка доносится с того берега, что солдаты идут лесом, сейчас выйдут на луг и встретятся со своим полковым скарбом, идущим водою.

Миновал час, смутный, как располагающийся лагерь, прерывистый, как пески в тумане, дичливый и ясный, как ключ, в теченье которого посылали три раза лодку за офицерами, и каждый раз, что возвращались назад, ручной фонарь, раньше всех добежав по воде до берега, шевелил усами, обшаривал кусты и охапками швырял из-под них на берег плохо экипированных раков, которых на лету подхватывала огромная вековая ольха, беззубо склабившаяся над купальней.

Тогда раздавался разговор разной длительности и силы.

— Скачите, Кибирев!

— Зачем фонарь взял. Ставь на корму.

— Ау! — А? — Ничего не слы...!

— По...слее...дняя?

— Скажи: не — Еще сходии.— Таперича спущай. Миновала ночь, потрясавшая парк все новыми и новыми

голосами. Офицеры заночевали у владельца, предводителя дворянства Фрестельна. Здесь не осталось никого, кто бы ни спросил их о том же, о чем их спрашивали по пути решительно все встреченные за день села и поместья, часовни, пустоши и люди. Но официальный указ о мобилизации еще не вышел. Этот долг неотменимого молчанья был первым из целого моря новых чувств, открывшихся им другие сутки. Оно ставило их среди всех в положенье мужчин между женщинами, взрослых между детьми. Объявлялся порядок вещей, в котором по суровому чину им надлежало иерархически следовать непосредственно за Господом Богом, а военному полю воздавались почести, подобающие небу на Ильин день.

Миновала ночь. На ее исходе горка пепла на блюдце ждала только удобной минуты, чтобы провалиться со всеми окурками в желтый, до слез протабаченный чай. Того же ждала горка исхудалых облаков на востоке. Горка всклокоченных волос хохлилась на мутной голове, сопевшей и натягивавшей одеяло. Вдруг один зевнул, другой заговорил.

— Мне снился Киев. Серьезно. Мне снилось, что мы в Бор-ках на даче ночью забрели с барышнями в музыкантскую команду. Солдаты спали. Это было в лесу. Но самое замечательное, это — трубы. Они пахли. Честное слово. Вы слышите. Валя!»

— Да. Тише.

— Они лежали на траве, медные и светлые, сплошь в росе, и пахли, пахли. Знаете, как миндаль или, если сорвать повилику, — вишневой косточкой, синевой. А кругом — ночь. И какая глубина! Вы что, Валя?

— Я думаю, сегодня объявят. А? Спекторский? Мочи больше нет. Только этим и пьян, а тут молчи. Как вы думаете?

— Да, Валя.

— И еще тебя мытарят. Например, эта здешняя девочка. Пристала без короткого — скажи ей да скажи: — Это война? Ради Бога. — В Алексине застанем? Как вы полагаете?

— Наверное. Может, уже объявили. Просто мы не знаем. — В пути. Мне думается.

— Это оттого, что вы ей проговорились.

Серел рассвет. Окурки ползли в чай. Облака таяли. Муха обжигала стекло зернами колкого, необмолоченного жужжанья.

— Валя, это в Полку Игореве — Дева Обида?

— Да, кажется.

— Почему же именно — обида? Вам понятно?

— Это переводят — беда.

— Как это так — переводят? Слава те Господи, — язык один. Там тоже что-то про трубы. Забыл.

Жужжала муха. Кадровые еще спали.

III. ЛЕСТНИЦА

У Спекторского был удивительный отец. Он числился членом какого-то правления. Дела давно забросил. Вращался в мире литераторов и профессоров. Чудил.

На звонок выбегал сам, часто из ванной ил и от стола, всплескивал руками и, отшатываясь, обнимался, орал:

— Как живем? Как живем? Как живем?

Потом, повернувшись к портьере, потрясал кистями рук и гривою, как мельник в Русалке, и кричал в глубь анфилады со вкладными, все уменьшавшимися коробами зимней оборчатой полутьмы:

— N. N.. - А? Глаша! Катя! - N. N.! - Катюша! N. N.! -Но что же мы тут в дверях, как дураки, стали?

Люди входят, снимают пальто, идут в галошах в столовую, в кабинет, в чай.

— Пожалте. Раздевайтесь. Снимайтесь. В столовую. Чай. А? Глаш. Кать...

1лаша была прислуга. Катя — его сестра. Всякий свежий человек бессознательно загадывал. Вот если за всем этим он еще вдобавок вскочит на подоконник или еще что-нибудь, тогда, значит, сумасшедший. А пока шут его разберет, кажется, только так.

Платья на тете Кате подплывали к полной шее, к горлу, приподымали подбородок, заливали лицо дружелюбно-страдальческой улыбкой. Сидели глубоко глаза, глаза тихой, легко изумляющейся меланхолички. Она была невысокого роста, ей сообщалось усилье говорящего, с какой бы легкостью он ни говорил, это усилье имело способность расти, расти, расти и к концу чужих слов обрываться сияющим кивком.

Четыре семьи знали друг о друге только через швейцара на светлой, просторной лестнице в два этажа, выходившей на одну из Кисловок.

— Прав, говорю, семинарист. Тысячу раз прав! Раз — случайность. Случайность — другой. Третий раз бац с колокольни — и не расшибся, — привычка. Привыкли ко всему. То ли еще будет. Привыкнем. Привычка дьяволом дана, привы... Звонок! Да не беги ты, Галочка.

Швейцар носил калачи и ходил за газетой. У швейцара были свиные и в то же время серафические глазки, голубенькие, как незабудки. В зимние вечера, когда, истопив у себя под лестницей, он чумел от жару, их затопляло слезинками русого лугового простодушья.

Если бы его порасспросить, он рассказал бы, что у Сергей Геннадьевича, пишут из Минского, слава тебе Господи, раздроб-ленье ноги, а слава Богу в том смысле, что есть надежда. Значит, отвоевал. Увечья же, между прочим, никакого, только одно неравенство. Старый барин это может. Знакомства. Будь его воля, он бы его давно ослобонил, у них одного биенья сердца и то б за глаза стало: во как ходит, во, во. И не пришлось бы ит-тить. Ну, да сам не соглашался, совестно, думает, страм. Теперь же дело другое. Теперь, должно, скоро будет. Ждут.

Вьюга бушевала и гасла, гасла и разрасталась. Пролетая низко-низко, почти ныряя в снег, дома сбивали крыльями кровель фонари, раздавался звон, сыпалось битое стекло, и тогда, погружаясь в навек затихающий мрак, улица внезапно вся сразу освещалась, стихийным свистом сухого, шуршащего гаруса. Тогда в седых клоках метели мелькали лица конных и пеших в низко спущенных на лоб касках, их заволакивало колоколами снега, они приближались и удалялись, плутали и гибли, но появлялись и исчезали так часто и бесследно, что нельзя было сказать, призраки ли это, или даже не они.

Всякий раз, как до лампы долетали уличные слухи о вьюге, лестница мягко взмахивала тенями перил, ступени распадались без шелеста как карты, к кружку взвивался черный язычок копоти, зренье обострялось, зренье слабло.

От времени до времени слышалось:

— Спиридон.

— Что прикажете, барин?

— Спиридон, ты по какой, скажи, статье? Ты, собственно, чего гуляешь? Слав Бо, слав Бо, сделай, душенька, одолженье. Но по какой статье? Ты по глупости, что ли?

— Шутить изволите. Плоскоступы мы. Скоро ли, барин, Сергей Геннадьевич будут?

— Не знаю, душенька, не знаю. Ежели без депеши, то во всякий час. Ненароком. Врасплох, врасплох, — Спиридон.

— Чего-с?

— Так ты говоришь, буран?

— Оченно страшный.

— Слышу, слышу. Слышу, душенька, и без тебя. Так не итти? — Так мы так и запишем, что по глупости.

Или:

— Видишь, Спиридон, тоска у меня — ты, душенька, не будь невежей и старшего не перебивай, — я вот про что — не женись, Спиридон. Женишься, сына на войну возьмут, и будешь вот, как я... по лестнице...

— Нужли век?

— На внуков хватит. На внуков. Никогда она не кончится! А кончится когда, говоришь? Седьмого марта. На будущий год, седьмого числа, помяни мое слово, — мир. А дверь ты на ночь того — от немцев.

Проходит час и другой. Через три часа Спиридон закручивает и гасит своего alter ego. На лестнице остается одна вьюга. Ей странен швейцар в подштанниках. Еще она молчит. Он засыпает. Она рыщет по всем маршам и колесом скатывается вниз.

Ночью, косо озаряемые снизу обоими Спиридонами, несравненно медленнее стариковых калош, по лестнице подымаются ноги девятнадцать двадцатых с пристукиванием и припаданием, приличными такой... неправильной дроби.

ВОЗВРАЩЕНЬЕ

— Представь, так в цене и не сошлись. Не стоило и пускать. — Я вот к тебе зачем, Сережа. Не странно ли, душа моя, дома ты, как никак, четвертые сутки; сын мне родной, как никак; и — офицер; да и интересно ведь это, черт побери, — дьявольски; а между тем...

— Бросьте, папаша. Вы про войну? Так ведь я молчу не случайно. Есть причины. Как-нибудь расскажу. Как-нибудь потом. Когда надо будет.

— Сделай, душенька, одолженье. Я за язык тебя не тяну. Только, согласись, дико. Ну, ну, ну — будь по-твоему. Потом, потом. Напомню.

— Вот именно. Напомните. Условимся. Вы мне скажете: обида.

— Оби...? — Но послушай, душа моя, так не годится. Что за скверные загадки? Ведь-ведь-ведь у тебя Георгий. Ты его — Получил же ты его как-нибудь?

— Бедный. Вы не поняли. Я не так. Я не про такую обиду. В этом отношении все у меня и у всех — блестяще. Нет. Я вам как-нибудь расскажу — как рождаются народные песни.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

1910-1912

* * *

Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей! И все они, цепко обрывая, нагнули небо, как туманный кустарник, и выпустили его из рук, и вот оно вознеслось и подрагивает, подрагивает упругостью накопившихся звездочек. Но небо еще не черное, оно палевое, нанесенное на выцветающий пергамент, и когда вдаль ложится световая реклама, она не взрезает, не будит темноты, а сама тусклая, убаюканная, как загоревшая дымчатая кожа. А внизу уже вяжут, связывают большие и влажные, блестящие и взволнованные пучки черный цветущий мрак, шляпы, придыхания овалов вокруг глаз и зубов, какие-то необъяснимые позы и скольжения, и то тут, то там приколет улица такой пучок шипом газового фонаря и свяжет со следующим, вот и движутся, движутся опадающие скопища и пучки, как бутоньерки, наколотые руками. И сходятся затеплившиеся гостиные с заплетающимся шепотом занавесей, а внизу, в разгоряченных, влажных витринах разнузданная посуда и медь в музыкальных магазинах, и певучие, изнемогающие переплеты, и даже игрушки, куклы и печи, и даже, даже пустынные неживые стекла технических контор кинулись ликующей чувственностью за улицей, в

зеркальных квартирах выбегают на свидание с улицей ее двойники, стертые ее наброски, как духи, плавают отражения в этих кубических флаконах окон; а там, где не горят лампы, там перед площадью в флаконах у нотариусов душисто плавают недопитые остатки зеленовато-розового ненастоявшегося неба, с лепестками памятника и его поклонников.

Там целый томик кленовых листьев разлетелся какой-то грустно и кратко написанной повестью по кроткому умытому асфальту. А несколько далее девушка купила у окоченевшей старушки чашку кукурузы, и мостовая забилась голубями.

Вот вечер, воздух, как обнаженная аллея. Потупившиеся здания, девушка с голубями и ветер, завоевавший все и из всего сделавший флюгера и указательные пальцы, и сумрак целиком — как застонавший заржавленный громадный флюгер, как указывающая тоска прибрежий. В это время через сыпучие толпы и пролетки прямо, не сворачивая, пересекает кто-то площадь по направлению ко мне, минуя памятник великого человека; он наверное многое хочет заменить своей походкой, так она неестественна и радостно исступленна. Вот, вот, вот, он подходит, почти разбежавшись, и тут происходит что-то странное: с движеньем ныряющего он бросается под ноги прохожим студентам и припадает к тротуару, где возня подкинутых кленовых огарков, он вынимает карандашик из правого кармана и заносит его экстатическим движением над бормочущими листьями с жужжащим кружком газового отсвета, как бы готовясь написать что-то на асфальте; это настолько близко от ссыпанных зерен, что старушка, думая, что он крадет их, начинает браниться, кричит ругательные фрагменты в одинокий, пустынный, опавший воздух, а девушка убегает, голуби изламывают тишину, разбирая ее по косточкам, студенты хватают удивительного субъекта могучим движением за локти, они медики и думают, что он страдает падучей.

И вот бегут, сбегаются разносчики с пустыми лотками, а в студеной мгле заливается накрошенный мелкий благовест, который хочет вылудить плиты и мостовую. Его треплют переулки. И я подхожу, субъект встал уже и, не умея построить предложения, сбивчиво доказывает, что здоров и просто потерял пуговицу; у него большие глаза и галстук, как черное наводнение, — Боже, да ведь это Реликвимини, я с ним учился когда-то в гимназии. И он так хорошо писал мне сочинения...

Через некоторое время мы стоим с ним у памятника великого человека, в воздухе летят кареты, толпу сшивают и распарывают, сшивают и распарывают коготки огней.

И вот наш разговор.

— Скажи, Реликвимини, вполне ли ты здоров?

— О да, благодарю вас, но до свидания, у меня rendez-vous.

— Постой, ведь мы на «ты», как понять то, что ты устроил там на асфальте.

— Ах, я прошу вас не касаться этого...

—- Во-первых, мы на «ты», и потом, слушай...

В это время из-за тени великого человека выходит стройная дама, она проходит и высокомерно оглядывается в нашу сторону, у нее точеный подбородок, как у статуи, и этот подбородок и губы сдерживают все восторженное исступление ее стана и глаз, такая она < >

— Что же, продолжайте...

— Реликвимини, ведь мы когда-то дружили, ну не хочешь, так прощай (мне больно, и я хочу уйти).

Тогда он:

— Вы знаете, я сын художника, ах, я не это хотел сказать, да, там на асфальте, сейчас это уже смешно. Но вот, осмотритесь, как накренился этот сквер и зачерпнул,

зачерпнул-таки ветками небо. А ведь в нем, как в голубом белке, разведены, распущены надколотые звезды, они дрожат, как зародыши вбитых лужицах неба; смотрите, тут сумрак у памятника и на площади, полосы сумрака, и вот, как спичкой чиркая, порхает тормозящий разгон далеких фосфорических мостовых.

Вот посмотрите на этот хаос теней и пятен и силуэтов, на всю эту журчащую, проточную оттепель почерневших, оперенных копотью красок, посмотрите на них, а теперь: вот горизонт, нагой и вечный, и вот вертикали зданий, нагие и царственные, и вот вам площадь, горько сжатые чистые углы и вот вам, вон, вон там, мимо лотка с виноградом, мой друг Моцарт, вот теперь он стал перед телегами, постойте... — тут он должен был остановиться, потому что провозили железные балки и бичевали мостовую ленивым, оглушающим гамом; я действительно увидел остановившегося Моцарта, он пропустил колотящиеся телеги и стал надрезать дальше прямой, выровненный путь через шныряющих.

—Да, так посмотрите на линии крыш и подъездов, и вы увидите, нет, переживете, и так, что у вас дрогнут колена, разницу первого и второго; лучше сказать, сразу вы увидите, как, исступленно вырастая и замирая, молятся целые приходы красок и теней линиям, очертаниям и граням, этим светлым и неумолимым богам; героические линии, героические очерки, — вот кого обоготворяют истаивая от фанатического экстаза, — краски. Смотрите, откуда только ни стекаются они, бичуя себя, рыдая и смеясь, и сморкаясь, для того, чтобы залечь в освобожденные линии чистого Бога своего.

—Другмой, я ничего не понимаю, ноя вижу, ты взволнован, я бы не расспрашивал тебя, если бы не хотел узнать о причине того случая на тротуаре.

— Да, да, на тротуаре; Бог это очерк, ограда, Бог это граница боготворящих, граница молитвы, ах, у нас так тяжело сейчас... есть те, которые имеют Бога, архаическое, вечное очертание архаических вечных молитв; когда-то, как краски без формы, метались, может быть, эти молитвы и нашли свой очерченный водоем, свою форму; они чужие, большие и маленькие в одно и то же время, эти люди, у них есть Бог, потому что у них нет молитвы, и у них нет молитвы, потому что у них есть Бог, Бог может быть старым, молитва должна всегда возникать, если молитва не будет мельканием, зайчиком, будет ли Бог очагом ее? Ах, простите, Койнониевич, я сию секунду приду — там знакомый, я поздороваюсь и приведу его...

И вот он пошел, как всегда, прямо и не сворачивая на знакомого, а тот покупал георгины у мальчишки, а может быть, и не георгины, но теперь ведь осень, он переложил георгины в левую руку и стал трясти кисть Реликвимини, потом охватил его шею и стал целовать его. И георгины, верно, щекотали холодком шею Реликвимини, а в это время две-три безмолвных пары поднялись со скамеек и ушли под руку; действительно, как грустно; что это он говорит, этот чудак; это какое-то неопифагорейство, — да вот ушли-таки пары, можно присесть, и вот подкашивающийся ветер из разных углов, как белошвейка после работы, стал выползать желтой березовой поздней листвой, и сползались листья, — листьям предстояла лужа, и улица города погребла в луже целые города косноязычных огоньков. И вотлистья ползли вокруг лужи и заглядывали, вглядывались, чуть шевелились, обнюхивая землю.

А там, расхаживая с Реликвимини, его знакомый жестикулирует георгинами, когда у него, верно, появляются мысли, и нюхает их, зарывается в них, может быть, жует или курит их, как табак, и замедляет походку, когда говорит Реликвимини, наклонив голову набок и отводя правую руку, как дирижер или дискометатель, — вот они ходят там, и ползет сырость тысячей гасильников, и колпачки сырости, подговариваемые листвой, задувают лужи с огнями и отражениями, и вновь благовест катится по осени; вот будто перенесли небо через дорогу и уронили, разбили и выплеснули влажную

гулкую гущу; лужи и канавки погружены уже, и — туман; это значит, что Реликвимини зашел в тупик; вот он наверное сказал бы, что блеск это тоже Бог, потому что повторяет и замыкает в форму, а туман это экстаз молящихся множеств не нашедших Бога; черт его разберет этого Реликвимини. А вот и он, и знакомый его доканчивает фразу: «...вот оттого-то я и сказал, что это горе наше общее».

Потом он представляется мне, причем неестественно прямо и с какой-то нарочитой проникновенностью смотрит мне в глаза, многозначительно подаваясь вперед...

«Македонский, да, да, Александр Македонский, однофамилец того самого, страховое общество от повреждения срубов...» — и, видя, что острота не удалась, он сводит классические брови и порывисто говорит: «Скажите, — потом он, как бы борясь с собой, беззвучно продолжает интонацию этого «скажите», разглядывает георгины в кулаке и пробивает палкою несчастный листик, потом поднимает палку, берет ее под мышки, передает мне георгины, нагибается, закуривает и повторяет уже с той бритой серьезностью и глубиной, которую создает папироса в зубах, — скажите... вы видели его в такой идиотской позе...» — и он деланно смеется; я чувствую, что надо мной глумятся, и хочу уйти, и, как будто бы угадав мои мысли, Реликвимини говорит:

«Сашка, это нужно объяснить ему», — и потом ко мне... а мы подходили через заплесневелый воздух к скамьям, а скамьи в тумане зияют, как пустые десны, как будто какое-то холодное изумление в притихшей площади, и памятник только готовится петь его, вообще такой вид, как будто мы снимся предметам. И вообще лысый, лысый сквер, и только отдельные лезут безлистные ветви, которыми перебирает холодок. Сели: Македонский, Реликвимини, я; Македонский плоский, заутюженный, и рельефный неестественно близкий Реликвимини, и оба как печать, которой капнули на кипы тумана и оттиснули, — такой густой он.

И вот Реликвимини берет палку у соседа и буравит песок, расставив ноги, склонился и тихо говорит.

[Вотбыли правда и неправда [и время, которое служило им, и если у истины и заблуждения есть свои слезы и радости, то это время плакало и радовалось истиной и ложью; ты ведь знаешь историю и просвещение] и горе и счастье, и то чувство ребенка, когда твоя жизнь плывущая в себе плазма и тот, кого боготворишь — клетка ее, это принадлежность жизни тому с большой буквы, и тогда твоя страдающая переполненная готовность иметь очертания Бога, потому что ты одарен чувством великой границы, одарен Богом, и ведь говорят, что он страдал, и потому он твой, это недостижимые очертания твоей любви.

Это было в детстве, то есть когда факты жизни еще полные, полные обряды, тогда для твоего чувства, для восторга и грусти есть предмет, как будто ты — колышущиеся цвета, у которых есть Бог, их очерк.]

[И вот вспомните детство, и вам покажется, будто те волнения и факты, которые вы переживали как кисть, которую макнули в чудную жизнь, и есть заданный вам рисунок. < >]

— Это ведь так скучно, я не хочу говорить об этом, но я погиб, — вы поймите, что можно так втянуться в какую-нибудь сферу, что все стороны жизни переживаются в ней и на ее языке.

— Скажи, — спрашиваю я (видишь, я прошу говорить «ты» мне), — может, это близко романтизму, который все хотел построить на эстетике, может быть, ты хочешь...

— Конечно, — перебивает он, — это близко романтизму. Но понимают л и его. Может быть, думают, что все те факелы жизни, которые зажигают своеобразные драмы добра и зла, и счастья и несчастия, истины и лжи, погруженные в эстетическое, как в колодец, потухают, и остается переплескивание и зыбь прекрасного и безобразия;

о нет, это говорят те, которые не испытали всей этой негромкой тихой муки, поджигателей жизни никогда не становится меньше, и вот, подходя со своими факелами к эстетическому, они взрывают этот колодец, если он не пустой и если полон взрывчатого эстетического дыхания.

В это время Македонский показывает на остатки букета, — видите, он такой нервный, что, слушая, общипал его, — а Реликвимини вдруг начинает причитать... — и к чему я это говорю, к чему все это тебе, вот я художник, и я не могу выдержать, когда вижу вокруг поэму очертаний и линий, — тогда во мне ноет, ноет какая-то плавная лирика, ведь я вижу чистую, проясненную семью героического, она нуждается в поклонении, и мне хочется созвать целый приход поклоняющихся, экстатических красок к этим линиям, я ведь сказал вам, линиям поклоняются обезумевшие краски, или наоборот, и это чаще или даже это всегда — я вижу целое паломничество, которое свергает, побеждает, заливает, топит в своей молитве отжившие очертания и не может потонуть в большем, а по вечерам, даже внешний очерк — Бог, горизонт, даже горизонт по вечерам выветривается, как грань песчаника или как пола, которая, тлея, прожжена большими, пепельно догорающими, дымными окурками — вечерними улицами, — их ведь тушат, раздавливая о горизонт. Да, и вот представь себе всю эту религиозную революцию сумерек, когда даже те линии, что сдерживали фанатизм дня, перестают быть гранями, когда и боготворимые линии изламываются, множатся, гнутся и вдруг сами начинают плыть, сами становятся на колени, сами хотят перебирать какие-нибудь четки, льнуть к алтарю, биться об ограду, и вот вздувается все, что ты видишь, как какое-то одухотворенное половодье, и вот тебе сумерки — целая поднявшаяся степь кочевников, какой-то поход призраков, пятен, клочков, и они обнимаются, плачут, бичуют себя — и это какая-то скорбь того единственного безбожия, когда, Саша, не прерывай, когда есть целые площади поющих и нет того, кого поставить в звательном падеже, потому что все линии, ах, это надоело тебе, все линии, звательные падежи цветов склонились, перестали быть собою, стали порывом, и вот нет таких чистых точеных рук, которые приняли бы встречное исступление.

«Ах, это хорошо у тебя, Реликвимини, — говорит Македонский, — вот что безбожие — это путь без встречного».

А я недоумевая спрашиваю: «Но или есть Бог или его нет, и ведь он вовсе не линия, и вот во всей этой хаотичности сумерек и может проявляться Бог, единство этих сумерек, и причем тут Бог вообще».

«Опять вы не понимаете меня, — я не переживаю необходимости Бога в жизни, в нравственности и истине, но и тут я понимаю его как великое очертание, как контур, в котором обращаются ваши радости и горести, и все это богатство отношений и чувств, цветная кровь жизни; но у нас другое кровообращение, к нам, художникам, если мы совсем, совсем чисты, приходит забывшаяся жизнь, мир, который стал сам не свой; что это значит, — сам не свой, — это значит, что он уже не подчинен себе, и хочет подчинения, это значит, было подчинение красок формам, видимых образов безмолвию, подчинение характеров их отношениям, и вот любовь была той оправой, в которой страдала жизнь, жизнь восторженно поклоняется всегда, а оправа поклонения — Бог, и вот были разные контуры, очерки, очертания у жизни, и это линии, законы, быт, скрещения чувств между людьми; и наступают в жизни тоже такие сумерки, когда все это линейное, то есть высшее, подчиняющее и святое, само хочет линий над собой, вокруг себя, потому что само тянется, — знаешь, я отвлекся, я хочу вот что сказать — шатаются фасады, шатаются особняки, и горизонт дышит и вот, вот забьется, — это значит, что жизнь была в рамах, и рамы были неизменными, неподвижными; но и они заразились жизнью, стали ею und man muss die Gutter, die Liebe, alle Rahmen die Leben geworden umrahmen1, — почему-то прерывающимся, влажным каким-то голосом

крикнул он и еще тише... — и вот лирик, не понимая этого так рассудочно, сочувствует сумеркам, и что же такое творчество, как не сострадание сумеркам, и вот бросается художник и с какой-то вдохновенной пантомимой показывает вам, как подгнили все святые клетки, и он молит, — обнесите сумерки Богом, видите, формы раскололись, они стали содержанием и за это терпят боль содержания, смотрите, жизнь залила судьбу, и судьба как случай плывет, плывет, дайте судьбе новую судьбу, дайте русло судьбе. И вот это — мысли, это сознание, но есть и непосредственное чувство, и оно ведет к рефлексам: вот я шел и были сумерки».

[И они были как тысяча потерявшихся детей, и все они подходили близко и спрашивали, не видел ли я их матери; и если бы моя любовь была бы последней оправой, я оправил этих бездомных детей своей любовью, — я сказал бы, — да, я видел вашу мать, Анджелику, я иду к ней сейчас и возьму вас с собой, — но и любовь моя пришла ко мне худым, возмущенно сумереч-

1 Надо, чтобы боги, любовь, охватили рамой все то, что было рамами жизни (нем.).

ным уличным мальчиком с общим вопросом, и что было делать мне с ним? Яснее и проще всего это было у листьев.]

Сумерки, понимаете ли вы, что сумерки это какое-то тысячное бездомное волнение, сбившееся и потерявшее себя, и лирик должен разместить сумерки, и вдруг листья клена на асфальте копошатся, копошатся, как множество сумерек, и асфальт — это такая даль, и должен быть какой-нибудь бесцветный стягивающий очерк, для которого они бы дрожали, горели, и вот я бросился очертя голову, чтобы очертить вокруг листьев Бога, очертание для пятен, покой для исступления.

Вот такой тянулся у нас разговор; это становилось скучно, вдруг Македонский вскакивает.

«Мне нужно уже давно быть у невесты, поедемте вместе, Реликвимини, и вы», — обращается он ко мне. Я отказываюсь и ухожу, простившись с ним.

Пусть дальше говорят факты.

Реликвимини и Македонский идут к той уличке, где проходит трамвай. Это малооживленная линия, и здесь проходят тряские вагоны старого образца. Вот уже издали нараспев раскатился какой-то гул, и через минуту разбухший втумане призрак заворачивает вдали в уличку, у него красный гнилой фонарь, как единственный зуб; он подкатывает, и лоснится мостовая, Реликвимини и Македонский входят.

— Что ты делаешь теперь, Реликвимини?

— Погибаю, а ты, Македонский?

— Еду с тобой к невесте.

На следующей остановке согнувшись входят четыре очень больших студента в шинелях, трамвай трогает, они шатаются, хватаются за спинки скамеек и друг за друга, а спинки отхло-пываются, но кондуктор стоит на двух ногах [и как массируется толпа по площади, приливает и отливает, а площадь покоится, как широкие края толпящейся гравюры, и вот ломится, как народ перед Пасхой в Кремль, целая орда пятен и химер, и над ними царит героическая площадь, которая кропотливо перебирает толпу].

[— Поедемте к моей невесте, — говорит Македонский, — прерывая Реликвимини, — она хочет тебя видеть, и вы кстати познакомитесь с нею.

Тогда мы идем к уличке, где проходит трамвай, это менее оживленная линия и здесь ходят трамваи старого образца. Издали уже раскатился нараспев какой-то вагон, верно, наш, вот он заворачивает далеко в нашу улицу, разбухшим в тумане свечением, как вызванный на сеансе спиритов покойник. Вот он подкатывает гудящей колотушкой, раскуривши вокруг себя туман. Мы входим, вагон почти пустой, четыре или пять пассажиров.

Здесь прекратится идиотское непонимание Реликвимини со стороны какого-то Койниевича. [Я — Сальери и многое узнал о Реликвимини потом.]

Пусть факты говорят сами за себя.]

<1910>

Не # *

[Я спускался к Третьяковскому проезду. Если бы я сказал вот что: толпы, толпы, толпы, сметались лошадиные морды, сучили нить экипажей с кучерами и лирическими виньетками в боа, ползла такая цепкая, разрывающаяся и зарастающая новыми сочленениями лента; среди общего движения, которое вечер написал на оберточных тротуарах и асфальтах дрожащим, срывающимся почерком поспешных походок, среди крохотных строчек на тротуарах ползла приводным ремнем эта графа капающих лаком в тишину копыт и колышущихся дуг и силуэтов.]

Как сырая папиросная бумага в бюро, наложен копировальный слой сумерек на скопища газетчиков и городовых, и домов и башен; они отстают и налипают, эти папиросные сумерки; и вот за ними все как-то условно и эти обрывки неба натянуты по тусклым и бесцветным очеркам церквей и высоких зданий, по некрашеным сумрачным снастям площадей; [эти] крылышки неба, наколотые в пролеты переулков, трепеща, потеряли всю свою золотисто-бурую, торжественную пыльцу.

На площади небо покоится в резьбе бульвара. Тут оно цвело, цвело, опыляло стекла гостиниц, потом небо было накошено, как сено, и слегло душистым глубоким покоем на площадь, снующую в сигнальных звонках и завываниях, теперь оно разметалось блеклым сизо-розовым сводом и сушится, как сено, и, как одышка вянущей травы, веют брошенные на асфальттени. Такой простой сенокос за просвечивающими переплетами телеграфных рам, и галки наследили от Кремля до самой невидной еще вечерней звезды.

Ну, а площадь; как из овчарен, из улиц ползут кучевые полосы черной шерсти, стригут и щелкают копыта и подошвы, чешут, расчесывают, разрывают и сцепляют все эти черные и цветные пряди толп: гимназисты с тетрадками для слов в руках и в пенсне, гимназистки с гимназистами, и с кучами книг, со сбитыми шляпами на резинках, торгующиеся с извозчиками господа с портфелями, поражающиеся ценами; они отходят и поднимают за собой целое внезапное ристалище сорвавшихся за ними пролеток; крахмальные и тертые каким-то багровым картофелем худые рожи в косынках, из двора бань выходят: груда безгрудых эскимосских женщин в синих широких штанах с мнимо улыбающимися скулами, азиатские синие самки в штанах с младенцами за спинами, с обрубками ног, с кольями в руках и за ними глумящийся малютка рассыльный из конторы с кипой холщовых посылок; у него кепи, лазурные глаза и заграничные пуговки от воротника и до подошв. От этого он становится нежной тонкой ниткой, приставшей к прочей гогочущей свите синих широких самок.

Это маляры и каменщики белокурые в несгибающихся блузах, они, сплевывая, несут ситный хлеб, много приказчиков, поступательную волну пиджаков отводит улица, и татарка, жена дворника, вышла поглядеть на белокурую листву бульвара, которую изводит своею нежностью зачесывающий горизонт, на артельную сыроватую, где уже как летние мушки жужжат газовые рожки в витрине яиц, еле прикасаясь к лаку вывески; такие они бессильные в этих развернувшихся, подгнивающих сумерках; к татарке подошел городовой, второй Генрих VIII, он ласково откинулся назад, слегка отставив ногу, и зачем-то, чтобы угодить матери, показал кобуру ее младенцу, сосущему грудь.

А там галки вернулись со звезды на усопшие силуэты Китай-города, а над английской одышкой лотков с антоновскими яблоками, Боже, как холодно, кряхтя, склонилась стриженая крупная дама, у нее вывороченная, текстом наружу раскрытая

книга и красный карандаш в руке, и строгая тесемка от очков повисла сосредоточенно над яблоками, она наверное педагог, купит яблоки у шутливых разносчиков, сядет в трамвай и станет отмечать карандашом психологию ребенка.

По улице идет бездна народу. Разве они и раньше шли, — кажется, как будто где-то раскрыли двери театра, такая масса фигур на тротуарах и мостовых, и меж них перемежаются лошадиные морды с дутыми кучерами; стон стоит, так затянулась улица толпой, как будто улица — трубка, и кто-то, захлебываясь, тянет ею густое, густое черное варенье, а площадь совсем другое, там сухие умытые молчаливые пути скрещиваются, там тонкий и теряющийся чертеж отдельных направлений. Оттого вечер трепещет площадью как призрачной листвой, а иногда уставится небо на площадь, как на обласканную сумраком ладонь с тысячей складок и линий, и долго изучает небо с ропотом и наговором мостовых, совсем как гадалка, — складки и линии площади, водит по ней тенями. Потом прятки еле проступающих ранних звезд. Это ответ гадалки.

[Вот вам какие-то упрямые негнущиеся силуэты одиноко вкось переходят площадь; у них подняты воротники, руки в карманах, они стройны, с надломленной шеей, у них странная походка широкими, широкими толчками. Как будто они переходят вброд тротуары или подталкивают американскими носками перед собой манящую грусть свою, такие шаги у них; это косые линии, они как сойдут прыжком около афишного столба, так и подпилят до самого противоположного конца переворошенную площадь тонкой дергающейся пилкой своего пути, непременно дочертят эту диагональ до следующего тротуара, не нарушая ее, задумчиво пропуская проезжие грузовики; они даже оставят без внимания памятник великого человека, вокруг которого оловянный надтреснутый и сиплый ветерок пригоршнями как камушки подкатывает осенние листья, клочки желтой мокрой промокашки.]

Вот, хотя много созерцательных пар мысляще настроены у памятника великого человека, он почти не выпуклый, потому что за ним не погребены еще пласты и излучины запада, и он страшно громадными вырезанный, потому что одному ему приходится сдерживать за собой несказанный натиск золотисто-аквамариновых пространств. Хотя, значит, у памятника прохаживаются пары, коптящим фитилем выведенные по вечернему

У ДОРОГОМИЛОВСКОЙ ЗАСТАВЫ

Керосиновой белугой метался по столикам и в пиве зарезанный свет ламп. Отчего зарезанный, — допытывал Канадович, внучатный племянник Кенигсбергского философа, отчего. Сальери не мог говорить, он только показывал Канадовичу на целый Урал мух и слепней, горьким летом резавших потолок. У писаря потолка из-за мух был вид сапожника. И из-за копоти его разбитого прошлого. Иногда целая паперть вязов за окном (они были черны) протягивались в окошки к приколотым жукам-вентиляторам, показывая сердобольной пивной из засученных шелестящих кофт небо, как татуированные беспалые руки.

А Канадович тыкал им зубочисткой.

— Перестань, Каша, давай лучше послушаем, что говорят о полночи.

— Да, — говорил хозяин с длинными волосами и шекспировским воротником, с шишкой на переносице, отрывая дожеванный день у календаря.

Столики, как селезни плоскими носами, плавали в ламповых лужах. И взволнованный Канадович в своем переживании жонглировал ими, обливаясь лампами.

Вдруг там, за насекомой гардинкой, которая пригвожден-но спала над преддверием в некую духоту, безымянный женский

воздуху, как по стеклу, и вообще рвущейся чуткостью обтянуты ветки и грани памятника, и профиля, и зонты, и скамьи, и даже живая выдыхающая земля в подсолнухах, но эти одинокие не видят памятника и как по веревочке переходят площадь. Вероятно, у них свой город в городе, и вот они сейчас идут по своей улице, прямо, прямо, покоряясь препятствиям и выжидая, забывши о переглядывании правого и левого мира. И этими одинокими чистыми нескрещивающимися линиями занято больше всего гадающее небо; это линии любви, их немало на вечерней ладони.

<1910>

смех, засучив два элегических локтя (разве это было богохульство), изнемог в танце распятого. И вся эта желтая Небесная Империя столиков и бутылок, в черных яблоках двух-трех гостей, засумраченная стенами, стала мистически тянуться, не теряя своей трехцветной тропичности. Когда Канадович закрыл глаза, эта жирафа уже затонула вся в соседнем смехе и только подошвами губ плыла высоко, высоко на поверхности. Верно, на таком смехе, который как голубой Нил, растет лотос. Иначе он не мог понять поведения жирафа.

В это время стрелка на трех лубочных розах, лежавшая увеличенной лапой июльской мухи на циферблате, сцепилась с другой лапой. Только что все заметили, как целая дюжина пауков с дребезжанием переползла какую-то пыльную палитру. Канадович сосчитал пауков. Полночь, сказал Сальери. Верно, их было двенадцать.

Когда спина кого-нибудь из посетителей играла в чехарду с лампами, окошки начинали моргать: мощеной переулочной ночью и пивной с белугами, ночью и пивной и опять мощеной, но уже заставленной сырым садом, какой-то истыканной стеной и даже дрожками, готовыми взять да и чихнуть всем переулком — мощеной ночью и снова на черном масляном пузыре стекла созревали расплывающиеся лимоны ламп. А когда лампа долго не могла одолеть чьей-то бастионовой спины, — над мощеной семьей дорожек, сада с мертвой зыбью, и длинной стены с черным корешком и ослепляющим обрезом крыши, над этой мирной семьей обнаружилось: тинистые заросли туч размыло и в скважины зияли устричные мели звезд.

Иногда трактирные вязы ползли водолазами.

Так как была весна, то небо было еще слабое, ненастоящее, кошки не могли насытиться им и рыдали в эту серо-зеленую пустыню над переулком.

Сальери толкнул Канадовича, чтобы он обернулся. Канадович перевалился на стуле неловко, как сумка по бедрам почтальона. Мария Магдалина! У противоположной стены с ночной ресницы окна готов был дрожа скатиться какой-то женский профиль, как слеза, отливавшая всем спектром Канадовичева волнения. И целая Шотландия каштановых волос молилась, преклоненная и заломленная на шальную лампу.

«Я ее знаю, — хотел сказать Канадович, — это моя бывшая двоюродная сестра». Но он ошибся.

Вдруг дочь хозяина, которая долго, долго смотрела в окно, — высокую гибкую в серо-голубом и черной юбке дочь, зачерпнуло внезапное воспаленное движение и с шелестом отлило в какой-то склоненный порыв над полом, будто, готовясь лететь над рожью половиц, она благословляла башмаки гостей или же собиралась истаять медузой в подполье.

Так она раскрылившись незаметно трепетала над полом. Потом она полезла рукой за шею, за грудь, достала что-то, что она сдерживала как воробья, и, впервые посмотревши на гостей, прививши каждому черную эпидемию глаз своих, она вдруг пустила под лампы, под прилавок и столы, пустила, серо-голубая, волчок и убежала, убежала, толчками переходя вброд свои юбки.

И голубая лунная ночь волчка, как головокружение омут-но зажужжало все желтое, размещенное. Спираль пела, но уже снящимся обоям и чертила жужжание меж ножек

и ног. И в мышцах гостей пела та же жужжащая, июльски, блаженно, пол-дневно умывающая, лунная истома. И может быть, кто-нибудь, покидая отчетность своих ног и рук, утопая в иррациональной формуле своих V—5 ног и той иглы Клеопатры, которая проездом из черной земли на звезды через его грудь заставила его задохнуться, может быть, кому-нибудь хотелось броситься за черным, отдельным, начерченным, или металлическим. Но не было берегов жужжанию. И вероятно маленький пестрый волшебник давно покатился под прилавок. Нодалекотам, на свете, где были свои половина первого, там на свете отозвался больший старший волчок. Взошла луна, переняв у волчка его голубое жужжание. И разостлала его далеко, на всю ночную страну. И сначала медно-красный, как малайский пират, волчок над горизонтом стал все бледнеть и бледнеть от головокруженья. А лес на той стороне и весь переулок уже давно лежали подкошенным, закруженным голубым нектоном.

Когда Канадович очнулся и подошел к подоконнику, у которого сидела дочь хозяина, лунная ночь была уже готова. То есть. — Окно, в которое он выглянул, было словно на 11 -й этаж поднято над распростертым сыпучим пеплом города со шрамами, изрубленного улицами. Как будто мертвая, пыльная серозеленая засуха разостлалась в этих сманенных в лунную ночь пространствах. Город... тысячи громадных черных рыб, как будто ночь-океан куда-то сбежал и покинул обнаженное дно, и издыхая слегли в этой серо-голубой жужжащей суше, как в лунном сказочном полдне и ближние выкатили стекла перед смертью из своих рыбьих орбит, а дальше там, толстые купола блистали камбалами, громадными, брюхом вверх, и только ползали сады — неумирающие крабы.

<1910>

* * *

Реликвимини был на месте уже. Ясная студеная лазурь, разбавленная облаками, по края была налита в ясени и клены, в красные графины листвы; между ними необъятными мотыльками порхали белые осины, — проливными пятнами. А когда тут и там в вечер, как на постоялый двор, тупо сошлись неразверстан-ные тучи, через черные елки полетели резные головешки и лиловые ожоги клена. Потом какие-то прощеные лучи скорбно и бескровно, каким-то гашеным свечением силились вспомнить ту большую незабвенную низину, которая была перед ними об-мокнута в глубокую тень. И вокруг белой страдальческой лужайки света была поминальная равнинная тьма.

<1910>

* * *

Шестикрылов обернулся назад; там отливали снежные мели, на которых ползая грелись кусты и длинные тени на лыжах переходили поля, обгоняя друг друга; [все эти тени заломились и звали в переверстанные снежные поля.]

Уже в силуэтах бродячих вязов покоилось студеное небо, как в просторных резных подстаканниках, там, на горизонте. Но иногда этот раскупоренный деревьями горизонт свертывался в них оловянным настоем, и студенистый свернувшийся настой, и снежные тучи мохнатые, как туловища мух, воздвигали над полями небо графитовых залежей. Тогда дул ветер и набрасывал порывом погнутых ветвей корявые строчки на аспидной таблице горизонта вдоль дороги, обсаженной мерзлыми стволами; тогда снежные поля двигались как далекие нежные и необъятные ладони, перебирая нанизанных галок вместо четок.

<1910> * * *

Когда Реликвимини вспоминалось детство, он находил его окруженным полуденными деревьями, сквозь которые несся полусон кастрюль с кухни, пересыпалось горячее стрекотание, и, сбивая друг друга в воздухе, уставали мотыльки.

Или ему припоминалась вечерняя лужайка за плетнем; на траве так умно, точно и строго был нарезан забор и выпилены тени подглядывающих веток; далеко за сгустившимися ромашками над кустарной далью сторонилась безвременная звезда, какая-то невиданная, и все было расставлено так тихо и просторно, как будто готовились к какому-то дальнему крику или окрику, и притихли, чтобы откликнуться: прямой душистый воздух вели из калитки туда, где это могло произойти.

Зато юности был он обязан ранним необычным рассветом в своем прошлом. Юность его была отмечена рассветающим городом, где улицы, как амбары, туго набиты были сырой, све-женамятой тьмой и слегка подновляемые небом верхушки зданий спали на якорях, как судна.

Окраину прорвало обозом пустых таратаек, обвал таратаек бешено возрастал в пустом городе; в пруду грохотали разбуженные отражения подворотен и мостовых, и от всего этого отрывали одинокую, безлюдную звезду, а безграмотные вывески поспешно набрасывали на свое безобразие спутанные ветви напоенных слякотью, беременных липок. Предрассветные телеги неслись мимо юности Реликвимини, и ее сжатый бессонный зевок встречал пахучую холодную столицу, расступившуюся для благовеста и прибытия перелетных колес.

Детство запомнило полдни и возвращения пололок с работ; юность связала себя с рассветом.

Поэтому юность Реликвимини настала для него раньше его детства. Юность предшествовала детству Реликвимини.

Была девушка в его жизни; все рассветы отбивали тревогу по ней, а потом ребяческие полдни осушали тревогу мартовских мостовых. Когда она ушла или стала появляться только пополудни, или стала отвергать тревогу, как сигнал, уместный только спозаранку и ставший смешным... словом, когда она утерялась для Реликвимини, он с потрясением увидел, что она наделала! Она камень по камню подменила весь город, она подставила какие-то иные зимы, весны; новые утра она научила прикидываться и подыгрываться на новой мостовой под далекие таратайки рассветов, и сотнями дрожек разглагольствовала весна как и раньше, и как и раньше каркали случайные кресты, нацарапанные на облачных скорлупках. Но прежний город был иным. Это было что-то на чужих ролях, — и город с неутертым теплом был этой чужой ролью.

[Это действовало так странно. Когда, встречаясь с темными попугаями обугленных от дождя ветвей, и с весенними усилиями песен, загребающих непосильное, столица поводила фонарями и газовыми киосками, липами и прохожими из газу, жадно набрасываясь на брызжущий ветер, и когда крыши хватали друг у друга какие-то сернистые облачные ноши и ежеминутно на Ш<вивой> горке увязала луна или когда бессменно все новые и новые прохожие, обнявшись, впрягались в чиркающие по смоченным плитам отраженные витрины, словом, когда вселяющие трепет очки яви вырастали и округлялись настолько, что напоминали непроницаемые очки волшебниц, хотелось где-нибудь в углу, заражая своим волнением, рассказывать об этих предметах в очках, потому что никто никогда еще не сказал, что иного можно сделать с очками волшебницы, как не поместить их в сказку.

Город слишком часто становился иным. Или, лучше, он ничем не становился, он выходил из себя, переставал быть собою. За городом... Но за городом была, вероятно, весна, которую можно было бы застроить так же, на пример родного. И сменяя заставы за заставами, выстраивая все новое, можно было бы застроить всю землю, не находя ничего, кроме пустырей, ожидающих закладки. Так что неправы были те, которые утверждали, что за заставой, тут же, за окраиной, можно встретить Бога. Если бы это было и так, то где-нибудь Бога застигло преследование строек и какой-нибудь город

стал бы Божьим. И если, как это часто говорили сограждане Реликвимини, именно в их городе и селился Бог, то, конечно, и Он переставал быть собою в такие дни, вместе со всем остальным. Это действовало так странно. К проникновениям веры или богопознания не вело это вовсе, но приводило к жажде перечисления всех этих отдельных предметов, которые все время изменяли себе, то есть лились мелодией и носили незаслуженно постоянные имена. Называя, хотелось освобождать их от слов. В сравнениях хотелось излить свою опьяненность ими. В сравнениях. Не потому что они становились на что-нибудь похожи, а потому что переставали походить на себя.

В таком подмененном городе в такие дни жил-был Реликвимини, детство которого запоздало и нашло Реликвимини юным уже.]

[Однажды этим городом пролегал заговаривающийся путь пролетки, дуга которой неизменно попадала в обеззараженно белое небо, в котором трогались вместе с издерганными дымками беспризорные звуки и сигналы вечерних предместий. Пролетка обносила несчетную строку весенних бельэтажей и лавчонок милым печальным лицом сестры в дорожном костюме. Она молчала, черты ее ломило какой-то печальной улыбкой примирения.

Вдвоем с Реликвимини она разминулась со множеством укороченных весной переулков, где, верно, так холодно жилось всем этим карим окошкам; извозчик их с шумом размыкал людные площади, как старые проржавевшие замки, и они плелись дальше. Она разминулась со множеством улиц, и неизгладимо лежала оставленная за спиной весна.

Вдруг, когда слишком затянулся бульвар, < > дотронулась до него своей редкой рукой. Каждый палец ее прощался с кистью, готовый отделиться и унестись. Десять крупных весенних капель не могли никак оборваться. Пять весенних капель коснулись руки Реликвимини.]

— Грусть... это когда нами запасается что-то, что должно наступить. Это как неожиданная уборка. Как будто мы созрели и нас свозят, каждый миг свозят в каком-то неизвестном направлении. Но чувствуешь, что там, куда тебя убирают с каждым разом, ты растешь и растешь как чей-то чужой запас. Это какое-то страдательное богатство, в котором тебе самой ничто не принадлежит... Когда приедем, я что-то расскажу тебе.

Бульвар и < > были остановлены неожиданными похоронами.

— Откуда ты знаешь, что я настолько не мужчина и не мальчик, что пойму тебя?

— Да, правда, грусть это что-то высоко женское. Вот теперь (я и не знаю, как это я смогу работать в музее), теперь надо мной сошлась эта грусть, я прямо немею под ней, мной запасается какая-то неясная большая радость в будущем. Моя ли это радость? Не знаю. Но конечно, не будет чужого человека, радующегося мне, это не будет радость человека, ты же понимаешь.

И она, посмотрев на Реликвимини, перевела свой взор < > как бы ссылаясь < >

— А помнишь санаторию против вашего окна?

— Санаторию для родильниц? Не знаю, что ты мне этим хочешь напомнить...

— Ничего, только < >

— Только я, конечно, не забуду, как ты заражал меня своим тупым ужасом перед ней. Ты прав, в переулок гляделся изрытый мартом фасад, тяжко окопанный битым снегом, сдавленный пресной испариной мглистой весны; помнишь, как из редкой в этих местах кареты вышла раз какая-то грушевидная ужасная княжна, почти ребенок.

— Но год назад я как-то попала туда с другой надворной стороны. Ты знаешь, там необычайно хорошо. Небо, какое-то безотлагательное везде, отдыхает там от города. Оно никогда не просыхает и влажной синью изводит кусты и ветки сада. Полдень роняет там дождь воробьев на расчесанные дорожки; ты слушай, там совсем необыкновенно, снег задерживает свое таяние и лежит душистой синей посудой по

земле, блюдца невероятных размеров и форм вычерчены по земным бурым шерстинкам.

А то еще снег, подтаяв, облегает стволы просторными белыми хомутами. Когда я была там, где-то, бушуя маршем, проходили солдаты и, как какие-то цветные неумелые каракули, водянисто расплывались по снегу гиацинты, выставленные в сад.

Ты знаешь, на чем так долго, не отрываясь, остановилась весна? На святой истоме материнства. Бледным, выздоравливающим женщинам, вероятно, было грустно. Но этой грустью ликовала богатая ими весна.

Ты не мешай мне, я теперь думаю о материнстве. Видишь ли, тебя бы не пустили, верно, с надворной стороны. И ты не видел, как неподражаемо просто удается им то, чего мы так ждем. Расправить все это (тут <она> вновь сослалась на улицу, наряженную колокольней и каким-то небом в объезде), понимаешь ли, расправить всю эту застроенную явь, как что-то свое, отчужденное утомлением и неподвижностью, как уснувшую конечность. Я не могу тебе объяснить, но я ведь видела, как, поднимаясь обратно на больничное крыльцо, они расправляют утомленные и удовлетворенные <члены>.

Весна завязывала множество черных узлов на деревьях, трубах, на крестах. Самый воздух весны — волокнистый и нескончаемый, закинутый далеко, был собран в душистый облачный узел, но самым черным и тугим узлом была сама земля, проевшая дворы. Весна стягивала все туже и туже этот опутанный мир. И раз дождливой притопывающей ночью она рванула, перепугалась, крикнула, и словно спущенные с цепей повсюду заголосили дрожки, какие-то закоулки пользовались переполохом и перебирались в проливных сетях. В городе что-то оборвалось. На рассвете жалобно болталось ослабшее сырое небо и передергивало ветром оконные стержни. А утром можно было изредка найти брызги прорвавшей зелени. Лужи оказались подрезанными утренним солнцепеком. Узлов уже не стало. Одни не устояли против напряжения, другие улеглись распутанные и разглаженные. Только грубую, выпяченную реку гнало и сводило мутным узлом. Наряженный колокольнями полдень раскатисто разъехался врозь; столица катилась под гору вниз к низко насаженному приземистому Замоскворечью. Между долями города роями мотыльков бесшумно порхали, вились мосты. В воздухе качались стопудовыми кругами гнезда великопостного звону. Город разорял эти стонущие гнезда.

Мигая, плыли облачные панели и камни; тенями и солнцем их гнало, относило вкось. Наливались грозди спелого воробьиного чириканья; небо усиками лазури вилось о натыканные колышки церквей, громоотводов.

Поздно. Окно раскрыто настежь. На огромных пространствах топчутся тучи. Куда-то, как поплавок, закинут вокзал. Иногда там клюет, и тишину передергивает от сигнала, она змеится. Вокруг распахнулись пустыри. На ночь не убраны громадные леса со стройки напротив. На мачтах огни. Небо тут и там оцеплено этими жгучими каплями. Ветер, подобрав местный мусор и далекие вести, не выпускает их, как они ни вырываются вместе со стонущей химерой стропил.

Сухой мусор, краткая, угрожающая тишь, сжатая земля, урезанный переулок; таратайки как взволнованная интерпунктуация. Уже с утра Реликвимини заряжен всем этим. Вдруг Полька кладет на подоконник свою руку и нечаянно задевает окурок. В следующую минуту Реликвимини припадает к руке. Он зарывается в нее. Он окунается все глубже и глубже, мимо навстречу волною бьет любовь, мимо, мимо. Кажется, и тот, мучитель город, нисходит следом. На дно, на дно. Рука трогается, раздается и вырастает.

Рта своего, как воспаленный зрачок, он не сводит с этой настигнутой у локтя руки. Это сама весна настигнута. Снизу ломятся какие-то силы черной толпой. Реликвимини колыхнуло. Это они снизу хотят взломать его. Это какое-то восхождение города.

Ему не нужно выше Реликвимини. Реликвимини, вот куда он подымается. Какое безудержное счастье быть последним! Нет, предпоследним! Какая разнузданная мука быть предпоследним. Одно последнее где-то в ней. Прошла, подкашиваясь, привратница-рука и без опроса, не глядя пропустила его вдаль, к плечам, к груди. Зачем, зачем? Глаза его, подгоняемые сердцем, вольно и без устали произносили то, что они никогда не могли и выговорить, путаясь в предметах, обжитых, обитых, обросших, одетых и обнесенных: наготу.

Он окаймлял ее. Он проводил по ней своей душой, как кистью в весне. Он целовал и помечал ее душой то тут, то там. Он бился над этими вскрывшимися плечами. Ее руки и грудь разошлись нагим устьем, но любовь в нем не отступала, не пятилась покойным морем. Его любовь, повернувшись грозовым побережьем, гнала обратно, туда в горы к истокам эту встречную пролившуюся дельту локтей и торса и предплечий.

И его ломило усильем песни, зачерпнувшей непосильное. Две встречные погони сдвигали этих вошедших друг в друга беглецов, не размыкая их, в глубь ее родины-гонительницы, и тогда она изнемогала скорбью, а в нем поднималась радость свободного бега, или его относило назад, и тогда она неслась на нем ширящаяся и светлая. Ее изгоняло небо. Широкий рай поступал, прибывая по ее русловому телу. А его выталкивала земля, возделанная городом. Черное, страшное ютилось на нем, черное, страшное, к чему она постоянно нисходила. Это было бы любовью, гибелью беглянки и беглеца и грохочущей над ними встречей их погони, если бы они не схватились за руки и не свернули в сторону. Бегство было излишне. Да, излишня была любовь. Ведь они стали братом и сестрой и продолжали бежать без погони, продолжали любить без любви и быть предсердиями друг друга. Братом с сестрой стали они. Или двумя сестрами. Потому что он встал, отошел и, разбуженный окном, встре-пенул ее своим «не хочу», не зная, что значат эти слова. А ее голова упала на руки, укрылась, спаслась в ладони. Она стала плакать. От этого прибывало то, что небом выполняло ее всю. Он вскочил на подоконник, с закинутой к стеклу головой, болтая ногами, и мучился. Он глядел на нее и мучился; он мучился стольким неуловимым! Он мучился, например, даже тем, что ее неожиданно-голая спина, ничем не предсказанная, сошлась с деревянной спинкой кресла, что повстречались два предмета, до этого невиданные друг другом, удивленные своим соседством. Как всякое редкое происшествие, это било тревогу.

И он безудержно сострадал. Кому? Своей девушке? Ее спине? Непредупрежденному дереву? Он вздрогнул, когда дернулся поплавок в ночи и там выловили какой-то влажный выскальзывающий сигнал. И он спросил себя, не сострадает л и он, может быть, этой застигнутой окном дали? Нужно было сейчас же понять, какой загадке сострадает он? И он пошел сквозь строй мыслей, не отрываясь от девушки. О, она плакала, не отлучая своей наготы от пораженных, незнакомых ее телу предметов.

Она плакала, и часто вздрагивали ее девичьи границы, которыми, как песнью глубоко вдохнувшего голоса, было выведено, донесено, дотянуто ее тело.

Все скорее и скорее низвергались проливные люстры на скатерть с пальмами из войлока. Все большее и большее число официантов отсылала какая-то сумрачная стойка, где за водкой и самоварами у отпускающих кипяток стучало в висках; кривляясь локтями, лакеи разливали пивную желчь господам, которые требовали пепельницы и писали письма, разинув шубы и шарфы; покидая пиво, искусственные

пальмы, чернильницы, проплывая над заплеванным полом в корзинах, минуя расписания поездов и зал III класса, где приземистый храп переселенцев на полу шевелил неповоротливым пламенем свечей перед железнодорожной божницей и, не задевая башлыков и решеток, смешанный, пыльный дым махорки и сигар перекочевывал в уборные и на дебаркадеры. Душа Реликвимини воспользовалась как раз последним пропуском над кровлями, как вдруг ее владелец тяжко ощутил, что еще один официант или артельщик с чемоданом, и он задохнется в этой подавляющей цифре чужих. Но дверь раскрылась и пропустила еще новых, а навстречу Реликвимини зала угрожающе занесла приближающегося официанта. К горлу Реликвимини подступила дурнота: он уже как тупоумный охватывал подержанную мглу шныряющих мундиров, желая справиться с залой, где забегали безногие пятна, он вцепился глазами в каски салютующих на перроне, но окна удрали с касками, с полу отпоролась мокрая невыжатая зала, там в весне захлопали и гаркнули каменья, выезжая, протрубил и изогнулся рельсовым визгом почтовый вагон. Стало тяжко, тяжко, повальная весна ворвалась в зал, Реликвимини встал, и окно закачало им, как тенью газового киоска, его повело залой, он успел подумать: «Это пройдет, это как тогда на Иване Великом. Нужно выйти на воздух». Вдруг от столика боком, боком отделились шинели и пустили его как волчок.

Он очнулся. Он лежал где-то. Ему как лазури стало отрадно, душистое утомление отдыхало в нем, он уже не преграждал души своей, он пропустил ее.

—Доктора... Холодной воды... Как это... Вот упал... адоктор?.. верно, отравился... дайте, дайте сюда... вот еще, еще несите.

За окном вокзала едва-едва держалась вечерняя весна. Едва держались какие-то заострившиеся в сумерках деревца и вороны на них; едва сдерживаемые небом стаи, их оттягивало засасывающим течением вкось, в глубь города; едва держались вздернутые дымки на крышах; едва держалось небо, покинувшее площадь, выселившееся за город, оставившее холодные зимние пустоты над домами, едва держались обугленные дождями стены и сдавленные дворы, едва держались улички, подыгрывающие колесами по каменьям; у каменных порогов и подоконников неистовствовали капли; весна билась о землю, она поднималась на крыши, на ветки, на зонты и шляпы и, едва сдерживая себя, кидалась к земле. Было еще настолько светло, чтобы с трепетом увидеть, сколько черных и спутанных следов оставил март. Но на площади зажгли уже фонари. Ветер поводил газовыми киосками, прохожими из газу и газовыми деревцами: мокрые хлесткие тени носились как порванные снасти.

Была открыта форточка, и новый недавний воздух весны вел прямо из зала II класса в поводящую тенями столицу. По этому душистому пути, не касаясь земли, доносились раскаты прибывающих телег; какие-то спешные шаги, прочные копыта и заливающиеся, захлебнувшиеся колеса впрягались в весенний город и тревожным цугом влекли его по этой воздушной дороге. Они обсаживали в этом побрякивании почти зимний бескровный путь какими-то несуществующими безграмотными вывесками, крохотными липами и ржаным разгоряченным песком тротуаров; они несли на себе напряжение беременных ветвей. Едва держалась эта помеченная форточкой и тремя далекими нацарапанными крестами зыбкая, душистая дорога. По этому же пути простиралась в город разнузданная грусть души. Едва держались встречные пряди бульвара и пропускали душу. Сырые, подкашивающиеся здания расступались в колышущихся флагах и тоже пропускали ее; едва держался тупичок с неугасимым трактиром, низенько-низенько нагибал он свой последний забор, за которым несдержанный пустырь относило вдаль приближающейся душой, и, наконец, над какими-то плачевными сигналами, не в силах держаться, душе давало последний

пропуск удаляющееся небо. И вот ничто, ничто не задерживало в пути скиталицу, вышедшую для того, чтобы ее остановили.

За окном отекал и распадался безудержный мир весны. Он оканчивался скворешницами, шпицами и телеграфными позвонками; а над ним форточка, имея дело с сотней улиц и крыш, исходила душой.

Какая-то райская прохладная струя смывала громоздкое, многолюдное прошлое, подержанную мглу; его как занавеску продувало и колыхало дальней, милой нежностью какой-то отрывистой, шепчущей над ним тревоги незнакомцев. Он уже понимал, что какие-то склоненные чужие люди взволнованно заняты им. Он увидел вдруг, как над ним, словно ласточки, реют какие-то дорогие ладони в манжетах, сетка пуговиц клонилась над ним, и в сетку заглядывали испуганные перемежающиеся лица.

Он смотрел на них, отдаваясь неописуемому наслаждению этой нежной благодарности, молчал и вдруг как-то неожиданно залепетал: «Ах, спасибо, спасибо, это только голова, я не отравился, не надо доктора; я сейчас встану...» — «Нет, нет, полежите», — и затем отвернувшийся студент в парусиновом плаще с капюшоном взял у лакея холодную мокрую салфетку и положил Реликвимини на лоб.

За окнами вокзала едва-едва держалась вечерняя весна. Едва-едва держались птицы на заострившихся в сумерках деревцах, они отделялись от веток, и небо оттягивало их засасывающим течением вкось в глубь городка. Едва держались дымки на крышах, каждый миг весна вздергивала их сплошным горизонтом. Это второе дымовое небо жилых слободок было в < > ды-рьях. Едва держалась сырая, талая весна ветвей, поминутно она всхлипывала, кликала и срывалась. < > Едва держалась мирная мощеная даль, поминутно там за пятнами трактира обламывались и подыгрывали на мостовой поздние дрожки, тогда город подкатывал к горлу. Была недавно открыта форточка, и новый, недавно заведенный воздух весны вел прямо из залы II класса в подводящую ранними фонарями столицу, [чистый, зыбкий воздух вел туда, где по мокрой земле разметались хлесткие тени,] простой, легкой и безобидно открытой дорогой вел он туда, по этому душистому пути, не касаясь земли, прикатывал обвал прибывающих поездов; [по этой дороге, совсем не приближаясь, шли газетчики, гортани далеких пьяных парней и голоса артельщиков, кучеров, и шлепающая неподвижность телег]

Туда, по этому же пути, когда он освобождался, простиралась разнузданная тоска души. Ее пропускали едва держащиеся, сторожевые фасады, они колыхали свои косые тени, провожая ее; едва держалась напутанная грязная мгла; она осекалась и давала душе неожиданный далекий пропуск в небо; но душа не находила неба. Небо едва держалось, оно покидало улицы. Оно выселилось за город, оставив над домами опустелый мертвый горизонт. Но душа покинула вокзал для того, чтобы ее остановили в пути. А весна и сама едва, едва держалась. Она висела в несчетных каплях темных, полных предчувствия земли, и обрывалась и пропускала, пропускала душу. Даже далекие, пограничные копыта облетали, ветер уносил их, и душе открывались новые пустоты.

Комната, дрожа своими очертаниями, куталась в сумерки. Реликвимини сидел у окна. Ширь нового весеннего воздуха вела к недалекому вокзалу. По этому простому, душистому пути, не касаясь земли, доносило раскаты прибывающих поездов. Они обдавали внезапным сердцебиением замирающие дворы; заострившиеся от сумраку деревца и потупленные подъезды мешались в тревожной дрожи плачущих ржавых петель и спутанных зазывающихся ветвей. Внезапное столкновение грохочущего разгона с местной тишиной возбуждало все линии за окном. Возбужденные очертания делались заметны, как расширенные ноздри на знакомом < > лице.

Реликвимини у открытого окна присутствовал при том, как отдельные возгласы и звуки двора намечали территорию его великой тоски. Не окинуть взглядом моей грусти!.. Реликвимини тяготился этими владениями и тогда уже, когда на границе их выстукал всю лестницу, ступенька за ступенькой, поздний почтальон.

1910

Не % Не

[Вероятно, я рассказываю сказку. Только одно заставляет меня так подумать. Только свойство того пространства, в котором развертывались эти события, естественные сами по себе и лежащие в природе вещей.]

Сад был прослоен ночью. Насколько позволяли деревья, светлые полосы фонарей отправлялись блуждать по дорожкам, зарослям и по низеньким скамейкам, хрупким, как печенье, которые, однако же, выдерживали нагромождение пестрых зрителей и зрительниц, тяжесть которых могла иметь самые причудливые и неопределенные размеры, судя по тому, что сад испещрен был в ту пору засадами из нарядных изображений в масках, из которых одни были действительные манекены, другие — одарены были жизнью, третьи, наконец, умели быть тем и другим одновременно. Свет не находил себе места, он не переступал за порог ночи, оставаясь в ней даже и тогда, когда, прорвав пыльную изгородь рощи, он в течение нескольких мгновений подкапывался в лысеющие травы [под кустами, где жестянки из-под сардинок и обертки от сластей белели без смысла между лысеющих стеблей. Летний театр без всякой меры был накрашен белилами электричества, и ниши окон казались подведенными. На несколько сажень от этого царства лжи кусты существовали как призраки, одинаково бессильные, для того чтобы ожить или окончательно засохнуть. Живее всех было вино в бокалах, брызнувшее среди пьющих. Это были морские звезды и фосфорные тельца, заключенные в желтом стекле. Люди глотали эти ожившие драгоценности и украшения].

Ночь напоминала сновидение тем, что некоторые сидевшие на скамейках казались прислонившимися к стенке этой ночи, к стенке существования вообще; они обозначили собою видную изнутри поверхность бытия, за которой ничего уже не могло находиться вроде того, как привидевшийся нам во сне человек на стуле выстилает собою для нас всю внутреннюю кожу сновидения.

Многие тени, и люди в красных румынских блузах, и желтые дорожки, и слежавшийся дремучий полог, подпертый не равными, но одинаково исполинскими стволами, кое-где худой и пропускавший свежесть звезд, все это не только находилось на свете этой ночью, но всем этим и ограничивалась ее быль.

Блафар показался на верхней площадке театра, — он не был так далек, как это можно было подумать, поддавшись обману декорации, — тени лестницы, положенные чрезмерно часто, вели безумный счет ступеням, изображая не столько восхождение на крутизну балюстрады, сколько неподвижную погоню за ее высотой. Щит, изображавший главный фасад, исполинской серою пустыней с нишами и карнизом развертывался во все стороны от пестрого ландскнехта, который, спускаясь по лестнице вниз, часто отымал флейту от своего рта, вынуждаемый к этому тем странным движением, которые он повторял неизменно.

Он как бы подбирал или оправлял на себе шлейф. Тень тополя, выброшенная на серые пески стены, была выше дерева, лестниц и необъятнее фасада. Блафар спустился таким образом в сад. За ним, начинаясь за лядвеей, пестрою лопастью влачилось целое стадо сшитых шкурок, — это были серенькие чучела, неизбежные в роли Блафара.

Когда он следовал тою частью сада, которая находилась под открытым небом, где грядки гелиотропа казались вязаными грядками, обесцвеченные луною, можно было оглядеть и запомнить костюм Блафара. Левое его бедро было обтянуто желтым, по

правому черные зубцы чередовались с голубыми, пояс был очень высок и входил под мышки, короткий кафтан, накинутый на плечи, был застегнут у ворота.

<1910> * * *

«Вот какая у меня комната, — сказала она, — я здесь лягу, а вы садитесь рядом и рассказывайте».

Тальони понимал: это означало: застаньте в сказке меня... И сказка была уже начата — над сказкой всплывали краплен-ные оконцами дома, — на куполах лежала ночь и светала, мелела, как дождевина на высыхающей листве. Но под сыпучим, как серые пески, тяжким предрассветным небом, с кликами окраин или без них — и тогда с знобящим безлюдьем, — возились полосы газового света — белые, выветрившиеся, обглоданные, как кости. Сказка была уже начата; кто-то как тяжелую страницу перелистнул темную улицу, зашагал, зевнул и потерял в затишьях два громких слова, несвязных как камешки. А потом, как черносмородинная гроздь ответвилась от колокольни чирикающая стая. Как будто подслушали воробьи то сверлящее, волчком заверченное утомление, которое гнездилось в эти часы в человеке, [одиноком, беззащитном человеке, лишенном дневных вещей,] — и россыпью впились в рассвет; [был темный заспавшийся город, мертвецки приникший к ночной земле; у неба явились свои вышки, чердаки и горницы < >]. И вот это трудное, хмурое раздумье жгли и зудили они своим дерзким журчанием. Воробьи утомляли, изводили мглу.

[А в комнате, на письменном столе стоял бронзовый кузнец, и рядом с ним увядшая во мгле свеча запахнула целый угол тенями, и вот не сдержался рассвет, дохнули безлюдия. Свеча пошевелила печью, как темною полою. Легко со свечой!

Сказка была начата, и Тальони умел рассказывать.]

<1910> * * *

Вот. Песня маляра сейчас тонет и всплывает над пятью этажами уличного гама. Нужно посмотреть, как подвинулось у него дело с дверью.

Пришел почтальон. После него в моей ясной закатной комнате с запахом краски осталось лежать два письма. Третье я схватил, засунул в карман и эта голубая стопка погнала меня на улицы.

Улицы сталкивались с зарей, и множество предметов обновлялись за текучими стеклами.

Куда-то шли смеркающиеся толпы. Люди в светлых ботинках переходили по смутной раскраске мостовых. В трактире играл орган. С вокзала отошел поезд. С Николаевского вокзала: там все паровозы альты и тенора. И на заре увозят из Москвы — к петербургской заре.

[Где мне вскрыть письмо? Где-нибудь, где много голов и шляп и дуг, где перевозят пустые бутылки и слышен оркестр из

МЫШЬ

Ясно как Божий день, что творчество имеет право подойти к Дмитрию Шестокрылову лишь в тот момент, когда он позовет это творчество, когда, вернее, он раздвоится и одна его часть замрет от неисчислимых скрещений в нем, а другая — та часть, что старше (его отеческое существо в нем), бросится на какой-то мистический балкон его души и станет чертить тревожные жесты и звать какого-то неизвестного, но не Бога и вообще не существо, — тогда что же бросится звать большая часть Шестокрылова его самообъятие? Совсем не за существом бросится она, а за событием; нужно, чтобы над замирающим в скрещениях Шестокрыловым склонился таинственный черный раздававшийся в рефлекторном озарении потолок с тенью докторских рук на нем и чтобы под этими мельничными крыль

ресторана. Ведь он из Петербурга. Надо его наполнить. Как наполнить?]

Вдоль бульвара вели арестанта; его светлая фигура задерживала столицу в ее разгоне: и над всем вилась и темнела душистая тишина.

<1910> * * *

Я давно наблюдал за тем лицом, которое через несколько минут пройдет через строки, но я решился прийти к нем на помощь только тогда, когда он стал махать кому-то неизвестному в мою сторону, когда он, по-видимому, нуждался в ком-то или в чем-то неизвестном ему с моей стороны. Искусство не свободно. Мне казалось раньше, что оно приходит в жизнь, как на огороды, чтобы брать там то, что, оставаясь естественным как явление, — изменяет телеологии естественности, той крепостной зависимости от жизни, которая не дает ощутить фатализма...

<1910>

ями доктора на потолке, чтобы под ними не было, не случилось, а замкнуло бы или упокоило шестокрыловский экстаз громадное, обирающее Шестокрылова, как исполина, увеличительное зеркало.

Творчество должно прийти к нему в ту знакомую нам всем минуту, когда что-то озабоченное нами в нас отделяется, исчезает, как будто есть опасность или, наоборот, как будто такое торжество, что нужно звать кого-то, — и тогда это глубокое в нас, какой-то врожденный опекун, бросается всегда так, как будто есть кто-то известный ему, и вот оно покидает нас, и мы ждем, но никто не приходит, и даже то, что было в нас и обнимало нас каким-то посредничеством с жизнью, оно тоже не возвращается долго. Мы послали за чем-то высшим, чем жизнь, и ждем... Больше ничего. А потом, когда впоследствии наш опекун возвращает нас жизни, прикинувшись неведающим, мы жалуемся и пишем о том состоянии, когда мы разломились и отослали порыв за великим знатоком, и ждали, или, вернее, не мы ждали, а вся жизнь ждала, ждали краски, звуки, тени, улицы и колокольно-звездный канун воскресенья над крышами и хворостом бульваров.

Хотя все уже давно бродили ретушированными силуэтами шуб по снегу; а снег давно убедил все площади и улицы, что над его нераскрашенным скудоумием и под свинцовым тупоумием неба все вывески и даже формы военных, не говоря уже о раскраске саней — все будет бродить графитовыми очертаниями, расторгнутое надолго с солнцем, — и, словом, отпираемые ставни магазинов и большие процессии извозчиков с вокзалов < > толпу до и после обеда и бесконечные бульвары, наказывающие небо нескончаемым таянием черных хворостин, и вороны с гимназией под ними — все это будет записано на зимнем городе холодным грифелем. Хотя давно уже спинки ранцев у гимназистов слипались шерстинками, разревевшись талым снегом, и черные следы проедали налеты на асфальтах — омерзительно преувеличенные мухи и тараканы бежали следом за спешащими походками, — все это было так, но для Шестокрылова зима наступила, сорвалась в свои глубины лишь тогда, когда он распорол первую мандаринку на своем уединенном подоконнике.

Он обнял полной горстью, стонущей горстью пианиста несколько клочков этой кожицы с желёзками взволнованности и с закрытыми глазами стал вдыхать, медленно, почти сопротивляясь, с таким чувством, как будто этот запах какой-то громадный, богатый, фантастический надел, что-то неисчерпаемое. Он только вдыхал и не заключал от этого неизреченного преддверия к воспоминаниям, потому что этот путь был знаком ему наизусть; он знал, что эта зимняя мандаринка колышет на себе другую зиму, в другом городе, комнату юности с озабоченной нежностью предметов, которые как пластинки напеты его возвращением к себе в тот вечер. Да, надолго напеты они его криком, как острой иглой.

Он бросился тогда на рояль. Что же это? Как быть... за что... и при этом уже воцарялось сознание подрастающего мудреца: сознание того, что не только смысл, но

и самое свойство вопросов взято заимообразно у чужих и что путь этой боли не за ответом, — а перед этим он бежал из дома, где она, не сознавая этого, дрогнув, как крыло прожектора, — перенесла водомет лучезарности своей на другого и подала Шестокрылову беззвучно, как на оси, полосу приползшей ночи.

И вот шел он торговыми кварталами, где над зимним сном залегли окна стальных ставень как коммерческие туманы, и, выйдя на площадь, он истерически думал о том, что любовь, как Орфей, должна отворить дверцы во всех клетках и заворожить мыслью эту животную ночь, а если нет, так умереть во славу зоологического сада... Потом он поймал себя на бесполезности и совершенной неуместности этой ерунды и остановился на мосту.

Из Кремля в виде сомкнутой ночи понесло на версты чем-то, это было какое-то литое успокоение; и даже небо доносилось издалека, и призраки домов, и газовые фонари, замороженные мотыльками в проруби и проталинах, и все видения доносились, весь город, потому что как ни искал изголодавшийся по звукам Шестокрылов и городовой вдали — в городе не было ни звука, чему же было доноситься? А ведь царящая даль посылала, беспрерывно и ровно! И вот доносились очертания.

Но оказалось, что въезжает извозчик на обледенелый выпуклый мост. Лошадь поскользнулась и упала, и надколола ночь, как черную голову сахара, — извозчик приподнимал ее, она соскальзывала и вновь падала на бок, неорганически растопырившись как игрушка. Тогда он стал распрягать, одиноко ругаясь, но оказалось, что есть друг за другом возникающие прохожие, и скоро над лошадью скучился поселок четких отрывистых советов, смешков и ругани, и кто-то даже так долго смеялся, что даже забыл, что это смех; в это время очертания перестали доноситься, потом все затихло, лошадь бережно ступала по мерзлым доскам, как дантист металлом по больному зубу, и так же болезненно-четко выходило это у нее; потом все повторилось с тишиной, и въехал другой извозчик.

Шестокрылов предупредил его, извозчик внушил поддергиваниями неуверенность мерцающей меж фонарей лошадке, она свалилась; тогда он стал ругать Шестокрылова, прохожие, потом разговор, дикий среди всего этого остуженного, разлинованного улицами сна своей дневной естественностью. И потом призрачная неодушевленная бездыханность помогала городской ночи оборачиваться какою-то комнатой, в которой происходит диковинное, а говорят обычным голосом.

Вдруг за окраинами пронизало город двумя-тремя сигналами локомотива, ссадинами безмолвия. Ссадины налились долгим-долгим стоном, вроде ледышек. И этот извозчик уехал. А когда подъезжал третий, Шестокрылову взбрело в голову что-то о демонизме и, как Мефистофель, он сложил и третью лошадку. Этот извозчик только вздыхал. Весь Кремль, громадный, как подзвездное плоскогорье, фальцетом ватикановского кастрата спустил с цепи три четверти. Городовой стал стучать в мерзлые ворота, опять-таки дико, как-то перпендикулярно всей этой выводимой ночью степи, кричал он разные ругательства мосту, обвиняя его в склизкости, гололедице, холоде, спрашивал, сколько лет извозчику, его лошади, что у него дрянная дуга или хорошая, и все эти прибрежные вопросы, как доски сорвала какая-то человеческая жизнь и понесла туда поверх отчаливающих в звезды улиц, и вот за воротами взвизгнуло что-то ржавое и выглянуло бородатое; дворник был ночной, и голос его не становился на голову, а стлался какой-то охрипшей, сонной, бородатой бороной вдоль горизонта, вдоль степи, вдоль звезд; потом он вышел и уже дико и спокойно говорил и усыпал мост тертым желтком, крутым и с камешками.

А потом Шестокрылов мучился дома. И когда он почувствовал много, много крупных слез, он вынул из кармана что-то крохотное и с криком поднес его к глазам;

она просила его подержать этот батистовый лепесток, которым она вытерла свои руки, липкие от шоколаду, орехов, мандарин и пирожного, он забыл о нем; теперь какое-то мандариновое жало пронзило его тоску и туда хлынуло до крикливости яркое воспоминание об этом щемящем чувстве, когда он почувствовал, что сброшен из ее мчащейся жизни, и все образы, в которых участвовала она, стали переезжать его, давить и перерезать своим направлением, бегом, порывом; вся эта мучительная обстановка, которую, колдуя, выкуривал женский носовой платочек, пропитанный мандарином, не была так существенна, как непередаваемый хаос искалеченной нежности, охватившей воспоминания какою-то эпидемией. Вот что мог бы вспомнить Шестокрылов. И он знал это. Он избегал этих воспоминаний.

Но глухая, темная, непостижимая одышка какой-то святой туманной дали, которую он держал в руках, мистерия мандаринки — это было что-то совсем другое. И вот он открыл глаза и стал погружать зиму в этот запах, в этот нежный обряд единственной, далекой зимы, как бы давая теперешней зиме, наступившей для других, и предметам то зимнее, каноническое имя.

Да, вот теперь наступила зима; сквозняк приводил попеременно две свечи на водопой к карнизам и на потолок, и там пламя лакало углы, а тень Шестокрылова падала вверх распятием ветряной мельницы. За окном был двор, верхние освещенные этажи надышали к сараям много желтых сугробов, там теплились и догорали тени мастеровых, паутинкой повисли следы чьих-то талых касаний, за низкой стеной красным Гельголандом поднимался дом, о который разбивался порывистый плавучий натиск абрикосового света. Когда мигания дуговых шаров над тротуарами подбрасывали жару до самых чердаков семиэтажного подворья, ночь и тот снег, который вошел в ночные полосы, ночь и снег падали в какую-то пепельную засуху, где оперенья серой копоти трепетали вместо исчезнувших глубоких васильков стужи. Но такая серо-зеленая легенда была глубже темной синевы; она была тем небывалым, к чему тянулась кожица мандаринки; звезды, как будто ночь дохнула необъятными пригоршнями мелкой гашеной золы над небом траурного топлива, а когда свет как-то застревал внизу, а семиэтажный щит отягощался мглой и по этой громаде бежало холодное точило, по врезанным стеклам окон напильником звездных лучей, когда гельголанд убирали, воцарялась обычная, воспеваемая ночь, где звезд миллиарды и они алмазные; и правда, за тучами, которые срывала крыша, обнажались ясные-ясные устричные отмели и рифы.

<1910> * * *

Вот идет Реликвимини. Межа в слякоти, куда втоптаны спутанные листья малины, пьяные, охрипшие и посоловевшие ветки, много листьев, прихлестнутых лицом к грязи, сребристо-сереньким мехом вверх. Это — как осторожное, заботливое, подготовленное извещение о том, что там и сям попадутся настоящие плоские тельца придушенных полевых грызунов. Когда эти попадаются в рвущейся тонзуре жуков и муравьев с шишками навоза у изголовья, из рвов встают застывшие стебли татарника; издали это разбрызганные красные чернила, вблизи — какие-то колючие неподвижные жандармы, красное кепи которых с синеватой суконной ниткой арестовало лужи. Иногда наряд этих полицейских растений вытягивается на холмах, сумрачно оглядывая уходящие из-под ног ржи, всматриваясь в далекие лесные швы и студеный не июльский горизонт с поздним ноябрьским отливом. И граверни беспорядочно сброшенных орешников, там и сям проевших щелочными дырами хлеба, перламут-рокарие переливы которых гладью утюжит мгла, и скрытно разгоряченные, пылкие овсы, чью юную пылкость долго, долго успокаивает, остужает бережная грустная осень, так что только под неуловимо нанесенной ресничатой пленкой поля, вздрагивая жилками долго бьются какие-то темные кружки о непроницаемый палевый налет, и истерзанные

бурьяном участки пару, где в мыльных ямах намылены помойные клочья цветущего картофеля, и два-три сорта дешевого, здорового мыла: желтая антисептическая ромашка, темно-лиловые колокольчики, лопающиеся и оседающие разбежавшимися ручьями журчащих цветений, и пенка белой сливочной маргаритки, — все это, разбросанное осенними прядями, — оцепили ныряющие на поворотах пешие купы татарника. Иногда попадаются громадные сизые валуны, как посиневшие губы в меловых, нашафраненных и подведенных масках лужаек. Потом черно-синими поплавками в лучисто-белокурых озерах чутко лежат холмы в кустарнике; иногда это четырехугольные стежки шиповника, если это вблизи, то терзаемый осенний воздух срывается несколько раз одышкой невидимых роз и антоновки, их бесплотно мечет шиповник. Потом колея, нажевавшая вдоль своих зияющих десен подорожник с обмокнутой в осеннюю неделю коркой земли, крошится вдруг в старческий щебень; дорога поднимается вверх, там наверху край взбороненной озими небо поднесло к себе и водит по нему шевелящимися тучами; плачет, плачет ненавер-станная травами даль. А левее опять гарнизон всходящих татарников, высокие, одинокие, молчат и вглядываются в дальние деревни как землемеры мглы. Еще татарники. В конце подъема. Эти подцепили низкое безнадежно слоевое облако, проползшее темной мглистой тесьмой, потом, думая распутать и пропуская сквозь лапы, разорвали другие облака, те что светлее и как мотки тоже безнадежных скоплений, ползут, ползут, ползут, груженные сутками заводных дождей, ползут, ползут целой бесконечной каморкой цепных механизмов ремесленной осени; спертое, пронизанное затмениями и снегами небо; будни заготовленных, непроданных бездомных маятников у часовщика. Тесьма и тутовые мотки по всему горизонту, а выше и ближе, почти над головой непроглядная, вся в северной копоти, местами в проталинах гололедица туч.

Реликвимини входит в лес, тот, что издали казался таким глухим и задержанным, — теперь это сырой подвально-лоскут-ный осипший полумрак над поганками. Поганки перебирают смеркающиеся колеи старческими бурыми ногтями. Вдруг лес, это слитое неразличимое и темное намерение, которое не находит выражений и давит сгущенным замыслом отрывков, светлеет и множится; сотни грязно-зеленых сокровищ извлекаются откуда-то небом, вылупившимся среди углем наведенных сосен, потом оно завешивается чащей, но вдруг впереди, там и сям прорастают ослепительные иглы и накалывают по ветвям горсти леденцовой зелени; синие каракули, золотые крендельки, черные слюды и мухоморные сосульки распущены тягуче и липко в колеях; наверху мчится взбитая лазурь и в этот охлажденный водоворотно глубокий июль наверху врезаны сосны, они врезаны мучительно синими лезвиями; иногда этот замысловато хрустальный налет полдня, которым свело бурлящие водоемы чащи, иногда он проваливается и Реликвимини идет тонуть в проруби глуши. Там сыро. Там на длинных уравнениях мха, на мглистых панелях наложены плоско, без врастаний скорченные кусты, вблизи это малина в холодном поту с брезгливыми касаниями паутинных прядей и ниток, с мокрой свинцовой мглой, обвисающей исклеванные ветки с безнадежной неподвижностью, с сыростью, вросшей во все будущие сутки, как в мглистые пласты, с сыростью, исцарапанной там и сям распухшими черными мушками, муравьями и комарами, которыми, как чехлами в покидаемой квартире, пауки обтянули кучи хвороста. Такая глушь — как глубокие, взволнованные вдыхания. Семь раз меряет лес просторные полотнища мхов, и потом вдруг распарывает лужайку, — прорехой, как выветрившаяся пряжа расползаются папоротники. И снова глушь. Но иначе.

<1910>

ЗАКАЗ ДРАМЫ

Недиалогические драмы и недраматические диалоги

1-ое бездействие В заплывшем окне варятся зимние сумеречные контуры бульвара, процеженные занавесками; на бульваре — убранные гарусными ветвями слабые, не настоявшиеся еще фонари, как опухоли в тумане, бледные, потому что еще не совсем темно; небо серое, холодное, как таблица, и грифельками вычерчиваются на нем жалобные дымки из труб.

В начале действия за окном тихий, пустой голод сумерек. К концу, когда темнеет и оконные стекла сервируются инеем, а в клинообразные хрустальные сервизы разливают желтую и фиолетовую улицу магазинов, когда внизу задыхаются дуговые лампы, в морозную посуду льется затушенная серо-синяя зима, — тогда зима ровно и глубоко дует в раму. Дует шумом и крышами и звездами. Дует разгоном полозьев, звонками, рожками моторов, и весь этот шум в мехах, в шубе, — шум играет в прятки с комнатой, — и потом еще зима дует звездной золой, небом серых крошек и черными пластинками неба в дворах, но вновь внизу, верно, лопаются лампы в магазинах, как цветные чернильницы взрываются вверх и полощут цветными чернилами снежок, который накрошен в окошко, милый, подстреленный снежок, который подкидывает как младенца чья-то горсточка за форточкой. Потом, к концу действия, когда запирают магазины и темнеет, в большом, белом, спутавшемся от снега бульваре обрывки и строчки каких-то недоконченных прохожих.

Тогда спелые керосинно-гранатовые зерна фонарей окружены каким-то туманным грязно-парным соком, зеленоватым или почерневшим от желтизны, они обросли, как семена лопуха сучьями и сплетением веток, и вот не оторвешь их от разглаженного оплывшего бульвара, так пристали!

Темно. Там, вдалеке временами, как спички, чиркают более оживленные улицы своим разгоном и вспыхивающим свечением, как черточки шума. А врывающиеся автомобили там внизу вплотную у тротуара падают, как пылающие бумажки в темный колодезь. Потом метель, как оброненная, разбивается о раму и высыпается гудящей обваривающей гущей плакать и напевать сквозь прорывающуюся затяжную истерику скорби. При этом она широко и по-девичьи отводит и ссучивает в стороны поднятые на воздух снежные взметенные нити и дым из труб и вышивает тьму в раме этим широко отнесенным в сторону шелком.

Комната, это лучисто разрисованная, раскрашенная чуткость предметов. Без всякой мистики, вещи в комнате (как одаренные вниманием дети, которые переживают говорящего тем, что подвергают себя движениям его головы и игре рта), вещи в комнате скрыто и явно предались влиянию зимы, нависающей с окна. Они отливают улицей и небом ощутимо и неощутимо.

[Как дети, таким образом размышляют и дремлют предметы. Это глубокий ковер, заросший персидскими зверьми. На берегу созерцательно сошлись несколько стульев. В мире мебели стулья — это какая-то учащаяся молодежь, и вот сошлись они у ковровой стихии поменяться взглядами и застыли, как статуэтки мечтателей. Они еще полны ведь надежд.

Во-вторых, это письменный стол в углу справа, как прибрежный город, застроенный почтовой бумагой, рюмками с перьями, фотографиями, книгами, тут прекрасная почва, у этого письменного стола, как фантастические фрукты с запахом, который относит далеким ползучим отливом в прошлое, как сумеречные, неясные, толстокожие, бурые фрукты, которые нужно чистить, обагряя соком ногти, вырастают над темной, серебристо-дубовой почвой письменного стола своеобразные, чудные мысли. Они интимны и потому музыкальны, то есть как и музыка, эти мысли — как чашка, куда можно кидать сколько хочешь чувств и живых замешанных событий, и чашка все примет и только будет дрожать и не перевернется. Или, может быть, пред-

меты — это сумерки, или, наоборот, сумерки — это мебель. Может быть, жизнь меблирована сумерками.< >]

Но они больше чем дети. Вот эта зимняя комната, которую как корректуру просматривает лампа, а из-за лампы заглядывают сумерки и дают ей разные советы; лампа керосиновая, повествовательная под пунцовым абажуром ставит сотни причудливых помарок на мебель и углы, вот ей нравится ковер, обвисший серой глубиной и заросший персидскими зверьми, и как глухо выделила она его, как запутанный грустный монолог, — и сумеркам он нравится, они пересматривают его, но зачем она вычеркнула шкаф? И две газовые дорожки поползли от кипяченых занавесок спасти шкаф. Есть целая пригоршня чудных вещей посредине комнаты: столик и на нем карандаши и нотная бумага, рояль, раскрытая и пыльная и, левее, у стены нехорошие гравюры к басням Лафонтена, какие-то карандашные лисицы.

Это зала композитора, учителя музыки. Есть маленький факт, наблюдение даже, и оно должно войти в сценарий. В сознании сшиты крепкими, операционными нитями, теми, которые врастают, три момента. Музыка, страна без соседей, в которую падаешь, падаешь в звуках; свечи, которые сгоняют как мутное-мутное наводнение комнату обоев и портретов, сумерек, ковров, свечи, которые распускают мебель как прически, и, словом, вся эта комната, которую, купаясь, подымают свечи, комната — это второе, мир предметов — мир хрупкой и великой реальности — то есть то, что встречает тебя, когда поднимаешься после музыки; и третье, там в окне: хлопья улицы, хлопья зимнего неба, хлопья фонарей, хлопья шуб, хлопья поднятых пролеток, хлопья юбок и муфт вдоль подмерзших канавок, хлопья света, который летит, как расколотые цветные квасцы, хлопья детей и покупок и нянь и витрин, все это, побежавшее догонять музыку.

О, эта большая жизнь, жизнь — миллиарды живых крошек, которые подбрасывает и гонит вниз туда вкось черная плотная тьма, перегнувшаяся через крыши, зимнее, черное, трясущееся в снежинках небо, как ладонь, дотянувшаяся до тротуара и мостовой, и сгребает улицу; третье, то есть веселая погоня накрошенной разной жизни за спрятавшейся музыкой; как будто музыка приехала и остановилась где-то в городе, и все ломятся к музыке, как к гостинице с знаменитостью, и мечутся, мечутся, и все, что скользит, и катится, и встречается, и расстается, и дрогнет разверстанным снежным небом, волнуется этими поисками музыки. И не слышно за окном, которое уже давно как заплакано, не слышно, как дует этими крошками всех сливающий веселый и больной, опоздавший вопрос снежной улицы, где найти музыку, где она остановилась: не выделили вы музыки.

Вот. Три группы: первое: быль, действительность как великое неподвижное предание из дерева, из тканей, нуждающиеся предметы, нуждающиеся сумерки, как церковный, зачерствевший в ожидании приход. И лиризм, музыка, вот — второе. Лиризм, чистый, нагой, вознесенный, лиризм, который никогда не искупит сумерек, пришедших просить прощения, и нуждающихся в лирике вещей. Первое — действительность без движения, второе — движение без действительности. И третье, там внизу музыка в хлопьях, музыка тех, которые идут домой и из дома, словом, уличная музыка, которая так странно, так странно ищет самое себя, движение действительности, которое мечется и грустит и тянется по временам, потому что это действительность, а действительность вечно нуждается, и вот музыка в шубах и музыка в улыбках, а улыбки и признания, как мыльные пузыри, которые пускает жизнь в исцарапанные стужей пространства, и тают витрины, и летящие через пепельный воздух кареты тают на невидимых стенках восторга, пешей прохожей любви, эта погоня музыки за собою — разве это не жизнь вся?

Итак, жизнь — это третье. И композитор Шестикрылов, дающий в зимние сумерки уроки, композитор Шестикрылов, которого долго, долго дожидались ученики в зале, потом они встречали его в передней, где над полками выставленных нот, пыльных, негодных, так гнусаво жужжал газовый рожок, таким уютным мотыльком, они брали всегда у Шести Крылова шубу, и на воротнике щурились и облизывались пласты наметенного снега, в передней, где жарко жужжал уютный газовый мотылек. Композитор Шестикрылов был той терапевтической нитью, которая должна была сшивать оперированный миропорядок: первое — дорогой, быть может, самый дорогой неодушевленный мир, пеструю, раскрашенную нужду предметов, безжизненную жизнь, и второе — чистую музыку, обязанность чего-то немыслимого стать действительностью и жизнью, какой-то поющий, великий вечный долг, как остаток после третьего, после жизни, которая ведь тоже выполняет, но не замечает себя и только предлагает себя в кариатиды неисполнившегося лиризма.

Жизнью композитора сшивали эти три слоя, чтобы вышло целое, и смотря по тому, какой слой он прокалывал, композитор Шестикрылов то не находил себе места и чувствовал неодушевленную тяжесть вины и нужды, то, вознесенный, оглядывался: «где же коленопреклоненные?», — но чаще всего, чаще всего композитором шили, вышивали жизнь, и вместе с нею он бросался искать самого себя; по-видимому, было в его душе такое плачущее окошко, высокое, перед которым многими этажами ниже бросалась растерзанная в крошках черно-белая с пятнами налитых электрических цен жизнь его, разыскивая летящее за нею в снежную ночь окошко. Слишком часто забывал он, что захватил себя с собою навсегда. Но разве можно вечно помнить это.

Ну? Значит, у нас сцена, на которой волнением людей, как гладью вышиты прятки и поиски музыки.

Теперь я украдкой скажу маленькую правду: тут обещается драма, и начинается она как все вообще драмы — сценарием, описанием предметов, — это ведь так жизненно, разве в жизни размещенная мебель не есть начало драмы? Комната с предметами — разве не заказ драмы? Я лично не нашел возможным ничего иного, как жить среди предметов, — как и все, я живу на основании неодушевленного, и если бы кто-нибудь меня спросил строго и внезапно, на каком основании живете вы?..

[О, я указал бы ему на эту землю, меблированную чудесным < > толпами неодушевленного. И на прошлое. Прошлое все сплошь — предметы, предметы, прошлое сплошь сцены, декорации от колыбелей до виселицы — воспоминания.

О, я указал бы ему на этот мир, который назвали внешним, на эту мебель в чехлах, которая зовет к себе в гости нас.

О, я указал бы ему на воспоминания, на прошлое, и я не знаю, поверил ли бы он мне, что все мое прошлое — большой, печальный и такой невозвратимо родной, но сплошь неодушевленный сценарий.

Если не поверит он, как повести его тогда в эти разные переулки, вокруг которых метет зимним городом, где пишут взволнованные вещи, к этим горящим цифрам над воротами, и сумеркам, и замерзшим ртутным столбикам, за которыми сухим почерком стужи нанесены косо, в линейку люди и флаги.]

О, я указал бы тогда на воспоминание, и я не знаю, поверил ли бы он, что прошлое — это неодушевленный предмет и детство тоже неодушевленное, то есть требовательное.

Вот тут сценарий: сумерки в квартире композитора, и они или не имеют смысла, или за ними должна следовать драма; так было и в жизни — стояли неодушевленные начала и требовали разбега, и люди разбегались здесь, и некоторые из них, те, которые думали всегда дальше других и скорее становились неузнаваемыми для своих

знакомых, они выносили это сладостное страдание: работать, думать на неодушевленное. И сознавали его.

Впоследствии к ним стучалась жизнь. Они отпирали. Она спрашивала, блуждающая: «Здесь живет жизнь?» Они удивленно смотрели на гостью, разыскивающую в чужой квартире самое себя, но понимали, что одиночество ей тяжело, тогда они усаживали мир красок, предметов, людей, событий, весь этот сложный мир содержаний, усаживали этот мир у себя и старались развлечь его. И они говорили действительности сотню личных пустяков или о ней самой, или брали ее на колени и укачивали в стихах, для того чтобы ушла она от них, совсем себя растерявши, забывши совсем о себе.

Впоследствии они стали художниками. Они были более внимательны, — подходя к тому, что казалось массе одушевленным, они говорили: «Мы видим вашу нужду, мы видим, как неодушевленны и декоративны вы, наши воспоминания, и мы оплачем вас и заломим за вас руки».

Как созидается драма в жизни, — как не в состоянии более вынести неодушевленных просьб, раздвигают стулья и кресла, чтобы танцевать, танцевать — вот что хочется передать мне здесь. И как в танце остро, остро очиняют жизнь: о, какие линии чистые и прямые может провести таким волнением судьба! Как в танце хотят дотянуться до бессознательного, — и может быть, мебель в чехлах готова подумать, что и она ринулась когда-то танцующей душой и упала неодушевленным прошлым. Тогда пламя свечей врезано колосьями налившегося ячменя в черные вздувающиеся стекла, и как будто стекла в раме как вороные вздувшиеся ноздри.

А там город зевнул какой-то каменной пустотой вечера накануне праздника. И вдруг это зевающее накануне, громадную площадь мощеных плит рассекает дугообразный удар колокола, как плеть с гудящим наконечником, а потом, рыхлый, земляной черный обвал басящего благовеста, и все это на земле, здесь, у нас, — и танцы тоже на земле, и Реликвимини, и Анд-желика, они тоже на земле, и ни разу не пришлось им пойти в ад или в рай, чтобы пережить свиданье с адом или раем. Итак, все — грустная драма счастья.

Если бы сыскался кто-нибудь, кто перетянул бы занавес через эту сцену, меблированную сумерками, — и даже больше, нашел интересным подымать его раз в неделю, в пустынные ветреные дни праздника, когда асфальта растягиваются и вползают на бельэтажи магазинов, разве в праздники асфальты и спущенные стальные ставни не одно и то же, — тогда флаги торопят рассохшийся укромный снежок, и исхудавший, высохший на резной стуже снежок влачится тротуаром, приглашая за собой разные подмерзшие бумажки. Так вот в такие дни, когда в сумерки, у афишных столбов сходятся фасады, затеплившись затканными гостиными, а асфальты, эти виски площади, мощенные мигренью, — асфальты растут безвыходно, и ведь небо, заряженное сдвинувшимися невыпавшими снегами, тоже подделано под пустую, серую площадь запертых магазинов и посиневших, как жилы, флагов, в дни, когда небо подделано под опавшие пустые тротуары, — может быть, найдет интересным подымать занавес этот человек, такой желанный мне.

И вот допустим, он нашелся. Он худой, но до той границы, где начинается недозволенное порядочному человеку, пожалуй, его мог бы писать Гольбейн. По крайней мере, лицо его, когда он отходит, чтобы потянуть за шнур, свисающий с границы неодушевленного, лицо его оказывается набранным при посредстве самого несложного чистого анатомического алфавита. По-видимому, он из тех, кто идут от простого к простому со сложной походкой. Вот он поднимает занавес он найдет там, как в начале всякой драмы, одиночество человека; здесь, на нашей сцене, человек этот Реликвимини, он сидит на подоконнике и наблюдает за тем, как подплывает к

водорослям бульвара противоположный тротуар из породы булочных, аптек, дворов для извозчиков; у всех газовые витрины навыкате, все они широко и лениво глотают накрошенную зиму и пускают теплые парные пузыри, — и вовсе не потому, что через несколько кварталов из-за крыш чердаки, как кочегары, выгребают кирпичный жар театральной стены, вовсе не потому, что этот фасад — фасад Аквариума, совсем не из-за этого готов Реликвимини сравнить мутную черно-зеленую мглу с аквариумом. И сверху кормят хлопьями стаю прожорливых магазинов. Реликвимини ждет учителя, он хочет показать ему последние сочинения.

Ах... pardon, в моей брошюрке бытия слишком быстро перетасовались дни творения, — простите, но я не могу вспомнить иначе как вслух. Про себя не могу, простите, про себя могу только забыть. Итак... вначале была создана мебель, затем слову, которое ее создало, стала невыносимой требовательность неодушевленного, и оно послало музыканта Реликвимини в мебель, как посылали героев в народ, — этот музыкант должен был прийти с большой загородной Библией, но ради неодушевленного только. [Ну вот это странное занятие (не спрашивайте лучше какое) жить среди сколоченных дощатой каруселью сумерек, жить с закапанным дождиком, обветренным загородным преданием кочевников, утомляло его.] И вот он засыпал. Но так как день его был весь застроен неодушевленным миром, то и сон его был путаницей утомившихся, шатающихся вещей.

Раз во сне у этого мира отскочила самая отдаленная фанера (такой уж, верно, был судорожный, горячий, не по квартире, сон), и протирающему глаза, целующему в бреду циновку загородному музыканту, может быть, раз в жизни твердили тысячи ползучих и вьющухся, старых и молодых, но разноцветно голодных материй, что тот, отскочивший кусочек, тот, в углу самый далекий от изразцового, топящегося сна, — видишь, видишь, — мычали они проснувшемуся, — она танцует, фанерка, она вернулась к танцу, вот мы хотели встретиться с тобой; ты размещал нас по стенам и крутился, и играл на «бехштейне», чтобы когда-нибудь закружиться до мебели и материи, но ты и спал тоже, и ты знаешь, — ну ты такой смешной у нас, ты так топил своим сном, как если б ждал ты кого оттуда, из хлопьев, с мороза, как если б ждал ты сестры или почтальона, который сказал бы тебе, что: «нет, Реликвимини, я знаю свет лучше вас, смею вас уверить, что никакой такой сестры нет на свете, вот вам обратно ваше исписанное нетерпение и ожидание, можете отапливать этой пачкой квартиру». И может быть, ты бы сказал ему... «Молчать, разве здесь не двадцать градусов выше нуля? Разве мне не снятся сажени, сажени снов, — разве это не топливо, разве это дымит, разве это нетопливо, — и разве, Боже мой, Боже мой, разве нужно сжигать и нетерпение и ожидание тоже?!»

Но случилось иначе, — ах, какой ты обогащенный сегодня, загородный музыкант, чуть не побивший почтальона, — ты можешь перестать танцевать и даже играть на «бехштейне» не надо, и, главное, перестань ты топить этими сновидениями. Смотри, стекла служат молебен и ртутные столбики встали на цыпочки, как капризники, собирающиеся зареветь. Сейчас ты затушишь все и сядешь, смотри, ведь от зимы светло, — и жди, ну можешь размазать в полумрак два-три аккорда, если непременно уж хочешь. И с глухой педалью? Ну хорошо. Ах, как ты обогащен сегодня. Жди. Не танцуй. От нас (к тебе) танцуют. Было натоплено. Сорвалась фанерка... танцует назад... есть Анджелика.

Voila!1 Гилозоизм! Или сотворение Евы из лопнувшего во сне ребра. Да так это все прекрасно, но весь этот драматический замысел о Реликвимини и об Анджелике и о миллионе нужных и ненужных знакомых и незнакомых шаферов их жизни, — как будто тут свадьба, все это ни черта не стоит, если упустить одну важную в высшей степени вещь.

1 Вот! (фр.)

За несколько минут до того, как мой НоИэе.п'овский Schleier-macher-занавесопромышленник, потянет шнур, за сценой слышны тупые однообразные октавы, квинты и кварты настройщика и такие, какие бывают только зимой, замурованные натопленной сумеречной стеной, застенок настройщика. Это необходимо. Ведь этот обряд разыгрывается и в жизни в той же последовательности. Вот он там, зажавши в зубах пару звуков, забивает одну ноту — как гвоздь долго и тупо. И разве не то же делают, когда хотят настроить любовь, — разве ее не пригвождают? Нет, положительно все кончается и начинается гвоздями, если следуют девизу: Alles sei wohltemperirt1. И разве то, что приходит, не получаем мы заколоченным и не заколачиваем, отправляя?

<1910>

* Не Не

Пробудиться — это не всегда — потерять сновидение. Иногда это значит справиться с ним. Иногда только в пробуждении развивается драма сна. Сновидение и вечное сновидение, это, наконец, не трудно, надо иметь слишком мало вкуса к страданию, чтобы не обратиться к скепсису и критике с просьбой: разбудите меня тогда-то или тогда-то; или, точнее, разбудите меня, когда вы увидите, что я на дне сновидения, разбудите меня, когда мне будет сниться Бог. Те, кто страдают бессонницей, никогда не просыпаются, всю ночь им снятся полки и перекошенные луной потолки их комнат, как днем они погружены в непробудные улицы с дождем и фурами. О них не говорим мы. Но есть другие, и они редки. Те, которые уверены в себе, те, которые ложатся и знают, что не оскорбят своего сна, не исказят его: которые знают, что Бог разбудит их, что они вскочат со сна, с этого великого сна.

Человек — это существо драматическое. Человек — это существо пробуждений.

Когда человек, вместо того чтобы потерей самого себя участвовать в совершенно невообразимой пропаже каких-то красочных, звуковых, тепловых и иных волн, обгоняющих

1 Все должно быть соразмерено (нем.).

1 существующее в наивысшей реальности (лат.).

друг друга, вместо небытия среди небытия — имеет вокруг себя предметы, это значит, что все участки сна он обнес пробуждениями, это значит, что он окружен драмой; во всех очерках, и названиях, и формах предметов, во всем этом человек вскочил со сна.

Лучше мысль, а не человек. Потому что человек — это тоже доля сновидения, с которым справилась мысль.

Разбуженный Богом, скажет он затем. И потому, вероятно, что свое пробуждение отнесет в сон, в предыдущее.

Какое странное слово: Бог. Оно говорит страшно много о тех, кто его произносили. И неужели только о них. Неужели этим исчерпывается оно? [Но разве это не высшее, чего может достигнуть слово?] — Разве не означает оно чего-то, что существует над всем, что реально, ens realissimum1. Правда? Тогда я говорю не об этом. Я думаю не о предпоследнем Боге, а о последнем.

<1910> * * *

Была весенняя ночь. Люди часто поглядывали на небо. Но их беспокойство было напрасно. Ночь с нерастворенною зарей собралась в четыре каких-то звезды и мелела, просыхала. Нечего было бояться падения этих звезд. Ато весеннее небо слишком уже наследило на земле, какие-то звезды образовали темные лужи колоколен, темные полыньи листвы на бульварах. А непрерывные, друг из друга вытекающие, черные шляпы и зонты гуляющих тоже сливались, впадая в лужи площадей и киосков, —

светлое, проливное небо было источником всего этого черного наводнения. И если бы рухнули и эти последние звезды, то город затопило бы черной жизнью. По проточному городу относило множество газовых фонарей, они были легки, как бумажные кораблики, и не могли сидеть глубоко.

Но иногда их настигали бульвары, опрокидывали и заливали черными липами.

Кроме того в городе без передышки накачивали властной оглушающей струею топот и клекот колес. И все в каком-то одном направлении.

— Городовой! Городовой! — На углу двух улиц черная столица вдруг остановилась, и вокруг нее стонущим кольцом пополз остальной, отделившийся город.

— Городовой! — Через площадь к бульвару переходили проститутки. Одна из них кричала, другие издевались над ней, потому что ненавидели себя друг в друге, слышалось сдавленное: «Ишь ты, дама какая! Даму обидели. Ничего! Известно, б... Идем, девушки», — и, наконец, большинство, кося из-под косынок, оглядывало людей, экипажи, решетку бульвара, одышку освещенного асфальта, стены и подъезды, всю эту рябую землю одним и тем же взглядом. Как если бы все эти предметы зашли к ним, прочитавши вывеску, и уже одним появлением говорят о том, что им нужно.

Вдруг, когда они, голося и передразнивая друг друга, зашли под сень бульварчика и шум улицы снова сросся за ними, навстречу им, перегоняя городового, быстро, почти бегом кинулся какой-то человек, прижимая что-то тяжелое к груди, у кровеносного керосинового фонаря он < >

К полночи под мелеющим небом пустели улицы. В них болтался ветерок над сладко уснувшими пролетками, и без сна ворочались с боку на бок полосы газового света. Но вдруг начинали голосить каменья, и при клекоте подков за огнедышащими автомобилями разверзались театры, — и между конскими мордами цветные женщины, отчеркнутые черными мужчинами, запускали растопыренную тень на противоположные стены, багровые, только что срезанные заревом автомобилей, еще дымящиеся, с бульканьем окон.

Однажды при таком разъезде случилось что-то странное. Все видели, как из-за фонаря вышел человек с каким-то жутким остолбенением на лице. Вероятно, он в толпе узнал кого-нибудь, кого не видел по крайней мере 18 лет или 23 года. Но вместо того чтобы поспешить с раскрытыми объятиями и криком «сколько лет, сколько зим» навстречу, человек этот полез в свои карманы, вытащил что-то из них и швырнул оземь. В то же время на ступенях театра кликнул какой-то рыдающий аккорд, к которому примешались несколько голосов, — а испуганные крики женщин вновь пробудили это странное созвучие, оно глухо отдалось и осеклось, а незнакомец успел еще с каким-то мстительным упоением подметнуть несколько каменьев, и при своем падении они издали несколько высоких чистых звуков. Прежде чем успели схватить незнакомца, он ничком бросился на тротуар и пополз, судорожно обшаривая землю между юбок, он успел найти два-три камня, потому что там и сям громко взыграла возбужденная земля, при криках женщин. Но тотчас же им овладели, кликнули полицию, сдали его ей и стали расходиться, разнося какие-то слухи о новом Джеке Потрошителе.

После, когда уже близился рассвет и какие-то телеги с громом вырывались из оков безлюдного сорного горизонта, все участки обегала взволнованная девушка, справляясь о каком-то больном Реликвимини. Дежурный пристав последнего, почти утреннего участка записал ее имя и звание: Ирина Грунова, ученица Консерватории, девица.

Санаторий, в который попал [Реликвимини] Сашка Берг, принадлежал старому дилетанту Шестикрылову, у которого дежурила смена талантливых молодых психиатров. Сам же Шестикрылов был учеником романтиков Pingseis'a и Passavant и

хранил традиции романтической натурфилософии и медицины. Это, конечно, не давало ему достаточных знаний для врачевания, да он и не лечил, а только правил санаторией.

— Ах, доктор, предпримите что-нибудь, все грызет и грызет у меня, — идут дожди, небо наследило по крышам, уже топчутся осенние тучи, а мыши в сумерки перегрызают все полы, — мы провалимся, доктор.

— Пустяки, вы все преувеличиваете, дом у нас крепкий, а что грызет, так не вас ведь, комнату, — ну, а вам что до этого?

— Да ведь все — постороннее для меня. Как все вокруг похоже на душу! Она ведь тоже посторонняя мне! Ах, доктор, все отчуждено от меня, почти как душа моя, вот мне кажется, покину я ваш санаторий, выздоровевши... Грызет, вы говорите? Обстановку? Да ведь она так же чужда мне, как и душа! Так же дорога. [Ах, доктор, займемся софистикой, вот я вам докажу, что пора меня выпустить. Что в сумерки душа замечает повсюду аксиомы.] Предпримите что-нибудь! Душу изгрызло мне! Я вам предсказываю, доктор, мы провалимся. В самую слякоть, по которой грустно пойдут под марким дождем одна за другой буквы живой рекламы катыка. А вдруг он придумает бесконечное название!

— Ну успокойтесь, ничего не будет, — скоро внизу приедут жильцы и отвлекут мышей. — Так успокаивал Шестикрылов своего пациента, а сам в это время уже мысленно составлял телеграмму.

Он расстался с Бергом со словами: «А то, может быть, переселить вас в соседний номер? Там, верно, спокойней будет...» — «Как хотите».

Потом Шестикрылов пошел в свой кабинет [где быстро написал телеграмму: «Гамельн на Везере. Реликвимини. Приезжайте»].

Он решил телеграфировать в Гамельн, истребителю.

Была туманная ночь, луна правила преувеличенными крышами, чаля в окна, проржавевшие карнизы роняли капли втяже-лой испарине, вокруг фонарей пробивался асфальт, заржавевший от грязных листьев осени, вдалеке макали в сырое молоко иллюминованные вагоны, все это было именно так, когда на подъезд санатории вышел из кареты какой-то высокий-высокий господин с чемоданом и пледом. Кучер с трудом взвалил на себя небольшой с виду ящик.

Новый жилец поселился в прежней комнате Берга, рядом с его новым номером. Он с трудом объяснялся с прислугой, но очень властно отстранил ее попытку услужить при распаковке ящика. Берг робел перед новым жильцом. Он знал, что это г. Вурм из Гамельна на Везере. Он казался скорее южанином, французом или итальянцем, такие удивительные у него были глаза. Г. Вурм часто совещался о чем-то с Шестикрыловым. Г. Вурму больше чем кому-нибудь подходило бы звание пациента Шестикрылова. Но он гостил в санатории на каком-то совершенно ином положении. Вурм был почти бессловесен; кланялся он тоже без слов.

По временам Бергу чудилась какая-то невнятная музыка где-то в подполье. Это было очень странно.

Раз ночью, выйдя случайно из комнаты, Берг увидел в конце коридора Вурма в кожаном фартуке с ручным фонарем и лопаткой каменщика, — Вурм не заметил Берга, направляясь с какой-то задумчивостью к выходной лестнице.

К утру Берг не мог вспомнить кошмара, давившего его во сне, но он не забыл, что сновидение его сопровождалось каким-то подпольным пением.

—Доктор, вы наконец приобрели фисгармонию, слава, слава Богу, можно будет помечтать, заглушить дождь и вообще.

— Ничего подобного, Саша, — никак не соберусь с этой покупкой, вы уж не сердитесь.

— Ах, как грызет, грызет, доктор. И все крепчает вместе с осенью. А я думал, что это фисгармония у вас в бельэтаже пошаливает.

— Вот что, Саша, теперь вы и сами видите, такая погода, что вам выходить нельзя, — так что запрещение последней недели остается в силе.

— Я и не выхожу.

— Вот и прекрасно.

Вечером комнату Берга обдало холодным душистым грохотом столицы, — это Вурм раскрыл окно у себя и, глядя в черные лужи построек и бульваров, по которым пламенно наследили застигнутые улицами плошки, вспоминал об истреблении в Гамельне.

Воспоминания юности несколько расстроили его, он свесился над окошком наружу.

[Ирина Грунова спешила с урока к себе домой. И оттого что ее цельная скорбь распалась вокруг на сотни измазанных темью вывесок, на сотни керосино-калильных полос, которыми трепетно водил ветерок по панели, как смычками, и оттого что не спадало оглашенное, мерное топотанье, и ручьями лились и впадали в площадь сотни шляп и зонтов, ей казалось, что она богата, что она — это не непременно она, а может быть и другою, и что она счастлива и любима, потому что одинока. Она посматривала по сторонам из-под шляпы и как будто обнадеживала в чем-то эту гуторящую ночь, испачканную осенью. Она имела право обещать, ведь впереди, дома ее ждала тональность октябрьского ночного города. О как она перегонит его в b-moll-ном этюде Шопена! И она ускорила шаги. Вдруг она решила, что ей ведь страшно хочется кому-нибудь что-нибудь рассказать; и она свернула, имея в виду зайти к знакомым.]

<1910>

Не # #

[Саша отложил книгу на подоконник, и корешок «Путешествия в Дагомею» дрогнул от прикосновения сощуренного вечернего луча; потом лучи, нацеливаясь, дотянулись до стены и высекли из полки сноп искристых книжек, а в это время ветерок отыскал, перетрогал и обнюхал все Сашины тетрадки. Потом он погладил весь этот писчебумажный беспорядок первоклассника, вышел через другое окно и нырнул в пыльный мусор, где было столько старых конвертов и бандеролей с адресами Игорю Реликвимини, Понтополь, дача 18.]

Под их окнами со стороны двора, в пыли валялись скомканные конверты и бандероли от газет; когда к прислуге приходили оба младших садовника, они сворачивали себе цигарки из этих клочков, где было напечатано и написано разными почерками их имя — Реликвимини; они ужинали горячее всегда, и когда грачи поднимались бесчисленной каркающей скребницей, уводя громадный рябой горизонт за собой, из их трубы делал конфузливые сообщения болезненный дымок и таял, смешавшись перед тишиной на задворках, взвешивающей вечер, как предстоящий ей великий шаг. И вот она все еще не решилась, тишина, повечереть ли ей, и все взвешивает, перебирая листву еле заметно за и против. Но там на западе до тишины нет решительно никакого дела, и вот проникли сощуренные лучи из-за стволов и стали доносить о заре разгоряченной штукатурке и даже дотянулись до подоконника, где от прикосновения дрогнул корешок Путешествия в Дагомею; потом они, нацелившись, высекли из полки целый сноп искристых книжек. Атишина все взвешивала каждый вечерний предстоящий стебелек. Утята, размышляя, ковыляли, в конвертах. Потом приходила серая цапля к лужам и цистерне с водой, откуда брали воду для поливки, и выклевывала изумленные зрачки зари, глубоко лежащие в этой слякоти, а потом приходил конец тишине, < >

Первые опыты. 1910-1912 * * *

Когда я всходил к проф. Крупчатскому, я встретил на лестнице почтальона; я позвонил и стал смотреть в окно. Мне не отпирают. Я звоню еще раз, сильнее. В это время за дровяным двором, и даже дальше за слипающимися зимними дымками, или вернее за прорывающейся крохотной сеткой березок к тихому белому небу, к большой любимой снегурке, наигрывающей затейливым головоломным городом в бересте санных улиц, к неутешному белому небу снегурки влажно прикасаются один за другим несколько фабричных гудков; глухо, с подавленной пылкостью сострадания, на горизонте тишина подтаибает всхлипнувшими кружками.

Напротив угорает в сумерках здание контор Сызранского по ввозу и вывозу кожевенного сырья общества. Внизу у них амбары; тут много ходят и часто проносят кипяток в чайниках, так что снег местами вылез совсем и в каких-то неопрятных черных лысинах. Подходит юркий человек в валенках, с лестницей, взбегает, чиркает, сбегает, хватает лестницу и переходит к следующему фонарю; и вот целый этаж двоится, троится, и сбегает целой чащей газовых отсветов, и амбары протекают улицей. < > А выше слоеные, плавные этажи, напоенные электрическими лампочками. И этот строгий свет разносят между раскиданными спинами конторщиков зеленые изливающие пригоршни абажуров.

<19И>

ЛИАНА И РЕЛИКВИМИНИ Матерьялы

Когда я проходил через коридор, то от портьер на полобороте отделилась темная, неразборчивая зала, и поплыла, вся в кругах, как будто ее выдувала, дыша, портьера, выдувала и пустила, как большой, уютный темный пузырь из сумеречных обмылков, и вот подрагивала зала со своими жилками и кругами, и со своими центробежными размещенными предметами. Мне было нечего делать, и я вошел в снаряженную залу. Там большая черная елка, широкая и подавленная сотней готовящихся детских торжеств, под тяжестью ненаступивших радостей расступилась, темным хвойным медведем сдерживая царственный натиск зимних окон; но кто же ломился в окна? И так как мне нечего было делать, я подошел к окнам, и как всегда, большой неутешный северный город широко задерживал свой разгон и мерно впадал туда, за город, всеми тысячами крохотных серых зданий и отмороженных колоколен, как большой равнинный приток. За окном, как всегда, вкривь и вкось изложенные сумерки северного города, который заостренным разливом впадает за предместья, огибая небо этой поступательной ширью. [Небо везде одинаково печальное, и когда там и здесь затапливают к ужину, и когда там и здесь крохотные дымки делают жалобные, конфузливые сообщения и слипаются от сладкого колыбельного мороза, и когда зажигают там напротив за дровяным двором, вот, там начинает накрапывать затворническим уютом какое-то карее занавешенное окошко, — тогда небо обливается надолго графитовым холодом, и тогда, наконец, над крышами занесена раздирающая каркающая скребница.]

И вот раздирающе поднимаются вороны там, далеко, и отнесенная туда, где впадает, огибая небо, город, куда-то грохнувшаяся и ссыпанная по небу стая уводит за собой рябой вороний горизонт, и как близко ни принимает к себе серое печальное небо все эти застенчивые очертания отдаленных дымков, таких конфузливых, и слипающихся от сладкого, колыбельного мороза, и как близко ни приняло к себе небо вспорхнувших березок, слетевших на снежные постоялые дворы, где часто переносят кипяток и снег лезет, лезет, локон за локоном и вот гадкие беззубые и черные лысины натоптаны как кляксы во дворе и как близко-близко ни приняло оно к себе, близко до содрогания, тот большой дом напротив, где какое-то карее окошко с бурой освещенной занавеской накрапывает загадочным уютом в столичную зиму, как близко ни принял

горизонт затейливых, раскуренных, присохших на нем очертаний, — они вот останутся, а он уйдет, рябой, гикающий, отнесенный стаей.

* * *

Однажды, совсем неожиданно для себя, он повторил с безошибочной последовательностью, безвольно и как сквозь сон несколько движений, которыми так тревожно и восторженно владело его детство.

Из ее письма, которое отделяло два десятилетия от последних известий о ней, он узнал, что скоро увидит ее. Ревнивый испуг овладел им. Ее приезд представлялся ему чем-то невероятным; непостижимо было даже самое существование ее; он вдруг понял, как мало верил он в правду своих образов, когда отдавался воспоминаниям, вспоминая — только отстраняешь настоящее, и вот он сознался себе в том, что не видит и не слышит ее и только помнит имена и обстановку.

Он содрогнулся от странной боязни: ему почудилось, что этим угловато исписана < >

<1911>

* * *

Устье судоходной реки. Далеко впереди вырастающий покой моря, принявшего реку. Укатанное, успокоенное величие, и повисая над бледно-абрикосовым пространством с остро синей резьбой волнения, зыбь похожа на змеящиеся ртутные лезвия, надпарывающие атласное живое море, хрупкая сетка судов и мачт, труб и снастей наброшена сверху откуда-то, она сползла, повиснув, и осталась; за этой нервной сухой волокнистой кожицей спящих на якоре судов играет, отбивает свое кровообращение пульсирующий вечер за облаками.

Ах как там бурлит, бурлит за этой кучей полусгнивших, желчных, залежалых туч, а тихое, торжественно вечернее время, как рыло вепря, роет, взрывает разворошенные тучи; подрывает тучи тишина, в которой иногда повисают гудки, и вот из-за туч как из растерзанной печени то ударит гнилым, зелено-бурым потоком негодного какого-то гною, — и тогда задыхается землистым отсвечивающим воздухом лесистый, усыпанный публикой как конфетти левый берег, то брызнет из-под растоптанных туч ущемленной фиолетово-гранатовой хлябью. И тогда, под раздувшимся натиском багровых набегов и отступлений с тысячей пущенных с запада битых красных графинов и рюмок, под этим перемежающимся прерывистым натиском то тут, то там у крайне хвойных, жирно оливковых деревьев появляются лиловые подтеки, и у целой береговой лужайки сделался удар, — и вдруг без всякого внешнего повода повскакали подбитые кусты, причалы, господа во фланелевых костюмах, дамы под зонтами; лодки поскользнулись и подули смолистым холодком, чокаясь друг с другом; потом с царственной, покоящейся внезапностью всплывает уже и раньше тускло стоявший, величественный пустой пакгауз и все балки и подпоры и скрепы его — с бронзовыми обрезами, как скрещения далеких книжных корешков, а речные заросли, окропленные кувшинками, поплыли вензелями с земляничными уколами по клеенчатой уже чернеющей реке, куда падает несгораемый, холодный теневой правый берег с чугунной мертвенностью неподвижного букового леса.

По лесу натыканы беленькие дачи, но холодные, как и весь этот правый безучастный берег; совсем как миндаль, вдавленный в пригоревшую шапку кулича, натыканы дачки в рытвины чугунной неосвещенной листвы. Потом, воспользовавшись тем, что все эти деревья, лужайки и тропинки и толпы и кусты на бережку и песчаные отмели и бронзированный пакгауз развлеклись багрово-лиловыми огоньками, с запада проливают какие-то струи спирту или одеколона, потому что весь праздник гавани пронизывает каким-то острым щиплющим и пахучим просветлением, а потом прямо в

упор всем направлениям громадный небывало черный двухтрубный силуэт зашагал вдруг, плывя из пламенного круглого туннеля, который вскрылся и стал царить за ним.

Преувеличенное гаванью солнце нисходило в отражения; остужая гавань, подуло на залив с того, букового чугунного берега, и тогда распущенный в дрогнущей гавани диск, разбавленный, как сплавами черной слюды, сдвигающимися тенями, стало относить к бортам и пристаням, как ломти разбухших сусальных кренделей, а когда оставался один только бугорок, один налившийся зноем уголек, от потопленного, он как будто остановился, прорастая последними иглами, плашмя подпилившими полощущиеся борты, а союзный солнцу берег крепился, крепился, чтобы хоть искорку оставить, но пустой стоячий полусвет уже выпарил все, и только глинистые обломки берега, как высыхающие бурые губки, еще хранят влажное тепло, но и они вскоре трескаются и черствеют, и большими неразличимыми еловыми шишками окунаются в реку. А кровавый горячий рубец затянуло и ровно, ровно заживает немеющий горизонт.

Что-то вроде бессонницы заняло все проходы между предметами и расползлось по морю и по небу. Что-то вроде бессонницы, ибо это розовато-синие круги, нездоровые, с целой лимфой сереньких жилок. Постепенно лимфа обволакивает все.

<1911> # * *

Гадюка, это чувствовал Саша Македонский, достанется наконец тем стриженым, белокурым соседям в фуфайках, отец которых, седой образованный немец, нанес ей последний удар своей палкой; он объяснил двум рыбакам и остановившимся прохожим дачникам, что дети его собирают зоологические коллекции и снесут с научными целями труп животного на муравейник. Гадюка превращала пыль канавы, всю канаву даже и даже забор в какую-то вечернюю область угрожающего сощуренного начала. К этому враждебному выслеживанию пыли присоединялись пресмыкающиеся окурки и растоптанные цветы акаций.

За оградой дети в воротничках играли в крокет; потом шла грядка коленкоровых мальв, а дальше, на террасе разыгрывался тихий вечерний спектакль без слов; там в рябом полумраке накрывали к ужину, и вся эта, для детей устроенная безмолвная торжественность была утыкана мальвами и прогорклою одышкой георгин; изредка тишину прихлебывало море, раздвигая так близко-близко вечерние ветки.

[На лужайке, за полотном железной дороги Петя Бертолет-ский, который сгонял в гроб свою мать своей резкой критикой < >, запускал дребезжащий, гудящий змей в белое, холодное небо, он не видел за распоротой аллейкой сожженных июльских маслин.]

* * *

Вдруг хочется поглядеть, откуда все это. Тогда покидаешь свежее веяние морского лязга: одиноких ударов, случайных падений прорывающихся сигналов — с крепкой синевой величавых пауз среди них, беспричинных, бродяжничающих вскриков.

Тогда идешь, пропуская мимо встречную рыжеватую улицу такую глазастую, богатую тенями, — с ней нужно разминуться, она ползет в гавань, ты же идешь вверх, пропускаешь много других проулков и даже площадь. И так попадаешь в другую улицу, она круто ведет в гору.

Вот кто-то из ворот вышел, постоял над закатившимся небом, вышел, постоял вместе с одинокими деревьями над улицей и одинокой будкой. Вот проехали [извозчики] над улицей, под которой солнце.

Тут под всем безлюдием, под всеми одинокими деревьями тротуаров и под случайными людьми и извозчиками, так одиноко всходящими над улицей, над улицей, под которой закатное небо, — тут солнца уже нет на небе, оно вперемешку со сляко-

тью постелено по мостовой, и вот уж совсем нет его. Здесь уже ночной ветер. Уже солнце под всем.

Уже темно и темнота сделала мостовую чистой. Где оттиснуть извозчикам над улицей колею? Нет уже солнечной грязи. Вот и проводят они в пустом, растворяющем небе колею уходящего замирающего рокотания.

Мелеющим небом, как морским песком зыбкой отмели, затягивает эти уводящие следы. Вдруг — звезда. Теперь звуки города удвоятся. Звезда переспрашивает город, просит его повторить и небо молчит вокруг.

[Так город. Под звездой город.]

<1911>

* * *

Звуки в этих улицах протяжные, сливающиеся, они следуют друг за другом в растянутом тяжком обозе, их тащат (или ведут под поводья) от солнца, которое они оставляют за собою, туда, вниз, под мост и дальше в гавань, как волочат и всю эту рыжую улицу с обозом растянутых тяжких теней.

[Это — звуки стучащих ящиков и бочек, понукания и поступь — все это увозят вниз. По пути эти стучащие клади или шагающие рядом люди с солнцем, как ранцем, за плечами, сносятся с жизнью, мимо которой они проходят. Тогда им отвечают или окликают их из окон, подворотен или просто шумят без связи с ними, но весь уличный шум пристает к обозу.]

К вечеру всех шагающих в порт нагоняют с тылу желтые запруженные вечером улицы. Если оглянуться, в конце каждой улицы большой обгорающий сад, или воспаленный по краям носильщик, или даже самое бьющееся, порхающее солнце, попавшее в дугу, по соседству с какой-нибудь пылающей мордой.

Закатное солнце остается поодаль, в конце пунцовых улиц, настигающих пешеходов и повозки, оно остается, а вооруженные длинными тенями люди, животные и предметы все уходят от солнца, откуда они вышли, вниз, в порт. Они идут и едут не спеша, не перегоняя тяжких рыжих полос, они словно берутся за них своими тенями и тащат их общими силами вниз, под темный прохладный мост и далее к товарным вагонам, и вероятно еще дальше, еще дальше, туда, где не сходя с места и вечно оставаясь, непрестанно уходит, отбывает большой стройно вознесенный порт, [откинувшийся сотней вечерних мачт назад.]

<1911> # # #

Мы застаем Реликвимини вто время как он, промокнув последние строки и оборачивая страницу, продолжает:

Знаешь, уж выпал первый снег. При нулевой температуре тут же, за первой внезапной белизной, которая отведена под город среди остальной непроходимой грязной теми неба, начинается прерывистое таяние: животные, дуги и зонты, плащи и клочки мостовой, подъезды и дома наперерыв, одни быстрее, другие отставая, начинают чернеть, и эти теплые, борющиеся со снегом кляксы множатся, растут, и все большее множество предметов перегоняя друг друга переходит на сторону черного неба. Вдруг наступает черная улица в знакомой испарине тротуаров.

А сейчас за письмом вдруг темнеет. Идет снег и в окно виден накрошенный город в снежинках, как дующая зола. А небо — в пути. Его медленно, вкось, слева направо сводят на крыши, на землю, эти несметные снежинки. Потом все стихнет. И землю обременит незнакомая белая, неизжитая окраина.

Но ее скоро исполосуют колеса и начнется погоня таяния. В такую погоду два года тому назад я написал последнюю вещь, финал сонаты. Город сейчас исполняет тоже...

<1911> * * *

Ты ведь недавно уехал. И ты еще помнишь мое окно. Столько радостных утренних лип и тополей смотрит ко мне в комнату, так, кажется, сказал ты. Но это неправда, никогда они не оборачивались лицом ко мне, каждое утро они подбегали к околице, играли полднем у ворот, теснились, словно скотина, и все лето, все лето перебирались через плетень, готовые сбежать. И вот они сбежали. Уже три дня.

Ты понимаешь, уже осень сейчас. Я и не заметил их бегства. И сейчас слишком темно, слишком холодно и шумно, и слишком много темных топей в небе, и слишком скользкие тропинки и доски забора, и слишком скользкие слова и крики, и колеи, и следы копыт для того, чтобы послать работника вернуть обратно белую светлую березу с ее развесистым теплым утром и целое лето лип и тополей.

[Я слышал, что ночью ветром забор вырвало с корнем, вырвало вместе с облаками и глубокой цепкой темнотой чащи.] Говорят, что забор повален. И в усадьбу проникли какие-то деревья, старые и громадные — от чужих, от соседей верно, я их не знаю — с ними темный дождь, черный по вечерам, он заунывно вяжет порывистые крики этих невиданных ветвей.

* * *

Часто многие из нас, если не все мы, стараясь стать загадкой для своих соседей по купе, попадаем в своеобразную и жалостливую поэзию полустанков, которая разыгрывается за нашим осенним, смоченным стеклом; нас встречают два тусклых звонка, и в минуту, которая остается до отхода поезда, мы успеваем заметить конфузливую мглу платформы, и здания, и дождливое небо, которое, повиснув, копошится в золотушной и далекой осенней листве; и как минута остановки, так точно односложны и серые дорожки, и телеги с сеном, и ее владельцы у бака с водой, и даже станция с ее несуществующим названием, и пасмурная, но тоже крохотная и кустарная служба пути, и артельщик под колоколом, напоминающий молодца на папиросах, и комья непечатной грязи, и сапоги, и, наконец, и третий звонок, — и вот отстраняешь полустанок, и начинаются поля.

А дождик ползет, ползет, а душа дождика — полустанок, и полустанок растет, растет и не выпустит нас из шепчущих нитей, которые переползают туда дальше, за шашечные пространства озимых. А между тем полустанок — односложный и не ему разрастаться на целую многоверстную осень. Он односложен, он не предлог и не междометие даже, а может быть, он — приставка, и, может быть, он, минутный, приставленный к полевым деревенским столетиям и к этой пахотной вечности, в которой иногда носятся березовые горизонты, как разорванные снасти, может быть, он приближает их к нам, делает однократными, — и мы уносим с собой глаголы этих голодных голых пространств с приставкой полустанка, и можем спрягать их в разных наклонениях. Итак, полустанок — удобство. Поэзия полустанка в том, что его односложность несет на себе бесконечность.

Может быть, некоторые из нас задавали себе смутные вопросы: «Полустанки... Отчего нет песней о полустанке... нет, не то... но отчего любят детей, пишут о них и для них и готовят им сюрпризы к праздникам, — опять не то... отчего не чувствуют, что в полустанке пропасть наследственного, врожденного чего-то от тех тысяч продрогших десятин там за его шлагбаумом, отчего не зовут полустанка по имени-отчеству, по отчеству простонародных пространств...»

Словом, часто испытываешь, что нужно что-то сделать со стороны полей к полустанку, или хочется что-то услышать о таком переносе. И, верно, сюда вмешивается чувство быта, а полустанок ломтик этого быта, и невольно за ним мерещится вся, такая же безнадежно плесенная и безнадежно святая цельная краюха быта, — и хочется чего-то. От краюхи ли полей? От ломтя ли? От себя, может быть? Или от творчества или событий: от того, что приходя и уходя оставляет эмблему?

Но есть и другие полустанки, даже это — станции. Или виновник того, что нас встречают одним звонком, — сам захудалый наш поезд. Но вот мы выходим на асфальтированный перрон, — о, тут даже каменное строение, и даже зал I и II класса, тут даже сквер со сплюснутыми мокрыми клумбами; осень задувает цветники, как свечи, гасит, опрокинув их, а там, за решеткой и дальше, она влачит под самое село ветреную реку, как свинцовую рогожу.

<1911>

ГЛАВА II

Итак окно с шумом задевало проносящиеся леса. Кто-то бешено мчался и кто-то плакал, безумно покидаемый. Потом проходили леса, прояснялось. И из окна можно было видеть, как тихо вкрадываются в ночь бескрайние поляны, и как пошатываясь обходит холмы живое, сказочное небо, — серое и сказочное, как в театре — от сальной свечки, сопевшей за занавескою в черном купе; потом являлась река, и тогда вся ночь меняла путь, тогда леса с мостом и звездами и полем нисходили, уходили, падали в бездонную глубь, еще не до конца глубокие, еще с какой-то трудной глубью впереди.

[В купе сидели супруги из купеческого сословия, их тихий разговор приглашал участвовать в нем. Таких общих тем, общих и общественных касались эти супруги. Против Реликвимини у окна сидел господин в бородке, похожий на датчанина или исландца. Он почему-то не снимал своей крылатки и был строго молчалив.]

Супруги давно легли. При переговорах, которые были связаны с этим размещением, датчанин проронил несколько лаконических фраз. Он не вполне владел языком, но на вопросы Реликвимини, обращенные к нему по-немецки, он ответил так же кратко и сдержанно, хоть и в этих коротких ответах обнаружил полную освоенность с этим языком. Датчанин оставался по-прежнему замкнутым и после того, что Реликвимини очутился рядом с ним.

На большой станции Реликвимини видел датчанина в буфете. Он писал письмо и, не кончив его, побежал с ним в вагон. Реликвимини все же не оставлял надежды втянуть его в разговор с собой. Он сказал:

— В дороге никогда не нужно заниматься письмами — только в дороге чувствует человек, как много он может рассказать, какой большой рассказ загубил он в себе...

— О, это верно! Это вы прямо обо мне говорите.

И вдруг датчанин стал неузнаваем. Он снял крылатку. В течение короткой ночи Реликвимини узнал, что г. Гуннарсен был военным, но бросил эту карьеру и стал...

<1911> * * *

Два брата были словно два профиля на одной камее. Старший, отступив на четыре года, был обведен чертами младшего, который повторял их, складка за складкой.

Один из них в пыльной мастерской с цветами, утоленными мглой. Крылами мельницы влачились за окном две, отведенные от него полосы: мартовское небо и мартовский пригород.

Два брата были как два профиля на одной камее, — черты одного, казалось, отступали для того, чтобы другой обвел их сызнова, через два года, линией повторившихся складок.

* * *

Время закатывалось под самые заставы. Являлись шатающиеся. Они искали закатившегося. Но было трудно найти, — были сумерки; в центре, где тоже были сумерки и не стоило искать, — все слышали, каким деревянным поколачивающим раскатом откатилось оно к дальним околоткам.

Вскоре начали поиски с огнем в руках. Не все сразу; смотря по догадливости, тут и там, оставляя чистые промежутки, где не было и единого следа отыскиваемого, зажигали слабые лампы и продолжали поиски. И огни покачивались в лад, и

умножались, теснясь туда, где могло всего скорее завалиться время и где был особенно темный угол: к Блудову рынку с истлевшим снегом за изгородью из перекрещивающихся тычин. Их цвет был тем самым цветом, в который уже с неделю, благодаря весне, окрасились вечерние направления в воздухе, — в цвет

Однажды один из них, изгибаясь под тяжестью сумерек, юркнул в бесцветный подъезд и прошел в помещение, прилегавшее к аудитории. Комната имела только два измеренья, она была вертикально поставленной плоскостью и прилегала изнутри к экрану, на который был направлен амфитеатр зала. Она составляла воздушный избыток той бездны за стеной, в которую все учащеннее, быстрее и настойчивее падали взрывы того гула, который подымали входящие.

Падения эти напоминали тот своенравный плеск, который раздается, когда роняют рыб, извлеченных из бассейна.

Глыбы шагов и восклицаний, тяжеловесных и скользких переплывали зал на плавниках или шли ко дну, или трепетали под потолком, или подымали бурю, содрогаясь стаей у стены. Казалось, они расплещут пустоты зала, еще слабо освещенного. Но еще сумерки закосневшего в тишине, нежилого камня, отягощали этот брезжущий гул.

Было что-то в этом безустанном прибывании голосов, что заставляло сравнить растущий гул с рассветом.

<19П>

худой земли. И ведь и изгородь была худая, а следовательно и воздух, худы были лохмотья юбок на площади при звездах. И так же худ был трехствольный обрубок колокольни. И не зарубцевался поцелуй, сквозя на ней полосой дальних обожании. Ветер, ветер.

Долго терпят расстояния. До первого забубённого молодца, с пустою телегой, с плоской, мчащейся к ночлегу. И несдержанно прорывается приступ долгой, на сажень обглоданной мостовой.

[Звуки сочетаются, перемежаются, чередуются, строят непрямые перегородки. Темные просторы, как доходные дома — в перегородках; но не достигают восклицанья до темного, не-ометенного каната, — жильцы сообщаются < >]

Звуки в улице дрожат и как звуки, а вместе и как грошовые перегородки; есть несколько перенумерованных в последовательности далей; слышно каждое слово, брошенное в каждой, шаркание шагов, праздные восклицания, россказни за чаем, — слышно и знакомо все; но и сам станешь стучать и отсчитывать, оставляя один за другим скромные просторы — потому что черным коридором ведет через них насквозь — весна, покрытая худой землей. Сообщаются и над головами сверху. Звезды продолжают оседать, пропитывают ночью все, и все остается в том же порядке, несмотря на неоднократные жалобы несчастных.

[Больной воробей взлетел в вышину. Неужели ожила ветка под ним. Вместе с белой ночью вырождались и очертания. Архитектура сумрака и штукатурки казалась повсюду делом одних рук. В ее сложные положения и выводы вникали, вдумывались затишья. Воробей разбился об оконницу, казавшуюся снизу грудью снегиря, замурованного в камне. Холодна была встреча с погребенным заживо, и как страшен был внутренний мир его!

Сумрак превращал воздух комнаты в штофную подушку. Ее глубины были глубокими следами чьих-то плакавших в них очей. Для того, чтобы потом было в них просторно, билась в них, вероятно часто, чья-то голова. Если бы кто-нибудь спросил, что делается на свете сейчас, мальчишка, входивший со свечой, подошел бы к окну словно к стойке, где могут отпустить Петербургу, но вместо него он нашел бы белую

ночь, — этот дикий кризис между обволакивающейся личинкой и вылупливающейся куколкой, — белую ночь, одичавшую в собственной причуде.

Огонек свечи гнулся и обертывался.] <1912>

Не Не *

Вечерний воздух сизым оврагом зиял уже, пересекая улицы и толпящихся, и синими рытвинами начинался за смуглыми кожами обозов и за лошадьми табачного цвета, бежавшими рысцой, невпопад с хомутами, которые иногда опережали их, потому что за хомутами и дугами и желтой бляхой по слизанной, склизкой колее, пересыпанной песчинками, гнались розвальни с пудовой солью в дерюгах, незаметные лошадям.

В синих стремнинах воздуха, словно в выбоинах, осталась водянистая краска заката, спущенная неведомо откуда, но замедлившая сумерки своими поплывшими сгустками, как заводская нефть в реке, которая снотворно опутывает черные мышцы быстрины.

[Окладом из черных изумрудов расступалась площадь с чре-воточивыми елями (для продажи), чтобы пропустить несколько кротких овалов вечернего телесного цвета.]

Заря погасла. Но еще много времени спустя казался дикой вишней черно-бурый хворостинник на снегу, и дикой вишнею казалось дерево дровней и дверей, — во всех предметах будто гнездилась одичавшая порода каленой зимней зари, благородную крепость которой можно было еще вызвать, вглядываясь сосредоточенно туда, где без теней отвердевали сучья, словно потоки выгоняемых смол над пепельно ссыпавшимся снегом.

Как птенцы, разевающие клювы в ожидании пищи, так попадались в улице слова и обрывки человеческой речи, раскрытые в ожидании того, что кто-то вернется и отечески утолит их смыслом. Но они оставались голодными, и размеры речей только увеличивались оттого. Грустил проходящий писатель.

СМЕРТЬ [ПУРВИТА] РЕЛИКВИМИНИ

Когда он возвращался с вокзала, перед ним сызнова повторили, улица за улицей, весь город.

В трамвае плакал и закатывался ребенок, может быть, электрическим светом отравили его. Реликвимини ничего не видел, — ему было странно на душе; он понял, что начался отлив, что в будущем — все бескровно; — ему вдруг стало жутко — от этой жизни, которая, как негатив, запечатлела белое прошлое черной чертой; в дальний угол его оцепенения забился крик ребенка.

[Он умел иногда смотреть, — он видел и сейчас и словно держал в своих руках всю санную улицу, широкую и почти неза-ставленную, как пустой поднос.

Красны были одноэтажные амбары казарм, как и помадки, и варежки у купца в палатке, но красны были также и комья снегу у палисадника, от которого уходила, несвязно ставя разобщенные ноги, старая женщина в лохмотьях, с лицом вспухшим как сума, сумасшедшая, со щепой со стройки.]

Он чувствовал иногда последовательность, последовательность повести, которая начиналась самой действительностью и оставляла смену времени далеко позади себя, потому что время входило только в первую ее часть и служило повести началом.

[Такие рассуждения отличались спокойной печалью у него, — вероятно потому, что печаль была тем состоянием его, когда дух отпущен под одну лишь мысль, которая движется в нем без встреч и сопротивлений, спокойно и одиноко.

Несколько воспитанников старших классов вышли из гимназии, окружив молодого преподавателя истории, умевшего сообщить интерес своему предмету и любимого за это учениками, — и это была сама пошлость, окруженная потворством.]

Он без усилий мог поверить в то, что необходимость развертывает события, но он и знал также со всей печалью этого знания, что не причины < >.

<1912>

* * *

Третье действие уже началось, и слева, на самом дне многолюдной бездны, погрузившейся во мрак, два голоса явственно вступали в текучие предписанные сочетания, — естественные и отделанные, словно запылившиеся от обстановки, которою они были снабжены, когда Кареев, оступившись в темноте, вошел в партер. Он должен был остановиться. Колющая боль в боку приостановила его сердце, придержала его и стала выпускать, медленно, словно разгибая палец за пальцем.

Досадуя на этот приступ, как на неловкость, которой жертвою он стал случайно, художник повернул также просто из зала, как он входил туда мгновенье назад, и чудаковатою поступью прошел в вестибюли через фойе. Тишина была глубоко врыта здесь теми тысячами молчаливых, которые находились за портьерами. Тишина эта только усиливалась перебранкой барышников; ее перекаты отскакивали от тишины, словно отраженные шары, которые катились по каменному коридору, по лестнице, и дальше, под царские портреты, и еще дальше, меж валенок, к дверям с медной решеткой. Так же точно, отброшенные тишиной, падали в стороне монеты буфетчика, подсчитывавшего выручку.

[Кареев спал. Он был зарыт в глубокую зимнюю ночь, как и разрозненные звуки улицы, несвободные, неподвижные, которые лишь на небольшой кусок подымались над немыми сугробами.]

Зимняя ночь лежала неподвижным срубом; расстояния были вогнаны друг в дружку; звуки не скоплялись, не догоняли один другого, а едва приподымались над тишиной, в которую они были врыты; звуки не доносились издалека, звуки находились вдали.

1912

Первые опыты. 1910-1912 * * *

В Арсеньевском переулке, уже недалеко от дома, кобыла скользнула и рухнула, помяв оглобли. Кареев решил дойти пешком остаток пути. Перед ним смежались покорные пролеты знакомых переулков. Снега оставляли свои места, подавались навстречу вместе с изгородями и ропщущими садами; расстояния не были властны в пеших, — еще оставалось долго идти до особняка, а глаз уже раньше достигал его в уступчивости мглы, и поджидал, отдыхая, когда подоспеют шаги, — это была мистерия севера, мистерия снежных отношений, и Кареев упивался этими наблюдениями, назначая себе предмет для ближайшей работы.

Карееву снились люди с тачками, упруго ступавшие по настланным доскам под ливнем, под которым расползалась песчаная насыпь. Он проснулся от нестерпимой боли в боку.

1912 * * *

Это был единственный зимний дом в городе, и медленно остывали дни, один за другим над слабо окрашенными восковыми паркетами его невысоких комнат, раздавшихся вширь; хрупкое послеобеденное время, только иногда сотрясаемое далеким голосом, легким как черный мячик, содержалось в поместительных залах, в мастерской и столовой, наполняя их до краев так же точно, как хранилось оно и в снежных дворах, обнесенных горками дров, черных и обливающихся собственным теплом, и в прозрачных стаканчиках купоросу, — которые были так невесомы, что сумерки выносили их на свою поверхность.

Это был единственный зимний дом в городе, и на слабо окрашенных, проницаемых паркетах его комнат остывали светлые массы дня, одновременно во всех каморках, в

детских и мастерской, потому что весь этот перечень печей и светлых ситцев и стаканчиков, поставленных за рамой, развернувшись покоем полноводья, обращен был в одну сторону, на одно и то же санное затишье, за которым угорало солнце, долго и изменчиво. Оно взлетало иногда грязным затхлым шаром, иногда же расползалось без очертаний, это когда стекало оно с черных деревьев, как с фитилей, затем, после нескольких подъемов и спусков за чащей.

<1912>

* * *

Хотя лестница не была винтовая, но гул шагов уходил винтом в пустоты пролетов, острием вверх. Как и всегда, что-то нескромное, под прикрытием действительности, протягивалось за всем тем, что составляло принадлежность Лежандра.

Сегодня эти покушения были отражены его бдительностью. Он не находил причины своему странному состоянию. Мышцы насторожились в нем и весь день он провел сосредоточенный и тревожный, но это состояние и помогло ему вернуть от были все то, что встречалось ему сегодня, и все, что она готова была со всею распущенностью обыденного назвать своим.

Он видел прохожих. Его невольная пристальность была пристальностью иллюминаций, которые прорывают тени как заграждения и затягивают предметы ровною, словно песчаной пестротой, пестротою дна.

<1912>

* * *

Вместо земли здесь были ели: черный еловый лес. Неделями скоплялось холодное небо над ним, слой за слоем сползалось оно, теснилось и подгибалось, спертое и облачное. А вокруг пылко занимались ветры в овсах. Вместо комьев был сгорбленный бор.

Однажды навстречу нескольким угольщикам хлынула здесь из-под земли горячая, властная струя.

Это было вечером, весной. Безмерно пустовали небеса, замелевшие — ссохшиеся. Одною только далью были смочены просторы. И в это высокое, безупречное ожиданье земля швырнула своей дикой струей. С этого вечера стало все как в сказке. Некоторые научились вспоминать.

Однажды толпа слушала рассказ старого виллана. Шел дождь. — Нет, — застывал дождь, летний хрусткий дождь, и только гром изредка гонко вздувал этот каплющий алмазный столбняк, как парус над померкшими полями, потом дождь опять мертво и бессильно повисал. С крестьян вода текла ручьями, но они не двигались с мест; они оставались под своим грозовым небом как пестрый окаменевший водопад: дождь приходился им соседом. С лохматого пня доносился старческий рассказ об изувере монахе, жившем здесь, и о его тяжелой свече из черствого воску. Свеча была пятнистая и в золотых крапинках. Если пятна на воске проступали от пальцев, то тысяча рук [оставили] след на ней. Был ли монах одинок с такою свечой? Но его нетерпеливое возмущение одиноко и жарко вникало в ее пламя. Иногда приходил далекий ветер, без звуков и без ароматов, спешил из полей на зов мотающегося фитиля. И тогда пламя остужало одиночество монаха.

Раз он слишком приблизился к ней, — свеча была над ним; вдруг она изогнулась живым струящимся тельцем: навсегда в нем запечатлелись два мгновенных поцелуя; — в этой вечной боли, ослепленной в двух навеки зажегшихся чашечках, он навсегда приютил где-то неожиданное превращение. Он долго шарил потом. Ему передавали впоследствии, как кем-то вспугнутая бурая медянка втянута была и бесследно засосана трясиной бурого известняку. Это случилось как раз на том месте, где теперь жгучею жилкой трепетал ключ.

Все стало как в сказке сейчас. Люди, говорившие на одном языке, вспомнили, что это значит: иметь общего короля и делиться им. В замок была послана весть об источнике. В осеннем тумане тихо редели ветви без стволов, без поддержек. Кратко и неожиданно отзвучал топот всадника, как горсть просыпанных в слякоть печатей.

И вот настал такой ранний час Пространства были из сурового рассвета, как из серого камня. Звуки беспомощно падали в эту порожнюю, необитаемую мглу. Рыцари кутались в плащи. Потом, как засов, тяжко сдвинулась даль за лесами и, мерцая сумраком и росой, сонно переместились травы; ветер надолго запутался в них. Потом долго заря сверяла свои несдержанные краски с латами, наплечниками и сбруей на опушке леса. Не скоро отошел от утра стынущий белый единорог, нашитый на груди конюшего.

Был уже смолистый, прогорклый полдень, который таял от прикосновений людей, когда исцеленный король приказал возвращаться в город с собором. Целебный источник заделан в мрамор. Мрамор был надкушен царскою коронкой; она впивалась своими бронзовыми башенками в камень, как жестокры-лое в лилию кувшинки.

Была облачная ночь, через поля наискось дул ветер; была облачная ночь; луна скатывалась и развертывалась, сбиралась и раскатывалась. Маленький, теплый, белый язычок лакал леса. Дул ветер. Или это не ветер веял. Цветы, словно обмокнутые в холод, обмерли и застеклянели в растворенной ночи. Незрячие венчики были тяжелы, как подвески из искусственных глаз. Потом, когда за смытыми, пропавшими облаками так беззвучно умножились просторы, над горизонтом потянуло одинокой, слабою кисточкой созвездий. Тихо угорал этот дымок, как будто где-то залили землю, как тлеющую головешку, и вот вску-рился в ночь этот сцеженный дымок из звезд.

Симон из Торнэ нес в своем широком, дутом кафтане песочные часы, которые ему подарил его приятель, клерик Ремигий. От него и возвращался Симон. Рядом с ним шел чужестранец из Денстона. Тот самый, который объяснял Ремигию силлогизмы из «De grammatico», на пути от Ремигия он случайно, вскользь, рассказал Симону о женщине, встреченной им в Зерне. Он назвал Симону ее имя, ее познания были так исключительны. Он рассказывал несвязно, о ее голосе и платонизме, об образе жизни ее и о ее капюшоне.

Он знакомил Симона с этой женщиной, и она рассеянно и непринужденно двигалась в его повести, ничего не зная о Симоне. Он не существовал для нее. Она была наедине со словами Денстонца.

Симон с первых же слов понял, о ком говорит Денстонец, и он радостно отдался воспоминаниям, слушая его. Но вдруг наступило мгновение, когда все преобразилось, и он ощутил настойчивое, неугомонное течение души, о дно которой словно лот ударялось давно утерянное ощущение. Как в те далекие, далекие годы ударили в голову <тревоги>, размещенные порывисто ее изменой и любовью, как несчетными толчками. Ночной воздух, толкаемый изменой, колыхался разрозненными черными далями, с ними разминалось его дыхание, сердце падало невпопад. О, все обгоняло его, и он с восторженным самозабвением вверил себя разогнанным просторам.

И как тогда, изменою было болезненное непоправимое открытие, что есть чужая речь о ней. В словах чужих о ней она бросала его и не звала на помощь, хотя становилась мученицей в них. В этих словах ее меняли, вручали кому-то, лишали свободы, раздевали, клали на пол в морге и ставили клеймо.

[О, это была измена. О, как звучала она, измена во всем его занявшемся дыхании, в поступи, в привидевшихся лесах, и разрывающемся небе, в клетчатых тревожно разносимых полях и земле, путами отяготившей его ноги. О, как звучала она, и как слушала ее любовь, которой вернули слух. Они шли быстро. Дорога была извилиста.

Ночные пространства делились, сдвигались, перекрещивались и расступались за их спиной. Шел какой-то величавый дележ на мили вокруг путников.

Они подходили к источнику.

Vale Densensis, solitari opus mihi est1.]

<1912> * * *

— Ну ты уснешь теперь, ты ведь еле держишься на ногах. Смотри, у тебя неприкрыта дверь, видишь?

—Да, да, я засну. Я это чувствую. Я засну богатырским сном. Прощай. Я и не знаю, как мне благодарить тебя за твои заботы обо мне. Прощай.

— Прощай и помни свое обещание, прошу тебя.

— О да, положись на меня, я не пойду в церковь. Я в церковь не пойду... а ты смотри подымись ко мне завтра. Я засну, ты не бойся, и на свадьбу не пойду. Ну прощай.

— Прощай.

1 Прощай, Денстонец, мне нужно остаться одному (лат.). 493

Еще тускло кругом. По книгам, по столу и по стульям скачет, словно последний серый листок уже обезлиственного ночного безлюдья, шалая мышь, застигнутая вошедшим человеком. Она забивается в лакированный ящик для бумаг каким-то круп

— Петр! -Что?

— Постой, подойди-ка сюда. Подойди-ка. Даты не крадись, это не птица. Видишь эту травку?

— Майоран?

— Ничего подобного; это из семейства Cannabis Sardonica; рассказывают, что греческие матросы, отведав этой травки, умирали, окоченевши в кривой усмешке.

— Это и есть сардонический хохот?

— Да. Сардонический смех. Вот какая это травка. Ну прощай.

— Спокойной ночи, ступай спать, ты ведь свалишься. Прощай.

— Петр!

— Да что же?

— Кто... ее шафером?

— Шафером?

— Да... Ее шафером.

— Эрмлер.

— Эрмлер?! Он приехал?

— Приедет завтра. Можетбыть, мне остаться с тобой, Henri?

— Нет, нет. Я же тебе сказал, что в церковь ни за что не пойду и что надо выспаться наконец, раз навсегда, черт возьми. Что же ты стоишь, мы уже с час прощаемся с тобою. Скоро солнце взойдет. Оно того и гляди может подняться. А тебе давно уже следовало бы убираться восвояси. Я-то сейчас завалюсь, а тебе ведь еще порядочно идти. Ну ступай... Ты еще стоишь?

— Я, право, останусь при тебе. Я хочу с тобой остаться, ты такой веселый.

— При мне? Сиделкой? Надзор за моим весельем? Чего ты опасаешься?

— Я? Что ты? Что ты? Ничего, конечно.

— Ну, вот это я понимаю, это вот в моем вкусе. Прощай.

ным трупиком. Потом серым сердцем она вылетает оттуда и пропадает в углу.

Анри Криспэ вешает свой плащ и шляпу.

[За окном тихий шепот нескольких кос. Это в долине откос выкашивают. Каждое прикосновение точила к лезвию, каждый взмах косца сберегает утренняя тишь. Но не слышно говору, — все безмолвны. И неотразимо очарование этого жужжания, верного поступи косцов.]

Он усаживается на кровати у изголовья. Он болтает ногой и вслушивается в те освежающие расстояния, которые ему приносят несколько безголосых кос из долины. Если бы косцы разговаривали, слышно было бы каждое слово. Все звуки в горах — как вести, одинаково доступные, на все четыре стороны; они не разносятся, не достигают слуха, но открываются ему, на несколько миль в окружности, как верхушки часовен в полях видны на версты кругом. Пением, руганью или празднословием могли бы наполнить воздух косцы. Их безмолвие дышит отречением, они отступились от слов в пользу рассвета. И только шелестят и плачутся и шепчут косы.

Тогда Анри задумался о Еве.

Итак... Эвелина Гурса; но уже не Эвелина Сье...

Что такое Сье? Это лениво кутающаяся в дым Женева после коллежа. Женева в декабре, с горой, похожею на черный циферблат в глубине шоссе, там, за флагштоком, за экипажем и тремя конькобежцами, это сумерки с одним недозволенным посещением. Это, кроме того, — комната девочки, где близ камина есть стол, с Вовнаргом, Руссо, С Пьером и копенгагенской лисицей на столе, это еще также и голос служанки в партере, недовольный тем, что консьерж убрал так небрежно снег с их подъезда и не передает вовремя почты. И голос консьержа и его жены, и несколько веселых вопросов, с которыми прислуга обращается к их маленькому сыну, нагнувшись, вероятно, и встречая односложный лепет в награду, да еще на таком смутном полуосвещенном морозе!

И Сье — это еще Эвелина, Эвелина. Значит, Сье — это Криспэ.

[И Анри, слушая косьбу, эту колыбельную в горах, которая напоминает ему томление безветренного взморья, Анри содрогается от простой и вечной мысли, которая никогда еще не достигала такой ясности. Эвелина знает, что она женщина. Но кто поможет девушке угадать, где отец ее будущего ребенка, где тот вербовщик, который пошлет ее в окопы, который призовет ее к повинности, полной крови и завоеваний, отмеченных крещением.]

Ведь Эвелина — потому только женщина, что он нашел ее такою. Со школьной скамьи еще он помнит себя причиной женственности Сье, [того, что Сье была подрастающей женщиной. Он развивался, тая в себе силы этой причины, изучив ее]. Он давно уже узнал, усваивая глаголы взрослых, что быть причиной того, что уже не нуждается в причине, значит любить. [Исследуя себя, решая свою женскую судьбу, Эвелина должна была бы найти себя в нем, потому что в нем заключался ее уровень женщины.] И он был постоянно кающимся основанием всех строевых тягот, всех кровавых повинностей пола, которые могли бы ожидать ее в будущем.

В этом году Эвелине бросились в глаза ее женские, ее мировые качества. Она забыла об их причине или не пожелала восходить к ней. Эвелина Сье вообразила почему-то, что ее женственность состоит в сочетании звуков Эвелина Гурса.

Для Анри это означало, что кандидат, заканчивающий работу об эмпирических функциях Абеля, кандидат Фредерик Гурса, намерен, обеспечив себе и невесте ближайшее существование, испытать свои способности [в причинении того, что делает Сье женщиной, как будто это представляло из себя занятие, доступное для всякого желающего,] в странном занятии — быть самим Анри Криспэ.

Эвелина Криспэ. Это было роковым свойством Эвелины для Анри. Он оттого и любил ее так, что следовал необходимости, он покорился тому, что был ее спутником и обожателем. Криспэ — казалось ему, есть условие ее женской природы, почти устройство ее телесных особенностей. Анри запутывался. А солнце уже, верно, взошло из-за дома, потому что запекалась жесткая листва и отходили от сырости дороги. Анри запутался. Но его страдание, как путеводный огонь, находилось за всеми мыслями. И удивительно... Это страдание вселилось для него в печальный шепот косы, такой

обессилевший и истомленный, и он уже слушал, как растекалось и глохло страдание и как оно замерло, когда косцы потянулись за сыром и за бутылью. И он тоже потянулся за нею и пил долго, дольше косцов.

В сновидении, которое было вымощено обледеневшим гранитом, потому что переносило спящего в Женеву, Анри, оступившись о железную скобу для привязывания лошадей, растянулся на панели. Вокруг него запрыгали и защелкали горки грецких золоченых орехов, которые он выронил при падении.

Он ничего не знал о том раскате грома, который лег, как узел в подкладке шляпы, неловко и тяжело на его темя и был виной его пробуждения. Он только знал, что сновидение оборвалось, но мгновенно утратил всякую память о нем. Он заметил, однако тотчас, что комната перетянута какою-то грозною, перебегающею бронзою, какой-то беглой и порывисто тускнеющей позолотой; он заметил также, как вздрагивает помещение под каким-то черным и тяжко содрогающимся прикрытием, как парчовый орех, укрытый в исполинской елке, которую передергивает от чуткости хвои и смолы.

Он взглянул в окно и увидал ту черную торжественную ель, под которой сотрясалась позлащенная каморка. Это была мохнатая гроза, и грозой были призреваемы углы, а вправо за откосом багровым костром крутились кусты, подожженные молнией, и множество погасших вулканов, расползаясь, грелось в тучах.

[Колокол, смешиваясь с дождем, усердно поливал долину своим жидким трезвоном. Дождь задевал деревья и рыцарские мечи церковной двери и несся мимо шестиствольной ее сетки, мимо площади, мимо толпы. Чернели сгнившие ниши. Чернели граждане, мужчины, костюмы, чернели коляски; лошади, с которых соскочили двое из свадебного поезда, были также черны; шаферы с женихом и невестой пронеслись мимо, драпируясь в дождь. Своды поколебало интродукцией органиста. Благочестие, грянувши как буря, выворотило с корнем столетний хорал. В глубине, в хоре у боковых алтарей стлалось мелкое пламя свечей. Ослепляли воск, атлас, флер д'оранж. А в стороне, уцепившись за нескончаемый канат, продетый с самой колокольни до полу сквозь незаметный люк, рыжий, безбровый звонарь взлетал при каждом подъеме колокольной волны, взлетал и опускался, задыхаясь в страданьи горбуна.]

* * *

Ночь. Только водопады, как оставленные в театре литавры, содрогаются отдаленным гулом и растут неизбежно, вечно, оглушают леса, оглушают ночь и уносятся Млечным Путем, оставив оглушенные горы. Как люди, оторванные разнесшимся слухом от своих занятий, или поднятые с постелей, блуждают бессонные ароматы сиреней и сырых дорог, собираются у оконниц, появляются в неведомой обстановке чужих комнат, не опрошенные у порога, слышат у каждого окна, растворенного настежь, обрывки того же слуха, который приходит оттуда, слева, с лесистых обрывистых небес. Ветер пошевеливает бумагами, сырость лишает их блеска и крадется дальше, в поисках костей, и суставов, и челюстей, сводимых судорогой раннего часа, ветер пошевеливает звездой.

Тишина безостановочно набирается в горы, словно дым в воздушные шары, и с приближением рассвета она приподымает оболочки гор, расправляет их таинственными прикосновениями изнутри, и вздымает их над землей, как отряд бесшумно явившихся, исполинских серых шарлиеров. Они еще тихо отделяются от земли. Но утро превратит их в [Швицкий], богатый краснолесьем, кантон.

Вдруг им крикнули: «Остановитесь». И остановились — сыпучие снега, причитанья колокола, окраины города; остановился хмурый час, отзываемый ночью, которая ждала уже его в слободских лесах, чтобы сменить.

Тогда Господь стал спускаться с самой высокой башни, которая, словно жилистая рука, держала в вышине над городом, подхватившим сумерки, очень кстати, золотой венец византийского образца и уставала, вероятно; тогда Господь стал спускаться, предупреждая своего гостя о неровностях спуска, которых нельзя было разглядеть в сумраке древней лестницы. Иностранец шел за ним. Господь, навязавший себе все эмблемы своего рыцарского происхождения, показывал иностранцу, одетому в темное, свои учреждения и подробно пояснял все. Приезжий награждал его тем сдержанным вниманием, которым обладатели образцов дарят собственников подражаний. Он скучал или был грустен.

Когда они достигли третьего яруса, то разглядели людей. Окликнутые недавно, они застыли в разнообразных положениях, сходясь тем не менее в одном.

1912

ВЕРБА

Передо мною сидит глубокомысленный немец. Я готовлюсь прочитать ему свой курьез в своем собственном переводе. Я начинаю, вот заглавие: Verba. Он застенчиво и с каким-то встречным порывом комментатора останавливает меня: «Слова?» Но не гамлетовские: слова, слова, слова. Я молчу; я даю этой нуме-нальной двусмысленности разыграться до конца. «Не слова, а слова как значения, замыслы, Aoyot? Лучше rationes?»

— Ах нет, Verba — русское слов, это дерево, eine Weide1, это эмблема; но мало того, что ветки этого дерева, нет, охапки их в тающих улицах — эмблемы, — есть еще нечто другое, о чем я должен сказать вам и что необходимо для понимания моего курьеза... как бы это объяснить вам? Есть такой необычайно многолюдный базар весной.

— Да, и что же там продают?

— Все, что можно встретить в жизни, в быту, и множество оглушающей мишуры.

— В чем же отличие этого базара?

— Все, что приобретается там, не нужно покупателю; тут играют в потребности жизни, в этой торговле пропасть чувства и увлеченности, это игра в продукты жизни, все предметы на этой площади — игрушки и все люди — дети.

— Это, вероятно, устраивают на базарной площади в день карнавала?

— О нет. Перед Воскресением Христовым, перед Кремлем, под Василием Блаженным.

1912

1 Ива (нем.).

ВЕРБА I. ЖИЗНЬ

Начинал валить снег. Снегом закладывало город. Город глох и начинал все с шепота, как глухие. На хлопьях валилась ночь, падали фонари, кондитерские и дуги. Тьма складывалась в сугробы. С пяти уже наступало время, когда слишком поздно. В городе, во тьме, существовали рельсовые пути для опоздавших. С первыми зевками они глядели в лимрнно-иллюминованные стекла на переулки, переезды, дворы, ремесла, фрукты и колбасы и меблированные комнаты, подкинутые вокруг. В городском сумраке, как в глухом дворе, было наслежено окнами и огнями. Опоздавшие спешили и радовались, когда вагон затягивало чугунным стоном, а половицы полоскало какое-то буравящее бульканье, от которого варился снег. Они, все они, пассажиры с талыми усами и вуалями, опоздали; за ними пели вагоны с новыми опаздывающими, — и никогда, никогда не становилось поздно для опаздывания.

Электрички до часу пронзительной и сияющей связью скрепляли места, на которых давно уже теплые хлопья теплых потемков ослабили повязки. Опоздавших кидало в дрожь от времени; особенно когда на остановке перед гостиницей и аптекой, перед

швейцаром в голубом привскочившем сиянии и перед тупыми глыбами цветного лекарственного огня становилось видно, как несметно топчется на этом светлом участке темная погоня хлопьев, горстей, щепоток неба за землей. Небо темных снежинок находилось в вечном пути, оно косо и тяжело догоняло землю, аптеку, фонарь и теплую барышню с теплым извозчиком. Разрозненное темное небо зимы ползло меж варежек, дуг и подъездов. Кондуктор называл неузнаваемые, занесенные околотки. Четыре размытых этажа нервно и вкось расчеркнуты метелью, четыре недрогнувших фонаря повеле-вающе вынуты из скопищ прохожих, как из перемежающихся ножен, и широко, плашмя положены над всем большими лезвиями.

Ах, как поздно тут! Кондуктор громко роняет: «У Дома Рез-воплясовых». Как поздно у дома; лавки заперты вокруг, вывесок не видно. Метель, а за метелью стены сада и ворох инею со сквозною вороною синью и вороной.

[Там, в комнатах большие печи, они косолапо, как дворники, дыша паром, шагают к портьерам, к окнам, прикасаются ко всему, даже подметают текст учебников молодого Резвоплясова у большой керосиновой лампы на столе, запятнанном черни-лами.]

Здесь есть околдованный печами, чехлами и крестными, зимами за керосиновыми лампами и разинутыми дубами ночного сада в холеных стеклах зала, вечно спящий и вечно репетируемый наследник Резвоплясов. Он оплыл, как оплывают свечи здесь, если их поставить в эти дурно замазанные рамы, в которые ровным, заведенным воплем дует морозная поздняя улица. Он поставлен жить зимним вечером сюда; в этом доме всегда зимний вечер и так же спит всегда, и отекает, и болеет флюсом, и так же всегда с трудом щурит масленые глаза порочный и влажный Резвоплясов. А когда является к нему преподаватель, Алеша становится жертвой привычной уже катастро-фы: пробуждения. Он ненавидит тогда себя и презирает учителя; он знает, что глупеет наяву и что это его опухоль, и его безобразие, и его мягкая, валяная и теплая речь, что он средоточие всего этого, он, безобразно проснувшийся Алексей. Но ненадолго удается опоздавшему репетитору сдержать нежный натиск колыбельной, которую лениво расточает синее, припечатанное морозом окно, мгла затененной абажуром карты России, кот, пробравшийся из коридора, и пунцовые полосы света на ковре, расчесанные ножками стульев; с одной и той же слитной, давнишней колыбельной сбираются они, чтобы взять на себя всю припухающую однобокость и вязкость Алеши, — и вот •он снова течет сном о себе ровно, ровно, но зима рядом в ним, скашивающая, темная зима; она надувает, — и вот Алеша плывет, оплывает; все опаснее и опаснее пробуждения, так хорошо оплачиваемые филологу опекуном, и все сладостнее власть чехлов, печей, крестных и зимней ночи в спальне; наследник миллионов хмелеет от сладости неимущего и убогого.

* * *

[Реликвимини взглянул вверх, осмотрелся по сторонам, было ясно, откладывать нельзя. Поздно, поздно чеканило стужей. Земля была такая утлая в этом узком переулке.]

[Реликвимини сильно закинул голову. Ночная стужа змейкой скользнула по телу.]

В узком тупике три стены, словно темные снасти воздымались ввысь. Громадные и темные, — во много обхватов. Наверху, в вынутом люке играло небо, звездой и облаком. Выводило звезду, раскладывало созвездие. Тасовало созвездие, убирало звезду, мешало темные, темные плитки студеной ночи, пожарная лестница черными крючьями липла к млечным облакам. Земля примерзала к тумбам. Облака плыли, плыли, захлебывалась ночь. Площадь пустовала, с кремля бой курантов проходил краткой повестью. Тишина выкладывала эти звуки. Они оставались сбоку, как торцы

для немощеных безлюдий вокруг. Рыхлые головни разжимали свои багровые клешни. Там и сям замутивши ограды кружили костры.

Небо относило, уводило широко расчесанный дым. Столбы дыма круто закручивало в узлы. Из-за башлыка отрывались слипшиеся слоги. Звуки прилипали к полозьям, полозья сцеплялись с крестами куполов, от слогов отрывались пары, пары прилипали к дугам, морды лошадей пощипывали их как сено, это замедляло их шаг, вдруг они останавливались, костры набрасывались на извозчика, он отстранял их рукавицей.

[За углом трое дворников гортанно раздирали скребкой тротуары; в безлюдье, охватившее трехэтажные здания, распутно сыпало искрами. Дворники зевали. Немного их, зевающих, косили морозные улицы...]

[Тесно было за театрами. Величаво подымалось тяжкое ребро театральной стены. Как корабельная снасть, упруго и подавшись назад, выносила она на себе белоснежное облако. А оно, надрываясь, увлекало весь переулок туда, в черные отпертые пустоты за Медведицей.]

[Облака плыли. Уже пятую ночь, все морознее и морознее шло, подступало Рождество.

Если бы я спросила тебя, Реликвимини, где водится Рождество, как спрашивают о водорослях или о кораллах, помнишь, помнишь? как ответил бы ты, тогда? Но ведь ты и сейчас ответишь. Погоди, вот оно, вот оно, то далекое, ведь оно здесь у меня. И ведь я давно уже твержу это.]

<1912> * * *

Однажды жил один человек, у которого было покинутое прошлое. Оно находилось на расстоянии шести лет от него, и к нему вела санная промерзлая дорога. Там была старая, заметенная снегом встреча Нового года. Встреча происходила в комнате, из которой убрали ковры; комнату распластал праздничный полумрак. Чтобы свободнее было танцевать, лампу поместили на окно. Окно было во льду, и лампа обезобразила его. Потное искалеченное инеем стекло гноилось и таяло, на подоконнике лежал веер и батистовый платок. В другом окне, которого не достигал душный сноп абажура, — в голубом забытьи лежала площадь; несколько фонарей замерло там в виде поплавков над бездной. Несколько труб проходило через луну, как спутники, от которых черное затмение косило дворы. Крики и костры как какое-то чудо в этот час отделяли безмолвие от безмолвия. За санною тишиной наступала еще большая.

На свете можно было угореть в те времена, едкой и страшной тоской, которою чадили его товарищи по классу, когда говорили о девочках. И это было ощутимо и непроницаемо, оно наполняло распахнувшееся детство дней — как запах сигары и ее присутствие бродят в сумерках гостиной.

На свете можно было порваться в те времена от той страсти подражания, которую вызывала в плотном мужском теле хрупкость и талая хрусткость женских окончаний.

Никогда он не знал, что на свете есть щель и совсем насквозь. Он думал, что жизнь плотно прикрыта. И вдруг узнал. Его подняло, отнесло, и потом уж везде и всегда с певучим трепетом сквозило городом, книгами, зимой и праздником, сквозило и больно увлекало его той отрывистой, налетающей тягой, которую так больно и бойко выбивало сердце. Оно подражало ее шагам.

Встреча Нового года была с нею и с товарищами.

Медленный и печальный вальс прислуживал ей за ее скрадывающимся танцем. Товарищи прятали свои слова в тенистый мглистый дым, заглушивший углы зала. Вальс продолжал играть. Но вальс уже давно стоял, неподвижно припоминая что-то своей мелодией; вальс забыл о ней, тапер рассеянно обернулся на то темное крапленное тихим городом окно; вальс (это было так слышно!) тоже, верно, обернулся,

его уже не было среди танцующих, его напев там своей печалью окаймлял чердаки. И она осталась, брошенная танцем среди товарищей, они предлагали ей пастилы. В это время грозная, струящаяся гарь, постоянное очертание соседей и та сквозная струя, в которой лепетало закруженное его сердце — две струи — сплелись в какой-то нестерпимо полный вензель о земле.

Он дышал батистовым платком в эти минуты, над платком порхал аромат мандарин. Его страшно раздвинуло над этой крошечной вещицей. Ему стало головокружительно холодно от этих пространств. Простуженным звоном пробило половину двенадцатого. Перешли в столовую.

Вот какое прошлое лежало в шести годах от него, сколько он ни жил.

И вот случилось ему уехать. Он долго был в отсутствии и совсем не знал, что какой-то другой народ завоевал родную ему страну, занял город. Завоеватели слились с населением; новая раса подавила старую, вытеснила ее. Может быть, она даже не сливалась, а просто явилась, и это означало: старой расы нет.

Была зима, когда он возвращался в прошлое. Валил снег, вперемежку с ночью и соснами. Его рослый конь ступал тяжело и устало. Все различалось только объемом за плутающими хлопьями; самым большим и величавым и неведомым объемом было поле; шаги коня были тоже темны и объемисты, как и подрагивание спины; и ели, и шея коня, и рукавицы, и его собственные мысли были объемисты и величавы, медлительны и тягостны, как древнее вооружение; — и самым темным и странным курганом было небо. Оно ведь было в пути, оно тяжко и с остановками нисходило на землю, в заблудшей путанице хлопьев, — и все-таки оставалось темным бременем тучи над сугробами.

<1912> * * *

Воздух морозной ночи черным налетом покрывал расстояния. Можно было запачкаться о закопченную стужу. Множество дутых ледышек подобно водорослям плыли вдоль окон и карнизов, не подымаясь на поверхность; прохожие и лошади напоминали пасти заснувших усатых рыб; некоторые же были похожи на водолазов, погруженные в войлочные колокола своих башлыков и пледов.

Луна, без лучей, как срезанная хризантема, путалась в черных куполах, испарениях и черных хвостах, которые развевались над кострами. Каждое передвижение полозьев, каждый поворот, каждый из шагов и жестов резали ремни из живых снегов, из слоев ночи и из непрочных пластов огня; улица была пронизана визгом, которым сопровождалась эта яростная казнь.

Двое любопытных гимназистов, скрывая друг от друга тайные цели свои, оба, однако, побуждаемые одним и тем же: поисками двусмысленных подробностей, которые языком похоти намекали бы о потаенном и условно обозначенном, вертелись перед подъездом «Меблированных комнат». В подвальном помещении, головокруженьем своих паров и вентиляторов, достигая уровня тротуара, мерцало прачешное заведение. Простоволосые поденщицы, на которых оседали пресные и беспросветные туманы с гнездящимися горелками, гладили простыни.

«Прасковья», — кликнули в сенях.

Младший поглядывал туда невзначай.

Вдруг один из мальчиков обратил внимание другого на косую и громоздкую тень, воздвигнутую на желтой занавеске напротив, в третьем этаже темно-багрового дома.

— Что это он делает? Что это он к голове приложил?

— К голове! Как же, к голове! К уху! К уху часы приложил, больше ничего.

— Что ж это он слушает так долго?

— Глупости. Нечего в окна глазеть. Пойдет тянучек купим.

В кондитерской перед праздником было так странно людно. Дети чувствовали, что покупатели не случайны сейчас, что на праздники в маленькую однооконную лавку приходили все люди, все без исключения, и если незначительность помещения ограничивает их число до семи или одиннадцати, то эти одиннадцать — маленькая часть всех, всех остальных, которые разделились у порога и разошлись по другим лавкам и так же стоят там сейчас, точно так же устремив свои лица в одну и ту же сторону, где среди полок, оклеенных глянцевой бумагой, переливаются яблоки и ореховые пасты или индевеют финики и фисташки с венцом из фитилей перед витриной.

Худые скелеты света, газового и лунного, встретили их в улице, покоробленной стужей, в улице сизого цвета, цвета воды в прудах. Когда они проходили мимо «Милана», рукава прачек уже не были засучены, как раньше.

— Митя, это, верно, Типе, — сказал старший.

— Где гипс?

— Да вон тот, с часами.

Тень в окне представляла почти то же зрелище: человек нагнулся и слушал ход часов.

— Это статуей называется, а ты... «гипс»?

Лампа находилась за пальмами над роялем. Оттого комната была полна бесшумно развернутых теней, поместительных, как ковры, которые ложились на столах, и фотографических карточках, и на птичьем чучеле под карнизом и встречались, надламываясь, даже с краешком окна, в котором изморозь, выворачивая суставы, заломила тысячу бледных кистей в драгоценностях. Это были каменья чистой воды, и черные кузовы с кучерами, бережно проносимые санной улицей мимо окошек, дробили своими фонарями эти редкостные грани. Но портьеры были спущены, и только одною полой задевала желтая ткань за подоконник.

Перед окном сидел человек, склонив голову к плечу; он не выпускал из своих рук большой океанской раковины, которую он поднес раструбом к уху, — и казалось окоченел, погруженный в слух. На черной подставке трюмо лежали две других, подобных ей. Они отличались только тем, что были бугорчатые и в бурых крапинках по песочному полю, тогда как раковина в руках сидевшего своею формой напоминала будку оперного суфлера и была позорно-розового цвета, как сальник, глубиною в завязь цветка.

Разговор двоих одиноко и неторопливо подвигался вдоль бельэтажей со сбившимися набок огнями. Разговор оставался одиноким: вьюга не могла засыпать его, а все остальное было стерто ею, и запущенная ночь едва пробивалась из-за одичавшей метели, которая преследовала пешеходов лысой блуждающей в воздухе порослью.

[Когда их говор уже почти скрылся из виду, западая в переулок, опомнился извозчик, дотоле раскуривавший у ночного сторожа, и смерил улицу своим услужливым кликом. Но крик сорвался, потому что] уже улица подгибалась, и уже маялась из стороны в сторону и размашисто чертила безумные знаки, взне^-сенные кистями вьюги.

— Что же ты сделаешь?

— А что же и делать. Она ведь взрослая. Она ведь не ребенок.

—Да! Твое положение! Действительно, твое положение! Но ведь ты брат.

— Ну так что же, что брат. —• В перерыве вьюга задела затишья своей безголосой угрозой; немного спустя растерзанная на клочья пустынностью улиц, она старчески повторялась на других концах, все дальше и дальше от обезлюдевшего частокола, у которого она повстречалась с разговором.

— Как странно. Ты видишь. Куда нас привела беседа?

— К театральному бюро?

— Нет, это ведь дом, в котором он живет; во втором этаже.

— Жених?

— Нет. Сугробский.

В это время мелкорослые снега закружились во вьюге, соблюдая ее грустный размер; к ним примкнули привидения, отвязываемые от подъездов и сучьев. Площадь унеслась и вернулась, следуя тому же смертельному размеру, от которого белели губы у насвистывавших его.

Когда метель улеглась, переходившие площадь увидели в одном из цельных, холеных окон второго этажа оберегаемую тайною желтого тюля тень, которая застыла в склоненном положении, поднесши что-то клевому уху. Человек, которому она принадлежала, вероятно, проверял ход своих карманных часов.

— Что это он замешкался так со своими часами.

— Не знаю. Мне жутко отчего-то. Не знаю. Уйдем, мне не хочется, чтобы он заметил нас, а он может отдернуть занавес.

Говорившие повернули. Один из них оглянулся.

— Он все еще с часами.

— Да это в его роде. Мне кажется, моя сестра боится его и оттого отсрочивает свою свадьбу. Ей надо бы уехать, чтобы быть в безопасности. Но она не соглашается с моими доводами, и даже нетерпение жениха, которого она так любит, бессильно склонить ее к этому решению. Тогда я начинаю думать, что ей жаль этого чудака... этого сумасшедшего.

— Он все еще слушает часы.

Развертывался 96-й год, как и предыдущие, в четырех частях, как это принято, испещренный праздниками, словно иллюстрациями, время которых отличалось от будней так же, как веленевая бумага литографий от той, которая так непрочна и расползалась под текстом, и еще тем, что каждый такой праздник кроме лицевой имел еще и другую сторону, чистую и неисписанную, предложенную как бы затем, чтобы читатель, начавши с критических осуждений напечатанного, постепенно перешел к собственной вольной повести, все больше и больше уклоняющейся от навязанных содержаний. Такова была изнанка праздников. Они казались суставом времени, созданным для того, чтрбы действительность и творчество, оба, одинаково живых и одинаково нужных крыла, могли складываться и распростирать-ся,для сна и для полета.

Год развертывался, знакомый и иногда даже совсем незаметный, за той уверенностью, с какой Сугробский переваливал из суток в сутки. Но к концу лета, когда три только дня оставались до сентября, впервые обнаружил Сугробский, что та тревога, которую он тщательно прятал в себе, вырвалась наружу, оставив на его долю чувство нечаянного облегчения, что она пробирается между бараками ярмарки и что может быть встречена через дорогу от его собственных рассеянных блужданий.

Она попадалась ему по вечерам, забрасываемая пламенем горелок, о которые разбивались черные пригоршни черствых жуков, за осыпающимися садами; обстановка осени, крошимой ветрами, с дорогами, разодранными пополам, с травами, торчащими по колее и неосыхающими пятнами вечеров, которые наносили дожди, плотная пестрота многолюдных толп, приводным ремнем проползавших мимо и возвращавшихся с теми же подробностями, заплатами и стежками вновь, чтобы обращать на себя все то же тяжко ползущее гулянье; все это делало сбивчивыми ее следы потому, что все это было ее следами.

Сугробский был строгий мыслитель. Он носил пенсне, — это разрешалось ему; он был белокур, имел серые глаза, и много светлой, песочного цвета материи шло на его

теряющийся рост, переходящий постепенно в сумрак, в вечер или в шелест беседки, окруженной березами. Его выводы, когда он размышлял, отличались ясностью. Вечная женственность, не будучи переплетенной в полотно или кожу, вечная женственность в разговоре казалась ему скучною вечностью. Вот почему он мог найти название своему чувству. Это удалось ему тем более, что возможность переписки была исключена для него: 96 год был первым годом измены.

Состояния линий и теней, учащенье деревьев, только некоторые ветви и листы которых плоско прилегали к небу, распластанные по его скользящей желтизне, а остальные отклонялись, составляя несвязно пошатывающийся спутанный воздух в садах, или состояния ночных звуков, которые разбегались кольчатым осадком гортанной влаги в углубленьях темных далей, — эти состояния беспокоили его.

Но уже лиственные, желтые наметы берез выстилали порожние дороги, желтые, водянистые наметы из досок охватывали пустые, раскупленные под стройку участки, и желтые кучи крутого песку скопляли студеную свежесть дождей, и может быть, питались даже крепкой, пронизанной иглами и иволгами, тишиною бора, отымая туманы у трав голубых и охладелых, и всегда безутешно влажных, и теперь уже непоправимо помятых. Семья за семьей оставляли поселок. Возы тащились причудливо; приподнимаемые корнями, к вечеру они сворачивали на шоссе, сооруженное между сосен, где ими овладевало ни от чего не содрогающееся величавое движение серого щебня, где версты текли, кончаясь звездами.

Сугробский был уже в городе. Но праздник провел он в просторах, куда медленно и растянуто уходили товарные поезда, скатывая свой сигнал между северным небом и северными пашнями. Холода, распознаваемые дыханьем в крупных темных зернах студеного воздуха, превратили убранства полей и деревень в пустое разодранное лыко. Шелухой казалась туманная влажность, стянувшая сосновую кору и удвоившая все капли там, где попадалась грязно гнездящаяся смола.

Стужа казалась ядром шероховатых расколотых пространств.

<1912>

* * *

Когда Сугробский, на ходу отирая оттаявшие брови, шагнул в беспросветную бездну зала, слева уже на большом отдалении слышные везде задвигались два голоса, вступая живо и естественно в назначенные им сочетания, перебрасываясь словами и перерывами молчания. Отыскав свое место, он взглянул на сцену, яркости которой невозможно было предвидеть.

<1912>

* * *

Прежде всего мне хочется говорить о той были, которая появляется иногда на пороге вдохновения. Когда по праздникам запирают магазины, отпускают со двора и пропадают у знакомых, серое небо начинается прямо с асфальта; нет зонтов, шляп и витрин с овощами, которые запускали бы его так высоко и парадно. Живописец, случившийся в этот миг на улице, заметит, как прерывисто и редко наслежено по небу желтым мокрым ветром осени. По этой темной слякоти кленов и ясеней, оставленных в небе, он почует беглую поступь осени. Тогда он оглянется и увидит, как редко касается земли мглистый, надтреснутый дождями праздничный город без людей.

Это — живописец. То, что переживает музыкант при допущении такого безлюдного праздника улиц, будет зимою. А именно. Зимний день будет косить от всех карет и вывесок, которые скорописью спишет вкось, наискосок, сухою колкою крупой. Все смерзнет от наклонных. Такие косоугольные сумерки, мерзло слипающиеся с рассветом, который ни на шаг не отступает от зимнего дня, и с вечером, а вечер — как низкий потолок; уже с утра вечер не позволяет выпрямиться:

выпрямишься и ударишься о вечер, и оттого горбишься весь день; косой, наклонный день, словно накат, такой день проложен туда, к музыке, где множество шуб, номеров, двугривенных и опоздавших дам.

И прорываешься сквозь синюю изгородь испарин, звезд, мороза, тьмы и визгов, мороженых морд в рогожках, отдельных усов, букв, фонарей, и глаз, к которым не найти пар, и снежинок, сквозь тундру синих грив, и синих переулков после внезапных пламенных озер у подъездов кафе.

Вот намеки о той самой невзрачной были, которая иногда обгоняет нас, — вот намеки о ней. Но этого мало... и в самом переживании ее нам дано большее. Я всегда испытывал такую быль, как ударяемый слог конечной стопы, которая должна быть женской. Действительность давала лишь тяжелый слог, первую половину стопы, — какая-то певучая осмысленность требовала второй части, вечера, сумерек, в которых бы ослабла быль или ее повязки. (Повязки, наложенные на больную быль той рукой культуры, которая врачует: рукой научного и нравственного творчества, [наложенные этой и разматываемые той, которая не знает излечений и хочет болезни: вечной веры, — снятые рукою лирики, лирического аскетизма].)

И вот: жажда неударяемого, вечно неударяемого, которое не может наступить, ибо вся быль и даже ее сумерки сплошь ударяемы, один мужской удар, тупой, обрубленный, который напет иногда для нас только оттого, что мы чувствуем: это не конечный слог, ибо стихия сновидения двусложна, а быль усечена, бессмысленна и иррациональна, она дрожит в полуслове.

Любовь, ибо на любви обрывается жизнь. На любви развевается жизнь... Любовь, перелом — она безрука, у моей жизни чьи-то гибко далекие руки, они так новы, мне нужно постоянно следить за ними, и оттого я страдаю бессонницей.

Но любовь схематична, она имеет дело только с формальной динамикой этой грани, только с почти априорным соотношением; с тем фактом, что чашка с ударяемой былью, тяжелая чашка подымается, отбывает, перевешенная чашей хаоса.

Жажда неударяемого, этого cwteipov1 песни, не того cwteipov, который предваряет пифагореизм, законченность теоретической и этической сферы, они кончаются ударом, это мужские творческие стихии, а того, что следует за вечно канунной стихией орфизма. Жаждой неударяемого хаоса, тоскующей волей — быть женственной бывает проникнута быль (это странное слово — мужского рода), когда она — на пороге вдохновения.

1912

1 беспредельное (греч.).

РАННИЕ РЕДАКЦИИ

ДЕТСТВО ЛЮВЕРС

С. 50. «Долгие дни», конец гл. IV

Врачи облегчили романистам их задачу. Они сосредоточили внимание последних на созревании пола. Романист видит женщину и мужчину. Он пишет роман и обещает читателю повесть любви. Роман ист должен знать, что тот, кто умеет ампутировать, привык отожествлять кусок с образцом. Он — материалист только в том смысле, в каком материалист — торговец красным товаром, привыкший по отрезу судить о материи в цельной штуке. Но это — дешевый, цинически-наивный, лениво-доверчивый материализм. Производитель пропускает весь кусок перед собой и часто бракует. Он не воспитан на лоскутках. Он сомневается.

Мы тоже сомневаемся сейчас. Мы сомневаемся в том, чтобы животное развивалось по законам разложения животного на части, а тем более по законам разлагающегося животного.

Мы сомневаемся в правильности границ, положенных врачом материализму писателя. Мы сомневаемся в достоинствах такого материализма, в достаточной его глубине.

Мы позволяем себе думать, что весь решительно душевный инвентарь, весь, без изъятия назревал и назрел в человеческой душе с той же тягостной, кровавой матерьяльностью, какую, с легкой руки врача, натуралистам в романе угодно было сосредоточить в небольшом куске романического мяса — в поле.

Самые различные, самые отвлеченные идеи живого человека, даже и те, которые остались не наименованные им, и эти особенности — от них всегда несло мясом, когда ни прикасались мы к ним. Мы говорим о прикосновении художническом. Существует другое, философское. Тогда они не пахнут. Тогда они не смеют пахнуть, но должны распахиваться, раскрываться ясно и отчетливо. Каким же мясом несет от идей при всяком художническом прикосновении? Человеческим. То есть: благородным, святым, философствующим, постепенно освобождающимся от вредной власти судьбы. Может быть, набредем мы когда-нибудь в человеке, по которому начали сегодня свое хождение, может быть, набредем мы когда-нибудь в нем на то место, которое пахнет капустой или подержанной книгой. Но пока не нашли мы такого. И нам кажется излишним защищать такой материализм. Зато мы не устанем твердить, что и бездонный, и в руках гения, он никогда не станет избыточен, но всегда будет материальною каплей в море материи. Намеренно ограничивать его — безумие. Это — о неуместности его сексуальных границ. Об достоинствах же его, истинного художнического материализма, скажем вот что. Он только тогда не лжет, когда то, что он говорит о человеке, человека возвеличивает. Надо заходить к человеку в те часы, когда он целен. Надо смотреть на него через окошко браковщика. Надо смотреть, сомневаться, верить в эту материю и быть готовым браковать, когда надо. Во имя человека и его славы. Верные слову, мы расскажем теперь, в какой обстановке родилась однажды в такой-то и такой раз в мире человеческой души одна из распространеннейших и безымянных идей. Это потребует времени. Это будет пассаж продолжительный, ряд фактов и описаний.

С. 60. «Посторонний», конец гл. III

Резкое различие, не замедлившее об эту пору сказаться на характерах брата и сестры, углублялось и их друг от друга отдаляло. Оно проявлялось во всем. Оно, как и все человеческое, имело не одну тысячу случаев сказаться не в одной тысяче форм. И, как все человеческое, различие это имело один корень. Оно заключалось в том, что фантазию девочки мы назовем космогонической, у мальчика же было обиходное воображение.

С девочкой снова и снова, в который уже во вселенной раз, сызнова, по старому плану, творился старый мир.

С мальчиком твореный мир оставался на месте, оставался нетронут, оставался таков, каким он представляется множеству людей сразу, многим дюжинам глаз, тогда как он может оживать в одной только паре.

Воображение девочки было космогонично фатально. Оно было крепостной, подневольной частью ее духа, потому что когда с человеком вместе вновь собирается мир из своих частей и составов, то, как и в тот немыслимый, мифически — первый раз, так и в этот, у строящегося мира, а с тем вместе и у человека опять никакой своей воли нет. Он весь опять — в свежей, как бы дебютирующей вновь среди хаоса, увлеченно-упорной и вдохновенно-уверенной воле Божьей.

Воображение мальчика было обиходно, то есть праздно, пытливо и, по-своему, — свободно. Провиденье пустило бродить эти списки с отдельного человека, оно

расшвыряло их по мирам, беспорядок их и произвол его не страшат. Они не пропадут, они везде у места: у них нет своего. Они свободны.

Для мальчика тайна была словом, которым он злоупотреблял и под которым понимал заманчивость, позыв к действиям и разоблаченьям.

Для девочки тайна была словом, которого не было в ее словаре; которое она ненавидела с детства; которым, люби она его и пользуйся им, она наверное обозначила бы стихию всякого факта, то есть массивность жизни, то, что она — не вымышлена.

Для мальчика тайна была тем местом, куда надо залезть.

«Невылазность существованья», вот как всего верней можно было бы определить характер Женина жизнеощущенья.

С. 70. «Посторонний», гл. VII (после слов: «...между тем в глазах у дочки стояли слезы»)

Диких работал над стилем ученицы недаром. Она научилась говорить [словами воспитанного литературно], то есть выражать не свои действительные мысли, а [возможные] стилистически правильные, благозвучные. Это давалось ей, она уже свыклась с природою логических препинаний [и дух внезапных элизий перед восклицаньем не был ей неведом. Они давались ей и стали для нее тою первою маской, которых у людей на возрасте — сотни].

После тягостного молчанья, борясь с подкатывавшимися слезами, она сказала, как сказала бы взрослая женщина, в крайности отчаянья: «Прости, мама! Я сама ничего не понимаю!»

Она с горечью налегла на слово сама. Она его взволнованно выделила. [Восклицанье имело такой смысл, будто на свете имеются такие вещи, которые где уж понять другим, когда даже и Жене, ей самой отказывает в них пониманье.]

Люди раздельны и одиноки. Свойственно думать, что чем глубже уходят в себя индивидуальные души, тем раздельнее они, [тем индивидуальней] тем дальше друг от друга [отходят]. Между тем наблюденье это обратимо. Часто в беседе двух, очень несхожих, наступает минута, когда одному должно с необходимостью показаться, что говоря о себе, другой собственно имеет в виду его самого. Иллюзия эта непреоборима. Она появляется всегда в момент так или иначе сказавшегося самопрозренья у одного из говорящих. Основание ее лежит в том, что в состоянии крайнего проникновенья в себя мы поражаем другого всего больше самым фактом [этой откровенности и самопроникновенья, а не тем, во что проникаем и что открываем ему]: светом в душе, а не тем, что встает в его освещеньи; делом, а не его плодами. Проникно-венье же в себя — вещь общая всем. Голую эту деятельность знает каждый. Толчок к отожествленьям дан. Противостоять ему невозможно. Это и есть та кульминация обостренных одиночеств, которая дает начало сказке про «второе я», здесь друг запевает другу о непостижимых сходствах духа и любящие поражаются душевным сходством. Люди, мы все так устроены, что не принять света в чужой душе за свой собственный мы никак не можем.

Есть двусмысленности. Есть полосы в состояньях семейств и сожитии, когда душевная наличность одного перевешивает такую наличность всех прочих. Тогда дух одного овладевает душами круга. [Тогда, присвоив себе всю духовность, этот один становится ямою в общем дне. Тогда получается видимость, будто состоя лицами некоторой общей драмы, те другие исполняют личную драму этого одного.]

Так сказала бы взрослая женщина. В словах дочери было столько взволнованной глубины и отчаивающейся силы, что мать не поддаться иллюзии не могла. Это сделали слова. Неприятностью с Усекновеньем они не покрывались. Их предмет был шире. Они относились к жизни одинокой души. Той, которая сама ничего не понимает и в выкрике которой каждый слышит свою. Свою душу и услышала госпожа Люверс в

этом восклицанье, и тем скорее, что по своему тону они относились к тому, что таинственно творилось кругом, к душе дома. Душой же дома, и по праву, госпожа Люверс чувствовала в те дни сама.

На том, известен ли дочери смысл ее состоянья, она и не остановилась. Ее тон не оставлял в этом сомнений. И она перенесла ее слова на свои тревоги, на процесс.

Надо знать, что в ней происходило. Она опять ступала по той земле, на которой четырнадцать лет назад понесла ребенка и, через год, другого. Сейчас она себя чувствовала душевно так, как когда была тяжела этим. Тем, который спросил ее об Иоанне Крестителе, стоял тут, комкал календарь и сам ничего не понимал.

Она словно забыла, что для того, чтобы существовал Сережа, надо было произвесть на свет и его. Но то было другое. И, казалось, — давно. В последний же раз и в свежей памяти было с девочкой, с этим. А потом, год к году, постепенно жизнь, богатая другим, от этого стала проста, выветрилась, и, как отварная вода, двенадцать этих лет событиям своего вкуса не сообщали. И теперь опять оно явилось. Воспоминанья, которые оно влекло за собой, снимали со счетов эти двенадцать лет, и, как тогда, мир опять стал как наитьем пронизан по всем направленьям этими же ощущеньями. Опять, как тогда, приходилось ей вздрагивать и инстинктивно протягивать руки, как за оброненным стеклом в минуты, когда, пробуждаясь, эта радовавшаяся боль заставала ее неизменно неподготовленной и начинала подавать свои сигналы, дергающиеся и полные запаздывавших отголосков, как при тревоге зубного нерва. Опять не разбивалось стекло и не обрывалась игравшая ноша, несмотря на дух нечаянности, остававшийся в воздухе по всем этом. Опять, как тогда, все это называлось одним мистериозным словом: «он, ре...».

Перед тем как выйти от дочери, она поцеловала ее, неловко и признательно, с той проникновенностью, с какой благодарят умственно зрелого друга за проявленную чуткость и такт. И, проходя по коридору, она решила еще раз послать к доктору спросить, точно ли ей еще можно в театр, и приказала прислуге «дергать, не переставая, и стучать, пока не отопрут, они там вечно спят».

Женя осталась в комнате. Она утерла слезы и стала ходить из угла в угол, чтобы не впасть опять в это странное забытье. Она согласилась выехать погулять и теперь дожидалась Сережи.

От легкого столбняка, нашедшего на нее за календарем, осталась одна лишь грусть, смешанная с ленью в движеньях.

[Она чувствовала себя мученицей, отшельницей среди людей и желала смерти. Она чувствовала себя исключеньем на кресте, точно так же, как когда-то ощущала свою кромешную греховность. От ее мимолетного одуренья осталась одна лишь грусть.] Что же это было такое? То ли, что подумала мать? — Стыдливое участие? То ли, что подозревает испорченный читатель? Или может быть то, что, поддержанная недоразуменьем, усмотрела во всем этом Женя? — [Сознание ее несчастливости, повергшее и маму в такой трепет перед ней?] Нет. Ни то, ни другое, ни третье. Но если б одарить человеческой речью медведей, забирающихся на зиму под сап берлоги, или сурков в соломе, стапливающих свое сало и в его угаре заволакивающих клетку с кормом и калом виденьем небытия, то только момент длилось бы их забытье. И, как у Жени, оно не перешло бы в спячку. Им не дал бы уснуть шум слова, который бы стоял у них в голове. И, как у Жени, у них осталась бы легкая грусть по нарушенной дреме и лень в движеньях, как у насильно разбуженного. Вот что это было такое. Это означало, что у живой клетки свои законы. Это означало, что что-то прорвется сегодня, что небо не выдержит тяжести и повалит наконец этот ужасный давно всеми ожидаемый снег.

С. 74 (после слов: «...Ей хотелось остаться одной») От природы расточительная и будущая ветрогонка, извод-щица вещей до сроку и без пользы, она ревнивей скряги

относилась к осуществлению своих намерений во всех их подробное-тях. Она охотней отказалась бы вовсе от нынешнего чтенья, чем согласилась урвать из него на Сережу хотя минуту; она с более легким сердцем вывернула перед ним свои карманы и отдала бы все, чем ссудила его одной-единственной карамелькой.

Редкий педант бывает так мелочен и придирчив, как человек, живущий воображеньем. Педантизм мечтателя похож на спазму и находит на него приступом, и тогда как раз, когда его фантазия требует воплощенья. Не детальных воплощений нет. И во вселенной, в этом воплощенном воображенье, все — деталь, все взято с бою, без уступок. Методичности мечты нет пределов. Методичность педанта — ничто против нее. Первая — болезненна; она не в меру безумна. Вторая в меру здрава и умна.

Разговор между Женей и Сережей был краток. Сережа обиделся и пошел к себе. Но Жене не читалось. Она вскочила, побежала к брату и отдала ему все, что имела, с просьбой простить ее и забыть про все и только ее не мучить, потому что она сама не понимает, что с ней сегодня. Сережа сказал, что его это не интересует, что ноги его у ней не будет и он пальцем не дотронется до предложенного, а она может делать с пирогом что знает, все равно ее, как и ее пирога, будто вовсе нет в комнате; кроме того, он занят.

Две страницы черновой рукописи

Прошло две недели. Они вернулись. Женя была поражена, увидев в столовой того доктора, который пришел ее осматривать тогда, давно, в Перми, когда разочли француженку. По то<му>, как сидел он тут и отламывал калач и чита<л> газету, чувствовалось ясно, что он не на визит и не с улицы у них, но что нынешним утром он проснулся тут у них, встал, умылся их мылом, сам прошел в столовую, без понуждений и просьб и налил себе чаю, что <он> из Перми не со вчерашнего <дня>.

После взаимных приветствий и недоумений нататс<чет>, верить ли ему своим гла<зам, и> есть ли эта барышня та самая Женя, < > барышня сунулась было дальше, но <до>ктор сказал ей, что мама спит <и> ее лучше не тревожить, а что чаю он не предлагает ей потому что самовар давно простыл, но суть не в том, а в том, что он ума не приложит, когда это успела она так вырасти и перемениться. «Постойте, сколько времени», — начал он по-своему, в бороду и нараспев. «Почти две недели», — тоже по-своему, стремительно и горячо смешалась Женя и того не зная, к обоюдному смеху, волею недоразуменья ответила прямо на докторов вопрос: она назвала во всей точности тот срок, в теченье которого произошли в ней перемены, непритворно поразившие доктора. А переменилась она хотя бы уже и в том, что, стоя у самовара и играя шишечкой крана, она непроизвольно краснела от некоторых докторовых слов, чего бы раньше с ней не случилось. Переменилась же она действительно [за срок этой первой разлуки с домом] за эти лишь тринадцать <дней> и вот силой чего и вот в какой об<стан>овке.

ОХРАННАЯ ГРАМОТА

С. 225. Часть третья, конец гл. 10

Уже и раньше, или, лучше сказать, всегда, мне претило все особенное, «не как у всех», все нуждающееся в декорациях и объясненьях. Я считал состоятельным одно самоочевидное, неразъяснимое, как аксиома, и мужественно, в случае необходимости, сносящее свою временную необычность. Кстати, из современников один Маяковский знал, что я не измышляю, утверждая, что скорое признанье совершенно не нужно мне. Именно в этом пункте не верил мне Есенин. Он вообще отрицал меня, и для его антипатий имелось много врожденных оснований. Я всегда признавал и даже уважал их естественную силу, потому что даже и тогда, когда природа обращается против меня, она бесконечно ближе мне той боязливой, как снятое молоко, порядочности, с помощью которой посредственность отстаивает свою бесплодную и нетрагическую

неприкосновенность. И я не об антипатии, которую я принимал, как принимаю до крайности неудачную, совершенно мне не нужную и чуждую по духу частность моего рожденья, но о том, что когда в беседе я говорил то, что думал, Есенин считал это с моей стороны кокетством. И вот только тот апломб, с которым он рассуждал всего увереннее, в те минуты, когда давал мне наиболее яркие доказательства своего незнанья, и взрывал меня. Он не знал, что повеленьем нескольких нескромников в известном городе в известные годы весь круг запросов, далеких от скромности, в мире не исчерпывается. Маяковскому же характер и источники моей гордости были доступны.

«Вот он, футуризм, — смотрите-ка», — вдруг сказал он, задержавшись у витрины музыкального магазина на Петровке.

На нотной обложке была изображена красотка непоправимой нереальности. Но тем и хорош был пример, что в образчики новаторства попадала безымянная допередвижническая пошлятина, сохранившая верность каким-то заветам своего времени и их своевременно не предавшая, чтоб попасть хотя бы в передвижники. Он соглашался со мной, но предложенья выступить против [футуризма] экзотики того периода не принял. Мы дошли до Лубянки и разошлись в разные стороны.

Впереди меня ждало лето «Сестры моей, жизни».

Послесловье

Если бы Вы были живы, я бы написал Вам сегодня такое письмо. Сейчас я кончил «Охранную грамоту», посвященную Вашей памяти, а вчера вечером меня просили из ВОКСа зайти по делу, лично касающемуся Вас. Из Германии для посмертного собранья Ваших писем затребовали записку, в которой Вы обняли и благословили меня. Я на нее тогда не ответил. Я верил в близкую с Вами встречу. Но вместо меня за границу поехали жена и сын.

Оставить такой дар, как Ваши строки, без ответа, было нелегко. Но я боялся, как бы, удовольствовавшись перепиской с Вами, я не поселился навеки на полдороге к Вам. А мне надо было Вас видеть. И до этого я зарекся письменно обращаться к Вам. Когда же я ставил себя на Ваше место (потому что моя безответность могла удивить Вас), я успокаивался, вспоминая, что в переписке с Вами Цветаева, потому что хотя я не могу заменить Цветаевой, Цветаева заменяет меня.

Тогда у меня была семья. Преступным образом я завел то, к чему у меня нет достаточных данных, и вовлек в эту попытку другую жизнь и вместе с ней дал начало третьей.

Улыбка колобком округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И тогда она как от солнца щурила их непристально — матовым прищуром, как люди близорукие или со слабой грудью. Когда разлитье улыбки доходило до прекрасного, открытого лба, все более и более колебля упругий облик между овалом и кругом, вспоминалось Итальянское Возрожденье. Освещенная извне улыбкой, она очень напоминала один из женских портретов Гирландайо. Тогда в ее лице хотелось купаться. И так как она всегда нуждалась в этом освещеньи, чтобы быть прекрасной, то ей требовалось счастье, чтобы нравиться.

Скажут, что таковы все лица. Напрасно. — Я знаю другие. Я знаю лицо, которое равно разит и режет и в горе и в радости и становится тем прекрасней, чем чаще застаешь его в положеньях, в которых потухла бы другая красота.

Взвивается ли эта женщина вверх, летит ли вниз головою; ее пугающему обаянью ничего не делается, и ей нужно что бы то ни было на земле гораздо меньше, чем сама она нужна земле, потому что это сама женственность, грубым куском небьющейся гордости целиком вынутая из каменоломен творенья. И так как законы внешности

всего сильнее определяют женский склад и характер, то жизнь и суть и честь и страсть такой женщины не зависят от освещенья, и она не так боится огорчений, как первая.

Итак я жил и принадлежал тогда семье. — Как я помню тот день. Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра непри-бранный стол, я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и задерживаясь в паденьи и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серобахром-чатой раме.

В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтенье.

Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находится в дороге. Но поэмы, как и позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волненьем читая отцово сообщение о Вашем пятидесятилетьи и о радости, с какой Вы приняли его поздравленье и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясеньем дня. Я отошел к окну и заплакал.

Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклоненья, но она наперед была исключена, и теперь нарушала мои представленья о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновенье ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!

На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы — человек и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существованьи. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознаньи. Я вскоре написал Вам.

Я боялся бы теперь взглянуть на то письмо, я его не помню. Сказать Вам, кто Вы такой, было самой легкой задачей на свете. Но если я заговаривал и о себе, то есть о нашем времени, я едва л и справился с незрелою темой.

Едва л и сумел я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежала полуодетой из затвора и законной истории противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого.

ЗАПИСКИ ПАТРИКА

Черновой набросок главы романа

— Да что у тебя помолвка? Ликерные, водочные, десертные, мадерные и еще какие-то. Как это ренсковые? Ренсковые бывают погреба, а не стекло. Нет, милочка, как хочешь, а что-нибудь одно, либо твое баккара, либо бабушкин хрусталь, а вместе я не позволю. А вилки, вилки? Раз, два, три, четыре, пять... что ты смеешься? Пора понять, что мы не какие-нибудь толстосумы суконщики, чтобы устраивать осмотр фамильного серебра. Конечно, у Бергов или Туркиных... Как под руку? Да чем это под руку. Во-первых, я ничего не говорю, а во-вторых, совершенно наоборот. Помни про

коленку. Опять, того гляди, забудешь, и чего доброго, это самое. А кому пользы, если ты сляжешь. Теперь о другом. Ты на уличный градусник смотрела? Хорошо. А на комнатный? Вот видишь. А еще ты всегда заступаешься за Фидель.

Как полы в гостиной и зале, так на кухне по таким дням с утра терли всякую всячину вроде орехов и пряностей в тесто, сыра для сухариков с пармезаном, гарнирный хрен, но более и усерднее всего — горчицу с прованским маслом к заливным и салатам, и всегда забывали, что из столового судка с тремя гнездами можно брать только по графинчику, если же за уксусницей вынуть и перечницу, он опрокинется под тяжестью оставшейся масленки.

Но был второй час дня. Главная тяжесть чадной стряпни была позади. Ее разгар миновал. Стреловидные струи горячего пара и лопающееся бульканье нагревающегося предвещали ее близкий конец. Горько пахло бисквитной гарью на желтке и цедре и запекшимся салом мясной корочки. В кухне, кроме кухарки Федулии, ничем не заслужившей легкомысленного прозвища Фидель, которым ее наделил Александр Александрович, топтался Ерофей и хлопотала его жена Агафья.

Фидель брала их по званым дням в подручные и приставляла Агафью к резке овощей, потрошенью птицы и всякой судомойной и черной работе. Но неизвестно, в чем сказывалась помощь Ерофея. Он все на свете понимал буквально и теперь, пока жена его с расторопным кузнечно-слесарным лязгом толкла миндаль с сахаром, по-блошиному подпрыгивавший из ступки, караулил у двери кастрюли с шипящими варевами, чтобы сразу же преградить им выход, если бы уходя они вздумали улизнуть из дому на лестницу.

Обессилевшая Фидель была на последнем взводе. Волосатые ее бородавки на нижней части лица были в капельках пота, как борода в брильянтине, ее глаза блуждали. Ее слабостью были табак и крепкий чай. В обыкновенное время она к ним не прибегала, но в горячие дни общей стирки или когда готовили на гостей, потребляла в неумеренном количестве. Тогда она изменяла самовару и правилам спокойного чаепития. Чайник не сходил с плиты у нее. Уносимая в облака уходящими и подгорающими замыслами и их разноречьем, и за перелетами от конфорки к конфорке редко сознавая, что она сосет и прихлебывает, она осушала его, теряя счет заваркам и доливкам, часто даже прямо из носка, не разводя кипятком. Хроническая хрипота, которою она постоянно страдала, усиливалась. И когда сваренным до шепота голосом она произносила что-нибудь хозяйственное и обыкновенное, например: «Тряпку, Агафья», слова приобретали что-то пророческое и загробно зловещее.

— Толцыте и отверзится, — сказал, войдя, Александр Александрович, намекая на Агафью со ступкой. — Здорово, Ерофей, что ж ты как чурбан стал? Ростбиф стережешь?

— Здравия желаю. Уж вы скажете. Заведомые шутники.

— Почтенье, Фидель. Что ж вы плачете. Я и рта не раскрыл, а она в слезы. Но дело не в этом. На дворе мороз двадцать два градуса, а в доме как на лестнице. А когда тает, то пар костей не ломит и баня, что не продохнуть. И так во всем. Либо густо, либо пусто.

С семи стали съезжаться гости. Они входили намеренно мешковато с улицы, топоча слишком просторными и болтающимися ботиками, и, бросив шубы на руки человека, нанятого на один вечер помогать Глаше, проходили в гостиную, рисуясь деланной непринужденностью, для чего тут же напускались на кого-нибудь с комическими строгостями или так же шутливо пятясь к дверям, защищались от чужих упреков. Деланная естественность вообще полагалась по понятиям хорошего тона. Кроме того, среди них были люди сцены, или их знакомые, или родственники, а зараза

театральности прилипчива. Кроме того, они являлись с мороза, стянувшего им скулы и челюсти, как сковывает актера грим и чужая роль.

Они прибывали то по несколько вдруг, то поодиночке (мужчины и дамы, в темном и светлом). Гостиная наполнялась. В ней пахло сиренью. По ней, чередуясь, то прокатывалась волна заразительного хохота, то на миг водворялось молчание, которое спешили прервать с такой дружной стремительностью, что все время говорили только наперебой и никогда не порознь.

Немного спустя можно было считать, что в главной части сбор состоялся, и просить к чаю. У окна, выделяясь среди артистической развязности церемонностью манер и позы, стоял двоюродный брат Громеко, военный инженер, и с добродушным беспристрастием теоретика рассказывал старому словеснику Бусурманову, деду Нади, подруги и одноклассницы Анны Громеко, о новых идеях в математике. Бусурманов, позабывший из математики все, кроме половины таблицы умножения, следил за папиросою инженера, наращенной очень длинным камышовым мундштуком, и всякий раз, как инженер отводил руку в сторону, обозначая в воздухе что-то поощрительное или поясняющее, Бусурманов всплескивал руками и восхищался могуществом человеческого разума.

Пришли Фенвики. Пришла Корецкая. Как бы без кривлянья, на самом же деле с другим, родственным оттенком театральности вплыла Нимфодора.

Когда он появился в гостиной, нарядный и праздничный, как газовое освещенье на гулянье, то первым делом поспешил через всю гущу собравшихся к Анне Губертовне, кивками и улыбками во все стороны обнадеживая толпящихся, что он еще вернется и со всеми перездоровается за руку. Легко было догадаться, о чем он будет шептаться с хозяйкой и что та ему ответит. Это повторялось каждый вечер. Он всегда приводил незваных, объекты своих случайных знакомств и сменяющихся увлечений. Всех их он водил слушать музыку, но, зная их так плохо, не в состоянии бывал толком и хоть сколько-нибудь внятно представить, что к концу, при разъезде, разыгрывались недоразуменья, и одни оказывалисьлюдьми без музыкальной жилки, а другие даже и заклятыми ненавистниками гармонии, с пеной у рта покидавшими сумасшедший дом, в который они имели глупость последовать за забавным мальчиком, с которым < >

Но это не исправляло Миши, и в этот вечер, как и в предшествующие, в дальнем углу гостиной раздалось восклицанье хозяйки:

— Да конечно же, Миша. А они не страшные? Сколько их? Трое. Какие же могут быть разговоры. Мы будем очень рады.

Миша с теми же кивками и улыбками выбрался из передней, после чего появился снова, ведя за собой, как слепцов, парализованного старика с трясущейся головой, волочившего ноги, упирающуюся и простуженную барышню в сиреневой блузке и до свинства гладкого молодого человека, поборника, как потом оказалось, Мюллеровой системы, вообразившего, что его вызвали дирижировать танцами и очень обиженного ошибкой.

Они не были между собой знакомы, дулись друг на друга и все вместе сердились на Мишу. При их появлении в гостиной воцарилось молчанье. Все стали с интересом смотреть на них, как на группу ряженых, любопытствуя, что они будут сейчас делать.

Но гостей всегда собиралось много, и ровно столько, сколько надо, чтобы сделать совместный разговор немыслимым и утопить отдельные взвизги и выкрики в общем гуле разбушевавшегося общенья. Среди приглашенных всегда оказывалось несколько молчаливых угрюмцев или никому не ведомых и чрезвычайно застенчивых порождений, к которым по разу в час, обходя весь стол, участливо подходила хозяйка, осведомляясь, не скучно ли им и не пересадить ли их в центр стола, к какой-нибудь беззастенчивой госпоже N, громоподобной Марфе-посаднице данного собранья.

Мишиным свитским всегда было где стушеваться. Через минуту про них позабывали и даже по недосмотру обносили.

Когда позвали к чаю, оживленье достигло той степени, при которой звон чайного серебра ходит в ординаре с человеческой речью, а позвякиванье стакана кажется мыслью собеседника.

В слитном гуле уже ничего нельзя было разобрать, кроме тех, кто мог заставить себя слушать глоткою или положеньем. Для тех и других этот столовый шум не только не являлся помехой, но, наоборот, представлял благодарную и привычную почву, разжигавшую их остроумье.

Голосом, созданным для публичности, но от сонливой самоуверенности совершенно лишенным интонирующих оттенков, адвокат Фенвик, брат актера, все время доливая чай коньяком, рассказывал сальности о товарищах по корпорации. Его слушали все, потому что от его баритона некуда было деваться, как от паровозного свистка. Его мучила изжога. Шею ему подпирал крахмальный воротник на мощном клепаном пластроне. Дорогая сигара, которою он старался осадить эти ощущенья, сообщала сухую сиповатость его и без того невозмутимо надменной авторитетности. Его рассказы с физической осязательностью, как напетые пластинки, ложились в сознанье, он не рубил и не резал, а плющил свои сальности.

Адвоката душила изжога. Сигара, которою он лечился от ожиренья, сушила его баритон, временами обрывавшийся сипло, по-петушиному. Произносить спичи ему было до смерти привычно и надоело. Чтобы не заснуть в середине собственных слов, он нуждался в постороннем развлеченьи. Коньяк, которым он без конца доливал свой чай, не имел на него действия. Хлебных шариков он не катал. Он пользовался другой забавой. Свои слова он прерывал оглушительным фырканьем, выталкивая воздух носом с такой силой, что все вздрагивали. Это взбадривало его и помогало бороться с отвращеньем к устному слову как процедуре.

— Расписки бывают простые и переводные, — рассказывал он о Войтиче Воеводском, видной фигуре в тогдашнем судебном мире. — Ему говорят, что ты делаешь, голова садовая? Трассат и ремитент разные и один — покойник. А он и в ус не дует и направляет вексель к акцепту. Мы прозвали его Jacques l'achetй — Яшка купленный или Яшка по прозванью подлость, Jacques lbchetй, в зависимости от начертанья.

Во время студенчества он и его alter idem1 Вика Люверс были грозой казанской полиции. Казанский университет тогда славился юридическим факультетом. Я был на первом курсе, а они на третьем, и в том же смысле, как университет славился факультетом, факультет славился Яшкой и Викой, потому что, кроме блестящих способностей, оба absit invidias2 отличались еще атлетической силой. Caeteris paribus3 один Яшка был вдохновителем и коноводом, а Вика скорее famulus, то есть приспешник. Историй за ними не пересказать! Некоторые, как, например, про учрежденье ордена подвязки в тридцать седьмом номере у Щетинкина, я расскажу как-нибудь в другой раз. Но одна проделка кончилась для них высылкой, после чего они перевелись в Москву. Тогда в Казани блистала одна пресмазли-венькая курочка. Погодите, medames, разве я не вижу, что тут дети, что, на мне креста нет?

1 двойник (лат.).

2 при отсутствии ревности (лат.).

3 При прочих равных условиях (лат.).

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

«Сестра моя, жизнь» 1

Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросавшаяся прямота; требовательность и стремительность; не

имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведшейся еще и не оконченной войной, ради немедленного создания нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность, вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже во врагах.

2

Как бы ни отличались друг от друга великие революции разных веков и народов, есть у них, если оглянуться назад, одно общее, что задним числом их объединяет. Все они — исторические исключительности или чрезвычайности, редкие в летописях человечества и требующие от него столько предельных и сокрушительных сил, что они не могут повторяться часто.

3

Ленин был душой и совестью такой редчайшей достопримечательности, лицом и голосом великой русской бури, единственной и необычайной. Он с горячностью гения, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяниям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения.

4

Люди, прошедшие тяжелую школу оскорблений, которыми осыпали нуждающихся власть и богатство, поняли революцию как взрыв собственного гнева, как свою кровную расплату за долгое и затянувшееся надругательство.

Но отвлеченные созерцатели, главным образом из интеллигенции, не изведавшие страданий, от которых изнемогал народ, втом случае, если они сочувствовали революции, рассматривали ее сквозь призму царившей в те военные годы преемственной, обновленно славянофильской патриотической философии.

Они не противопоставляли Октября Февралю как две противоположности, но в их представлении оба переворота сливались в одно неразделимое целое Великой русской революции, обессмертившей Россию между народами, и которая в их глазах естественно вытекала из всего русского многотрудного и святого духовного прошлого.

5

Прошло сорок лет. Из такой дали и давности уже не доносятся голоса из толп, днем и ночью совещавшихся на летних площадях под открытым небом, как на древнем вече. Но я и на таком расстоянии продолжаю видеть эти собрания как беззвучные зрелища или как замершие живые картины.

Множества встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, «соборне», думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование.

Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным.

Мне теперь кажется, что, может статься, человечество всегда на протяжении долгих спокойных эпох таит под бытовой поверхностью обманчивого покоя, полного сделок с совестью и подчинения неправде, большие запасы высоких нравственных требований, лелеет мечту о другой, более мужественной и чистой жизни, и не знает о своих тайных замыслах и их не подозревает.

Но стоит поколебаться устойчивости общества, достаточно какому-нибудь стихийному бедствию или военному поражению пошатнуть прочность обихода, казавшегося неотменимым и вековечным, как светлые столбы тайных нравственных залеганий чудом вырываются из-под земли наружу.

Люди вырастают на голову, и дивятся себе, и себя не узнают, — люди оказываются богатырями. Встречные на улице кажутся не безымянными прохожими, но как бы показателями или выразителями всего человеческого рода в целом. Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающейся на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной поличному поводу книге лирики «Сестра моя, жизнь».

Заключение

Здесь кончается мой вступительный очерк. Я не обрываю его, оставив недописанным, а ставлю точку именно там, где с самого начала задумал. Я совсем не собирался писать историю пятидесятилетия во многих томах и лицах.

Я не распространил разбора на Мартынова, Заболоцкого, Сельвинского, Тихонова, хороших поэтов. Я ни словом не упомянул о поэтах поколения Симонова и Твардовского, таких м ногоч исл ен н ых.

Я шел из центра теснейшего жизненного круга, намеренно себя им ограничив.

Написанного тут достаточно, чтобы дать понятие о том, как в моем отдельном случае жизнь переходила в художественное претворение, как оно рождалось из судьбы и опыта.

В заключение мне осталось принести глубочайшую благодарность составителю книги, Николаю Васильевичу Банникову. Без него она не могла бы явиться. Он ее новый и косвенный автор. По его почину написан настоящий очерк, по его побуждению вызван к жизни и прибавлен новый стихотворный раздел. Выше я говорил, как двойственно я отношусь к поэтическому прошлому, моему и многих. У меня не поднялись бы руки возвращать из небытия три четверти сделанного мною. Отчего же, возразят мне, я мирюсь с тем, чтобы это сделал другой?

Тому две причины. Во-первых, к тому досадному и прискорбному, что губит эти вещи, часто примешиваются крупицы должного, проницательно найденного, удачного.

Во-вторых, совсем недавно я закончил главный и самый важный труд, единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю, роман в прозе со стихотворными добавлениями, — «Доктор Живаго». Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание.

Весна 1956 г.

КОММЕНТАРИИ

В этот том включены основные прозаические произведения Пастернака, входившие в два небольших сборника прозы, изданные при жизни, и начальные главы подготовленного им к печати, но не опубликованного в то время романа «Записки Патрика» (1936), а также раздел «Неоконченная проза» с уточненными редакциями текстов. В конце тома представлены ранние (1910—1912 гг.) прозаические наброски Пастернака «Первые опыты», впервые частично собранные в 4-м томе Собрания сочинений в пяти томах (1991). В настоящем издании раздел дополнен новыми, не печатавшимися ранее отрывками. Угловыми скобками < > обозначены конъектуры, пропуски слов (лакуны) и неотчетливое написание в авторском тексте. В квадратных скобках [ ] даны вычеркнутые автором строки и слова. Сохраняется авторское написание слов, характерное для того времени (эсэр, кэб, ресничатый, пра-чешная и др.).

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:

А. Пастернак. Воспоминания — Александр Пастернак. Воспоминания.

М., «Прогресс-Традиция», 2002. Boris Pasternak. Essays — «Boris Pasternak. Essays». Stockholm, 1997. Воспоминания — Воспоминания о Борисе Пастернаке. М., «Слово/

SIovo», 1993.

Записи разных лет — Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., «Советский художник», 1975.

ИМЛИ — Рукописный отдел Института мировой литературы им. М. Горького Российской Академии наук, Москва.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом), С.-Петербург.

Л Н — Литературное наследство. М., «Наука».

«Памятники культуры» — «Памятники культуры». Новые открытия. 1976. М., 1977.

РГАЛИ — Российский Государственный архив литературы и искусства, Москва.

Сб. 1956 — Борис Пастернак. Стихотворения и поэмы. 1956. Типографский набор сборника был рассыпан.

Slavica Hierosolymitana — «Slavica Hierosolymitana». The Hebrew University, Jerusalem.

Собр. соч. Т. 4 — Б. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1989-1992.

«Juvenilia» — Анна Юнггрен. Juvenilia Б. Пастернака: 6 фрагментов о Реликвимини. Stockholm, 1984.

ПОВЕСТИ (С. 5)

Главным содержанием всего творчества Пастернака, как стихов, так и прозы, были вопросы искусства, его существования и оправдания. В его прозаических произведениях, повестях или автобиографическом очерке, переход от описаний и повествования к рассуждениям о психологии творчества и природе искусства совершается естественно и непринужденно. «Ценя жизнь выше всякого искусства, Пастернак, — как писал В. Ф. Асмус, — воспринимал жизнь в ее преломлениях через искусство», и этому были посвящены все его произведения («Творческая эстетика Пастернака»// Б. Пастернак об искусстве. М., 1990).

Ранние наброски прозы Пастернака датируются той же зимой 1909-1910 г., что и первые сохранившиеся стихи. Его всегда привлекала проза и писалась почти одновременно или сразу вслед за стихами, иногда составляя с ними единое сюжетное целое. Судя по его высказываниям, прозу он предпочитал стихам, ценил ее как форму, менее подверженную условностям и дающую лирику бульшие возможности, чем ритмическая поэзия, считал стихи подготовительным этапом к работе над прозой. К самому Пастернаку всецело приложимы слова, сказанные им о своем герое Юрии Живаго: «Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине» («Доктор Живаго»).

Анализируя прозу Пастернака, Р. О. Якобсон обосновывал термин «проза поэта», видя в ней отточенный до блеска «вторично приобретенный язык», отличный от родного. «Читая прозу Пушкина или Махи,

Лермонтова или Гейне, Пастернака или Малларме, мы не можем удержаться от некоторого изумления перед тем, с каким совершенством овладели они вторым языком; в то же время от нас не ускользает странная звучность выговора и внутренняя конфигурация этого языка. Сверкающие обвалы с горных вершин поэзии рассыпаются по равнине прозы» (Заметки о прозе поэта Пастернака // Р. Якобсон. Работы по поэтике. М., «Прогресс», 1987. С. 324).

Для прозы поэта как особого жанра характерны автобиографические темы, воспоминания в широком смысле слова, то есть в герое этой прозы всегда в какой-то мере присутствует сам автор. Этим объясняется содержание повестей Пастернака и интерес к теме художественного творчества, которой они проникнуты. В статье 1918 г. «Несколько положений» Пастернак писал о различии между прозой и поэзией и их соотношении: «Не отделимые друг от друга поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на эту тему. Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно».

Новелла «Апеллесова черта» написана через год после первой стихотворной книги «Близнец в тучах» и должна была открывать книгу прозы, которую Пастернак задумывал в 1916 г. Повесть «Детство Люверс» была началом романа, писавшегося зимой 1917-1918 г. вслед за стихами «Сестры моей жизни».

Пастернаку не пришлось собрать свою прозу в достаточно полную книгу. Вышли только два тоненьких сборника «Рассказы» (1925) и «Воздушные пути» (1933) — единственные прижизненные издания, по тексту которых и печатаются его повести, — причем «Охранная грамота» в последний момент была запрещена и выкинута из собранной книги «Воздушные пути» в связи с критикой, которой она подвергалась в печати.

Апеллесова черта. — Временник «Знамя труда». М., 1918. — «Рассказы». М., 1925, под назв. «Il tratto di Apelle». — «Воздушные пути». М., 1933, под первонач. назв. — Машин, с авт. правкой книги «Воздушные пути», 1931 г. (РГАЛИ, ф. 613).

Новелла написана в начале 1915 г., в январе 1916 г. была послана в редакцию «Русской мысли», потом в «Летопись», 30 дек. 1916 г. Пастернак писал С. П. Боброву: «Третьего только дня получил я известие из дому, что из "Летописи" торжественно прибыла турнутая оттуда рукопись старинной моей прозы. Это "Черта Апеллеса" или "Черта Апеллесова", или, как найдешь лучше, если она тебе подойдет. Евг. Герм. (Лунд-бергу. — Е. П.) она нравилась чрезвычайно, Костя (Локс. — Е. Я.) тоже очень сочувственно отнесся к ней. Получить ее можешь у родителей. Если возьмешь, припечатай: "Борису Збарскому". <...> по технике "Апеллес" не на высоте современности. Там ты немало найдешь вздора. Но написана была вещь с увлечением и с подъемом.<...> С той весны, как я написал "Апеллеса", я делал не одну попытку прозой заняться, клонясь в сторону техничности. И не в силу ли этого остались они бесплодны? Так что осудить совершенно "Апеллесову Черту" я не мог бы по справедливости».

С. 6. Апеллес — (конец IV в. до н.э.) и Зевксис (конец V — начало IV в. до н. э.) — греческие художники. В античной литературе, в частности у Плиния Старшего, писавшего в «Естественной истории» (кн. 35) о художниках и живописи, нет сведений об их встрече и соперничестве. Известны различные версии состязаний античных художников. Гораций пишет о споре Зевксиса и Паррасия, Плиний рассказывает о возникновении понятия «черта Апеллеса» как символа мастерства в споре Апеллеса и Протогена, где первенство Апеллеса сказалось в проведении кистью тончайшей линии. По аналогии с анекдотом, рассказанным в эпиграфе, в новелле Пастернака разыгрывается литературное состязание Эмилио Релинквимини и Генриха (Энрико) Гейне. Гейне переносит соперничество из литературы в жизнь и одерживает полную победу. Релинквимини (точнее: Реликвимини) — герой ранней прозы Пастернака 1910-1912 гг. («Первые опыты»). Известно, что этим именем (в форме прошедшего времени

страдательного залога от латинского глагола relinquo) Пастернак подписывал свои ранние стихи. Он называет его своим «псевдонимом-эмблемой» (письмо А. Л. Штиху 10 июля 1914). Перевод этой глагольной формы «вы покинуты, оставлены, вы остаетесь» можно истолковать как сохранность впечатлений, пережитых автором. Кроме того, имя героя представляет характерную модель итальянской фамилии, что соответственно стало причиной перенесения действия повести в Италию.

В соревновании Релинквимини с великим немецким поэтом Гейне, перенесенным в Италию начала XX в., можно обнаружить впечатления Пастернака от знакомства с Маяковским в обстановке столкновения соперничающих литературных групп. Услышав от Маяковского его «Трагедию», Пастернак признал себя побежденным. «Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. <...> Если бы я был моложе, я бросил бы литературу», — писал он в «Охранной грамоте» (1931). Пастернак высоко ценил поэзию Гейне как ярчайшее выражение немецкой романтики. В Маяковском 1914 г. Пастернак увидел покоряющее воплощение романтического понимания жизни, воспринятого через символистов у немецких романтиков.

В повести отразилась поездка Пастернака в Италию в августе 1912г., когда он прожил несколько дней у родителей под Пизой и через Феррару возвращался в Россию. Действие начинается в Пизе, одном из городов Тосканы, расположенном на реке Арно. Затем Гейне едет в северную часть Италии, город Феррару.

С. 6. Пизанская башня — знаменитое здание кампанилы XI1— XIV вв., известной под названием «Падающей башни».

С. 7. Факино — рассыльный, носильщик.

Рондольфина и Энрико — имя возлюбленной в стихах Релинквимини и итальянский эквивалент имени Гейне — Генрих.

С. 10. Там-то и чадят и дымятся водопады... — ср. стих. «В пучинах собственного чада <...> Горят и гаснут водопады...» (1912).

СП. Парасоли — зонтики от солнца.

С. 15. ...Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник. — Ср.: «Нас мало избранных, счастливцев праздных, / Пренебрегающих презренной пользой, / Единого прекрасного жрецов» (Пушкин. «Моцарт и Сальери»).

С. 15—16. Да, это снова подмостки... Все остальное погружено во мрак. — Интересно сопоставить это место со стих. «Гамлет» (1946) из «Доктора Живаго»: «Я вышел на подмостки <...> На меня наставлен сумрак ночи...»

Письма из Т^лы. — альм. «Шиповник». Сборники литературы и искусства под ред. Ф. Степуна, № 1. М., 1922, с незначительными вариантами. — «Рассказы», 1925. Написано в апреле 1918 г. для предполагаемой книги идеологических работ об искусстве. «Там будет много теории, — писал Пастернак родителям 7 февр. 1917 г. — Но так как я не ношу синих очков и даже отдаленного посвиста разных физицсских, эсте-тицсских и цских и ицских терминов на данной моей стезе не терплю, то полагаю переплесть эту идеологию с наивозможнейшей конкретностью разных вымышленных ссылок на никому не известные авторитеты и вести частью в форме дневника, частью в диалогической». Если в эпилоге «Апеллесовой черты» имеется «вымышленная ссылка» на авторитет античных писателей, то «Письма из Тулы» включают в повествование подробные, как дневник, письма к уехавшей. В основе сюжета лежат реальные проводы Н. М. Синяковой-Пичеты весной 1915 г., когда Пастернак доехал с нею вместе до Тулы на поезде, шедшем в Харьков. Идеологическим мотивом повести стало противопоставление романтического понимания жизни «поэта» «живому, поглощенному нравственным познаньем лицу» («Охранная грамота», 1931). Форма писем позволила автору перемежать горестные разоблачения исповедальным

покаянием и обвинениями в свой адрес: «Как страшно видеть свое на посторонних». В изображении киносъемок в повести, возможно, отразилось участие Маяковского, Д. Бурлюка и В. Каменского в съемках фильма «Не для денег родившийся», проходивших в апреле 1918 г.

С. 27. Квитанцию нашел <...> ломбард... — в письмах Н. М. Синяко-вой 1915 г. есть просьба к Пастернаку получить сданные ею в ломбард вещи.

С. 28. Прочти по Ключевскому... эпизод с Петром и Болотниковым. Это и вызвало их на Упу. — В обеих публикациях повести в этом месте выпал союз «и»: «эпизод с Петром Болотниковым». В «Курсе русской истории» В. Ключевского в эпизоде «стояния на Упе» в числе тех, кто вместе с Иваном Болотниковым возглавлял крестьянское восстание, назван князь Петр - Лже-Петр. В октябре 1607 г. под Тулой восставшие сдались войскам царя Василия Шуйского (Сочинения. Т.3. М., 1957. С. 47-48).

С. 29. ...составляли особый поезд в Астапове, с товарным вагоном под гроб... — имеется в виду похоронный поезд с фобом Л. Н.Толстого, скончавшегося на станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги. О своей поездке с отцом в Астапово Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956).

Это случай на территории совести... — см. о совестливости Толстого: «Вспаханная и отдыхающая земля мелькала в окнах вагона и не знала, что где-то рядом, совсем неподалеку, умер ее последний богатырь, который по родовитости мог быть ее царем, а по искушенности ума, избалованного всеми тонкостями мира, баловнем всем баловникам и барином всем барам и который, однако, из любви к ней и совестливости перед ней ходил за сохой и одевался и подпоясывался по-мужицки» («Люди и положения», 1956).

С. 30. ...настанет полная физическая тишина. Не ибсеновская, но акустическая. — Понятие ибсеновской тишины взято из пьесы Г. Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899), где герои приходят к мнению, что «тишину можно слышать» (в русском переводе 1909 г. — безмолвие). См. у Пастернака в стих. «Звезды летом» (1917): «Тишина, ты — лучшее / Из всего, что слышал».

С. 31. ...узнал, что это вообще не пьеса, а покудова вольная еще фан-тазия... — весной 1918 г. Маяковский работал над фильмом «Барышня и хулиган», который снимался без специального сценария по повести Э. де Амичиса.

«Чары» — название кинотеатра, построенного по проекту арх. Ф. О. Шехтеля на Арбатской площади; теперь кинотеатр «Художественный».

Озеров или Сумароков — В. А. Озеров (1769-1816) и А. П. Сумароков (1717—1777) — авторы классических трагедий на сюжеты из русской истории.

Оно (зрелище киносъемок. — Е. П.) оставило неудовлетворенной его потребность в трагической человеческой речи. — В письме 2 авг. 1913 г. Пастернак писал С. П. Боброву, что кино «фотографирует второстепенный естественный элемент, а никак не драматическое в драме», оставляя в стороне «ядро драмы и лиризм».

Детство Люверс, — альм. «Наши дни», кн. 1-я, под ред. В. В. Вересаева. М., 1922, с незначительными вариантами. — «Рассказы», 1925. — Автограф (РГАЛИ, ф. 379). В конце рукописи авт. замечание: «Конец части, предназначенной для И-ой Эпохи» (журнал выходил в Берлине в 1922-1923 гг. — Е. Я). Вычеркнутые автором варианты приведены в коммент. ниже. Семь наиболее существенных отрывков опубликованы в книге: Л. Флейшман. Статьи о Пастернаке. Bremen. <1977>. С исправлениями по рукописи («Ранние редакции»). — Машин, с авт. правкой книги «Воздушные пути», 1931 г. (РГАЛИ, ф. 613).—Две страницы черновой рукописи («Ранние редакции»: «Прошло две недели. Они вернулись...». С. 520).

Повесть представляет собой отделанное начало романа («5-я — примерно — часть»), который Пастернак написал вчерне зимой 1917— 1918 г. В анкете профсоюза 1919 г. Пастернак определял этот роман как свою «центральную вещь». Давая на отзыв С. Боброву «Детство Люверс», Пастернак писал: «Перед тем как приступить к обработке существеннейшей второй и наисущественнейшей третьей части, мне бы хотелось как-нибудь реализовать или, по крайности, заручиться видом на реализацию целого на основании переписанных 3/4 первой части. <...> Не знаю, надо ли делать это замечанье: вторая и третья скрепленные порции (тетради) связаны воедино попыткой показать, как складывается в сознании момент абстрактный, к чему это впоследствии ведет и как отражается на характере. Тут это показано на идее третьего человека <...> Роман будет называться "Три имени" или что-нибудь в этом духе» (письмо 17 июля 1918). Работа над ним не была доведена до конца, рукопись уничтожена в 1931 г. Образ Жени Люверс сопровождал Пастернака всю жизнь, трансформируясь в соответствии с опытом и привязанностями. Начатая в 1932 г. большая проза о Патрикии Живульте предполагалась как новый роман, героиней которого была взрослая Люверс, в замужестве Истомина. Некоторые выкинутые из основного текста «Детства Люверс» намеки на будущий характер героини соответствуют Истоминой и через нее Ларисе Гишар в «Докторе Живаго». Уральские пейзажи, зарисовки Перми и Екатеринбурга стали отражением жизни Пастернака в 1916 г., его работы на химических заводах Урала и Прикамья и деловых разъездов по этим местам; они сближают разновременные художественные замыслы общими реально пережитыми впечатлениями.

В основе повести лежит тема становления личности, рост самосознания. Исключая из ее текста рассуждения и «длинноты», посвященные «скрупулезному повествованию о детстве», Пастернак объяснял, что хочет «писать, как пишут письма, не по-современному, раскрывая читателю все, что думаю и думаю ему сказать, воздерживаясь от технических эффектов, фабрикуемых вне его поля зренья и подаваемых ему в готовом виде, гипнотически и т. д.» (письмо В. П. Полонскому, лето 1921). Повесть стала художественно собраннее, замысел исследования

«психологической генетики» творческой личности ушел в подтекст, открываясь в итоговые моменты духовного взросления героини. Так живым смыслом наполняется неодушевленная «наглядность» солдатских учений в Екатеринбурге, абстрактное понятие «третьего» человека, человека «постороннего», «без имени, или со случайным, не вызывающим ненависти и не вселяющим любви», приобретает значение «ближнего», освященное христианской заповедью. Впечатление, произведенное гибелью такого человека, надо было определить и назвать. «У впечатлений такого рода нет имени, — пишет Пастернак и добавляет: — Оттого, что они важнее получивших названье».

«Момент нахождения имени или слова и есть начало того, что мы называем прозой или поэзией. Вот еще в каком смысле перед нами исповедь художника, погрузившегося в глубоко первобытную, почти до-словесную жизнь ощущения, первого испытания», — писал К. Г. Локс в рецензии на «Детство Люверс» («Красная новь», 1925, № 8).

Повесть вызвала большое количество откликов. М. А. Кузмин ставил «прекрасную, делающую событие в искусстве повесть Б. Пастернака» в ряд с произведениями о детстве М. Горького, А. Н. Толстого, Вяч. Иванова, А. Белого: «Интерес повести Пастернака не в детской, пожалуй, психологии, а в огромной волне любви, теплоты, прямодушия и какой-то откровенности эмоциональных восприятий автора» («Говорящие»/М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пг., 1923). Ю. Н. Тынянов в общем разборе современной прозы отметил в «Детстве Люверс» «очень редкое, со

времен Льва Толстого не попадавшееся ощущение, почти запах новой вещи» («Литературное сегодня» / Ю. Н.Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1997). Высоко оценил «Детство Люверс» Горький, написав предисловие к ее английскому изданию, где отмечал, что повесть написана «богатым, капризным языком, изобилующим "перегруженностью образами", задорным и буйным языком юноши-романтика, который чувствует свое искусство более реальным, чем действительность» (ЛН. Т. 70. 1963).

С. 34. Чусовая — приток Камы, вдоль которого расположены копи и горнодобывающие заводы.

Мотовилиха — заводской район Перми.

С. 39. Приходилось только отрицать, упорно заперевшись в том... — в «Воздушных путях» 1933, вариант: «...упорно запершись в том...». Урывни — мелкие льдины.

С. 41. ...задержусь на Благодати... — Благодать — гора на восточном склоне Уральского хребта, место разработки железной руды. С. 42. Глень — влага, сок. С. 43. Обечайка — обод решета.

Полок — телега с плоским настилом для перевозки грузов. С. 44. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут. — В рукописи после этих слов вычеркнуто:

«Что сделало вдруг несловоохотливой Ульяшу? Исчерна-тусклая земля? Чахлые кусточки, запорошенные толченым карандашом? Та ли пара гладких, как лед темною ночью, слов, которые были негодующе произнесены исчезнувшей потом за стеклянными дверьми госпожою Люверс? Или наступившая вновь затем тишина, худенькая, слободская, как бывает на окраинах, среди бедноты? Что отбило охоту пустословить у детей?

"Дом. — Так значит никогда больше — ?.. Надо непременно, поскорее, а то... — Совсем?.." — сбивчиво билось сердце у девочки».

С. 46. ...ременной настенный рубезок. — Тесьма, ремешок.

С. 47. Вычеркнутое в рукописи начало гл. IV, перед словами: Жизнь пошла по-новому: «Вечерело. Девочке не терпелось увидать отца. Он придет встречать их. Он там, в том городе. Тот город существует и сейчас живет, переливается, смотрит на часы, поспевает в срок и опаздывает, шумит и мельтешит. И папа там нанимает извозчика на вокзал. — На закруглениях последние вагончики раскатывались, как игрушечные. Дорога шла спусками. В стороне, пешеходною тропкой бежала на колесиках тихая тень этих сцепленных жестянок. В коридоре курили седые господа, перегороженные косыми полосами пыльной зари. В купэ у мамы садилось солнце.

Тот столб... Это было серьезное разочарованье. Разочарованье и еще что-то, что-то другое, она еще не знала».

С. 49....в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот и надорвалась. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «И в темном, безотчетном этом состоянье она вдруг почувствовала, что она — одна, а Сережа — брат ее — и вдруг представила себе Урал».

С. 50. Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «похожей на фамилию того, чего ждала она от столба на границе двух стран».

...плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями. — В рукописи после этих слов вычеркнуто:

«А силой, способной выделять этот особенный глухой жар, эту скрытую сказочность и бред, оказалась опять все та же сила: сила прозы: сила гнетущей, фантастической тоски существованья. Так и должно оно быть. Так оно и было.

Это было тихое, подернутое мертвою зыбью вещей непробудное море, которому имя: детство.

Город молчал. Он ничего не требовал. Но свойства совершающегося в ней в тот период она подарила ему, стала считать их его качествами, тем, что она чувствовала, когда говорила: "Азия". — И отдав ему столько, она глубоко полюбила его. Екатеринбург занял в ее воспоминаниях место сердца у сердечно больного. Она полюбила его за то, что не раз он пугал ее так, как ничто потом; за то, что он принес горе, а впоследствии и несчастие семье, самое серьезное, какое только бывает: отец застрелился в Екатеринбурге, когда они жили уже в Москве. Она полюбила этот город за то, что он ее, Женю, заметил».

Далее см. «Ранние редакции» («Врачи облегчили романистам их задачу...». С. 514).

С. 52. Oui, oui, — chose inoupe, charmant!—закатывались бельгийцы. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Он застегивал пиджак на одну нижнюю пуговицу, его карманы туго лоснились, как получавшийся мамой "Вестник Европы", когда его подавали с улицы под холодной плотной бандеролью. Однажды он долго возился, пока не вытащил одну из этих карманных штук. Книжка была толста, как шкатулка. Он не стал читать, а положив возле себя на стол, стал о ней рассказывать. Все слушали, не перебивая, и не оттого, что слушали со вниманием, а потому, что так наверное полагалось слушать. — "Ты переписала изложенье?" — спросила ее мать, когда Женя вошла в столовую. — "Да". — "Ну тогда можно. Садись". Это было "Сопоставление поэзии Лермонтова и Пушкина", заданное репетитором к завтрашнему дню. — Итак, все слушали, что еще скажет Негарат, так, как, верно, полагалось слушать. Женя ничего не понимала и сидела, замерев, восхищенная и взволнованная именно тем правилом, по которому Негарата слушали так как раз, и которое было для нее полнейшей тайной, подчинявшей всех и ее в их числе. Ее удивляло, как может это смешить Сережу, багровевшего и боявшегося взглянуть на нее. Женя ничего не поняла. Сказанное безусым было мудрено, аппетитно, темно и вязко, как некоторые вещи в городе иными вечерами, как, вероятно, и та непонятность в плитке, которая, похожая на шкатулку и на молитвенник, лежала возле него на столе. Таков был этот Негарат».

Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «То же самое происходило и в классе. Наступала тишина. Учитель садился на кафедру. Бесформенная до того тишина эта начинала колотиться быстро-быстро и покрывалась холодной испариной в ту самую минуту, как глаза его упадали в журнал».

Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? — Меры веса. Граны, драхмы, скрупулы и унции... — меры жидких и сыпучих тел.

...замечательно омерзительная снимка. — В рукописи было: «омерзительно вонявшая снимка». Снимка — резинка для стирания, ластик.

С. 53. Мороженица — кадка со льдом для изготовления мороженого.

Между тем Терек, прыгая, как львица, с косматой гривой на спине... — с заменой последнего слова (на хребте) — цитата из поэмы Лермонтова «Демон».

С. 55. ...и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости. — В рукописи после этих слов вычеркнуто:

«Когда показались мальчики, Женя не удивилась, что с Сережей — оба Ахмедьянова: брат с обеда дожидался товарищей. Ее удивило, что они прошли той дорогой, и, значит, не из дому, а неведомо откуда. И как это Сережа узнал путь туда, на глухую улочку? Где она начинается? Как в нее попасть? Сколько ни старалась Женя на прогулках, дороги в этот заманчивый край бурьяна и крапивы она найти никак не могла. Из-за дров показалась Аксинья. Она несла что-то на руках.

— Ах, какая прелесть! Откуда он? — вскричала Женя. — Чем его кормить?

— О-гоонь. А капуской. Глазки-то каковы, глазки-то, а? Не тронь, барышня, укусит. Дрожит, боится.

— А ты его спусти наземь.

— Ах шалапа. По-бнял. Сердечко тук-тук. Нельзя убегёт.

— Хьяски, — обрадовался хорошему слову дворничихин Колька, — хьяски, — стал он, едва поспевая за ними в мамкином платке, докладывать то ей, то барышне, перебегая от одной к другой, пока они шли по траве, направляясь в дворницкую. Он отстал, привлеченный жабой, прохлаждавшейся у собранной мороженицы. К крюку в наружной двери была подвешена волосяная кисть. Прохор расчесывал ее и покуривал, пряча папиросу огнем в кулак».

С. 56. ...она возьмет да и брякнет: «Кдверьми прислонь!»?— В рукописи после этих слов вычеркнуто: «— Ульяша, — сказала она, подавая горничной нож, — вот, на площадке подобрала. Наш, наш. Недосчитывались. Говорила, треснутого нету. Вот, треснутый и есть. Чистили, верно, запал».

С. 58. Oui. C'est Pierre qui vola... Etc. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Одна девочка дрожала от волненья и не понимала фразу потому, что Петр, укравший яблоко, предавался далее своей страсти во всех залогах и формах, отрицательно и вопросительно с таким упорством, что под конец не становилось ни Петра, ни яблока, ни смысла и не на что было глядеть. Другая была спокойна и фразу не понимала потому, что вся была поглощена ею, как шулер ходом игры, и как испытанный мошенник, холодно учитывала все последствия для себя от глагола voler, означавшего: летать, хотеть, красть и, кажется, — значить».

С. 59. ...Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Госпожа Люверс наводила страх на девочку, и побывав раз в гостях у подруги, Лиза больше бывать не стала; и дружба ограничилась у них катаньем в коляске, Женя заезжала за Дефендовой и брала ее с собой».

С. 60. ...что его болезнь неизлечима. — В рукописи после этих слов вычеркнуто («Ранние редакции»: «Резкое различие...». С. 515).

С. 61. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с кар-тины белых палаток... — в рукописи после этих слов вычеркнуто: «их краски побледнели: она что-то узнала о них, об этих ротах. Деревеневшие раньше в загадочности и яркие, они вышли из состоянья давящей окрашенности. Роты потускнели...»

С. 63. ...передки с натертыми у шкворней кружками. — Передние части телег с круглыми следами от болтов, на которых они держатся и «ходят» при поворотах.

С. 68. Она едва замечала, от кого какие идут ответы. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «будто они шли от того здорового воздуха — (у ней проветрили перед тем) — который оправил постель, и взбил подушки и теперь молодцом похаживал по комнате, и обещал, что завтра поставит ее на ноги, оденет и станет укреплять, потому что куплены новые сани, а она их не видела еще, и это дело не терпит».

С. 70. Усекновение главы Иоанна Предтечи. — Церковный праздник, отмечаемый в воспоминание о казни Иоанна Крестителя (29 августа / 11 сентября).

Введение — праздник Введения во храм Богородицы и Присноде-вы Марии отмечается 21 ноября / 4 декабря.

...между тем в глазах у дочки стояли слезы. — В рукописи после этих слов вычеркнуто («Ранние редакции»: «Диких работал над стилем ученицы...». С. 516).

С. 71. «Сказки Кота Мурлыки» (1872) написаны русским зоологом и писателем Н. П. Вагнером (1829-1907).

...много перцу было просыпано на скатерть... и в жестянку с недоеденными «серединками». — В консервную банку из-под «серединок» артишоков.

С. 74. Ей хотелось остаться одной. — В рукописи после этих слов вычеркнуто («Ранние редакции»: «От природы расточительная и будущая ветрогонка...». С. 519).

С. 76. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «А как аккуратно ластился он к частям татарской раскраски. Как радовал улицу и как улыбался, во весь рот, твердонебый, крепкий и душистый. Опадали ленивые кисти инея. Это, обмахиваясь еловыми лапами, с карканьем снимались вороны, раскачав суки».

С. 78. Суровый комплект «Севера»... — «Север» — литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге в 1888—1894 гг.

С. 79. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь... — в рукописи после этих слов вычеркнуто: «которую мать принесла уезжавшей. И про нее забыли. И когда было уже поздно, и перроны, свернувшись, ринулись в пыль, она из окна увидала, что мать все еще стоит с тем выраженьем в глазах, словно простирает его оттуда и машет им, как вещью, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Беспощадная изнанка всего, чем мы дышим! Как жить в палате буйных первооснов? Как справиться! Спасаясь от них, мы бросились лгать. Принято говорить про оскорбительность полного забвенья. Между тем, наоборот, вспоминая, мы признаемся: в забывчивости, в рассеянности, в душевном бессилии, и напоминая предмету, что он был и его нет, опять разбиваем его параличом былого, опять наносим ему удар, опять — кровную обиду. Тогда мы жалеем его. И не знаем, что жалеем собственную жертву. Как понять это человеку? Как было понять это девочке, терзавшейся именно этим ощущеньем».

С. 80. ...и детское сумасшествие в эту пору — только печать глубокой исправности. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «А то выходило бы, что Божье творенье может безболезненно снести словесное знанье, не запрошенное всеми его фибрами, и примириться с грязным холодом слов. И потому существо, облюбованное Творцом, как ходячий орган его смысла, правдиво, как правдива — рука. Надо повредить ее, чтобы заставить обманывать разум. Но и тогда не солжет она, сочиняя сказки про то, что ей больно. Всей ночью своих нервов служа Творцу, такой человек будет странен вам. Тело будет его Кораном. И в те моменты, когда Коран будет глух — какая бы трескотня ни стояла кругом среди неисправных, — такой человек будет сумасшествовать. Он перестанет понимать все то, что свяжет вас в тысячи из тысяч, в миллионы. Бог поразит его косноязычием и сделает дикарем в такие минуты. Для того, чтобы на нем доказать себе, что правду искалечили».

С. 82. ...в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала... — на сохранившемся от черновой рукописи листке остался первоначальный вариант утренней встречи Жени с доктором, вызванным из Перми («Ранние редакции»: «Прошло две недели. Они вернулись...». С. 520).

С. 83. ...а ужасу у театра — третья неделя!— В рукописи после этих слов вычеркнуто: «В окошке через дорогу горел свет, и нервно ходила туманная голубая спина. Потом из другой комнаты показалась лампа под синим абажуром и медленно пройдясь по всем окнам, стала удаляться и скрылась в глубине. По спине она признала и подивилась на то, что продолжает встречать его и здесь в слободке».

С. 84. ...взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «и в размышленьях, колебля кончики гардин, шагал взад и вперед по комнате репетитор».

С. 85. Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Оттого, что они важнее получивших названье».

Воздушные пути. — «Русский современник», 1924, № 2, с незначительными вариантами. — «Рассказы», 1925. — Машин, с авт. правкой книги «Воздушные пути», 1931 г. (РГАЛИ, ф. 613).

Повесть была написана в феврале 1924 г. и передана в журнал «Русский современник», где в процессе редактирования текст был сокращен на треть за счет конца, который представлялся Пастернаку самым существенным. В апреле 1924 г. полный текст был послан в Берлин в журнал «Беседа», издававшийся М. Горьким. Повесть была направлена против смертной казни, что было близко Горькому, боровшемуся за ее отмену. Против ее публикации в «Беседе» высказался В. Ходасевич. Рукопись повести не сохранилась, полный текст неизвестен.

Посвящена поэту М. А. Кузмину (1875—1936), который в статье «Говорящие» благожелательно отозвался о прозе Пастернака и поставил ее выше его стихов (М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Пп, 1923). По поводу книги Кузмина «Нездешние вечера» Пастернак писал, что ему «очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного затрагиванья пейзажа и задеванья за него в вещах большой лирической скорости и прямого сердечного назначенья» (письмо Ю. И. Юркуну 14 июня 1922).

Тема «Воздушных путей» — противоестественная сущность насильственной смерти. Затронутая еще в «Детстве Люверс» на примере случайной гибели постороннего человека, здесь эта тема приобрела трагическое звучание современного повседневного обихода. В сюжете повести преломился реальный случай ареста 20-летнего И. Ф. Кунина, как участника социал-демократического кружка. Заступничество Пастернака, дошедшего в своих хлопотах до Кремля, спасло Кунина и чудесным образом освободило от повторных арестов.

Метафора воздушных путей, ставшая названием повести, говорила о единстве европейской общественной мысли, преодолевающей барьеры человеческих установлений. Она развивала высказанную в стих. «Русская революция» (1918) мысль о европейском зарождении революционных идей («иностранка», нашедшая себе «приют» в России) и вновь подчеркивала разрушительную силу бескомпромиссной прямолинейности ленинского эксперимента в России. «Не правда ли, как фатальна эта двойственность нашего времени? — писал Пастернак К. А. Феди-ну. — Все оно пришло к нам с Запада, им внушено и подсказано, а между тем никогда не бывал так взрыт до основания наш восток, как в результате этого западного события» (6 дек. 1928).

С. 90. ...близнецам-гимназистам с Ольгиной... — летние месяцы 1898— 1902 гг. Л. О. Пастернак с семьей проводили на даче «Ольгино» на Большом Фонтане под Одессой.

С. 92. Двошить — плохо пахнуть, смердеть.

С. 92—93. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново. <...> Это было небо Третьего Интернационала. — Парадоксальная судьба единства европейской революционной мысли выражена метафорой неба, возвышавшегося над грязными городскими дворами, заваленными давно не свозившимся мусором. Первый учредительный кон фесе Третьего Интернационала объединил коммунистические партии разных стран. Он проходил в Москве 2—6 марта 1919 г., вскоре после гибели деятелей международного рабочего движения Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

Повесть. — «Красная нива», 1929, № 30 (Глава из «Повести»). — «Литературная газета» 15 июля 1929 («Ночной набросок»), незначительные варианты. — «Новый мир», 1929, № 7. — «Воздушные пути», 1933. — «Повесть». Л., 1934. — Машин, с авт. правкой книги «Воздушные пути», 1931 г.(РГАЛИ,ф.613).

Первые замыслы прозы, сконцентрированной вокруг центрального героя — Сергея Спекторского, связаны с впечатлениями 1914-1915 гг. работы гувернером в доме коммерсанта М. Филиппа, затем на уральских заводах и в Прикамье. В 1918 и 1922 гг. в печати появились разрозненные «Главы из повести». «Повесть» непосредственно связана с романом в стихах «Спекторский» и сюжетно дополняет его. Работа над ней, начатая зимой 1929 г., должна была помочь писанию заключительных глав «Спекторского». «Названа она вчерне "Революция", — писал Пастернак П. Н. Медведеву 28 янв. 1929 г., — будет листа на 3, на 4, а может быть и больше, и явится звеном "Спекторского", то есть в ней я предполагаю фабуляторно разделаться со всем военно + военно-гражданским узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно». Об этом же Пастернак писал в анкете «Писатели о себе» («На литературном посту», 1929, № 4—5). Но намерения автора разошлись с их осуществлением. Сюжет «Повести», оконченной в мае 1929 г., ограничен событиями лета 1914 г., Первая мировая война дана лишь упоминанием, до революции и гражданской войны повествование не дошло. В основу «Повести» легла существенная для творчества Пастернака тема женской судьбы, истоки которой автор относит к творчеству Толстого. Из писем Пастернака известно, что он считал «Повесть» первой частью романа и продолжал работу над ней. Рукопись не сохранилась.

С. 98. Вот уже десять лет передо мною носятся... кое-что попало в печать. — Имеются в виду две публикации: «Безлюбье (Глава из повести)» (газ. «Воля труда» 26 и 28 нояб. 1918) и «Три главы из повести» (газ. «Московский понедельник» 12 июня 1922).

Соликамск и Усолье расположены по разным берегам Камы.

— В «Новом мире», 1929, вариант: Соликамск белел и грудился на другом берегу...

— В «Повести», 1934, вариант: Оно белело и грудилось на другом берегу...

Солепромышленники Строгановы выхлопотали у Ивана Грозного в 1558 г. право владения землей по рекам Каме и Чусовой.

Зажоры — скопленье мелкого льда при ледоходе, вызывающее подъем воды.

С. 100. ...о «десяти талантах, что хуже одного, да верного»... — поговорка, переиначивающая смысл евангельской притчи о талантах. «Итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. Ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25, 28-29).

С. 113. ...еемысли о сластолюбьи — живой Толстой... — в «Крейце-ровой сонате» и «Воскресении» Толстой выступает против отношения к женщине, основанного только на чувственности.

С. 118. Ширинки — расшитые полотенца.

С. 122. ...тебенек Страшному?— Страстной монастырь находился на нынешней Пушкинской площади.

...в Галилее депо было местное... — речь идет о распространении христианства, начало которому было положено проповедями Иисуса Христа на его родине в Галилее.

С. 132. «...Мария бессмертна. Мария не женщина». — Отсылка к роману в стихах «Спекторский» и его героине поэтессе Марии Ильиной.

Бальц — персонаж «Спекторского». В «Трех главах из повести» носит имя Шютца.

С. 133. ...терминами индийского духоведения. — В Индии существуют шесть основных религиозно-философских систем, рассматривающих соотношение духовных и физических начал.

С. 134. ...не Калиостро, не из иЕгипетских (даже) ночей "... — граф А. Калиостро — известный авантюрист Дж. Бальзамо (1743—1795), разыгрывавший мага и вызывателя духов. Герой повести М. Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа

Калиостро» (1919). Герой «Египетских ночей» Пушкина — Импровизатор, выступающий перед публикой с чтением стихов на заданную тему.

...его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. — Имеются в виду концерты, устраиваемые в Колонном зале Дворянского собрания.

С. 144. ...в Туле они опоздали к пассажирскому... — здесь описана поездка Пастернака в Алексин в мае 1914 г. с семейством поэта Ю. К. Балтрушайтиса, к сыну которого, Жоржу, он нанялся гувернером.

Охранная грамота. — «Звезда», 1929, № 8 (часть первая), с вариантами и без разделения на главки. — «Красная новь», 1931, № 4,5-6 (части вторая и третья). — «Литературная газета» 14 апр. 1931 (Отрывок «Первые встречи с Маяковским»). — «Охранная грамота». Л., 1931. — Автограф части второй и третьей в тетради с дарственной надписью З. Н. Нейга-уз: «Рукопись — Зине, милой правде моей», без разделения на главки. — Первонач. машин. 1931 г., сделанная с рукописи, с вариантами. — Наборная машин, первой части с вариантами (ИРЛ И, ф. «Звёзды»). — Корректурные листы журн. «Звезда» с правкой. — Наборная машин, с авт. правкой книги «Воздушные пути», 1931 г. (РГАЛИ, ф. 613), восстанавливающая цензурные сокращения изд. 1931 г. — Не включенные автором фрагменты рукописи приводятся ниже в ком мент., наиболее крупный («Уже и раньше, или, лучше сказать, всегда...») и «Послесловье» в разделе «Ранние редакции». С. 521. Фрагменты текста, выпущенные в изд. 1931 г., но имеющиеся в рукописи и первонач. машин., были восстановлены автором в наборной машин, книги «Воздушные пути» (РГАЛИ). «Послесловье» было впервые опубликовано в «Русской мысли» 24 янв. 1961 г.

Начало работы над повестью относится к 1927 г., ее первонач. назв. было «Статья о поэте». В замысел входило намерение написать о недавно скончавшемся Р.-М.Рильке (1875-1926); «об удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляют его произведения, — писал Пастернак в анкете «Советские писатели о писателях и читателях» (журн. «Читатель и писатель», 1928, № 4—5). — Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся». Замысел «Статьи о поэте» натолкнулся на непреодолимые препятствия. В первые же месяцы после смерти Рильке «мысль о ней отклоняли, даже и в предположеньи, намечая для нее людей надежнейших и официальных», — писал Пастернак С. Н. Дурылину 7 нояб. 1929 г.

Первая часть была написана в 1928 г., вторая и третья — в 1930— 1931. На содержании последней, третьей, отразились недавние впечатления безвременной гибели Маяковского. Пастернак так характеризовал свою работу английскому переводчику Дж. Риви: «Это — ряд воспоминаний. Сами по себе они не представляли бы никакого интереса, если бы не заключали честных и прямых усилий понять с их помощью, что такое культура и искусство, если не вообще, то хотя бы в судьбе отдельного человека». «Эту книгу я писал не как одну из многих, а как единственную. Мне хотелось высказать в ней несколько своих мыслей, несколько мыслей, свойственных мне по ряду вопросов. Части этих вопросов нельзя было касаться. Остальные, которые можно было затронуть, я, вероятно, сформулировал недостаточно удачно. Книга вышла втрое меньше задуманного. <...> Я в этой книге не изображаю, а думаю и разговариваю. Я стараюсь в ней быть не интересным, а точным» (письма 28 марта 1931 и 20 нояб. 1932).

Название «Охранная грамота» обозначало известный в то время документ, выдававшийся для защиты квартиры, культурных ценностей или частных собраний от национализации. Пастернак имеет в виду оправдание искусства в годы, когда с особой ясностью стала понятна его уязвимость и незащищенность перед лицом государства.

Повесть посвящена памяти Р.-М. Рильке, с поэзией которого Пастернак познакомился в 1907 г. — в студенческих тетрадях сохранились первые переводы его стихов. Публикация в «Звезде» первой части «Охранной грамоты» сопровождалась переводом «Реквиема» Рильке по графу Калькрейту. «Я всегда думал, что в своих собственных опытах, — писал Пастернак, — во всем своем творчестве я только и делал, что переводил или варьировал его мотивы, ничего не добавляя к его собственному миру и плавая всегда в его водах» (письмо М. Окутюрье 19 марта 1959). В письме Рильке 12 апр. 1926 г. Пастернак признавался: «Я обязан Вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами». Рильке отозвался, взволнованный «щедростью сердца» Пастернака, отведшего ему «столь значительное место в своем духовном мире» («Дыхание лирики». М., 1999).

Текст повести подвергся цензурным сокращениям, — несмотря на это, ее выход в свет был встречен резкой критикой; в печатной дискуссии, в которой приняли участие Я. Е. Эльсберг, А. П. Селивановский, А. К. Тарасенков, В. В. Ермилов, книга была признана «бессознательной вылазкой классового врага» и «буржуазным контрнаступлением в литературе» (Первое производственное совещание критиков РАПП // Марксистско-ленинское искусствознание, 1932, № 3. С. 113), после чего она была изъята из библиотек.

Ведущий критик РАППа А. П. Селивановский в «Литературной газете» (15 сент. 1931) назвал ее в числе идеологически враждебных произведений и обвинил Пастернака в «субъективном идеализме». На совещании по поводу доклада Асеева «О современной поэзии» в декабре 1931 г. он сопоставлял «систему взглядов, изложенную в "Охранной грамоте" Пастернака с его представлением о творческом развитии Маяковского (революционный пролетарский поэт Маяковский остается непонятен, остается чуждым и враждебным Пастернаку на сегодняшний день, ибо качественный скачок в поэзии Маяковского им отрицается)», и делал вывод, «что в своих выступлениях, в книге, в стихах тов. Пастернак выступает как наиболее яркий представитель буржуазного реставраторства в поэзии» (Стенограмма. ИМЛИ, ф. 157, оп. 01).

Приверженность Пастернака реакционному мировоззрению Рильке и неокантианской философии отмечала в своей работе Р. А. Миллер-Будницкая («О "философии искусства" Б. Пастернака и Р.-М. Рильке» // «Звезда», 1932, № 5). Статья А. К. Тарасенкова так и называлась «Охранная грамота идеализма»; «аполитизм» Пастернака определялся как «уход от пролетариата в стан его прямых врагов» («Литературная газета» 18 дек. 1931). Критики инкриминировали ему также восхищение Германом Когеном, которого «полностью демаскировал» Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» как врага научного социализма и последовательного контрреволюционера. «Страница о Когене и Мар-бургской философии вызвала такое осужденье, — писал Пастернак С. Н. Дурылину, — что мне ради ее сохраненья пришлось сделать сноску в самом начале "Охранной грамоты", где в дальнейшем обещается переоценка всего высказанного» (7 нояб. 1929).

Книга была запрещена к переизданию, изъята из уже составленного в Гослитиздате сборника прозы Пастернака «Воздушные пути». Первое посмертное издание с восстановлением цензурных сокращений было осуществлено только в 1982 г.

С. 148. Перед самой отправкой... подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. — Описываемая встреча Рильке с Л. О. Пастернаком произошла 17 мая 1900 г. Рильке со своей спутницей, немецкой писательницей Лу Андреас Саломе, направлялись в Тулу к Л. Н. Толстому. Л. О. Пастернак помог им узнать, когда Толстой будет в Ясной Поляне. Эта встреча описана также в кн.: Л. О. Пастернак. Записи разных лет. М., 1975.

Козловка-Засека — ближайшая к Ясной Поляне железнодорожная станция. В «Знамени» и «Охранной грамоте» 1931: Козлова Засека, исправлено по машин. 1931 г. (РГАЛИ, ф. 613). Оба варианта названия деревни верны и были равно употребительны. Узнав, что Толстого нет в Ясной Поляне, Рильке и Саломе остановились в гостинице в Туле, свидание с Толстым состоялось только через два дня.

..мм к Софье Андреевне... она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас... гр.Л. Н.... — Л. О. Пастернак был представлен Толстому в 1893 г., бывал у него в Хамовниках и Ясной Поляне, показывал ему свои иллюстрации к «Войне и миру», позднее по просьбе Толстого иллюстрировал «Воскресение». Б. Пастернак вспоминает о том, что видел Толстого в слишком раннем младенчестве, во время домашнего концерта в 1894 г. Об этом см. в очерке «Люди и положения» (1956).

Николай Николаевич Ге (1831—1894) — художник, друг Л. Н. Толстого, познакомился с Л. О. Пастернаком в 1889 г., бывая в Москве, навещал его и сдружился с маленьким Борей. «Я знал Ге, когда был мальчиком. Он даже иногда говорил, что у него есть только два настоящих друга: Лев Николаевич и я», — записал А. К. Гладков слова Пастернака (Встречи с Пастернаком. М., 2002).

С. 149. Еще видно, как их подсаживает ямщик. — В «Звезде», 1929, JSfe 8, вариант: «их подсаживает кучер». — В корректуре «Звезды» — авт. исправление этого слова.

...напоминавшем «шестое чувство» Гумилева... — «Шестое чувство»—стих. Н. С. Гумилева (1886-1921) из кн. «Огненный столп», 1921. Здесь имеется в виду чувство прекрасного.

...первой... страстью... ботаника. — Увлечение ботаникой и собирание гербария относится к занятиям в гимназии под руководством учителя естествознания А. С. Баркова, известного ученого и путешественника.

Карл Линней (1707-1778) — шведский естествоиспытатель, создатель классификации растений и животных, автор книг: «Система природы» (1735) и «Философия ботаники» (1751).

...отряд дагомейских амазонок. — Охрана короля Дагомеи (с 1975 г. Бенин) состояла из отряда в 800 женщин, отказавшихся от брака. Газета «Московский листок» Запр. 1901 г. сообщала, что «на время пасхальных гуляний <...> выписан из Африки отряд амазонок, 48 женщин из племени дикарей Дагомеи под предводительством главнокомандующих принцесс». На следующей неделе они перенесли свои представления в Зоологический сад, и «Московские ведомости» 15 апр. извещали о «большой группе амазонок <...> исполняющих песни, пляски и военные эволюции» на открытой сцене.

...знакомых, живших за Прошвой. — Семейство Гольдингеров, дочь которых Екатерина Васильевна Гольдингер (1881-1973), художница, ученица Л. О. Пастернака.

С. 150. ...с врачом из Малоярославца... — имеется в виду Николай Матвеевич Петров (1866-1936) — замечательный земский врач; см. о нем: М. А. Тарковская. «Осколки зеркала». М., 1999.

С. 151. Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. — А. Н. Скрябин (1871-1915) уехал из Москвы 3 марта 1904 г.

С. 152. Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». — Репетиция 3-й симфонии и «Поэмы экстаза» состоялась 19 февр. 1909 г.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. — После этих слов в «Звезде»: «Их распугивали литаврами и водопадами хроматики из холодных, как пожарные брандсбойты, тромбонов».

С. 153. ...у меня было несколько серьезных работ. — Сохранились соната для фортепьяно и две прелюдии (см. сб.: «Раскат импровизаций. Б. Пастернак и музыка». Л., 1989).

В корректурных листах «Звезды» рукописный вариант: «Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, тут представился мне чем-то кощунственным».

С. 155. Я соглашался, что безличье... — в «Звезде» вариант: «Я соглашался, что безличье сложнее лица, что многословье, чем оно бессодержательнее, тем более кажется уместным, и что развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являвшуюся к нам впервые после долгой отвычки, принимаем за претензии формы».

С. 156. В «Звезде» конец главки со слов: В возрастах отлично разбиралась Греция — отсутствует. — В машин. 1931 г., сделанной с рукописи, он имеется.

Миф о Ганимеде— Ганимед мальчиком был вознесен Зевсом на Олимп и стал виночерпием богов. В стих. «Я рос. Меня, как Ганиме-да...» (1913) Пастернак уподоблял Ганимеду свое детство, проведенное среди высоких имен артистического круга.

С. 157. Юлиан Павлович Анисимов(1888-1940) — поэт, переводчик, художник. Пастернак пишет о нем в очерке «Люди и положения» (1956).

Рихард Демель (1863-1920) — немецкий поэт-декадент.

В «Звезде» конец главки со слов: Яне пишу своей биографии — отсутствует. — В машин. 1931 г. он имеется.

С. 159. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусаге-ту».— «Мусагет»— издательство символистов (1910—1917). О своем участии в кружках при «Мусагете» Пастернак писал в очерке «Люди и положения» (1956).

От других я узнал о существовании Марбурга... — немецкий город Марбург славился своей философской школой, там преподавали глава неокантианства Герман Коген (1842-1918) и его ученик Пауль Наторп (1854-1924), сближавший учение Платона с методом Канта.

С. 161. Скользнувши стеклами очков... — в «Звезде» вариант: «Скользнув стеклами очков по часовым стеклышкам, либеральные Задопятовы всех толков подымали головы в обращении к хорам и потолочным сводам». Задопятов — профессор из романа А. Белого «Москва» (1925).

Александр Николаевич Савин (1873-1923) — историк средних веков и нового времени.

С. 162. ...в одном из номеров дешевыхмеблирашек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. — Меблирашки — меблированные комнаты, сдававшиеся внаем. Подобную группу обучения взрослых учеников Пастернак описал в «Записках Патрика» (1936).

Златоустинский монастырь (XV в.) помещался между Большим и Малым Златоустинскими переулками в районе Лубянки; разобран в 1933 г.

С. 163. ...родники греческих поверий оДеметре... — Деметра — богиня — покровительница растительного царства и земледелия, учредительница Элевсинских мистерий; ее дочь Персефона была похищена богом подземного царства и проводила часть года на земле, часть — под землею, что соответствовало смене времен года.

Сергей НиколаевичДурылин(Ш6—1954) — поэт,священник, историк театра; во время работы Пастернака находился в ссылке в Сибири и откликнулся взволнованным письмом на упоминание его имени. См. о нем в очерке «Люди и положения» (1956) и письма Пастернака к нему.

С. 164. Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий... — Пастернак занимался в семинаре Густава Густавовича Шпета (1879—1937) в 1909-1910 г. по Д. Юму, в следующем году слушал его курс логики исторической науки. Николай Васильевич Самсонов (7-1921) вел курс по истории послекантовских эстетических

учений и семинар по Платону, которые посещал Пастернак. Александр Владиславович Кубицкий (1880-?)— преподаватель античной философии, Пастернак в 1911 г. участвовал в его семинаре по Платону (L. Fleishman. H. B. Hdrder. S. Dorzweiler. Неопубликованные философские конспекты и заметки Б. Пастернака. Stanford, 1966. С. 16).

...кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. — Кампанией по ликвидации безграмотности называлось широкое распространение групп обучения чтению и письму, проводившегося среди неграмотного населения. Понятие «Ликбез» стало символом сведения всей науки до уровня начальной школы. Пренебрежительный отзыв Пастернака о годах своего учения в университете, которые были временем наивысшего расцвета философской жизни в России, объясняется тем, что стоявшие во главе философского отделения профессора весьма скептически относились к новым веяниям и не допускали в университет их сторонников. Эта тенденция завершилась полным разгромом русской философии в послереволюционные годы, когда из университета были изгнаны все талантливые преподаватели, кроме тех, кто встал на марксистские рельсы.

Анри Бергсон (1859-1941) — французский философ, сторонник интуитивизма и философии жизни, лауреат Нобелевской премии.

Эдмунд Гуссерль (1859— 1938) — родоначальник феноменологической школы, превращения философии в «строгую» дисциплину, создания логики научного знания, преподавал в Геттингенском университете, где в 1912-1914 гг. у него работал Г. Г. Шпет.

Сергей Николаевич Трубецкой(1862-1905) —философ и публицист, друг и последователь Владимира Соловьева, был избран ректором Московского университета.

Дмитрий Федорович Самарин(1890-1921) — племяннике. Н. Трубецкого и внучатый племянник славянофила Ю. Ф. Самарина (1819-1876); знакомый Пастернака по гимназии, а потом по университету. См. о нем в очерке «Люди и положения» (1956).

С. 165. Потеряв его впоследствии из виду... столкнулся с ним в Нехлюдове. — Нехлюдов — главный герой романа Толстого «Воскресение». В «Звезде» вариант: «Клубок громких и независимых мыслей вмиг, на месте, без ненужных прикрас превращался в клубок спокойных слов, произносившихся так, точно достаточно было одного их звучанья, чтобы слово стало делом. Он думал вслух, то есть с такою правильностью в следовании мыслей, что большинству, для которого предрассудок стал вторым языком, оставался непонятен. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспоминал о нем дважды. Раз, когда, перечитывая Толстого, я столкнулся с ним в Нехлюдове, и другой, когда на девятом съезде Советов впервые услыхал Владимира Ильича. Я говорю, разумеется, о последней неуловимости, то есть позволяю себе одну из таких аналогий, на почве которых делались сближения с лукавым хозяйственным мужичком, и множество других, менее убедительных». — Тот же текст в машин. 1931 г. Выступление В. И. Ленина в декабре 1921 г. на IX съезде Советов Пастернак описал в «Высокой болезни» (1923, 1928).

Дело переламывалось к теплу... — в «Повести об одном десятилетии» Константин Григорьевич Локс(1889-1956), друг Пастернака по университету и впоследствии историк литературы, вспоминал, как в феврале 1912 г. Пастернак записал для него, сидя за столиком в «Cafй grec», свои первые стихотворения.

Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) — просветитель-энциклопедист, философ, математик, физик. В 1910-1911 гг. Лейбниц был главным предметом философских увлечений Пастернака, о нем он предполагал писать дипломную работу. Позже он переменил свое намерение и писал по теме «Теоретическая философия Германа Когена»; текст не сохранился.

С. 166. Фортепьянного бренчанья по такой сумме... — мать Б. Пастер^ нака, Розалия Исидоровна, будучи прекрасной пианисткой, постоянно давала частные уроки музыки.

Третий, а за границей, если придется, и четвертый класс... — сидячие места.

Терпимость в отношении удобств... — далее в «Звезде» вариант: «с появленьем семьи дошедшая до прямой потребности в уюте, зародилась у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препят-ствий тому миру, который именно и не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно он не мог не надломиться, а только на его внушеньях и держался весь мой характер». — Тот же текст в машин. 1931 г. с продолжением: «Безличная уступчивость, которую я теперь разделяю со всеми моими современниками — по всему свету, вероятно, тоже временна. И, вероятно, в тот день, когда симптомы, отличающие землю XX века от Юпитера или Венеры, опять хлынут в мои стихи, этих неповторимых признаков неповторимого бытованья опять на стенах у меня не будет». — В наборной машин, из архива «Звезды» этот отрывок вычеркнут рукою редактора («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979. С. 194).

С. 167. У нас сходил еще снег... — Пастернак выехал из Москвы 22апр. 1912 г.

С. 168. ...клетчатая дранка шпалерника... — решетка для вьющихся растений.

Фридрих Альберт Ланге (1828— 1875) — немецкий философ-неокантианец и экономист.

С. 169. Семья Бернулли — швейцарские математики, механики и физики. Наиболее известными были Якоб (1654-1705) и Иоганн Бернулли (1667—1748), почетный член Петербургской Академии наук, оба — ближайшие ученики Лейбница. Сын Иоганна — Николай (1695-1726) и внук Якоб (1759-1789) работали в Академии наук в Петербурге.

Так, например, школа не говорила... застигнутая на месте и за делом... — далее в «Звезде»: «то есть за открытьем закона природы или за каким-нибудь иным законодательным актом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию».—Тот же текст в машин. 1931 г.

Они говорят о ее оригинальности, то есть о живом месте, занятом ею в живой традиции... — далее в «Звезде»: «для живого сообщенья от лица и сердца поколенья». — Тот же текст в машин. 1931 г.

Гарц — горный массив в центральной Германии. Гослар — старинный город углекопов в земле Ганновер.

С. 170. ...горизонтрасширялся, как в «Страшноймести»... — имеются в виду слова из повести Гоголя: «Вдруг стало видимо далеко во все концы света...». Они были взяты эпиграфом к стих. Пастернака «Распад» (1917).

Елизавета Венгерская (1207— 1231) — Святая покровительница Мар-бурга, ландграфиня Тюрингская, дочь венгерского короля Андрея II. После гибели мужа в Крестовом походе скиталась, отказавшись от титула и богатства, и, следуя за своим духовником Конрадом, приехала в 1229 г. в Марбург. См. о ней далее в тексте. С. 173.

«Посредник» — основанное по инициативе Л. Н. Толстого издательство популярных просветительских книг для народного чтения (1884-1935).

Колин Мак-Лоррен (Маклорен; 1698-1746) — шотландский математик, ученик Ньютона, основоположник теории рядов, автор работ по математическому анализу.

Джеймс Кларк Максвелл (1831-1879) — английский физик, создатель классической электродинамики, один из основоположников статистической физики.

...пройти мимо рыцарской гостиницы... — гостиница называется «Hotel zum Ritter».

С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. — После этих слов в корректурных листах «Звезды» рукописные изменения: «Я вспомнил, что связь с

остальным миром оставил в вагоне, и ее теперь вместе с сетками и пепельницами безвозвратно уносит дальше».

С. 171. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) с 1736 по 1739 г. в Марбурге под руководством Христиана Вольфа (1679-1754) занимался математикой, философией и химией.

...дешевую гостиницу, указанную Самариным. — Постоялый двор «Zum Shьtzenpfuhl» («Около оборонительного рва») не сохранился.

Я снял комнату на краю города. — На этом доме по Гиссельберг-штрассе, № 15, висит мемориальная доска со словами из «Охранной грамоты»: «Прощай, философия, прощай, молодость».

...старушка чиновница. — Речь идет о фрау Элизе Орт.

С. 172. ...старый прусский пиетизм. — Религиозно-мистическое настроение, отказ от чувственных наслаждений.

Рене Декарт (1596—1650)— французский философ, математик, физик и физиолог, основоположник философского рационализма.

Першероны — порода лошадей-тяжеловозов.

Ганс Сакс (1494—1576) — немецкий поэт-мейстерзингер.

Тридцатилетняя война 1618-1648 гг. захватила все страны Европы.

С. 173. Братья Гримм — Якоб (1785-1863) и Вильгельм (1786-1859) — немецкие филологи-фольклористы, собиратели сказок, учились в Марбурге юриспруденции.

Фридрих Карл фон Савиньи (1779-1861)— немецкий министр юстиции, преподаватель государственного права, основатель исторической школы права.

У нас — свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет. — Эти слова отсутствуют в «Красной нови» и в издании

1931 г. В автографе вместо: У нас — свой, вычеркнуто: «У нас свои мерила объективности».

С. 174. С нее тянуло ночной сыростью. — После этих слов в рукописи: «Убегая в ее глубину, туман увлекал за собой огоньки, смытые по дороге, и, возвращаясь с ними, нес на террасу звуки, разительно усиленные влажностью и темнотой». — Такой же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин, с правкой (РГАЛИ) вычеркнуто рукой автора.

Режущий визг лесопильни... — на стене лесопильни, обращенной к террасе, до недавнего времени была старая надпись огромными буквами: «Centrifuga Stock». Не отсюда ли взялось название футуристической группы «Центрифуга», одним из организаторов которой был Пастернак?

Г-в и Л-ц — историк искусства Митрофан Петрович Горбунков (1888-1964) и Генрих Эрнестович Ланц (1886-1945), ученик Г. Когена, в 1912 г. занимался в Гейдельбергском университете, преподаватель эстетики в Бетховенской студии проф. Д. С. Шора, автор работ по эстетике и истории философии, профессор Стенфордского университета (США).

...адвокат из Барселоны... — по предположению Л. Флейшмана, это Фернандо де Л ос Риос (1879—1949) — испанский социалист и один из лидеров Второй республики, в 1920 г. был в России и виделся с Лениным, в 1930 г. стал ведущей фигурой в революционном движении («Среди философов» // Semiosis. Semiotics and the history of culture. In honorem J. Lotman. Michigan Slavic Contributions, 1984).

Рудольф Штаммлер (1856-1938) — немецкий теоретик права, последователь Марбургской школы неокантианства.

Николай Гартман (1882—1950) — ученик Г. Когена, основоположник критической онтологии.

«Критика практического разума» (1788) — работа И. Канта (1724— 1804).

...у главы школы. — Германа Когена. О впечатлении, которое Коген произвел на него, Пастернак писал в письмах из Марбурга (1912 г.)

С. 175. Елисейские поля — в греч. мифол. обитель бессмертия.

...ферлякурничая с ней... — от фр. faire la cour — ухаживать, заигрывать.

Дэвид Юм (1711—1776) — английский философ, историк и экономист, сторонник агностицизма в отношениях между духом и бытием.

Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице. — В рукописи вычеркнуто и заменено словами: «Вместо нее нас опоясывала внизу и красовалась живописнейшая долина, ничего не знавшая о своей предшественнице. Сколько я ее потом ни видел, я никогда не мог привыкнуть к ее внезапным выходам из десяти верстной росы, когда она по праву считала себя только что родившейся и первой по красоте на свете». — В машин. 1931 г.: «Она считала себя только что родившейся и первою на свете».

Сестры В-е. — Ида Давыдовна (1892-1976) и Елена Давыдовна (1894-1920) Высоцкие — дочери московского чаеторговца и мецената.

С. 176. ПъерАбеляр(1079-1142) —французскийфилософ-богослов и поэт, автор «Истории моих бедствий», посвященной его трагической любви к ученице Элоизе.

Эвклид (111 в. до н. э.) — древнегреч. математик, создатель классической геометрии.

...вместо теорем о равновеликих пирамидах... — в машин. 1931 г. после этих слов: «каллиграфической прописью написали то, что нам предстояло и должно было стать впоследствии со мной и с нею».

С. 177. Оттого, что я любил В-ю. — Далее в рукописи вычеркнуто: «Любовь же есть прозренье. Вдруг обнаруживаешь во времени то, чего в нем не подозревал. Это присутствие будущего в настоящем, впервые замеченном. Ибо именно заметность настоящего и есть будущее, и одного без другого не бывает». — Тот же текст в машин. 1931 г.

...круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. — В повести «Крейцерова соната» Л. Толстой выступает против отношений между мужчиной и женщиной, основанных только на чувственности. Против «Крейцеровой сонаты», в частности, написан рассказ Л. Л. Толстого «Прелюдия Шопена», защищающий чистоту раннего брака и семейной жизни.

...не Толстые и Ведекинды, а их руками — сама природа. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «И только в полноте их противоречья — ее истина, ее умысел, ее слово». Франк Ведекинд (1864-1918) — немецкий писатель, критиковавший в своих драмах, «Пробуждение весны» (1891) и др., «традиционную» мораль отношений между полами.

С. 178. В рукописи вместо: ...все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью — «все то, что не есть природа, отдавало бездонной грязью».

За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. — Открытый спор с современными требованиями «литературы факта», когда материал газетных сообщений противопоставлялся подлинному искусству, основанному на творческом воображении.

...только образ поспевает за успехами природы. — После этих слов в машин. 1931 г.: «Это и есть то, что называют эволюцией образа, или другими словами, [вечностью] культурой».

С. 179. ...так что с очень большого расстоянья... — в рукописи после этих слов вычеркнуто; «может вообразиться, что именно в лице лирической истины берет человечество последовательно растущие препятствия». — Тот же текст в машин. 1931 г.

Три дня, проведенные с ними неотлучно... — Высоцкие пробыли в Марбурге с 12 по 16 июня 1912 г.

С. 180. ...потребности в большой каденции... — каденция — музыкальный оборот, гармонически завершающий композиционное построение.

Но в этом облегченьи мне было отказано. — В рукописи после этих слов: «И какая-то хроматическая тоска кружила меня, подступая и отступая верленоподобными рефренами, вся в навязчиво возвращающихся "ах, когда бы" и "о, если бы"».— Тот же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин. (РГАЛИ) вычеркнуто рукою автора. В открытке, посланной А. Л. Штиху 18 июня 1912 г., Пастернак приводит эти стихи Вердена с повторяющимися рефренами: «O triste, triste йtait mon bme /A cause, в cause d'une dame...» («Душе грустнее и грустней — / Моя душа грустит о ней...») из книги «Романсы без слов» (1873).

Меня окружали изменившиеся вещи. — См. в стих. «Марбург» (1916, 1928): «Плитняк раскалялся, и улицы лоб / Был смугл, и на небо смотрел исподлобья / Булыжник, и ветер, как лодочник, греб / По липам. И все это были подобья».

Утро знало меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне... — ср. в стих. «Марбург»: «И ночь побеждает, фигуры сторонятся, / Я белое утро в лицо узнаю».

С. 182. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. — Ср. в стих. «Марбург»: «"Шагни, и еще раз", — твердил мне инстинкт, / И вел меня мудро, как старый схоластик...»

Я выступил докладчиком в обоих семинариях. — Доклады были сделаны после отъезда Высоцких, 25 июня — у Гартмана, 2 и 5 июля — у Когена.

Доклады удались мне. Они получили одобренье. — Дальше в рукописи вычеркнуто: «Это было большим торжеством. Трехлетний роман с философией впервые осветился практической целью, и в теченье двух недель, предшествовавших приезду сестер, располыхался ярче, чем за все до того прошедшие университетские годы». — Тот же текст в машин. 1931 г.

С. 183. ...налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. — В машин. 1931 г. после этих слов: «В коленчатом распо-ложеньи книг заключалась главная сила моего рассужденья. Разрознить их...».

Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел. — В машин. 1931 г. после этих слов: «Я хмурым шагом быстро пересек его под его хмурое сопровожденье, как под тихий каменный марш».

...от петербургской двоюродной сестры... — письмо О. М. Фрейден-бергот27июня 1912 г.

С. 184. ...приглашенье на обед в ближайшее воскресенье. — Пастернак был приглашен на обед к Когену в субботу 13 июня. В этот день он уезжал в Киссинген (Бавария), к родителям и на день рождения Иды Высоцкой. Именно это, второе, свидание с ней положило конец занятиям философией и стало началом запойного писания стихов.

У господина тайного советника садятся за стол в двенадцать... — в машин. 1931 г. после этих слов: «а никакими силами вам... — Однако если можно было еще простить вмешательство в мою открытую переписку, в этом попеченьи...»

.. .как смотрел я в ту сторону в вечер... — в маш и н. 1931 г. после этих слов: «своего первого найма и прибытия сюда новичком, от Самарина и Локса из далекой вьюги на бульваре у крыльца Cafй grec».

С. 185. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыханья, стрелой выбегали наружу. — Вместо выбегали наружу в машин.: «пробегали насквозь на слепящий свет».

С. 186. Я разумею то, чего не знают дети... — в машин. 1931 г. вариант: «Это было то, чего не знают дети и что есть чувствованье настоящего». И далее: «Когда в начале "Охранной грамоты" я сказал, что временами любовь обгоняла солнце и оказывалась в голове природы, я разумел именно эту сквозную, на все распространяющуюся объявленность чувства. Я имел в виду его очевидность, каждое утро опережавшую всякий иной вид очевидности ясностью вести, только что подтвержденной. От него исходил дух факта...».

...в Тристане, Ромео и Юлии... — классические любовные сюжеты средневекового романа «Тристан и Изольда» и «Ромео и Джульетты» Шекспира.

Его нельзя направить по произволу — куда захочется, как телескоп. — В этих словах слышатся возражения против «социального заказа», необходимость которого пропагандировалась в те годы в советской литературе.

С. 187. Прямая речь чувства иносказательна, и ее нечем заменить. — В рукописи авт. сноска к этому месту («Опасаясь недоразумений, напомню...») отсутствует.

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим... Ко мне наезжал брат, а потом отец. — Поездка во Франкфурт была 28 июня 1912 г., к родителям в Киссинген Пастернак ездил 14 июля, брат Александр пробыл в Марбурге с 4 по 19 июля, Л. О. Пастернак приезжал 23 июля.

...я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца. — В машин. 1931 г.: «о каменноугольной клинописи Гарца». Речь идет о стих.: «Я лежу с моей жизнью неслышною...» («Piazza S. Marco»), «Он слышал жалобу бруска...», «Бесцветный дождь... как гибнущий патриций...».

С. 188. Та, прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. — В машин. 1931 г. вариант: «...скоплялась из узкосердечья, из дрожи за целость моего построенья. Нынешней же я не стирал, потому что она мне нравилась. Я был солидарен с землей, и мне ничем не хотелось отличаться от щебня Гиссенской дороги».

Was ist Apperzepzion?— Апперцепция — восприятие, при котором происходит узнавание на основе ранее сложившихся представлений.

С. 189. Подняв руки, он еле унял бурю... повторил мне мой собствен-ный ответ. — В рукописи вариант: «...сухо повторил мои собственные слова». — Тоже в машин. 1931 г.

Трамбовочный хопер (копёр) — машина для забивания свай и разбивания горной породы.

С. 190. Ихобучали фехтованью. — В рукописи вычеркнуто: «Их обучали фехтованью на штыках». — То же в машин. 1931 г.

...егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию... — купившим дюжину или больше картонных листов с изображением солдат стрелковых частей (егерей) бесплатно давался и клей — гуммиарабик.

...бледные долговязые Неттельбеки. — В машин. 1931 г. далее: «в жилетках без камзолов». — Иоахим Неттельбек (1738-1834) — немецкий военный деятель, прославился при обороне Кольберга от французов в 1806 г., составил свое жизнеописание (1821-1823 гг.).

Сон был во фридерициаиском стиле... — художественный стиль времен столетней войны, распространенный в XVIII в. Шанцы — окопы.

С. 191. И вот оно задело за экзерцирплац... — в рукописи вычеркнут вариант: «как за стрелки циферблата, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля, пришедши в движение, стал вращающимся сновиденьем о войне». И далее в машин. 1931 г.: «Часовым же его заводом, как и всего того, что равномерно совершалось во сне, была грусть, заключавшаяся в истории с В.» Экзерцирплац — площадка для строевых занятий.

Моему сыну седьмой год. — Евгений Борисович Пастернак родился в 1923 г.

С. 192. ...по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей. — Далее в машин. 1931 г.: «Свои шаги, сопровождая его, приходилось соразмерять с походкой достопримечательности».

...впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. — См. краткую передачу разговора с Когеном в письме А. Л. Штиху: «На пустой, полуденной улице, возле парикмахерской встречаю Когена. В день моего отсутствия пришло ко мне приглашение его посетить...ит ihren freundlichen Besuch bittet Ihr Professor Herrn. Cohen (Профессор Коген просит Вас дружески посетить его. — Е. П.). Я, конечно, извиняюсь. Длинный разговор. Между прочим расспросы, что я думаю делать... Россия, еврей, приложение труда, экстерном, юрист. Недоумение: "Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры (доцентуры) — раз у меня все данные на это?"» (17 июля 1912).

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно... — последнее слово исправлено по наборной машин. (РГАЛИ), в рукописи вычеркнуто: «окончательно», в издании 1931 г.: «совершенно».

С. 193. ...поднос с тремя бокалами клубничного пунша... — далее в рукописи вычеркнуто: «заказанный вероятно кем-то дальше, в другом конце кафе».

Отписка из университета получена. — Получение Abmeldung, то есть бумаги, удостоверяющей конец приписки к университету, датируется 3 августа 1912 г.

Времени на укладку за глаза. Решено — еду. — В рукописи после этих слов: «дело в шляпе». — То же в машин. 1931 г.

С. 194. Мы простились, я вышел вслед за Г-вым... — этот эпизод Пастернак описал в письме Р. Н. Ломоносовой: «Чудным летним вечером в одном Марбургском кафе три товарища, два немца и француз, стали убеждать меня, что надо мне посмотреть Италию. Не расстраивая стола и не учащая темпа беседы, мы спросили у кельнера Kursbuch (расписание поездов. — Е. П.). Был отыскан ближайший по времени Bummelzug (пригородный, дешевый поезд. — Е. П.) с целым хвостом пересадок. Оставалось еще время сходить к хозяйке <...> Собеседники мои уже находились на вокзале, куда перешли из ЬокаГя (пивной. — Е. П.). Все это носило характер студенческого задушевного чудачества» (20 мая 1927).

С. 194—195. Со слов: Когда пространство, прежде бывшее родиной материи... и до: поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено по наборной машин. (РГАЛИ).

С. 195. Со слов: Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности... и до: Он был поврежден сыростью еще больше, чем я — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено по наборной машин. (РГАЛИ).

...безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Ведь в выходы общностями не ломятся, и чем ближе к выходу, тем тесней. Ведь собственно и жизнь-то до тех пор и жива, пока она — столкновенье у выхода. Со случайностями, становящимися родными, и с людьми, и веками, и со всем, что впереди и позади».

Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой... — художницей Евгенией Владимировной Пастернак (1898—1965). Они провели в Марбурге 5 и 6 февраля.

С. 196. ...период Рурской оккупации. — По Версальскому договору 1919 г. главная промышленная область Германии Рурский бассейн была демилитаризована и находилась под контролем союзников, заводы стояли, страну постигла обвальная девальвация.

St-Gothard — горный перевал в Альпах.

С. 197. «Симон, ты спишь?»... «ибо глаза у них отяжелели». — Цитаты из Евангелия (Мк. 14; 37, 40), соотносят этот момент со временем, когда Иисус Христос в Гефсиманском саду просил учеников бодрствовать вместе с ним.

, ...по-кумовски перемывая косточки земле. — Далее в рукописи вычеркнуто: «Доставалось также дорожным сторожам, телеграфным столбам и виадукам». — То же в машин. 1931 г.

Микеланджелова ночь — имеется в виду скульптура Микеланджело (1475—1564) на гробнице Лоренцо Великолепного в виде спящей женской фигуры, склонившей голову на плечо.

Я был в Милане полдня и не запомнил его. — См. об этом в письме Р. Н. Ломоносовой: «Впоследствии я сообразил, что был в Милане, и образ собора составился у меня не по одним репродукциям. Дело в том, что уже в Базеле, бродя по музею, я падал с ног от недосыпанья; ночи я проводил в дороге, в поезде, чтобы не издерживаться на гостиницы. И Милан точно приснился мне, лучше сказать сновиденьем скользнул по ногам, бессильный подняться выше. Зато не в пример Милану как раз это состоянье, похожее на медиумический транс, помогло Венеции и Флоренции, и без того ни с чем не сравнимым, всей своей неподготовленной божественностью войти и до самой кости врезаться в мою память» (20 мая 1927).

С. 198. ...по прибытьи в Венецию... основательно отоспаться. — В рукописи после этих слов: «Местре, последний участок террафермы, срываемый в воду с песком, станционными постройками и паровозом, упершимся в рельсы, чтобы не унесло ветром. Затем темнота и плесканье какой-то чернильной зыби под окнами. Ощущенье, точно идем по воде». — Тот же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин. (РГАЛИ) рукою автора вычеркнуто. Терраферма (твердая земля) — берег Венецианского залива.

Прерафаэлиты — группа английских художников и писателей XIX в., ориентировавшихся на искусство средних веков и Раннего Возрождения (до Рафаэля).

С. 199. Вендрамин, Гримани (Гримальди. — Е. П.), Корнер, Фоскари, Лоредан — дворцы по берегам Большого канала. Риальто — мраморный мост через Большой канал.

С. 200. Подойдя к нему с чемоданом... — см. этот эпизод в письме Р. Н. Ломоносовой: «Люди и земля принимали меня тогда как брата. В Венеции я остановил человека, показавшегося мне двойником Мар-бургского кельнера (с Kursbuch'oM), особенно тогда настаивавшего на моей поездке. Без знанья итальянского, которому я подражал исключительно по-птичьи, одного курьеза ради, — без языка, я вознамерился объяснить остановленному эту сложную метафизическую иллюзию и ее прелесть. Я нес невозможную околесицу, и меня понимали. Я путал scimmie и camisce (так, кажется?), смешивал coltello и sportello, и на мои вопросы об обезьянах меня успокаивали, что комната без клопов, а на вопрос о ножике указывали билетную кассу» (20 мая 1927).

По горбатым мостам проходили встречные... — далее в машин. 1931 г.: «и задолго до того, как вырваться наконец из теми на свет и проплыть мимо, о приближении венецианки...». Лещадки — обтесанные плитки.

С. 201. Йозеф Радецкий (1766-1858) — генерал-губернатор австрийских владений в Северной Италии.

С. 202. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел. — Далее в машин. 1931 г.: «На комоде валялись вязальные спицы, шерсть в клубках и мотках, игольники и подушки для булавок, словно горсть рассыпанных в беспорядке колючих каштанов».

С. 203. Льяцца — площадь Сан Марко, ограниченная с восточной стороны собором Сан Марко, отдельно стоящей кампанилой (колокольней) и Дворцом дожей. К площади примыкает пьяцетта и подходит мер-черия — главная сухопутная улица.

Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья... — после этих слов в «Красной нови» (1931, № 4) следует: «вслед за чем отламывается воздух от воздуха, и раскинув...». — Тоже в машин. 1931 г.

С. 205. ...в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто... — Паоло Веронезе (1528— 1588) и Якопо Тинторетто (1518—1594) — венецианские живописцы. Пастернак отмечает соединение в одном здании Дворца дожей произведений высокого искусства Венеции и мрачных свидетельств политического деспотизма.

Известно, какой страх внушала эта «bocca di leone» современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель... — в этих словах звучат живая боль недавнего расстрела молодого литератора В. А. Сил-лова (1902—1930) и возмущение Пастернака тем, что «по утрате близких людей мы обязаны притвориться, будто они живы, и не можем вспомнить их и сказать, что их нет» (письмо Н. К. Чуковскому 31 марта 1930).

...в отличие от отдельных картин, увидеть самое живопись, как золотую топь... — после этих слов в «Красной нови» (1931, № 4) следует: «кипящую под ногами, как особый язык, как один из основных омутов творчества». — Тот же текст в рукописи 1931 г.

Витторе Карпаччио (Карпаччо) (ок. 1455 — ок. 1526) и Джованни Беллини (ок. 1430-1516) — венецианские живописцы Раннего Возрождения, картины которых отличаются гармонией колорита и поэтичностью.

С. 206. Именно благодаря этой путанице... — с этих слов и до: ...преходящего величья — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ).

Надо видеть Веронеза и Тициана, чтобы понять, что такое искусство. — Паоло Веронезе и Вечелио Тициан (1476/77 или 1489/90-1576) — венецианские живописцы Высокого Возрождения, произведения которых наполнены красотой и чувственностью.

Кругом —львиныеморды... — с этих слов и до: ...Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире... — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ). — После этих слов в рукописи вариант: «смещение силовых осей объективности». Тот же текст в «Красной нови» (1931, № 4). Снятый цензурой в издании 1931 г. абзац — откровенная параллель с практикой политических арестов 1920-1930-х гг.

С. 207. Вот чем я тогда интересовался... — в рукописи после этих слов вычеркнуто: «переоценивая примитивов...». — Тот же текст в машин. 1931 г.

С. 208. Эпизод с папой Юлием Вторым, осматривающим сикстинский плафон (плафон Сикстинской капеллы), приведен в книге «Переписка Микель-Анджело Буонаротти и жизнь мастера», написанной его учеником Асканио Кондиви.

Джироламо Савонарола (1452-1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции, который выступал против тирании Медичи, призывал церковь к аскетизму и осуждал гуманистическую культуру.

Неукрощенный Савонарола разрушает ее. — Далее в рукописи вычеркнуто: «Разумеется, если я обо всем этом и думал, то только урывками, походя и очень бегло. И не надо забывать о чуде самого города, которое превосходило наивозвышеннейшую философию, и перламутром переливалось в воде, и плескалось акварелью в небе, и

воплощалось то в толпе, кормящей голубей на площади, то в кротовьей слепоте, поражавшей глаза при выходе из церковного мрака на паперть, закапанную каленым солнцем полдня, то, наконец, просто в персиках, косточки которых так приятно сплевывать в воду, шагая по каменному краю набережной».

Вечером накануне отъезда... — с этих слов и до: Когда концерт кончился... — в рукописи под заклейкой — ранний вариант: «Накануне моего отъезда был концерт с иллюминацией на пьяцце, какие часто устраиваются в Венеции. Ограничивающие площадь фасады сверху донизу покрылись горящими остриями лампочек. Она озарилась ажурным черно-белым транспарантом. Оркестр под открытым небом играл увертюру за увертюрой, и лица слушавших были по-банному разварены и ярки, как в закрытом расточительно освещенном месте. Вдруг с воображаемого потолка этого бального зала стало слегка накрапывать, как на взаправдашней городской площади где-нибудь на далеком севере Европы. Но едва начавшись, нездешний дождик другого города перестал, не дав слушателям разбежаться. Башня колокольни порфировой ракетой прожигала розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. В глубине, кутаясь в темно-оливковые пары, священным кактусом темнел пятиголовый византийски готический собор. Прилегающий к нему край площади казался подводным царством, в высоте над которым золотом волновались четыре лошади, примчавшиеся сюда вскачь из древней Греции и со всего разбега остановившиеся у обрыва».

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем... — в машин. 1931 г. после этих слов вариант: «искавшие обольстить и уничтожить, и быстро скрывались. Они были насурмлены и насухо оштукатурены, и тот, на кого они оглядывались, видел перед собою черное лицо венецианского платка. Их графическая осанка и подчеркнутая быстрота в темпе allegro irato соответствовали ровному дрожанию иллюминации, сверху донизу алмазной». (Allegro irato — характеристика музыкального темпа: быстро и гневно.)

С. 209. В стихах я дважды пробовал выразить ощущение... — имеется в виду стих. «Венеция» (1913), переработанное в 1928 г.

С. 210. Таково было искусство. Каково же было поколенье?— В рукописи после этих слов вычеркнуто: «В среде интеллигентской оно было, пожалуй, первым нереволюционным поколеньем чуть ли не [Нови-ковских] Радищевских времен. Ему казалось, что растянувшаяся на все девятнадцатое столетье задача разрешена на его глазах отцами, и оно не давало отпора индивидуализму, изливающемуся на человека всякий раз, как он отвлечен от жизни тревогами истории.

Но моих сверстников можно характеризовать еще и по-другому».

С. 211. Однако для полноты их характеристики... — с этих слов и до: Когда я возвращался из-за границы... — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ).

Карл Стюарт I (1600-1649)— английский король, казненный в ходе революции.

Людовик XVI (1754-1793) — французский король, осужденный Конвентом и казненный.

Столоверченье — прием для вызывания духов умерших в спиритических опытах.

Ходынка — катастрофа на Ходынском поле в Москве, произошедшая 18 мая 1896 г. во время раздачи подарков в дни коронации Николая II, когда в давке погибло 1389 человек и почти столько же было изувечено.

Кишиневский погром — еврейский погром в Кишиневе 6-8 апреля 1903 г., санкционированный правительством и министром внутренних дел В. К. Плеве, во время которого было убито и изувечено несколько сот человек.

Девятое января 1905 г. («Кровавое воскресенье») — расстрел мирной демонстрации, шедшей с челобитной к царю.

С. 212. Генриэтта-Мария (1605-1669)— жена Карла I, имевшая на него большое влияние.

Мария-Антуанетта (1755-1793) — французская королева, жена Людовика XVI, противница реформ, вызвавшая ненависть к королю народа и казненная по решению Конвента.

Александра Федоровна (1872-1918) — русская императрица, расстрелянная с мужем и детьми.

Григорий Ефимович Распутин (1872-1916) — крестьянин Тобольской губернии; имел неограниченное влияние на царицу и ее окружение.

...чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанью. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Аполитизм моего поколенья был аполитизмом, обычно присущим всякой монархии. Кроме того, это был аполитизм сугубо типический для названного порядка, потому что это было царствованье угасавшее, усиливавшее своей обреченностью все роковые черты наследственного строя. Наконец, чтобы быть исторически точным, это был аполитизм полунапускного опрощенья, в котором встретились и смешивались две волны, волна естественной демократизации, пропитавшей общество в девятьсот пятом году и все больше им овладевавшей, и волна искусственного опрощенчества, демагогически шедшего сверху. Иванушка дурачок был в моде, и — не общество, сама империя, болтавшая за сэндвичами по-английски, рядилась в быту и прикидывалась неграмотной и придурковатой бабой».

...главной особенностью царствованья — равнодушием к родной истории. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Если же это был интерес, то он скорее походил на заинтересованность историей полка или какой-нибудь корпорацией».

Валентин Александрович Серов (1865-1911) — художник, близкий друг Л. О. Пастернака, в течение Шлет, с 1891 по 1901 г., написавший серию портретов царской семьи. После нескольких замечаний императрицы, выразившей пренебрежительное отношение к художнику, решительно отказался от «высочайших заказов». Были известны также его карикатуры на Николая II и его мать вел. кн. Марию Федоровну.

...на рисовальных вечерах у Юсуповых... — Л. О. Пастернак вспоминал о посещении вместе с Серовым и другими художниками вечеров у Голицыных, где они рисовали княгиню Юсупову. Ее портрет, написанный Пастернаком, был приобретен вел. кн. Сергеем Александровичем («Записи разных лет». М., 1975).

...кутеповское изданье «Царской охоты»... — альбом «Великокняжеская и царская охота на Руси» в 4 т. СПб., 1896-1898, 1902, 1911, выпущенный по инициативе заведующего хозяйственной частью дворцовой службы полковника Н. И. Кутепова. В издании принимали участие многие знаменитые художники, в том числе Серов и Пастернак.

С. 213. Николай Алексеевич Касаткин (1859-1930) — художник, преподаватель Училища живописи, ваяния и зодчества, друг Л. О. Пастернака. Его сын Миша участвовал в боевой дружине училища Фидлера в 1905 г., был арестован и 4 месяца находился в Бутырской тюрьме.

. Пониманье любви как поединка... — имеется в виду стих. Ф. И. Тютчева «Предопределение» (1851): «Любовь, любовь — гласит преданье — / Союз души с душой родной — / Их съединенье, сочетанье, / И роковое их слиянье, / И... поединок роковой...».

Новаторы — ничем, кроме выхолощенной ненависти... — ср. слова С. М. Третьякова об этом времени: «Футуризм никогда не был школой. Он был социально-эстетической тенденцией, устремлением группы людей, основной точкой

соприкосновения которых были даже не положительные задатки, не четкое осознание своего "завтра", но ненависть к своему "вчера и сегодня", ненависть неутомимая и беспощадная» («Леф», 1923, № 1.С. 193).

Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной... — скрытая ссылка на сюжет оперы В. Г. Эренберга «Вампука, невеста африканская...» (1909), в которой обезьяна пародирует, не понимая смысла, подслушанные эпизоды жизни и поведения людей.

С. 214. «Садок судей» — 2-й выпуск футуристического альманаха (СПб., 1913, февраль). Здесь напечатаны первые стихи Маяковского: «В шатрах истертых...» и «Отплытие».

Вадим Габриэлевич Шершеневич (1893-1942) — поэт и переводчик. Константин Аристархович Большаков (1895-1938) — поэт и прозаик.

С. 215. Сергей Павлович Бобров (1889-1971) — поэт, переводчик и прозаик.

...они нас однажды задели... — в «Первом журнале русских футуристов» (1914), где печатались Большаков, Шершеневич и Маяковский, содержались резкие выпады против группы «Центрифуга». Бобров в сб. «Руконог» ответил грубостью, что стало поводом вызова обидчиков для объяснений. Вызов был датирован 2 мая 1914 г.

...я не отрываясь наблюдал Маяковского. — Эта сцена в нескольких близких друг другу вариантах записана С. П. Бобровым у себя в дневнике, там же некоторые реплики Пастернака, обращенные к Маяковскому: «—А об чем надо говорить? О поэзии? Извольте, я вполне согласен говорить о поэзии, это достойная тема, и я думаю, что она для вас не чужая. — Маяковский взглянул на него насмешливо и недоверчиво <...> — Ну неужели же я вам должен объяснять, что такое подлинность в искусстве? Не знаю, как вы ответите мне, но мне кажется, что это для вас, просто как для талантливого человека, вещь самая простая...» (РГАЛИ, ф. 2554).

С. 217. ...как в «Золотом петушке». — Имеется в виду опера Н. А. Римского-Корсакова с декорациями К. А. Коровина.

Большой желтый бульвар лежал пластом... — в рукописи вычеркнут вариант: «Большой, как летний день, бульвар лежал ничком, головой к Пушкину, ногами к меблированным комнатам на Никитской».

С. 218—219. Что же в нем было столь непривычного?—С этих слов и до: С зарядом этой непривычности... — выпущено в «Красной нови» (1931, № 5-6).

С. 219. ...в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств... — в рукописи вместо неудобств первоначально было: «гонений».

Его место в революции... — с этих слов и до: Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому... — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин., восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ). Далее в рукописи вычеркнуто: «Привыкнуть нельзя было к тому, что и самим пытающимся переживается в рвущемся вон и изливающемся в вековых откровенностях движеньи, к разноименному в поколеньях и вечно содержащемуся в поэзии поэту».

Я снимал комнату с окном на Кремль. — В Лебяжьем переулке, дом 6.

Николай Николаевич Асеев (1889—1963) — поэт, начинавший печататься в тех же изданиях, что Пастернак; в 1920-х гг. ближайший сотрудник Маяковского.

Он пришел бы от сестер С.... — сестер Синяковых, которые жили тогда в Замоскворечье. На одной из них, Ксении Михайловне, Асеев вскоре женился.

Юргис (Юрий Казимирович) Балтрушайтис (1873-1944) — русский и литовский поэт-символист. Летом 1914 г. в Петровском на Оке Пастернак жил в семье Балтрушайтиса в качестве домашнего учителя его сына Жоржа.

Вячеслав Иванович Иванов (1866—1949) — поэт-символист.

Остальные дачники были также из артистического мира. — В издании 1931 г. к этому месту авт. примеч.: «Среди них Е. В. Муратова», отсутствующее в рукописи. Евгения Владимировна Муратова — первая жена писателя П. П. Муратова (1881-1950), воспетая под именем «Царевны» в стихах В. Ф. Ходасевича 1911 г., в 1920-х гг. — редактор «Красной нови», где публиковалась «Охранная грамота».

С. 220. С гиперболизмом Гюго... стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов. — Вероятно, речь идет об одном из разговоров В. И. Иванова с Пастернаком в Петровском на Оке летом 1914 г.

С. 221. ...усмехалась в углы плотно сколотых платков. — После этих слов в рукописи вычеркнуто: «И хотя это было в начале войны, ноги разминали по команде, орали с ведома начальства и в наглости из субординации не выходили, из классных в радости товарных не вмешивались, потому что остановка была короткая и без буфета. Раздавался рев взорвавшегося озорства. Поезд трогался. Все смолкало вдали. За поездом, как за перекормленным рысаком, на подушках облаков оставались горячие комки крутого рассыпчатого дыма».

З. М. М-ва — Зинаида Михайловна Мамонова, певица.

Исай Александрович Добровейн (1890-1955) — композитор, дирижер, последние годы руководил Филадельфийским оркестром.

Велимир Хлебников (наст, имя: Виктор Владимирович; 1885-1922) — поэт-будетлянин.

...поэзия моего пониманья все же протекает в истории... — в рукописи после этих слов вариант: «и у людей, а не в описанных Свифтом государствах».

Игорь Северянин (наст, имя: Игорь Васильевич Лотарев; 1887-1941) — эгофутурист. После выступления Северянина в декабре 1912 г. в «Обществе свободной эстетики» Пастернак писал К. Локсу: «Как мало обещает сочетание слов "Игорь Северянин". Между тем после двусмысленностей, колеблющихся между косметикой и акосмизмом, следует поэма, развернутая во всем великолепии ритмики и мелодичности, которая составлена из названий мороженого, пропетых гарсоном на площади под нестройный, плещущий гомон столиков. В этом стихотворении при всей его вычурности, на уровне первобытных наблюдений, — схвачена печаль разнообразия, непокоренного целостностью. Что же касается дальнейших стихотворений, то в них уже — открытое море лирики». Речь идет о стих. «Сирень в мороженом» (1912).

С. 222. ...поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей... — в рукописи после этих слов вычеркнуто: «— и сюда я включаю себя и Асеева».

С. 223. ...влюбой последовательности, не насилуя слуха — после этих слов вычеркнуто: «Речь не о размерах, разумеется, а о породе». О дружбе Маяковского с Большаковым вспоминал Асеев: «До меня он был также, кажется, дружен с Константином Большаковым, поэтом одного с ним роста и внешней самоуверенности, при большей мнительности и уязвимости душевной. Кроме того, Большаков был добр, что тоже ощущалось Маяковским безошибочно» («Маяковский в воспоминаниях современников». М., 1963. С. 417). Скромность Большакова сказалась также в следующем признании: «Когда в позапрошлом году появилась "Охранная грамота" Пастернака, многие совершенно серьезно недоумевали, почему это мне там посвящены такие строки» («Литературная газета» 7 августа 1932).

...воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Подбор его знакомых был законен. Он их избирал в прикрытье своей самоизоляции, с мрачной логикой на все махнувшего рукою фаталиста».

С. 224. ...сын Шестова... — сын философа и писателя Л. И. Шес-това (1866—1938), Сергей Львович Листопад, погиб в 1916 г.

...освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях. — Из-за сломанной в 1903 г. и сросшейся с укорочением ноги.

Через год я уехал на Урал. — В январе 1916г.

Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. — В конце сентября 1915 г.

С. 225. ...он мял взмахами шагов версты улиц... — перифраз из поэмы Маяковского «Флейта-позвоночник»: «Версты улиц взмахами шагов мну».

...вышло «Облако в штанах». — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «И не только он, даже его книжка форматом и набором была вторым Литейным в огнях, прохожих и снежном кишеньи извозчиков».

...разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки»... — эти мысли нашли отражение в писавшейся в апреле 1916 г. статье о Шекспире и в январе 1917 г. — рецензии на книгу Маяковского «Простое как мычание». — Действие «Капитанской дочки» Пушкина происходит в местах восстания Пугачева, на Урале и в Прикамьи, где Пастернак жил в 1916 — начале 1917 г.

Смеясь, он почти со мной соглашался. — В рукописи после этих слов вычеркнут эпизод («Ранние редакции»: «Уже и раньше, или, лучше сказать, всегда...». С. 521).

С. 226. Орфизм — религиозно-мистическое течение в Древней Греции (VI в. до н. э.), происхождение которого связано с обновленным культом Диониса и введением очистительных обрядов.

Пассионалии — средневековые мистерии Страстей Господних.

С. 227. ...смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши... — слово «террор» выпущено в издании 1931 г., было в рукописи и машин. 1931 г., восстановлено по наборной машин. (РГАЛИ).

Хозяин квартиры, бородатый газетный работник... — журналист Михаил Давыдович Розловский, у которого в доме 12 по Сивцеву Вражку Пастернак снимал комнату в 1917-1918 гг.

Они стреляли то пачками... —• с этих слов и до: Иногда их трескотня переходила... — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин. 1931 г.; восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ).

С. 228. ...особняк в Трубниковском переулке, дом 17, принадлежал художнику и коллекционеру И. С. Остроухову. Теперь там находится Государственный Литературный музей.

Корниловский мятеж произошел 25—31 авг. 1917 г. Его возглавлял генерал Л. Г. Корнилов (1870-1918).

...спорил я с Маяковским. — В рукописи после этих слов вычеркнуто: «Была осень. Передо мной ходили и сталкивались мокрые деревья сада и за ними бежало, отряхиваясь на бегу, грязное, забрызганное до бровей, мокрое облачное небо».

Константин Абрамович Липскеров (1889-1954) — писатель и пере-водчик.

...с тем... что разбивал лбом вершковые доски. — Владимир Гольд-смит.

...впервые как с чужим говорил со своим любимцем... — в рукописи вместо этих слов было: «впервые совершенно, как с обыкновенным смертным говорил со своим кумиром». Вечер, о котором шел спор, состоялся 24сент. 1917 г. в Политехническом музее.

...в доме стихотворца-любителя А. — Встреча у Амари (Михаила Осиповича Цетлина; 1882-1945) состоялась28 января 1918 г. М. Цветаева в письме Пастернаку 29 июня 1922 г. вспоминала об этой встрече: «Когда-то (в 1918 г., весной) мы с вами сидели рядом за ужином у Цейт-линов. Вы сказали: "Я хочу написать большой роман:

с любовью, с героиней — как Бальзак"» (Марина Цветаева. Собр. соч. в семи томах. Т. 6. М., 1995. С. 222).

С. 229. Маргарита Васильевна Сабашникова (1882-1973) — поэтесса, художница, автор мемуаров.

На родину его вернула революция. — Андрей Белый вернулся из Швейцарии в Россию в сентябре 1916 г.

С. 230. Он в тесном кругу прочитал «150 ООО ООО». И впервые мне не-чего было сказать ему. — Б. Ф. Малкин вспоминал об этом чтении: «Мне хочется припомнить, как лет двенадцать назад мы в небольшой группе, я, Маяковский, Пастернак и др., состоящей из 7-8 человек, слушали, как Маяковский читал свои "150 миллионов", и помню, как сейчас, взволнованность Пастернака, который после окончания чтения подошел к Маяковскому и сказал: "Володя, — после "Облака в штанах" — это ваш конец"». На том же литературном декаднике в ФОСП 13 апр. 1932 г. С. И. Кирсанов сказал: «"Охранная грамота" — это линия отрицания огромного творческого подъема, который пережил Маяковский за последнее время» (Стенограмма. И МЛ И, ф. 120).

...издавали «Современник»... — речь идет о пушкинском «Современнике», разрешение на издание которого было получено в последний год жизни Пушкина, в 1836 г. Аналогии с биографией Пушкина расширяют понимание последнего года поэта как повторяемой из века в век закономерности.

С. 232. Каких только слонов не делают тут из мух. — В рукописи после этих слов было: «О, когда бы только не эта новая, ни с чем не сравнимая уязвимость полного душевного обнаженья!» — Тот же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин. (РГАЛИ) вычеркнуто автором.

С. 233. ...представив свою драгоценность миру... — в предсмертном обращении к правительству Маяковский причислял В. В. Полонскую к своей семье с просьбой к государству позаботиться о ней.

Но одинаковой пошлостью стали давно... — в рукописи вариант: «Но одинаково глупо произносятся на свете слова: гений и красавица. А как они близки по смыслу!» — Тот же текст в «Красной нови» (1931, № 5— 6). — Вычеркнуто автором в наборной машин. (РГАЛИ). Эта главка посвящена роману Маяковского с Вероникой Витольдовной Полонской, но в ней отразились также судьба и характер Зинаиды Николаевны Ней-гауз, вскоре ставшей второй женой Пастернака.

С. 234. Ольга Георгиевна Силлова (Петровская; 1903-1988) — поэт, переводчик. ...выход ее собственному горю. — Имеется в виду недавний расстрел ее мужа В. А. Силлова. В публикации 1931 г. это имя обозначено инициалами: О. С. и далее С-вой. В наборной машин. (РГАЛИ) дано целиком.

ЯковЗахарович Черняк(1895-1955) — историк литературы. Николай Михайлович Ромадин(1903-1987) — художник.Женя — Евгения Владимировна Пастернак (1898-1965) — первая жена Пастернака, художница.

С. 235. ...прижав голову к притолоке, плакал Асеев. — В рукописи вычеркнуто: «Уткин».

...беззвучнорыдавший Кирсанов. — В рукописи вычеркнуто: «Асеев».

С. 236. Л. А. Г. — Лев Александрович Гринкруг (1899-1965) — друг Л. Ю. Брик, киноработник.

..маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. — Л. Ю. Брик была в это время в Лондоне у матери.

...упорно куда-то порывался и... — после этих слов в рукописи: «неуклонно, шаг за шагом, куда-то уходил». — Тот же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин. (РГАЛИ) вычеркнут рукою автора.

Это было выраженье, с которым начинают жизнь... — в рукописи после этих слов вычеркнуто: «...а не которым она кончается, и сколько в бровях, во лбу и положеньи головы было от молниеносности последних просьб, доводов и представлений, сколько отчаянья, вдруг побежденного сухим усильем воли. Он дулся и негодовал.

И как бы себе в оправданье я плача перебирал в памяти то, что разместилось в своей неисчерпаемости по неисчислимо богатым шестнадцати этим годам, и что примерными крупицами в случайном отборе я разнес по этим страницам. Но все же это не был тот возвышающий, пьянящий траурный плач пополам с ликованьем, как в смерти Зигфрида, за которым перебрался я из столовой к его телу». (Зигфрид — герой опер Вагнера «Кольцо Нибелунгов», траурный плач по его смерти звучит в опере «Золото Рейна».)

С. 237. В своей осязательной необычайности оно... — в рукописи после этих слов вычеркнут вариант: «напоминало когдатошнюю желтую кофту покойного». В публикации в «Красной нови» (1931, № 5-6) эта фраза выпущена.

С. 238. ...этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. — В «Красной нови» вариант: «редчайшим гражданином».

Остальные боролись, жертвовали жизнью... — с этих слов и до: «Я толькоу этого новизна времен... — выпущено при публикации 1931 г.; было в рукописи и машин.; восстановлено в наборной машин. (РГАЛИ).

Он с детства был избалован будущим... — в рукописи после этих слов: «в котором жил уже мальчиком, опередив нас всех. Оно далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда». — Тот же текст в машин. 1931 г. — В наборной машин. (РГАЛИ) исправлено автором.

Записки Патрика. — «Литературная газета» 31 дек. 1937 («Из нового романа о 1905 г.»: отрывок из главы «Ночь в декабре», начиная со слов: «Предсказания Харлушкиной оправдались...»). — «Литературная газета» 15 дек. 1938 («Два отрывка из главы романа "Уезд в тылу"»: с начала и до слов: «Роль его была не из легких...», далее со слов: «Я отправился к Истоминой»до конца главы). — «Огонек», 1939, № 1 (глава «Надменный нищий»). — «30 дней», 1939, № 8-9 (глава «Тетя Оля»). — «Новый мир», 1980, № 6, под назв. «Начало прозы 1936 года»; полностью по машин, с авт. правкой. Машин., отданная в журн. «Знамя», вернулась к автору в 1956 г. из архивов В. В. Вишневского, главного редактора этого журн.; на обложке автор написал: «Начало прозы 36 г.», на второй странице — уточнение: «Начало романа о Патрике». — Сохранилась обложка авт. машин., отданной в журнал в конце 1930-х гг., с несколькими последовательно записанными и вычеркнутыми вариантами названий: «Когда мальчики выросли»; «Записки Живульта»; «Записки Патрика», и примеч.: «Роман. 5 глав первой части, стр. 1-63. Экземпляр рабочий: просьба по использовании вернуть. Корректуру, в случае напечатанья, сверить тщательнейше с подлинником: он правленый» (НМЛ И, ф. 120). Машин., лежавшая в этой обложке и переданная в «Красную новь», не сохранилась, она была на одну главу (11 страниц) менее той, по которой печатается текст. — Рукопись и все следы подготовительных работ погибли зимой 1941-1942 г. в Переделкине. — Отрывок из черновой рукописи 1939-1940 гг. (см. «Ранние редакции»: « — Да что у тебя помолвка?..». С. 525).

Судя по упоминаниям в письмах, работа над романом была начата в 1932 г. «Я давно, все последние годы, — писал Пастернак 4 марта 1933 г. Горькому, — мечтал о такой прозе, которая, как крышка бы на ящик, легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы. И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать».

Начатая работа была вскоре прервана, Пастернак говорил, что «давал слишком много оценок явлениям». «Теперь это мне кажется наивным. Время разрешило

вопросы, вставшие тогда передо мной», — записал А. К. Тарасенков в январе 1935 г. его слова. Эту прозу Пастернак считал «крайне важной» для себя: «Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу налить вещь свинцом фактов. <...> Это будет дом, комнаты, улицы — и нити, тянущиеся от них повсюду» (Воспоминания. С. 159).

В 1936-1937 гг. Пастернак читал отрывки этой прозы друзьям, его сосед по Переделкину Б. А. Пильняк писал 26 нояб. 1936 г. К. А. Феди-ну: «Б. Пастернак <...> читал мне начало своего романа, тоже в первом лице, 16-й год с бытовыми подробностями и "деталями" "быта", Урал, она, заводчики, офицеры, по-чеховски, каждая фраза не длиннее строчки, "как сейчас помню", рассвет и закат на реке, верховая лошадь Сорока, конюх Игнат, уральская мельница в лесу, — сюжет и завязка (Боря говорит, даже злодей будет)» (Борис Пильняк. Мне выпала горькая слава... Письма 1915-1937. М., 2002. С. 382).

А. Н. Афиногенов записал в дневнике: «Роман Пастернака, судя по отрывкам, превосходен. Сжатые фразы, необычайная образность, простота, размах событий и охват <...> Его мы хвалили, он сидел и гмыкал, смущенный, но радостный» (Воспоминания. С. 379). Перечисленные Афиногеновым сюжеты и образы слышанных им глав (девушка в революции и история со шкапом) позволяют понять, что читаны были главы «Тетя Оля» и «Ночь в декабре».

Передавая в декабре 1937 г. отрывок из главы «Ночь в декабре» в «Литературную газету», Пастернак приложил записочку: «Я напишу в этом году первую часть романа. Роман будет в трех частях. Я не знаю еще, как он будет называться. Первая часть будет о детях» (И МЛ И, ф. 120). Но события большого террора не способствовали продолжению работы. Через год, 25 декабря 1938 г., Пастернак читал отрывки из романа на литературном декаднике секции поэтов в клубе писателей и вскоре писал своей сестре Л. Л. Слейтер, посылая опубликованные в «Литературной газете» отрывки романа, начатого «с большим увлеченьем» три года назад: «Таких глав у меня 7-8 переписанных, 3-4 вчерне и нуждаются в обработке, несколько — в голове, весь сюжет продуман, и хотя главных трудностей я даже не могу сформулировать, стыдно, что никакого романа нет (одни разговоры); то есть что он не написан несмотря ни на что» (12 янв. 1939).

В этой прозе уральские впечатления 1916 г. пополнены виденным во время поездок 1931 и 1932 гг., позволившим автору оценить катастрофические последствия происшедшего за эти годы. В ход повествования, относящегося ко времени Первой мировой войны, грустные наблюдения автора вкраплены как предчувствие будущего.

С. 240. Был Успенский пост. — Успенский пост приходится на две первые недели августа (1-15/ 14-28).

Кумышка — брага из кобыльего молока.

С. 241. ...в сибирке сборами... — короткий кафтан, опушенный мехом.

С. 242. ...назову главного директора Льва Николаевича Голоменнико-ва... — под этим именем выведен известный инженер-химик и революционер Лев Яковлевич Карпов (1879-1921), директор заводов в Тихих Горах; см. о нем в письмах Пастернака 1916 г. Основанный им Физико-химический институт в Москве носит его имя.

С. 244. Она была родом из здешних мест, кажется из Перми... — см. начало «Детства Люверс»: «Люверс родилась и выросла в Перми...»

Ее отец, адвокат с нерусской фамилией Люверс... застрелился, когда она была еще ребенком. — См. вычеркнутое место в рукописи «Детства Люверс»: «Екатеринбург занял в ее воспоминаниях место сердца у сердечно больного. Она полюбила его за то, что не раз он пугал ее так, как ничто потом; за то, что он принес горе, а впоследствии и несчастие семье, самое серьезное, какое только бывает: отец застрелился в Екатеринбурге, когда они жили уже в Москве». (Коммент. на с. 544.)

Другие приписывали это какой-то неизлечимой болезни. — Эта фраза выпущена в публикации отрывка в «Литературной газете» (31 дек. 1937). — См. в «Детстве Люверс»: «Люверс не препятствовал дружбе сына. <...> С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима». С. 60 («Посторонний», гл. III).

...ее муж, физик и математик Юрятинской гимназии... пошел на войну добровольцем. — Тот же биографический ход повторен в «Докторе Живаго» относительно Павла Антипова и Лары.

С. 251. ...надолго заболеваю бессонницей, как в позапрошлом году... — аналогия с реально пережитым летом 1935 г. нервным заболеванием. При встрече с сестрой Жозефиной в Берлине Пастернак рассказывал о намерении написать роман о своей второй жене З. Н. Нейгауз: «Роман об этой девушке... Прекрасной, дурно направленной... Красавица под вуалью в отдельных кабинетах ночных ресторанов. Кузен ее, гвардейский офицер, водит ее туда. Она, конечно, не в силах тому противиться. Она так была юна, так несказанно притягательна...» (Воспоминания. С. 27-28).

С. 253. Тевтоны и проливы... — имеются в виду распространенные в то время национально-патриотические идеи, оправдывающие войну необходимостью защиты от «тевтонов», то есть немцев, малых славянских народностей и завоевания проливов Босфор и Дарданеллы, чтобы иметь прямой выход в Средиземное море.

Вспомните Протасова из «Живого трупа». — Герой пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп» ушел из семьи, инсценировав свою смерть.

С. 255. ...на Фоминой... — неделя Апостола Фомы, следующая за Святой, Пасхальной.

...слоняюсь по 3-му Богоявленскому <...>Я не знаю, что это Большие Скотники... Щепихинские мастерские... не знаю я, что... красивая церковь... зовется Взысканьем погибших... — характерная московская топонимика не имеет, однако, соотнесения ни с одним реальным местом в Москве.

С. 256. Я на часах — караулю эту минуту, хотя и не ведаю, как о ней узнаю. — В «Огоньке» (1939, № 1) вариант: «хотя и не представляю себе, как о ней узнаю».

...с «Единственным и его достоянием» Макса Штирнера... — Макс Штирнер (наст, имя: Каспар Шмидт; 1806—1856) — немецкий философ, теоретик анархизма. Русский перевод его книги, написанной в 1844 г., вышел в 1918 г. под названием «Единственный и его собственность».

...стал бы шипеть и в том случае, если бы это был глагол самой истины. — В «Огоньке» вариант: «если бы это был голос самой истины».

С. 258. ...рясофорная, бисерящаяся птица... — с этих слов и до: «потом давится, как костью...» — выпущено в «Огоньке» (1939, № 1).

В «Огоньке» вместо: Глафира Никитична — Глафира Никитишна; вместо: негромко, как из комнаты в комнату, обращается она куда-то под крышу — «негромко, как из ложи в ложу у Корша, обращается она туда». Театр Корша находился в Петровском переулке, в теперешнем помещении филиала МХАТа.

С. 259. Анисовую настаивать или зверобой... Ха-ха-ха!— В «Огоньке» после этих слов вариант: «— Бога вы не боитесь... Моментально, Федор, прекратить, а то я при всех такое покажу тебе, будешь у меня помнить жал обить, как на Хитровке». (Хитровка — Хитров рынок, бывший также местом ночлежек для нищих и бездомных.)

После общего крика их спокойствие кажется гробовой тишиной... — в «Огоньке» вариант: «спокойствие кажется зловещим».

С. 260. ...живая всему на свете укоризна... — ироническая характеристика интеллигента из лирической комедии Н.А. Некрасова «Медвежья охота» (1867): «Ты

стоял перед отчизною, / Честен мыслью, сердцем чист, / Воплощенной укоризною, / Либерал-идеалист!»

С. 261. Каким-то сретенским Диогеном казался он себе... — имеется в виду древнегреч. философ Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 г. до н. э.), считавший себя гражданином мира.

Химик-любитель по Рубакину... — Н. А. Рубакин (1862-1946) — автор популярных книжек по вопросам естествознания, географии и истории.

По перводвигателю, материи и форме можно было догадаться, что это Аристотель... — в «Метафизике» Аристотеля излагается учение об основных принципах бытия; проблема Бога рассматривается как Пер-водвигателя и начала бытия.

— Вы это понимаете? — перебила Мотя свое чтение. — В «Огоньке» после этих слов вариант: «А чего тут понимать? Явная галиматья. Автор — имя почтенное, древний греческий философ. — Что ты думаешь, я не знаю? Но переводчика следовало бы пробрать».

С. 262. «И три рода людей...» — цитата из ветхозаветной Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова (25,3—4): «И три рот людей возненавидела душа моя, и очень отвратительна для меня жизнь их: надменного нищего, лживого богача и стари капрелюбодея, ослабевающего в рассудке».

С. 264. Булыгинский проект узаконил крамолу. — Проект выборной сословно-представительной законосовещательной Думы, подготовленный под руководством министра внутренних дел А. Г. Булыгина, был утвержден царем 26 июля 1905 г., но в результате революционных событий осени 1905 г. Булыгинекая дума не была созвана.

С. 265. ...недавно состоявшийся Третий съезд <...>о тогда еще новом расколе... — на III съезде социал-демократической партии, проходившем в Лондоне 12—27 апр. 1905 г., присутствовали только большевики, меньшевики созвали конференцию в Женеве. Резкая полемика расколовшихся фракций вылилась на страницы газет.

С. 266. Идеи механических упрощений занимали его... — в журн. «30 дней» (1939, № 8—9) вариант: «Идеи механических вращений занимали его».

С. 267. ...никакого огорчения она ей причинить не может, такая у той власть и сила. — В журн. «30 дней» вариант: «никакого огорчения она причинить не может — такая у той женщины власть».

Как иные званья объединяет язык и платье... — с этих слов и до: Мимо обширного застекления... — в журн. «30 дней» текст отсутствует.

Общетипическое отступало перед силою разностей и несходств. — То же наблюдение в «Детстве Люверс» дано на примере бездушной «наглядности» военных палаток, которая после слов Негарата сменилась жалостью к отдельным людям в солдатском платье (С. 61).

С. 268. Бывало, подымаешь вас на шарап... а самого раздумки бе-рут... — в журн. «30 дней» вариант: «а самого раздумье берет».

С. 269—270. В журн. «30 дней» отсутствует эпизод, со слов: — Пуговкин в ночной смене... и до: Терентьев сидел, опустив голову и свесив между колен сложенные руки. Не все в этих рассказах нравилось ему.

С. 270. «Что малые дети...» — в журн. «30 дней» вариант: «Что малые ребята, — думал он».

С. 271. Обнародовался манифест о свободах... — имеется в виду Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», провозглашавший гражданские свободы и законодательную Думу. Был подписан царем 17 октября 1905 г.

С. 275. Братья Рубинштейны... Софья Григорьевна... — Николай Григорьевич и Антон Григорьевич Рубинштейны (1835-1881; 1829-1894) — знаменитые пианисты и

дирижеры. Мать Б. Пастернака, Розалия Исидоровна, своей игрой на рояле привлекла внимание А. Г. Рубинштейна, который руководил ее музыкальным образованием. Ее рано завязавшиеся дружеские отношения с Софьей Григорьевной Рубинштейн продолжались до конца дней.

С. 277. Назойливое комариное зуденье, усыпительное чоканье и тихое шелестенье... — в «Литературной газете» (31 дек. 1937) вариант: «усыпительно перемешанное с тихим чоканьем и шелестеньем».

Нас держали взаперти... — в «Литературной газете» вариант: «Нас держали на запоре».

С. 278. ...переулки перегорожены пустыми баррикатами... устроят страженье на площади. — В «Литературной газете» простонародные особенности Глашиной речи выправлены: «переулки перегорожены баррикадами» и «устроят сраженье».

... чтобы укрепляться в яме, по которой можно стрелять отовсюду... — в «Литературной газете» вариант: «можно стрелять сверху из переулков».

С. 278. Семик — народный праздник, приходящийся на четверг седьмой недели после Пасхи, с гуляньями и плетением венков. В честь праздника вся неделя называется «семицкая».

И я тотчас захрапел, но через несколько минут снова проснулся. — В «Литературной газете» вариант: «И я тотчас захрапел, но понял, что действительно что-то неладно, когда через несколько минут вновь проснулся».

С. 283. У Анны Губертовны обнаружили воспаление коленного сустава. — См. «Помни про коленку. Опять, того гляди, забудешь, и чего доброго, это самое. А кому пользы, если ты сляжешь» («Ранние редакции»: «— Да что у тебя помолвка?..». С. 525).

С. 286. Союз Михаила Архангела — организация, отколовшаяся от «Союза русского народа», основными принципами ее деятельности были поддержка самодержавия и религиозная и национальная нетерпимость.

С. 289. ...юный классик?— Обращение к гимназисту классической гимназии.

...Фидлер, директор реального училища в Машковом переулке. Там был расположен штаб боевых дружин, куда входили также ученики старших классов. Здание училища подверглось артиллерийскому обстрелу.

Люди и положения. — газ. «Новое Русское слово» 12—26 янв. 1959, под назв. «Автобиографический очерк». — Борис Пастернак. Проза 1915-1958. Повести, рассказы, автобиографические произведения. Ann Arbor, 1961, под назв. «Автобиографический очерк». — «Новый мир», 1967, JSfe 1. — Автограф, надписанный сыну Леониду: «Лёне на память о сданном экзамене в университет, дорогому моему студенту. 18 августа 1956 г.», под назв. «Люди и положения. Вступительный очерк к книге избранных стихотворений. Весна 1956 г.». — Корректура сб. 1956, под назв. «Вместо предисловия».

Очерк был написан в мае-июне 1956 г. по заказу Гослитиздата для сборника стихотворений; о роли издательского составителя Николая Васильевича Банникова в возникновении очерка Пастернак написал в первой редакции «Заключения» («Ранние редакции». С. 533).

Издательство требовало сокращений, касавшихся Маяковского, А. Белого, М. Цветаевой. Чтобы снять редакторские претензии к тексту, по предложению составителя сборника Н. В. Банникова Пастернак написал специальную главу об отношении к революции «Сестра моя, жизнь», оставшуюся в собр. Банникова («Ранние редакции». С. 531). На полях рукописи этой главы авт. замеч.: «Вставка в виде отдельной дополнительной главы на стр. 45-ю верстки после Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его и перед "Три тени", но может быть

Николай Васильевич изберет лучшее место для вставки» (Автограф главы написан карандашом).

Издание сборника было остановлено весной 1957 г. В ноябре очерк был предложен «Новому миру» под назв. «Люди и положения», для чего было переписано «Заключение». Публикация не состоялась.

Написанию очерка способствовали разобранные весной 1952 г. альбомы с рисунками Л. О. Пастернака, уцелевшими от гибели архива во время войны, часть их была тогда же развешана в комнатах переделкинского дома. Это отражено в тексте очерка, во многих местах ориентированного на зарисованные отцом сцены и портретные наброски людей, которые воскресили в памяти события тех лет и позволили ярко воспроизвести их подробности. Если «Охранная грамота» посвящена памяти Рильке и недавно скончавшегося Маяковского, то очерк «Люди и положения» воскрешал имена намеренно «забытых» в то время людей: скончавшегося в Англии отца, художника Л. О. Пастернака, значение которого в творческом формировании сына неоценимо, эмигрировавшей Марины Цветаевой, поэзия и дружба которой заняли большое место в жизни Пастернака, замученных в 1937 году друзей Тициана Табидзе и Паоло Яшвили. Как всегда у Пастернака, обо всем, что составляло его жизнь и складывало как поэта, сказано предельно лаконично, несколькими словами, — понять то глубокое значение, которое имели упоминаемые как бы вскользь события и люди, — предоставлялось самим читателям. Но надо учитывать, что это был 1956 год, со смерти Сталина прошло всего три года, и воскрешать в печати забытые имена было большой смелостью, а сказать о них во всю силу и по-настоящему нельзя было и думать. При этом Пастернак полагался только на свою память и не имел ни времени, ни возможности проверить свои воспоминания или приводимые цитаты. Эти ошибки отмечены ниже.

С. 295. Я родился... в доме Лыжина... — Пастернак неточно называет место своего рождения. Он родился в доме Веденеева (2-я Тверская-Ямская, д. 2), теперь там его мемориальная доска. В дом Лыжина семья перебралась осенью 1891 г. (дом не сохранился).

Прямо напротив ворот семинарии стоял каменный двухэтажный дом... — осенью 1924 г., оказавшись в Оружейном переулке около здания Духовной семинарии, Пастернак писал родителям: «Я знаю по вашим упоминаньям, что я не то там родился, не то где-то там поблизости» (23сент. 1924).

Экипажные заведения «Ечкин и сыновья» находились рядом с нынешним театром «Эрмитаж».

С. 295-296. Петр Петрович Кончаловский {1838-1904) — журналист, издатель, пайщик типографского товарищества «Н. И. Кушнереви К°». По его инициативе было издано юбилейное иллюстрированное Собрание сочинений М. Ю. Лермонтова (1891), в котором участвовал в качестве художественного редактора и иллюстратора Л. О. Пастернак, а также перечисленные далее В. А. Серов, М. А. Врубель, братья А. М. и В. М. Васнецовы и др. Сохранились наброски Л. О. Пастернака к некоторым стихотворениям Лермонтова.

С. 296. ...на открытом плацу Знаменских казарм. — На месте нынешней Петровки, 38.

Дом Училища живописи, ваяния и зодчества был построен в конце XVIII в., в 1844 г. отдан под училище. «Вселившись в 1901 году в главный корпус Училища, мы неожиданно очутились в атмосфере замечательного куска старой Москвы. Красота его вошла как в окна нашей квартиры, — в нашу детскую жизнь», — вспоминал А. Л. Пастернак (А. Пастернак. Воспоминания. С. 74).

С. 297. ...приказания, не достигавшие, однако, слуха зрителей... точно тишина затаившего дыхание городского люда, оттесненного... —

В корректурах сб. 1956 вариант: «затаивших дыхание тысяч, оттесненных...».

...на вечерах у Голицыных и Якунчиковых... — проходили в доме городского головы князя В. Голицына на Никитской ул. и вдоме коммерц-советника В. И. Якунчикова в Малом Кисловском пер. (теперь здание ГИТИСа). Сохранились наброски рисунков Л. О. Пастернака, сделанных на этих вечерах.

Иван Войцехович Гржимали (1844-1915)— скрипач и педагог, с 1874 г. — проф. Московской консерватории. Анатолий Андреевич Бран-дуков (1856—1930) — виолончелист, дирижер и педагог.

Князь Львов — Алексей Евгеньевич Львов (1850-1917), с 1894 г. инспектор, а с 1896 г. — директор Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Сохранились его дружеские письма к Л. О. Пастернаку.

С. 298. И. И. Ге. — Музыкальный вечер у Пастернаков был устроен спустя полгода после смерти художника Николая Николаевича Ге (1831—1894). Он приходил к Пастернакам в свои последние приезды в Москву, в феврале и апреле-мае 1894 г., незадолго до своей кончины 1 июня 1894 г.

...была, кажется, зима двух кончин... — А. Г. Рубинштейн скончался 19 нояб. 1894 г., П. И. Чайковский — 25 окт. 1893 г.

...знаменитоетрио... — траурноеа-то1Гноетрио П. И. Чайковского «Памяти великого артиста» было написано в 1882 г. и посвящено кончине Н. Г. Рубинштейна.

Эта ночь межевою вехой... — впечатления этого ночного пробуждения Пастернак пробовал выразить в «Охранной грамоте», в «Детстве Люверс» и стих. «Баллада» (1916,1928). Нотолько после книги Н. С. Родионова он точно датировал это событие.

С. 299. «Союз русских художников» просуществовал с 1903 по 1923 г.

Павел Петрович Трубецкой (1866— 1938) — автор скульптурных портретов Л. Н. Толстого и конного памятника Александру III в Петербурге. Среди набросков Л. О. Пастернака сохранились сделанные им из окна кухни во время работы Трубецкого. Один из таких рисунков Пастернак собирался послать в Италию своему издателю Дж. Фельтринелли как иллюстрацию к публикуемому им очерку. «Набросок на обратной стороне листа, — записал он, — это князь П. Трубецкой за работой над скульптурной группой двух своих племянников, маленьких князей Трубецких (один из них — будущий знаменитый филолог Николай Трубецкой, скончавшийся в Вене). Это страница из бесчисленных альбомов моего отца, полных мгновенных зарисовок. <...> Князь лепил своих племянников действительно в той самой мастерской, которая была выстроена против окон нашей кухни, как я это описал в Автобиографии» (19 окт. 1958. Перевод с французского. — РГАЛИ, ф. 379).

С. 301. ..лекции по устройству отопления профессора Чаплина... — фамилия профессора Владимира Михайловича Чаплина (1859-1931), специалиста в области отопительно-вентиляционной и санитарной техники, восстановлена по рукописному исправлению на полях корректуры сб. 1956. (Во всех изданиях очерка и в рукописи стоит: Чаплыгина.)

Екатерина Ивановна Боратынская (1852—1921) — писательница и переводчица, племянница К. А. Тимирязева. Была связана тесной дружбой с семейством Толстого, участвовала в помощи голодающим в 1891 г. Занималась с Борисом Пастернаком в 1896—1897 гг.

С. 302. Московская пятая гимназия находилась на углу Большой Молчановки и Поварской улицы. Ее директор А. В. Адольф, переводчик и методист по преподаванию классических языков, привлек в свою гимназию выдающихся ученых и педагогов.

..мосле реформы Ванновского... — Петр Семенович Ванновский (1822-1904) — генерал и военный министр, в 1901-1902 гг. — министр народного просвещения. Его реформа состояла в замене реальных училищ и классических гимназий единой семиклассной школой с факультативным преподаванием латыни и древнегреческого и широким введением естественных наук.

С. 303. ...сломал себе ногу... — о падении с лошади и о том значении, которое имел этот эпизод в его жизни, Пастернак писал: «Мне жалко 13-летнего мальчика с его катастрофой 6 августа. Вот как сейчас лежит он в свежей незатвердевшей гипсовой повязке, и через его бред проносятся трехдольные, синкопированные ритмы галопа и падения. Отныне ритм будет событием для него, и, обратно, события станут ритмами; мелодия же, тональность и гармония — обстановкою и веществом со-бытья» («Сейчас я сидел у раскрытого окна...», 1913).

С. 304. Юлий Дмитриевич Энгель (1868-1927) — композитор и музыкальный критик, ученик С. И. Танеева. Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874—1956) — композитор, дирижер, педагог, выпускник Московской консерватории, ученик С. И. Танеева и И. В. Гржимали.

С. 306. Скрябин среднего периода... — от 1897 до 1907 г.

Гармонические зарницы Прометея... — одночастная симфоническая поэма «Прометей», или «Поэма огня» (1909-1910).

...в мечту о новом языке, нашаривали, нащупывали его слоги, его гласные и согласные. — Имеются в виду работы А. Белого «Глоссолалия (поэма о звуке, импровизация на звуковые темы)» и В. Хлебникова «Учитель и ученик», «Разложение слова», «О простых именах языка», «Перечень. Азбука ума».

...Шопен сказал столько ошеломляюще нового в музыке, что оно ста-ло вторым ее началом. — В корректурах сб. 1956 вариант: «что оно кажется вторым ее началом».

С. 307. Манифест 17октября 1905 г.— «Об усовершенствовании государственного порядка». Провозглашал гражданские свободы и создание законодательной Думы.

В бумагах отца остались наброски... — карандашный набросок агитаторши и окантованная витрина с ним и другими висела у Пастернака в Переделкине в маленькой гостиной.

С. 308. Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры... — в «Записях разных лет» Л. О. Пастернак вспоминал встречу с Горьким, когда вместе с «товарищами-художниками» (Серовым и др.) был приглашен к нему «для обсуждения издания нового сатирического журнала» (С. 144). Поданным «Летописи жизни и творчества А. М. Горького» (Т. 1. М., 1958. С. 539), Горький не принимал участия в «Биче»; первый номер «Жупела» вышел в 1906 г. (рисунки Л. О. Пастернака были объявлены, но не опубликованы).

С. 309. Свет в окошке шатался... — из книги «Стихи о Прекрасной Даме» (1902).

По улицам метель метет... — из цикла «Заклятие огнем и мраком» (1907).

Там кто-то машет, дразнит светом... — из стих. «Идут часы, и дни, и годы...» (1909; цикл «Страшный мир»). Все три строфы приведены по памяти с неточной пунктуацией. Кроме того, у Пастернака: И быстро скроется лицо. — У Блока: «И быстро спрячется лицо», после чего — скобка, открытая перед: «Так зимней ночью...»

...Блока второго тома алконостовского издания... — имеются в виду циклы «Пузыри земли», «Ночная фиалка», «Разные стихотворения», «Город», «Снежная маска», «Фаина», «Вольные мысли», составившие вторую книгу стихотворений Блока издания «Алконост».

С. 310. Блоку я впервые представился... — Блок пробыл в Москве со 2 по 10 мая 1921 г.; 3, 5 и 9 мая выступал в Политехническом музее; 7 мая — в Доме печати и в Итальянской студии.

С. 311. Скандал... успел тем временем произойти. — На вечере в Доме печати с критикой Блока выступил А. Ф. Струве, заведующий литературным отделом Мосгубпролеткульта, который сказал: «Товарищи! я вас спрашиваю, где здесь динамика? Где здесь ритмы? Все это мертвечина, и сам тов. Блок — мертвец», — записал К. И. Чуковский слова Струве. — «Верно, верно, — сказал мне Блок, сидящий за занавеской. — Я действительно мертвец» (К.Чуковский. «Дневник». 1901-1929. М., 1991. С. 167).

...пьеса Бен Джонсона «Алхимик» и поэма «Тайны» Гёте... — были переведены в 1918-1919 гг. по заказу издательств «ТЕО» и «Всемирная литература».

Есть отзыв Блока... — Блок входил в редакционную коллегию экспертов этого издательства, его отзыв относится к переводу «Посвящения», предваряющего поэму «Тайны», который он сличил с переводом А. А. Сидорова. Старый перевод, как он написал, — «производит впечатление более гётевское», перевод Пастернака показался ему тяжеловесным, непростым, искусственным, хотя и литературным. «Правда, — замечал он, — октава — очень трудная для перевода строфа» (Александр Блок. Собр. соч. в 8 т. Т. 6. М.-Л., 1962. С. 469).

Гимназистом третьего или четвертого класса... — Пастернак ездил в Петербург в декабре 1904 г., когда учился в 5-м классе.

...пропадал в театре Комиссаржевской. — Вера Федоровна Комис-саржевская (1864—1910) основала в 1904 г. Новый драматический театр, Пастернак видел ее в «Свадьбе Зобеиды» Гофмансталя и «Гедце Габлер» Ибсена.

С. 312. ...от поездки всей семьей в 1906году в Берлин. — Пастернаки пробыли в Германии, в Берлине и на острове Рюген, с начала января до середины августа 1906 г.

Композитор Ребиков играл знакомым свою «Елку»... — опера композитора и педагога В. И. Ребикова (1866—1920) написана по сказке Андерсена «Девочка со спичками» и рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на елке».

Отец рисовал его. — Л. О. Пастернак сделал несколько портретов Горького, один — в фас, в шляпе, 26 февр. 1906 г., другой во время чтения 13 мая 1906 г. в Целлендорфе — в профиль.

Мария Федоровна Андреева (1868-1953) — актриса, гражданская жена Горького.

...признанный немецкий поэт Райнер Мария Рильке. — Ср. ранний вариант главки, посвященной Рильке: «Немногочисленные попытки передать его по-русски не по вине переводчиков, а по неизбежности, иногда присущей этому делу, впадали в бледное академическое глубокомыслие, не имеющее ничего общего с самобытным богатством этого замечательного лирика. Мне подумалось, что если я своими словами опишу его особенности, это никому ничего не скажет, и гораздо больше объяснят пример или два из его поэзии, каковые я и привожу в своем переводе с целью такого ознакомления» (Каталог аукциона Christie's «Poetical manuscripts and autograph letters by B. L. Pasternak from the archive of O. V. Ivinskaia, 1996; факсимиле записки. С. 45).

Спиридон Дмитриевич Дрожжин (1848-1930) — поэт, автор поэмы «Исповедь матери», сборников стихов. Рильке приезжал к нему в деревню Низовка Тверской губернии в 20-х числах июля 1900 г.

С. 313. Бельгийский поэт Эмиль Верхарн (1855-1916) приезжал в Москву в декабре 1913 г. по приглашению В. Я. Брюсова; 7 декабря он выступал в Обществе свободной эстетики. Среди нескольких зарисовок Верхарна, сделанных Л. О. Пастернаком, лучшим признан портрет поэта, читающего стихи. Верхарн надписал две книги в подарок художнику и его сыну.

С. 315. Пьер Боннар (1867-1947) и Эдуар Вюйар (1868-1940) — французские художники, для которых характерна обобщенность форм и главенство цвета.

С. 316. Юлиан Павлович Анисимов — см. о нем в «Охранной грамоте».

Сергей Николаевич Дурылин — см. там же. Константин Григорьевич Локс — см. там же. Аркадий Иванович Гурьев — поэт и певец, автор сб. «Безответное» (М., 1913).

С. 317. Борис Борисович Красин (1884-1936) — композитор и этнограф, деятель революции.

Александр Мелентьевич Кожебаткин (1884—1942) — литератор и владелец издательств «Мусагет» и «Альциона». Сергей Константинович Маковский (1878—1962) — издатель символистского журнала «Аполлон».

С. 318. Федор Августович Степун (1884-1958) — писатель и философ, в 1922 г. выслан за границу. Григорий Алексеевич Рачинский (1853— 1939) — литератор, переводчик. Борис Александрович Садовской (1881 -1945) — поэт, прозаик, историк литературы. Эмилий Карлович Метнер (1872-1936) — литератор, музыкальный критик, философ. Сергей Владимирович Шенрок (1893—1918) — студент-филолог, один из инициаторов кружка по изучению ритма. Алексей Сергеевич Петровский (1881—1959) — переводчик, музыковед, друг А. Белого. Эллис (наст, имя: Лев Львович Кобылинский; 1879-1947) — поэт, критик, теоретик символизма. Владимир Оттонович Нилендер (1883-1965) — поэт, переводчик с древнегреческого.

Я не посещал работ кружка... — Андрей Белый в своих воспоминаниях «Между двух революций» (1934) назвал Пастернака в числе «студентов», посещавших философский семинарий Степуна: «...Помню я милое, молодое лицо с диким взглядом, сулящим будущее» (С. 383).

Константин Федорович Крахт (1868-1919)— скульптор, ученик знаменитого бельгийского скульптора и живописца К. Менье.

Однажды поздней осенью я читал в мастерской доклад... — доклад «Символизм и бессмертие» читался Юфевр. 1913 г. Сохранились тезисы доклада, рассылаемые участникам семинара (РГАЛИ, ф. 2554).

С. 319. Мы быстро собрались и отправились... — поездка в Астапово состоялась 8 ноября 1910 г.

С. 320. ...приехавший с Меркуровым формовщик... — Сергей Дмитриевич Меркуров (1881-1952) — скульптор. Формовщик Училища живописи Михаил Агафьин приехал вместе с Пастернаками (см. Записи разных лет. С. 212).

Современный человек... пишет... о дуэли и смерти Пушкина. — Имеется в виду работа историка литературы Павла Елисеевича Щеголева (1877-1931) «Дуэль и смерть Пушкина» (1916).

С. 321. Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги... — в автографе: «упокоился, успокоился у дороги...» — В корректурах сб. 1956 - «успокоился, успокоился у дороги». В письме Н. С. Родионову 29 янв. 1958 г. Пастернак писал о необходимости исправить ошибку в посланной ему машинописи, по тексту которой, вероятно, и были набраны корректуры: «Николай Сергеевич, в Астаповском отрывке постоянно повторяется опечатка, которая сохраняется, сколько я ее ни выправляю. Тут не два раза "успокоился", а первый раз "успокоился", второй же раз — "упокоился", то есть таким образом фразу следует читать так: "Было как-то естественно, что Толстой успокоился, упокоился у дороги" и т. д.».

С. 322. ...Толстой не искал этой странности... не сообщал ее своим произведениям в виде писательского приема. — Пастернак оспаривает изобретенный В. Шкловским термин «остранение» и понимание его, как специального художественного приема (В. Шкловский. «Материал и стиль в романе Л. Толстого "Война и мир"», 1928). В книге «Заметки о прозе русских классиков», подаренной Шкловским Пастернаку в 1955 г., учитывая критику формального метода, Шкловский называл «праздничное» видение мира у Толстого «своеобразным приемом художественного раскрытия действительности» (С. 406).

С. 323. На осмотр Рима у меня не хватило денег. — О поездке в Италию в августе 1912 г. Пастернак писал в «Охранной грамоте». См. также в письме Р. Н. Ломоносовой: «Стыдно сознаться, — я не был в Риме. Но Венецию, Флоренцию и Пизу я помню. <...> Путешествовал я недолго, и на совершенные гроши, студентом» (20 мая 1927).

Сергей Павлович Мансуров (1890-1929) — историк церкви, учился с Пастернаком в одном классе гимназии, затем в университете. После революции работал вместе с П. Флоренским в Троице-Сергиевой лавре в комиссии по охране памятников культуры. С 1926 г. — священник в церкви Дубровицкого монастыря под Вереей.

...молодого Трубецкого... — Николай Сергеевич Трубецкой (1890-1938) — языковед, участник Московского лингвистического кружка и организатор Пражского, один из идеологов евразийства.

О Дмитрии Федоровиче Самарине см. в «Охранной грамоте».

Старшие Трубецкие, отец и дядя студента Николая... — о С. Н. и Е. Н. Трубецких см. там же.

С. 324. Благодаря странным выходкам... он был тяжел и в общежитии невыносим. — Поверх этого текста в корректурах сб. 1956 сделаны рукописные исправления: «Он был человеком нелегким в общежитии».

Измученные лишениями близкие окружили его заботами. — В корректурах сб. 1956 вариант: «Измученные заботами близкие отказались от него и не пустили его к себе. Он заболел тифом и умер, когда эпидемия пошла на убыль». — Поверх этого в корректурах исправлено рукою автора: «Заболев плевритом, он умер от отека легких». Окончательная версия этого текста сделана по рассказам сестры Самарина Марии Федоровны Мансуровой.

Лето после государственных экзаменов... — лето 1913г.

С. 325. ...находили у меня задатки ораторские и интонационные. — Имеются в виду статья Н. Асеева «Организация речи» («Печать и революция», 1923, № 6) и работа В. Шкловского «Поиски оптимизма» (М.,

1931. С. 116). О недоумении, которое вызывало у него понятие интонации, Пастернак писал С. Чиковани: «Это понятие слишком побочное и бедное, чтобы заключать в себе что-то принципиальное и многоохватываю щее, на чем можно было бы построить теорию даже отрицательную и боевую, даже в молодые дни общественного распада и уличных потасовок» (6 окт. 1957).

С. 326. ...переводил для... Камерного театра... комедию Клейста «Разбитый кувшин». — Спектакль не был поставлен; из-за начавшейся войны и патриотических настроений театр отказался от немецкой пьесы.

Николай Павлович Ульянов (1875—1949) — художник, ученик В. А. Серова, автор воспоминаний «Мои встречи» (1959), где писал о своей работе над портретом А. Н. Скрябина, который жил в 1913 г. в Петровском на Оке.

...жена писателя Муратова. — См. о ней в коммент. к «Охранной грамоте».

«Сакунтала» Кал и да с ы — пьеса индийского поэта и драматурга V в. «Узнанная по кольцу Шакунтала», много лет шла в Камерном театре.

Вскоре после этого выдался такой вечер. — Прибытие в Петровское на Оке баржи с воинской частью стало содержанием главы 11 «Дева Обида» в «Трех главах из повести» (1922) Пастернака.

С. 327. Мориц Дмитриевич Филипп — владелец магазина модно-галантерейных товаров на Лубянской площади, жил в собствен ном доме на Пречистенке, 10. Вальтер Филипп (1902-1984)— последние годы инженер-электрик, редактор технического журнала, издаваемого в Берлине.

...громилитакже Филиппа... — речь идето немецком погроме 28 мая 1915 г., во время которого были разорены также квартиры обрусевших со времен Екатерины

профессоров университета с немецкими фамилиями, при попустительстве правительства и полной индифферентности общества.

Но и совсем с другой точки зрения меня никогда не огорчали пропажи,— В «Автобиографическом очерке». Ann Arbor, 1961: «...пропажи работ удавшихся».

Зерно не даст всхода, если не умрет. — Перифраз слов Христа (Ин. 12, 24).

В разное время у меня по разным причинам затерялись... — из перечисленного списка удалось найти две статьи футуристического периода: две рецензии на книги Маяковского и Асеева 1917 г. сохранились в собр. С. П. Боброва. Там же находились «Наброски к фантазии "Поэма о ближнем"» и тезисы к докладу «Символизм и бессмертие» (РГАЛИ, ф. 2542). Перевод трагедии А.-Ч. Суинберна «Шателяр» пропал в типографии в 1920 г.

...Филиппы перебрались в наемную квартиру. — В дом № 5 по Шере-метевскому переулку.

Вечер в двух видах заключался в ней. — Л. Чуковская записала, что Пастернак, желая проверить себя, спросил у Ахматовой: «У вас ведь есть, кажется, такая книга — "Вечер"»? Ахматова не ответила, оскорбленная его забывчивостью («Записки об Анне Ахматовой». В трех томах. Т. 2. М., 1997. С. 234).

С. 328. Это была одна из первых книг Ахматовой, вероятно, «Подорожник». — «Подорожник» вышел в 1921 г. Из контекста следует, что это был «Вечер» (1912), первая книга Анны Ахматовой.

Всеволодо-Вильва — имение и заводы З. Г. Резвой, вдовы С. Т. Морозова. Пастернак прожил здесь с января по июнь 1916 г.

Александр Николаевич Тихонов (А. Серебров; 1880-1956) — писатель, издатель, автор воспоминаний «Время и люди», где писал о том, как вместе с С. Т. Морозовым и Чеховым летом 1902 г. приезжал во Все-володо-Вильву на открытие школы имени Чехова.

В Тихих Горах на Каме Пастернак пробыл с октября 1916 по март 1917 г.

Борис Ильич Збарский (1885-1954) — биохимик. Поездку с ним в кибитке Пастернак описал в отрывке «Безлюбье. Глава из повести» (1918).

С. 329. Вера Оскаровна Станевич (1890-1967) — поэтесса и переводчица.

...участвовать в разрыве Боброва с ними. — В январе 1914 г. Асеев, Бобров и Пастернак объявили о ликвидации книгоиздательства «Лирика», в котором только что при финансовой поддержке Анисимовых вышли их первые книги. Обида Анисимова в первую очередь вылилась на Пастернака, после чего тот вызвал его на дуэль, не состоявшуюся после объяснения (письмо К. Г. Локсу 28 янв. 1914).

Журнал «Современник» издавался под ред. Н.Н. Суханова (Гимме-ра; 1882—1940) при участии А. М. Горького.

«Разбитый кувшин» Г. Клейста в переводе Пастернака вышел в 1915 г., Nst 5. Кроме ошибок чтения и опечаток, текст содержит купюры, сократившие резкости и вульгаризмы немецкой комедии, эллипси-ческие обороты дополнены словами, разрушающими стихотворный размер.

С. 330. Вместо благодарности... я... жаловался Горькому... — это письмо не сохранилось; о том, что Горький сам правил его перевод, Пастернак узнал летом 1918 г. при встрече с ним и писал ему: «Однажды я по пустячному поводу, без основанья и несправедливо поднял ненужную и глупую историю о правке "Разбитого кувшина"» (5 февр. 1921). Этот случай Пастернак считал причиной своих сложных отношений с Горьким.

Признание, которым он меня дарил, преувеличивают. — В рукописи: «Его признание преувеличивают». — В «Автобиографическом очерке». Ann Arbor, 1961 :

«Его признание меня преувеличивает», — редакция вставила слово «меня» для уточнения смысла. — В нашем издании текст выправлен по корректуре сб. 1956.

С. 331. Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании... — с этих слов и до конца 8-й главы текст в корректуре сб. 1956 выпущен.

С. 331 —332. ...как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года... — выпущено в публикации «Нового мира», 1967, № 1. Шигалев — герой романа Ф. М. Достоевского «Бесы», создавший систему государственного устройства, при котором безграничная свобода основывалась на необходимости неограниченного деспотизма.

С. 332. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. — С. М.Третьяков назван ошибочно вместо К. А. Большакова; см. этот эпизод в «Охранной грамоте». С. 214.

...один будущий слепой его приверженец... — Н.Н. Асеев.

Теперь, в кофейне... — некоторые детали разговора Пастернака с Маяковским записал С. П. Бобров (см. выдержку из его дневника в ком-мент, к «Охранной грамоте», а также: Воспоминания. С. 63).

С. 333. Скетинг-ринг — каток для катания на роликовых коньках (англ. skating-rink).

...драпировался и играл. — В корректурах сб. 1956 после этих слов: «Вкусу него был такой зрелости и выношенности, что казался старше его самого. Ему было двадцать два года, а его вкусу, так сказать, — сто двадцать два».

Пастернак приводит цитаты из Маяковского по памяти, по-своему «исправляя» их. Точный текст Маяковского из стих. «Несколько слов обо мне самом»: «Время! / Хоть ты, хромой богомаз, /лик намалюй мой /в божницу уродца-века! / Я одинок, как последний глаз /у идущего к слепым человека!»

В отрывке из «Пролога» к трагедии «Владимир Маяковский» последняя строка должна быть: «К обеду идущих лет». — В корректурах сб. 1956 цитаты выверены по тексту Маяковского.

С. 334. «Да молчит всякая плоть человеча...» — из службы на Страстную субботу (ср.: «Но в полночь смолкнут тварь и плоть...» — стих. «На Страстной», 1946). — В корректурах сб. 1956 вместо ничтоже земное в себе да помышляет... — набрано: «ничтоже живое...»; рукою автора исправлено на «земное». В «Охранной грамоте» мысль Пастернака о жертвенной ноте поэзии Маяковского объясняется его пониманием того, что подлинное творчество нуждается «в такой страсти, которая внутренне подобна Страстям и новизна которой подобна новому обетованью».

...от Пушкина, в «Отцах-пустынниках» пересказывавшего Ефрема Сирина... — речь идет о молитве христианского поэта IV в. Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего...», которую Пушкин переложил в стих. «Отцы-пустынники и жены непорочны...» (1836). День памяти преподобного Ефрема Сирина — 29 янв. (10 февр.); с ним совпадает день смерти Пушкина и день рождения Пастернака. — В корректурах сб. 1956 вместо Ефрема Сирина — «Исаака Сирина», исправлено на «Ефрема».

...от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами... — Алексей Константинович Толстой (1817—1875) в своей поэме «Иоанн Дамаскин» (1858) переложил житие греческого святого VIII в. Иоанна Дамаскина (из «Четий Миней» Димитрия Ростовского), используя панихиду, составленную Иоанном Дамаскиным, иначе самогласны, поющуюся на особую мелодию.

...Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений были дороги... — в рукописи отсутствует слово «были». — В корректурах сб. 1956 оно вставлено от руки.

С. 336. Вместе с Платоном Третьяков полагал... — греческий философ Платон (428/427 — 348/347 до н. э.) в трактате «Государство» рисует возможность осуществления идеального общества, в которое входят философы, музыканты и математики, но нет художников и поэтов. «Мне близок Платоновский круг мысли относительно искусства (и исключение художников из идеального общества, и соображение, что ov umvouJvoi (лишенные вдохновения. — Е. П.) не должны переступать порога поэзии)...», — писал Пастернак 1 июля 1958 г. Вяч. Вс. Иванову.

До меня не доходят эти неуклюже зарифмованные прописи... — с этих слов и до: Но по ошибке нас считали друзьями... — текст выпущен в корректурах сб. 1956.

...и нас силою разнимали и растаскивали посторонние... — о своих отношениях с Есениным Пастернак писал М. Цветаевой: «Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности — это крайнее воплощение того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. <...> Я не помню, что именно я писал Вам летом о тягостности, связанной у меня с ним и его именем. Между прочим, и он, вероятно, страдал, среди многого, и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни разу, чтобы я не отклонял этой несуразицы <...> только раз, когда я <...> услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то и лишившиеся в его употреблении всей большой правоты, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и только за это дал ему пощечину <...> Он, между прочим, думал кольнуть меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признание» (4 янв. 1926). Ложным положением навязанного со стороны «соперничества» объясняются переданные Асеевым слова Есенина в их последнюю встречу: «Ты думаешь, я не мастер? Думаешь, мне самому не отвратно романсы писать? Я это нарочно делаю: надо дерьмом рот забить, надо на фунт помолу — пуд навозу давать, тогда тебя слушать будут. А иначе всю жизнь Пастернаком просидишь» («Литературная газета» 24 авг. 1935). См. также выкинутый из «Охранной грамоты» эпизод об отношениях с Есениным («Ранние редакции»: «Уже и раньше, или, лучше сказать, всегда...». С. 521).

...когда не стало поэзии ничьей... — с этих слов и до: Я же окончательно отошел от него... — выпущено в корректурах сб. 1956.

С. 337. Я написал Маяковскому резкое письмо... — письмо было адресовано в редакцию журнала «Новый Леф»: «Несмотря на мое устное заявление об окончательном выходе из Лефа, сделанное на одном из майских собраний, продолжается печатание моего имени в списке сотрудников. Такая забывчивость предосудительна...» (26 июля 1927).

...надпись на «Сестре моей жизни»... — книга с надписью утеряна, стихотворение с вариантами сохранилось в трех позднейших авт. списках: «Маяковскому» («Вы заняты нашим балансом...», 1922).

...две знаменитых фразы о времени. — Обе принадлежат Сталину; первая была сказана на XVII съезде партии, вторая — резолюция на пись-меотЛ. Ю. Брик 5 дек. 1935 г. Пастернак полностью поддержал Л. Брик, жаловавшуюся Сталину на забвение Маяковского и игнорирование его заслуг.

...яличным письмом благодарил автора этих слов... — в письме к Сталину Пастернак выражал благодарность за «чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой» (Л. Н. Гумилева и Н. Н. Пунина), за которых он просил, и за «недавние слова о Маяковском. Они отвечают моим собственным чувствам, — писал он, — я люблю его и написал об этом целую книгу. <...> Теперь, после того, как Вы поставили Маяковского на первое место, с меня это подозрение снято (то есть «преувеличенное значение». — Е. #.), и я могу жить и работать по-прежнему, в скромной тишине» (декабрь 1935). См. также: «Да, я еще раз писал Сталину. Когда он сказал, что

Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи, я его поблагодарил. Я ему написал, что рад тому, что с меня тем самым снимается ответственность, которую пытались возложить своими преувеличениями некоторые поклонники» (Зоя Масленикова. Борис Пастернак. М., 2001. С. 76).

...стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. — Императрице Екатерине принадлежит указ о введении картофеля; принудительные же меры предпринимались только в царствование Николая I в 1840-х гг., что Герцен в «Былом и думах» назвал «картофельным террором».

С. 338. На одном сборном вечере в начале революции... — зимой 1920 г. М. Цветаева читала в Союзе писателей поэму «Царь-девица».

В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней... — осенью 1921 г. Пастернак передавал ей письмо от Эренбурга.

Я уже сказал, что среди молодежи... оригинальной поневоле... — после этих слов в рукописи вычеркнуто: «вследствие безвыходности положения».

С. 339. Я написал Цветаевой в Прагу... — письмо 14 июля 1922 г. адресовано в Берлин, в Прагу Цветаева уехала вскоре после получения письма.

У меня на этот счет не было определенного мнения. Яне знал, что ей посоветовать... — в этих словах отчетливо проявилась автоцензура, не позволившая в предисловии, предназначавшемся к печати в 1956 г., точно передать смысл своих разговоров с Цветаевой в Париже. Но и при этом в следующей фразе: «Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения» — он проговаривается о своих «опасениях», более глубоких, чем то, что «семейству будет у нас трудно и неспокойно». В 1948 г., пытаясь узнать через знакомых местонахождение могилы Цветаевой, Пастернак откровенно писал: «Если бы мне десять лет тому назад (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом» (В.Д.Авдееву 21 мая 1948). З.А. Масленикова записала такие слова Пастернака: «Марина Ивановна много говорила о том, что хочет вернуться в Россию. Это было настойчивое желание ее мужа и дочери, они постоянно толкали ее к этому. Я ей отвечал, что считаю это глупостью, решительно отговаривал. Я спрашивал: ну зачем тебе это, что это тебе даст? Она отвечала, что у поэта должен быть резонанс. Но, помилуй, какой у нас резонанс? Но она была очень упрямой» (Зоя Масленикова. Борис Пастернак. М., 2001. С. 54).

Общая трагедия семьи... — муж Цветаевой С. Я. Эфрон и ее дочь были арестованы осенью 1939 г. Цветаева покончила с собой 31 авг. 1941 г., сын, Г. С. Эфрон, погиб на войне летом 1944 г.

С. 341. Так уехали и пропали письма Цветаевой. — Письма были потеряны в ноябре 1945 г. в процессе их копирования А. Е. Крученых, оставить у которого автографы сотрудница Скрябинского музея не решалась и возила к нему и обратно. Сохранились перепечатки 22 писем 1922—1927 гг. и 4 письма в оригиналах; некоторые удалось восстановить по рабочим тетрадям Цветаевой.

..л приписал бы к ней главу о Кавказе... — вписьме к П. Яшвили 30 июля 1932 г. Пастернак писал о Тифлисе: «Этот город со всеми, кого я в нем видел, и со всем тем, за чем из него ездил и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке, — одной из глав "Охранной грамоты", длящейся для меня всю жизнь...».

Вскоре в двух семьях... — в 1931 г. жена друга Пастернака, профессора консерватории Г. Г. Нейгауза, стала женой Пастернака.

С. 343. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой... — П. Яшвили и Т. Табидзе погибли в 1937 г.; первый покончил с собой, второй — арестован и расстрелян.

С. 345. Заключение было написано в ноябре 1957 г., когда иссякла надежда на издание сб. 1956. Вариант 1956 г. см. в разделе «Ранние редакции».

НЕОКОНЧЕННАЯ ПРОЗА (С. 347)

Раздел составлен из сохранившихся фрагментов прозы, которую Пастернак писал в 1916-1918 гг. Они свидетельствуют об упорной и разнообразной в жанровом отношении его работе над прозой, полный объем которой можно лишь предполагать, зная творческую требовательность к себе автора. Некоторые следы этой работы представлены включенными в раздел сохранившимися набросками, дополненными теми, что были опубликованы. Пастернак никогда не вспоминал об этих публикациях, если не считать нескольких слов в начале «Повести» (1929) о главах из этой прозы, «попавших в печать в начале революции». О его работе над книгой прозы в эти годы известно также из письма родителям 7 февр. 1917 г. («Учусь писать не новеллы, не стихи, но книгу новелл, книгу стихов...») и телеграммы С. П. Боброву («К весне готовлю книгу прозы»), отправленной 31 янв. 1917 г.

Пастернак безжалостно относился к своему архиву, многое он уничтожил сам в 1932 г.; во время войны при пожаре дачи сгорели остатки. Сохранившаяся «История одной контроктавы» тоже была обречена им на уничтожение. Кроме того, рукописи пропадали в редакциях, гибли в типографиях.

Публикации фрагментов прозы в эсеровской газете «Знамя труда» и газете «Воля труда», издававшейся отколовшейся от эсеров партией революционного коммунизма, объясняются дружеским содействием Е. Г. Лундберга, входившего в состав редакции этих газет. Сквозь отрывки сюжетов и разнообразие эпизодов явственно проступает основная тема, волнующая автора, — последствия войны и революции, формирующие характеры людей.

Косвенным воспоминанием об опубликованных отрывках из не-сохранившейся повести стали включенные в очерк «Люди и положения» (1956) два эпизода, бывшие содержанием забытых глав: возвращение из Тихих Гор в первые дни Февральской революции («Безлюбье») и приплывшая летом 1914 г. в Петровское на Оке баржа с первыми мобилизованными («Три главы из повести»).

Был странный год. — Собр. соч. Т. 4 по автографу; датируется по содержанию и почерку. Тексту отрывка предшествует вычеркнутое место: «Приближалось Рождество, неся с собою все, что требуется для приготовления хороших стихов: морозный пахучий сумрак, золоченый ералаш в пакетах, следы стеарину на краснощеких крымских яблоках».

Содержание отрывка относится ко времени Первой мировой войны, характер отношения к которой прослеживается также в письмах того времени. Болезнь, о которой говорит автор в нем, получает более четкие очертания в словах Ларисы Антиповой из романа «Доктор Живаго»:

«Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической — потом революционной. Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Все подпадало под его влияние».

Главным бедствием этого поветрия стала, по мнению Пастернака, потеря «веянья личности, исходящего от христианства», которая обезоруживала обезличенных людей, объединяя их в общности: роты, полки, нации, комитеты и санитарные отряды. Приносимый этим вред находится в болезненном противоречии с основной миссией христианства, уничтожающего «власть количества» и «обязанность жить всей поголовностью», при котором человеческая жизнь становится «Божьей повестью».

С. 349. ...заливает лавой города... увековечивает римское захолустье... — сравнение творческого одиночества со знаменитым изверж-нием Везувия в 79 г. н. э., которое залило лавой города Помпеи и Геркуланум, сохранившиеся под пеплом.

История одной контроктавы. — «Известия Академии наук СССР» (Серия литературы и языка, 1974. № 2 (первая и отрывки второй части; ошибочно датирована 1913 г.)— Slavica Hierosolymitana. I, 1977, полностью, со всеми вариантами и разночтениями; дано подробное описание автографа (ошибочная датировка). — Собр. соч. Т. 4, наиболее существенные варианты. — Беловой автограф первой части с последующей правкой и заклейками; вторая часть — черновой автограф, с лакунами, перестановками и добавочными вставками, страницы не пронумерованы. Последовательность эпизодов устанавливается сделанными в тексте знаками синим карандашом или авт. примеч. и планом, записанным на обороте одной из последних страниц:

«План.

День и заседание (вечер).

Зеебальд.

Утро и орган.

Утро и выход Кнауэра с Георгом. Заседание (вечер). Вечер во дворе гостиницы. Конец (см. на обороте)».

Повесть написана зимой 1916-1917 г. в Тихих Горах на Каме. О работе над ней Пастернак сообщал родителям 11 янв. 1917 г.: «Я окончил и переписал вещь стиля "Апеллесовой черты", но многим ярче и серьезнее этой вещи. Не знаю, писал ли я вам уже, как она у меня создавалась. Это было на Рождестве 26-го или 27-го числа, вероятнее, с ночи на 26-е. Я вскочил ночью, увидал всю эту вещь от начала до конца и, не в состоянии будучи заснуть, встал и начал писать; писал двое суток, засыпая по ночам на пару часов и просыпаясь с продолжением этой вещи. Но 28-го числа надо было в контору идти (праздники кончились), и вещь пришлось бросить. 7-го я служить перестал, в три дня вещь обработал и переписал. Я не дал еще ей названья. Она оригинальнее "Апеллесовой черты" и по сюжету и по письму и сильнее по вложенному в нее темпераменту».

В повести отразились впечатления пребывания в Германии в 1906 и 1912 гг. Сохранились воспоминания А. Л. Пастернака об удивительном органисте, которого они с братом слушали в 1906 г.: «Здесь в Берлине брат стал ходить со мною по воскресеньям в неподалеку от нас находящуюся соборную церковь с необычайно готическим названием "Gedcchtniskirche". Церковь эта, не Бог весть какой архитектуры, славилась своим великолепным органом и акустикой. Органист был талантлив и высокой музыкальной культуры. Позже, освоившись уже с обычаями этой церкви, мы захаживали туда иной раз и в будни, в часы, когда не было службы и посетителей, когда органист, как у себя дома, упражнялся на органе, разбирал что-нибудь новое или проигрывал какие-то отдельные мелодии Баха, то в одном, то в другом толковании <...> Взяв, наконец, последние аккорды, уже вне мыслимой земной силы, орган внезапно и отрывисто смолкал, вслушиваясь в обратную отдачу своего звучания стенами, витражами и сводами вдруг возродившейся церкви. Обессиленные, мы уходили последними, в удивлении, что дома и улица существуют; медленно уходили мы домой, в полном молчании» (А. Пастернак. Воспоминания. С. 252—253).

Впечатления органной игры были подкреплены пребыванием в Марбурге летом 1912 г. В письмах, посланных оттуда, узнаются многие описания старинного немецкого города, воспроизведенные в «Истории одной контроктавы»: «Испытанные, окрепшие в веках красоты этого городка, покровительствуемого легендой о св. Елисавете (начало XIII столетия), имеют какое-то темное и властное

предрасположение. К органу, к готике, к чему-то прерванному и недовершенному, что зарыто здесь. С этой чертой оживает город. Но он не оживлен. Это не живость. Это какое-то глухое напряжение архаического. И это напряжение создает все: сумерки, душистость садов, опрятное безлюдье полдня, туманные вечера» (К. Г. Локсу 19 мая 1912). «Властное предрасположение» сказалось в желании Пастернака этим летом заняться органом, он даже записался на курсы обучения, но ему не хватило ни денег, ни времени.

Образ органиста, вынужденного отказаться от своего призвания в силу совершившегося несчастья, возможно, был внутренне связан с болезненным разрывом с музыкой самого Пастернака, который с особенной силой осознал именно в 1916 г. бесповоротный характер сделанного. Он возобновил занятия музыкой, но понял, что время упущено и возврат невозможен. «В каждом человеке — пропасть задатков самоубийственных <...> В строю таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампутация; отнятие живейшей части своего существования» (письмо К. Г. Локсу 28 янв. 1917). Органист возникает в стих. «Баллада» (1916, 1928) в ответе на вопрос своего «пожизненного собеседника»: «Вы спросите, кто я? Здесь жил органист. / Он лег в мою жизнь пятиричной оправой / Ключей и регистров...».

Сюжет новеллы не свободен от канонов романтизма, и тема тирании призвания, греховной творческой одержимости представлена здесь в зрелищной концепции литературной моды того времени. Гибель мальчика от руки отца становится символом жертвы во имя искусства. Здравый смысл, который представляет собой бюргерское общество немецкого города, создает «фон для наглядных очертаний» («Охранная грамота», 1931). Удивительно повторение символического образа человека, одержимого идеей, в повести «Воздушные пути» (1924), где мотив детоубийства перенесен автором из романтических декораций в современную действительность.

С. 350. Контроктава — одна из басовых октав.

...чопорных робронд... — дамы в кринолинах; robe ronde (фр.) — буквально: круглое платье.

...стало холодно и бессмысленно пусто... — после этих слов вычеркнуто: «община, служившая беленым сводам душой — удалилась».

...чтобы не поскользнуться на каменном полу и не рухнуть на пыльные доски пюпитров. — После этих слов в автографе вычеркнута фраза: «Бог, оставленный прихожанами в церкви — не в силах был голыми руками отогреть застывшие члены лютеранской колоннады — или считал это лишним для себя».

А тем временем органист поддавал жару. Он дал волю своей машине в тот еще момент, когда вслед за брюзгливым визгом протяжно затормаживаемой каденции... повставали со своихмест крестьяне... — А. Л. Пастернак писал, что органист в берлинской церкви достигал кульминации «обычно ко времени конца служб, к разъезду. Тогда Бах, как бы раз-горячась в обращении к Владыке мира, достигал в строптивости своей почти что крика, и музыка, сотрясая стены, не вмещаясь более в ими ограниченное пространство, раздвигала их, как глубокий вздох раздвигает грудную клетку» (А. Пастернак. Воспоминания. С. 252). Каденция — заключительный мелодический оборот хорала.

С. 351. Мелодическая кантилена инвенции с минуты на минуту становилась лучше... — кантилена инвенции — тема, приближающаяся к завершению, органному пункту. Инвенция — здесь: импровизация.

Органист играл, позабыв обо всем на свете. Одна инвенция сменялась другой. — Ср. воспоминания А. Л. Пастернака об игре берлинского органиста: «Орган и Бах, оба вместе, нагнетая все больше звучание, уплотняли вдвоем среду уже настолько, что мы, потеряв свою земную весомость, начинали ощущать себя взвешенными в плотность

звуков, в духовном парении. Казалось, что все вокруг исчезало в общей бесконечности миров, нас же что-то мощными объятиями держит и поддерживает в этом могучем гудении органных басов» (Там же. С. 252).

...верх надо всеми взяла одна, сильнейшая и благороднейшая, и завладела темою безраздельно. — После этих слов вычеркнуто: «Но инвенция, представлявшая собою целый земельный округ многочисленных родичей знатной октавы...».

...мимо последнего звена секвенции; от доминанты ее отделяло несколько шагов... — звено секвенции — повторяющийся мелодический оборот. Доминанта — доминантовая гармония, предшествующая заключительной, тонической.

...и из грандиозного бастиона труб и клапанов рванулся какой-то нечеловеческий крик... — этот эпизод возник в конечной метафоре стих. «Баллада»: «Когда в дремоносные сосны органа / Впился — весь отчаянье — вопль пустельги» (редакция 1916 г.). См. выше о внутренней связи новеллы с этим стихотворением.

С. 351—352. И так же, как не дал органист оторвать себя от ма-нуали... — в автографе вычеркнут вариант: «от бастиона славословий». Мануэль — клавиатура органа.

С. 352. Ступай домой, Дортхен. Я ничего не слышу. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Ты надсадишь голос. А? Здесь гулко так! Ступай, я скоро приду, я скоро кончу. Обедайте без меня. — Аоууа. — Она меня знает. Эээооа. — Хорошо, Дортхен. Готлиб у Поккенарбов, я приду скоро. — Так же, как он отделался тогда от расспросов жены и всецело погрузился в экстемпорирование, так точно и сейчас его не могло остановить в его излияниях неповиновение какого-то клавиша». Экстемпорирование — импровизации.

...чтобы на месте исследовать повреждение вентилей Gis и Ais. — Вентили — клапаны органной трубы.

...как слова, произнесенные... среди полнейшей тишины, со светлеющего неба срывались... — в автографе вычеркнут вариант: «коротко отрывались с небесного фунта, изобиловавшего влажной и несдержанной, бледно-зеленой и слабой, еще не осевшей светлотой — коньки, крылечки, карнизы...».

С. 353. ...мутные его лучи зажигали целый муравейник шелеста вокруг... — после этих слов в автографе вычеркнуто: «муравейник крошащихся очертаний и шероховатых теней: тогда небо нагибалось к сидящим. В таких местах было людно. Тут стояли столы, и снующий взад-вперед народ поднял бы не одну ссору из-за свободных мест, которых совсем уже не было <...>, если бы ссоры вообще были в заводе у мирного населения этих мест и если бы сидящие в саду не представляли собой заведенный обычай, а прохаживающиеся по улице не были и заводными и заведенными на час сроком. Потому что здесь не терпели переводу или изменения заведенного. А было заведено, чтобы семья старшего Туха сидела за тем столом, от которого открывается лучший вид на [Лан] реку, и чтобы чада и домочадцы его перекидывались словами с семейством Штурцваге, занимавшим соседний стол. Артур Розариус, как и его доисторический тезка, располагался кольцом, облегавшим толстый ствол старого каштана». (Вычеркнутое название реки Ланн, протекающей в Марбурге, вскрывает реальный объект описания.)

...с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей. — Ср. в стих. 1912 г.: «Как бронзовой золой жаровень, / Жуками сыплет сонный сад...».

С. 354. ...что он не случайно и с умыслом наказан Провидением в их присутствии... — в автографе после этих слов вычеркнуто: «и отсюда, по естественному ходу мыслей, они заключали, что они призваны всем своим присутствием судить Кнауера и осудить

его всем сословием, под сенью сословных каштанов на летней сословной земле, в этот теплый и мирный, и незаносящийся вечер св. Троицы».

...кресла, столы и шкафы, часы и книги... — после этих слов в автографе вычеркнуто: «и те, по стенам развешанные, шерстью по канве вышитые изречения и пословицы, и снова, столы и кресла...»

...примыкавшей к той комнате, где... — после этих слов в автографе: «не покладая рук и спины не разгибая кроили и сметывали эти чехлы, не было такой вещи и в следующей комнате, рабочей комнате органиста, куда мимо кресел и стола, не отвлекаясь настежь открытым окном и не обращая внимания на занимавшуюся зарю, часто приходила тетка Аугуста и откуда возвращалась она тем же порядком, ступая так, как будто она шла босиком, не было ни тут, ни там такой вещи, которой не превращал бы в катафалк...».

С. 355. Он останавливался обыкновенно у окна... — в автографе вычеркнут вариант: «Он приходил, тронутый сыростью в мокрых листьях, приставших по дороге <...> , останавливался обыкновенно у окна, пожирая большими голодными глазами все, что находилось за стеклом внутри. Он, летний трехчасовой рассвет в лицо никогда не видал хозяев; зато он, случалось, являлся нечаянным свидетелем того, как, слоняясь в серых не прогретых сумерках его появления, вдруг настораживался и замирал старый Мур, как пропадал он затем и являлся затем вновь, зажав в зубах серого зверька, похожего на крошечный детский чулочек».

...мертвою фиринкой... — тусклой льдинкой (от слова фирн — зернистый снег в горах).

С. 356. ...пучок лучей... падал только на крошечное личико ребенка. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «изготовленный по мерке, снятой с живого лица, словно это было освещенье на заказ».

... выбрала себе на дорогу в загробный мир одно только выражение дет -ского испуга.,— После этих слов в автографе вычеркнуто: «и это выражение растерянности, тревожной и мгновенной, как сигнал, не сходило с воскового личика, потому что нечем было сменить его, под рукой уже не было смены».

С. 357. Предоставить ему такую свободу и самостоятельность!— В автографе вычеркнут вариант: «Какая страшная и преждевременная самостоятельность!»

...если бы мозг ее мог совладать с ними, — мысль о самоубийстве... — после этих слов в автографе вычеркнуто: «для того, чтобы сопровождать сына в его странствии, пришла бы ей в голову, как светлое успокоение, посланное свыше».

Но она не думала ни о чем или не знала, что истерические... — после этих слов в автографе вычеркнут вариант: «думы, как белые соки в стебле молочая неуемно бесятся в ней».

С. 358. Но Кнауер не терял равновесия. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Душа выстилала все его внутренности ровным гнетом; она поспевала за ним в каждом его движении и давила везде и на все с одинаковой силой, напряженной, бдительной и без упущений, как внимание идеального протоколиста».

...в этом омуте души, осязательной и, следовательно, тошнотворной. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «И сидя у тела сына, человек этот был преисполнен ровным и неопадчивым гудением, тем невнятным и воображаемым гудением, которым полон воздушный корпус колокола, когда звонаря нет на колокольне и внизу думают, что колокола молчат».

С. 361. На дворе шум бушующих масс был роскошен и шумен, как обожание. — Ср. описание ливня как торжества природы в стих. «Счастье» (1915): «...На дне / Бушующего обожанья / Молящихся вышине,..».

С. 364. Но вы-то, вы, господин Амадеус. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Подумаешь, право, лошадь убило!»

С. 365. ...как бывает в домах, где много спящих... — после этих слов в автографе вычеркнуто: «которые видят во сне тишину...».

С. 368. Светло-пунцовая полоса предвечернего его жара... — после этих слов в автографе вычеркнут вариант: «косяком лежала на думском столе, покрытом зеленою скатертью: полоса эта изламывалась с краю и сбегала вниз по борту стола; а внизу она кончалась, запутавшись в бахромчатой скатерти».

С. 369. — Вы?!Вы сами?!— громогласно и негодующе кричал за стеной Зеебальд. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Опять поползли расплывчатые слова гостя. Гость продолжал говорить».

С. 369—370. По стене же вязко пласталась и слоилась речь гостя. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «А с этой стороны стена взялась нежно-розовой паутиной занимающейся зари. Анна Мария, откинув со лба нерасчесанную, свалявшуюся прядь, тупо следила за узором, который выжигала...».

С. 370. ...прерываемая частым кашлем посетителя, речь эта... — после этих слов в автографе вычеркнут вариант: «громоздилась и осыпалась, ползла и выветривалась. Только к концу беседы на ней образовалось выпуклое возвышение. Оно вскочило на ней, как вскакивает синяк от ушиба. Опять эту часть взял на себя Зеебальд».

Но сам по себе этот непомерно долгий день начался еще раньше. — После этих слов в автографе ранний вариант (остался не вычеркнут): «Он был поднят после этих слов в четвертом часу или около того шумом на дворе перед дверью гостиницы "Шютценпфуль". Был ли тому причиной звон косы, мерно и сонно ссучивавшийся за гостиницей, на задах, по сырой, парной траве неподалеку среди мертвой незыблемой тишины, служившей предвестием знойного дня, или же его спугнули голоса двух человек, вышедших из гостиницы в такую пору и слышавших своими ушами звон этой же косы неподалеку от гостиницы. Или же подняло его с лугов, как подымают перепелку из жнивья, лясканье точильного бруска по лезвию, и негромкий, но единственный среди такой тишины разговор двух голосов посередь улицы. Говор этот был негромок, но он слышен был этой тишине отовсюду, потому что он представлял такую же отчетливую и громкую достопримечательность и редкость, как голос Адама в первые дни земли. И этот на редкость продолжительный июльский день, который висел теперь на улице за стеклом крайнего в ратуше окна и горел и озарял отдельные улицы, ту, над которой висел он, и смежные с нею, столбами едкого малинового дыма и озарял их несдержанно, с жадною страстностью заката — день этот начался с громких препирательств двух о чем-то на улицах споривших голосов. Они удалялись, и речь их шла скачками, как скачками передвигались и они, куда-то спеша».

Гостиница «Шютценпфуль», название которой переводится как «Оборонительный ров», находилась в Марбурге, именно там Пастернак провел свою первую ночь по приезде. Описание раннего утра спящего города со звуками косцов и точильного бруска см. в стих. Пастернака «Он слышал жалобу бруска...» (1912): «Он слышал жалобу бруска / О лезвие косы...».

С. 374. ...перебегали мощеный двор и больше уже не оглядывались, попав на лужайку. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Гостиница была пуста и ее можно было обокрасть дочиста или сжечь дотла, и никто бы со двора ничего не заметил».

С. 377. ...припоминал остальным своим товарищам по предмету информации Кнауера, как... — после этих слов в автографе вычеркнут вариант: «молчаливо, не сводя с Туха глаз и очевидно спокойно выслушал Кнауер все то, что пришлось ему выслушать от них». На обратной стороне последней страницы автографа дано

описание заседания в ратуше (не вычеркнуто): «По закрытии заседания бургомистр Тух приподнялся со своего места, а за ним и весь совет. Представители гильдий и цехов разбились на несколько шумных кучек, бойко так в кучках не прерывая своих непринужденных бесед и задерживаясь только у дверей, чтобы пропустить вперед наиболее видных и именитых, стали выходить они из советского зала. Часть же осталась там. Они обступили Грунера, писца, оставшегося сидеть за столом, дожидаясь, когда он кончит писать, чтобы поставить свои подписи под резолютивным эдиктом совета».

Диалог. — газ. «Знамя труда» 17/4 мая 1918 (Mg 203).

Писалосьдля книги об искусстве, в которой автор предполагал «пе-реплесть эту идеологию с наивозможнейшей конкретностью разных вымышленных ссылок на никому не известные авторитеты и вести частью в форме дневника, частью в диалогической» (письмо родителям 7 февр. 1917). Название и форма отрывка соотносятся с жанром платоновских диалогов-трактатов. Утопическая картина будущего России, о котором рассказывает Субъект, — когда будут уничтожены деньги и каждый может компенсировать потраченную энергию непосредственно из общего источника по своим потребностям, отразила непосредственные впечатления Февральской революции и пробужденных ею надежд на новое общественное устройство. Идеи упразднения денег и торговли, полного использования социальной энергии и распределения благ по потребностям были провозглашены французскими философами Ш. Фурье и П.-Ж. Прудоном (ему принадлежит знаменитая формула: «Собственность это воровство»). Позднее они были развиты в работах анархистов Э. Малатеста и П. А. Кропоткина. Теория идеального социализма, основанного на нравственных законах, была разработана Германом Когеном, и Пастернак участвовал в его семинарах по этике, где разбирались вопросы государства и права. Этот аспект учения Когена вызвал возмущение В. И.Ленина, который в своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» подверг его жестокой критике, как врага «научного социализма» и ярого контрреволюционера. Для Пастернака самым главным положением в разработке этих идей представлялась необходимость плодотворной деятельности человека, оставляющего после себя осязательные результаты существования.

Вторая картина. Петербург. — «Новый мир», 1990, № 5. Публикация М. А. Рашковской по машин. (РГАЛИ, ф. 2852). Мы используем коммент. этой публикации. — Машин, с правкой неизвестного лица опечаток и пропущенных слов. На верхнем поле первой страницы, над заглавием карандашное примеч. Пастернака: «Просмотрите со стра-н<ицы> 17 до 24. Там попадаются места излишней недействительной и невыразительной сложности. Течение повести затормаживается и останавливается. То же самое и на 34-й стр.» (РГАЛИ, ф. 2852). Сохранившаяся машин, обрывается на с. 23. Отмеченные с. 17—23 относятся к разговору героев в конце отрывка. Другие примеч. тоже передают критическое отношение Пастернака к тексту.

Можно предположить, что повесть, отрывок которой сохранился в архиве О. М. Брика, была предложена для ознакомления в редакцию

«Лефа» в первой половине 1920-х гг., пометки на полях предполагали направление будущей работы над ней. В письме О. М. Фрейденберг 2 нояб. 1924 г. Пастернак писал, что по подписанному летом в Петербурге договору на том прозы «оставалось только рассказ один им дослать», но договор был расторгнут и издание не состоялось.

На содержании сохранившегося фрагмента «второй картины» отразилось близкое знакомство с профессиональными революционерами Б. И. Збарским, В. Я. Карповым и Е. Г. Лундбергом во время пребывания на Уральских заводах. Дружба Пастернака со Збарским и связанная с ним революционная тема отразились также в «отрывке из повести» «Безлюбье» (датированном 20 нояб. 1918 г.). Первый публикатор отрывка М.

А. Рашковская относит его к концу 1917— началу 1918 г. («Новый мир», 1990, №5. С. 165) по упоминанию в нем газеты «Народный труд», которая издавалась партией народных социалистов в 1917 г. в период подготовки к выборам в Учредительное собрание.

В этом отрывке явственно наблюдается близость прозы Пастернака принципам символистской прозы Андрея Белого, которого он считал своим учителем. Недаром сохранившаяся от повести Пастернака «Вторая картина» называется вслед за романом Белого «Петербург». «Описание героя, фабула, место и время действия отодвигаются на второй план, — писал Белый в статье «Пророк безличия», — все эти подробности бросаются автором потом, вскользь, нехотя, мы должны их ловить все до одной, чтобы самим воссоздать канву изображаемых действий...» («Арабески». М., 1911. С. 33—34). Постоянное перетекание действительной реальности в эстетическую позволяет героям повести Пастернака существовать вне времени и пространства. Разбивка на картины, главы и периоды соответствует архитектонике прозы Белого, создает ритм и подчеркивает стремительность движения, не столько внешнего, сколько внутреннего. Недаром среди отмеченных на полях стилистических недостатков этой прозы Пастернак называет «затормаживание» ее течения в диалоге героев.

Кстати атрибуция этой машин, затруднена именно этими примечаниями, в которых выражен взгляд со стороны. Возможно, это следы постоянно сопутствующего автору чувства недовольства сделанным и желания переписывать и переделывать свои вещи. Не характерный на первый взгляд для Пастернака «революционный» сюжет, странный вид рукописи с поправками неизвестной рукой, внушает недоверие, рассеиваемое по мере внимательного вчитывания.

Тема железной дороги и поезда, подвозящего людей к городу, — неизменный сюжет поэзии и прозы Пастернака. Можно взять близкий по времени отрывок из поэмы «Город», писавшейся в 1916 г. в Тихих Горах. Здесь тот же сюжет стремительного приближения поезда к Петербургу, охарактеризованному названиями романов Достоевского, перенесения действия на окраину, описание которой вызывает образы «изделий гробовщиков». Можно вспомнить также ощущение «хронической нетерпеливости» и «лихорадки», которое вызывали у Пастернака его «побывки в городе», описанные в «Охранной грамоте». Отсюда в отрывке 1917 г. возникает образ сквозняка, дующего из щели, ведущей на реку, предместье, лес.

Современный город Пастернак в записках Юрия Живаго называет «единственным вдохновителем воистину современного искусства». «Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современною душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе». Именно такими чертами и образами описан город в сохранившемся отрывке. Здесь возникает та же метафора музыкальной увертюры перед началом спектакля, спектакля шекспировского, главную роль в котором играет знаменитый английский актер Эдмунд Кин (1787—1833). Скорее даже, что это не реальный Кин, но герой популярной пьесы А. Дюма «Кин или Гений и беспутство» (1836). Причем в 4-й главе, носящей название «Кин», речь идет не о театральном спектакле, а об острой тоске при взгляде на «аляповатость этих миров, их отечную, ничем изнутри в свою пользу не издержанную наглядность», которая была центральной осью трагической «предопределенности» существующего уклада («Охранная грамота», 1931).

Ощущение города как вступления в жизнь, необходимость его завоевания (герои отрывка «Петербург» называются «завоевателями») с трагической силой дается в

заключительной части «Охранной грамоты», посвященной самоубийству Маяковского: «Большой, реальный, реально существующий город <...> Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнанье». Чувство некоторой защищенности и надежности в этом страшном мире передано в разбираемом отрывке образом Жизни с большой буквы, которая выделяет героев повести из массы окружающих и одаривает их дарами предчувствия и чуткого внимания. Вспоминаются аналогичные «посещения» Жизни, приходившей к персонажам ранних прозаических отрывков Пастернака 1910-1912 гг.

Неожиданно в диалогах и споре героев отрывка, — в репликах Глеба проглядывает авторское отношение к революционному насилию, к «миссии», которая «оковывает» и хочет «придушить румянец» ее участников «меловой маской». «Маска срывалась, румяня щеки еще сильнее. Но слепщик шел рядом и примеривал белые, как гипс слова к душе взбунтовавшегося», — пишет Пастернак. Подвиг и жертвенность идущих на гибель революционеров сталкиваются в их душе с нравственным неприятием убийства, «толстовским стариковством», как они это называют. Поэтому спор касается различного примеривания на себя персонажей «Бесов» Достоевского.

С. 386. За ними наблюдал... наблюдатель звался Жизнью. — Ср. «Впоследствии к ним стучалась жизнь. Они отпирали. Она спрашивала, блуждающая: "Здесь живет жизнь?"» («Заказ драмы», 1911).

...кавалькада бесседельных наездников, мчащихся вихрем в обгонку поезда... и это был вечер, торопящий звезды и тишину покоя и созерцания: «в ночное». — Воспоминания о панораме Оболенского, где проводило лето 1903 г. семейство Пастернаков, с железной дорогой на горизонте вдоль широкого поля и мчащихся в ночное лошадях. Л. О. Пастернак писал там картину «В ночное» (1903 г.).

Тогда это был такой-то год; революционное время... год девушки, порывающей со всем прошлым... — 1905-й год был началом революционной деятельности многих девушек, в частности знакомой Пастернака Фанни Николаевны Збарской (Зильберман; 1884-1971), которая была вынуждена уехать из Каменец-Подольска в эм и фацию в Швейцарию.

С. 387. ...начавшее звучать, чтобы где-то прийти к созвучию и быть разрешенным в гармонию, время. — Музыкальный термин «разрешение в гармонию» означает приведение одновременного звучания различных тонов в консонанс, то есть гармоническое согласованное созвучие.

Время — сухой скелет, обросший их индивидуальностями (то есть вневременным, или, еще вернее, безвременным,— потому что индивидуальность — Платонова идея). — На полях отчеркнуто рукой Пастернака и его примеч.: «Для прозы тяжело». Стержневая мысль философии Платона (V-IV вв. до н. э.) заключается в том, что идеи могут воплощаться в человеческой индивидуальности и существовать в ней, пока она жива, после чего они возвращаются в свою божественную сущность.

Ему, как сеттеру, захотелось лайнуть от досады на эту потерю. — Сравнение радостной взволнованности героя с сеттером, почуявшим бекаса, отразило недавние впечатления от охоты во Всеволодо-Вильве на Урале в 1916 г. См. письмо родителям 18 мая 1916 г.

С. 389. ...именно этот запах довел когда-то Петра до галлюцинаций, чтоб он увидел город во всей его далечайшей исторической будущности — вплоть до настоящего момента, чтобы скользить по нем и дальше. — К последнему слову авт. примеч.: «Может быть, начал уже галлюцинировать иной строитель». Ср. стих. «Петербург» (1915): «Кто ты? О, кто ты? Кто бы ты ни был, / Город — вымысел твой... / Это ведь бредишь ты, невменяемый, / Быстро бормочешь вслух».

...надо было идти в коалиционную (правительственную) пятерку... — на такие пятерки делились боевые группы эсеров, членам организации надо было связываться с местной партийной группой.

...корпией, рвалась простыня туманов на чью-то рану. — В машин, неисправленная опечатка: «как корпей, рвалась». В рукописи могло быть также: «как корпия, рвалась...». Корпия — перевязочный материал, изготовляемый из ветхой материи.

С. 390. Малейшее движение вправо раскачивавшегося «Направника»... — в кавычки взято имя известного дирижера Мариинского театра в Петербурге и автора оперы «Дубровский» (1894) Эдуарда Францевича Направника (1839-1916).

(И всякий раз при этом казалось, что входят новые лица и войдет кто-то нужный, кого здесь ждут.) — После этих слов в машин, вычеркнуто: «Припоминались. А может быть звонками Раскольникова». — Раскольников — главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Капельмейстер — руководитель театрального оркестра, дирижер.

Кин брился. Вместо него вышел актер на вторые роли... — Эдмунд Кин прославился исполнением шекспировских ролей, в частности «Гамлета». Роль Кина в пьесе А. Дюма «Гений и беспутство» играл знаменитый русский трагик М. Т. Иванов-Козельский (1850-1898), фигура которого интересовала Пастернака; в поздние годы он хотел написать о нем пьесу.

Лавра и дальше амбары сразу могли дать понятие о XVI веке... — в машин, неизвестной рукой вычеркнут вариант: «дать понятие о Шекспире...». Александро-Невская лавра основана в 1710 г.

...о трагедии с соблюдением трех единств. — Трагедии XVI11 в. ложно-классического стиля соблюдали закон единства места, действия и времени.

С. 391. ...это двухсотлетие от впадения кого-то там в галлюцинацию... — имеется в виду 200 лет от создания Петербурга Петром Первым. Ср.: «Это ведь бредишь ты, невменяемый, / Быстро бормочешь вслух» (о Петре I из стих. «Петербург», 1915).

Лошадиные бега по клавишам камней бывают громче, чем Бетховен. — Ср. стих. «Бетховен мостовых» (1910): «...сонаты кандалы / Повлек по площади Бетховен».

С. 392. ...когда рвут связки самых эластичных сгибов, дают страдающему морфий. — Отражение реально пережитых Пастернаком страданий при переломе ноги летом 1903 г.

Дом, глядевший из тупика вдоль этой улицы, был желтым гробом: — форма его... казалась пирамидой гробов... — ср. «Это — Крымские бани, татары, слободки, Сибирь и бессудье, / Это — стаи ворон. — И скво-решницы в лапах суков / Подымают модели предместий с издельями / Гробовщиков» («Город», 1916; ранняя редакция).

...(о, этот запах цветочного горшка!)... — в машин, карандашный вариант неизвестной рукой: «оконного цветка».

...и черный палец «к сапожнику» указывал и — куда гнать. Он мог быть истолкован двояко — этот черный палец... — ср.: «Вот вечер, воздух, как обнаженная аллея, потупившиеся здания, девушка с голубями и ветер, завоевавший все и из всего сделавший флюгера и указательные пальцы...» («Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей!..», 1910). Также в письме к родителям: «...я не человек ценных качеств, не характер в твердом состояньи, а — живое указанье, а палец на доске с надписью: к сапожнику налево» (8 марта 1931).

С. 393. Посетители захаживали, засиживались и хвалили... — после этих слов и до: «Круто деревянными были шаги...» вставка, написанная карандашом неизвестной рукой на обороте страницы.

...наутренней и вечерней заре приходили... животные, пахло временами Ноя. — Времена библейского праведника Ноя были кануном грядущего всемирного потопа.

С. 395. Нужна решимость Сведенборга, чтобы стены означали Ангела... — Эмануэль Сведенборг (1688-1772) — шведский философ-мистик, создатель учения о «потустороннем свете» и бесплотных силах.

С. 396. В такой комнате должно завести пса, вертящегося со времен Гёте... — явление Мефистофеля в виде черного пуделя в первой сцене «Фауста» Гете.

Беднейшая из бедных комнат могла быть лучшим снарядом, чем тот, что выдуман Райтом. — Речь идет об американских авиаконструкторах братьях Райт —Уилбере (1867-1912) и Орвилле (1871-1948), в 1903 г. совершивших первый полет на построенном ими самолете.

7-я глава. — По последовательности должна быть 6-я, может быть, это пропуск одной главы, но вероятнее, — опечатка в машинописи.

Опять темп бешенейших встреч в ином, не сжитом с ними мире. Пульс неизвестных жизней пропитывал, как малярия. Сердце стучало в голове и мыслило... — ср.: «За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия» («Охранная грамота», 1931).

С. 397. ...их сердца просвечивали двумя червонными тузами, может быть, горели спины двумя бубновыми?— Бубновый туз на спине означал каторжника. Ср. у Блока в «Двенадцати» (янв. 1918) описание красногвардейца: «В зубах — цигарка, примят картуз, / На спину б надо бубновый туз!» Метафорой червонного и бубнового тузов выражена двойственная сущность революционера.

Вбегает Герман: «Карту!» — Гуляющие фигуры на Невском проспекте вызывают ассоциацию с карточной игрой и героями «Пиковой Дамы» А. Пушкина.

Исакий — Исаакиевский собор.

...тяжелое дыхание свалившегося на перила пара... — после этих слов в машин, вычеркнуто: «неустанно поднимаясь».

С. 398. ...точно первый мир, где он вставал с постели, обязанный дать имена природе. — Тема первого дня творения одна из существенных в поэтике Пастернака; роль Адама, дающего имена неназванным предметам и тварям нового мира, передавалась творческой личности, становясь ее призванием и долгом. Ср. «...смысл существования опять открывался Ларе. Она тут, — постигала она, — для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени...» («Доктор Живаго»).

[Его инстинктом, выделившим себе защиту для уединенных мыслей позой, изучалась боль. Она спасала от их вмешательства.]— Вычеркнутая фраза отмечена по полю автором: «Тяжело».

С. 401. ...Кирилов... роль Ставрогина <... > не стал обезьянами «бесов» ? <... >роль Верховенского <... > верил в Ивана-царевича... — имена персонажей романа Достоевского «Бесы» и надевание на себя и других их масок.

«Террор Антиквус» — древний ужас (лат.).

Безлюбье. Глава из повести. — газ. «Воля труда» 26 и 28 нояб. 1918 (№ 60, 62). Время публикации на неделю отстает от авт. датировки отрывка. Его содержанием стало возвращение Пастернака из Тихих Гор в Москву в феврале 1917 г. Об этой поездке он писал в очерке «Люди и положения» (1956): «Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена "Капитанской дочки", на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь». Удивительным образом память сохранила близкие детали описания этой поездки, порой дословно совпадающие с потерянной публикацией сорокалетней давности.

В отрывке даны наброски двух характеров, лирически-впечатлительного Гольцева и решительно-деятельного Ковалевского. Это та же антитеза, которая прослеживается в споре братьев в отрывке «Второй главы. Петербург», и тоже противопоставление полюсов Лирики и Истории в статье «Черный бокал» (1916), нашедшее свое окончательное выражение в судьбах Юрия Живаго и Антипова-Стрельникова в «Докторе Живаго». Название главы «Безлюбье» передает авторскую характеристику «героя отречения», для которого понятия «жизни и смерти, восторга и страдания» представляются «ложными... наклонностями особи» («Черный бокал»).

С. 405. ...маша пламенем и поднося его... то под морды лошадей... то под самый их подпузник и под паха. — Осмотр упряжи перед поездкой. Подпузник — подпруга, ремень, подвязывающий лошадь под животом.

...бросились напяливать азямы поверх дох на господ... — азям — верхняя крестьянская одежда, длинный тулуп, надеваемый поверх шубы мехом наружу (дохи).

С. 406. Она исчезла без следа между ветвей, походивших на босови-ки... — босовики — обувь без голенищ, надевавшаяся на босу ногу (В. Даль).

Их мчало и мчало прямым, как стрела, большаком. — Большак — большая грунтовая дорога.

...суконнуюполу, укрывавшую черноехайло амфитеатров... — хайло — глотка, пасть; здесь метафорически: темное пространство зрительного зала во время начавшегося спектакля.

«Он извлечен замертво из-под колес», — узнавали от знакомых... — страшная гибель человека у театрального подъезда под колесами экипажа стала центральным эпизодом в повести «Детство Люверс» (1918).

С. 407. ...со своими мыслями о революции, которые были ему опять, как когда-то, дороже шубы и дороже клади, дороже жены и ребенка, дороже собственной жизни и дороже чужой... — характеристика революционера соотносится с разговором Глеба и Николая в отрывке «Вторая глава. Петербург» о его семерых детях, любовью к которым Николай жертвовал в пользу своей миссии, перелагая в случае гибели заботу о них «на подпольный союз», а после переворота, он был убежден, — будет «пенсия».

Передовая, подняв голову, вглядывалась... — передовая из трех лошадей, запряженных «гусем», то есть друг за другом.

...признал того Дементия Меха нош и на, которому выдавал однажды в конторе... удостоверенье в том, что, содержа тройку и правя последний год между Б ил я ром и Сюгинским, он работает на оборону. — См. в очерке «Люди и положения» (1956) о работе в Тихих Горах: «В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону». Биляр (Билярск) — пригород на реке Билярке, в 52 верстах от Чистополя Казанской губернии. Сюгинский стеклянный завод — находился недалеко от села Можга на север от Елабуги и Тихих Гор; был основан в 1845 г. елабужским купцом Черновым.

С. 408. ...почуялась чугунка... майный, горемычный гар и дым. — Чугунка — железная дорога, майный — от глагола маяться и гар — среднее между гарь и угар — неологизмы, передающие гнетущую обстановку фабричных районов.

...короткая остановка на въезжей... — то есть у въездной сторожки заводов.

С. 409. Так вы знали Брешковскую?.. — Е. К. Брешко-Брешковская (1844—1934) — видная деятельница народнического движения, лидер партии эсеров. Инженер заводов в Тихих Горах, позже известный биохимик Б. И. Збарский познакомил Пастернаков с Брешковской; Л. О. Пастернак рисовал ее портрет в 1917 г.

...Ковалевский писал брату... — отрывок «Безлюбье» начинается словами о брате Ковалевского, который оставался на заводах. Это подкрепляет догадку о братьях

Збарских как прототипах писавшейся в то время повести. Младший брат Б. И. ЗбарскогоЯков Ильич Збарский оставался в Тихих Горах после отъезда старшего и погиб во время гражданской войны на Урале, как «красногвардеец первых тех дивизий, / Что бились под Сарептой и Уфой» («Спекторский», 1930). В следующих разработках сюжета братья получили фамилию Лемохов («Повесть», 1929).

Три главы из повести, — газ. «Московский понедельник» 12 июня 1922 (№ 1). В публикации имеются опечатки. — Машин. 1922 г. (РГАЛИ, ф. 1334, оп. 1,ед. хр. 794).

Сюжетная совокупность, связанная именем главного героя этих фрагментов Спекторского, получила развитие в романе в стихах «Спек-торский» (1925-1930) и «Повести» (1929), где, кроме самого Спекторского, встречаются те же персонажи: братья Лемохи и Шютц (под именем Сашки Бальца). В начальных словах «Повести» (1929) Пастернак вспоминает об отрывках этого сюжета, попавших в печать «в начале революции». Время зарождения этого замысла Пастернак относит к 1919 г. («десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести»), предупреждая, что найденные «в те годы на снегу под деревьями» судьбы его персонажей остались без изменения, несмотря на некоторые переименования: «...это — одна жизнь».

Биографической основой главы II «Дева Обида» стало пребывание Пастернака летом 1914 г. под Алексином. В очерке «Люди и положения» описан тот же вечер, когда плывшая по Оке военная часть высадилась на берегу в Петровском.

С. 411. Это было давно. Каз-за!— Они заскакивали крику в лицо, и вдруг, оказавшись на самом хребте огромного расседланного моря голов... — воспоминание относится к разгону демонстрации в 1905 г. казаками, во время которого Пастернак получил удар нагайкой по спине («Охранная грамота», 1931).

Шютц был сыном богатых родителей и родственником известнейших революционеров. — Прототипом этого персонажа был Александр Осипович Гавронский (1888-1958), правнук крупного чаезаводчи-ка В. Высоцкого и племянник основателей и лидеров партии эсеров, членов боевой организации, братьев А. Р. и М. Р. Гоцев. «Тесно сплетенные матримониальными и деловыми связями семьи Высоцкого и Гоца в еврейских кругах Москвы пользовались широкой популярностью. <...> Но младшее поколение пошло по совершенно иной дороге: внук старика Высоцкого, А. Д. Высоцкий стал социалистом-революционером и уже при большевиках бесследно погиб в Сибири, а два сына Рафаила Гоца, Михаил и Абрам, <...> сыграли крупную роль в истории партии социалистов-революционеров» (В. Чернов. Перед бурей. М., 1993. С. 143).

Ему казалось, что все это так и надо и что червя этого он вычитал у Ницше. — Ср.: «Довольно серый отпрыск богачей, / Он в странности драпировал безделье. / Зачем он трогал Ницше? Низачем. / Затем, что книжки чеков шелестели» («Спекторский». Ранняя редакция).

Знаете ли вы украинскую ночь?— Цитата из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (1832).

...чуткая речонка, врезавшаяся в мозг политических глубже, нежели ее темные воды в подольский ил... — упоминание Каменец-Подольска, откуда был родом Б. И. Збарский и где началась его революционная деятельность, хранение и пропаганда нелегальной литературы, — соотносит Збарского с образом Лемоха.

С. 412. ...первого знакомства, в июле девятьсот девятого года. — Точная дата знакомства Пастернака с А. О. Гавронским. См. также набросок письма к Гавронскому осени 1910 г.

Не то бросив свою новую жену, не то будучи ею брошен, он приехал из-за границы готовым морфинистом. Он проживал в меблированных комнатах... — эта ситуация описана Пастернаком в письме к А. Л. Штиху ЗОапр. 1911 г.

В этот период знакомства у Шютца были глаза без белков. — См. в письме А. Л. Штиху: «...вращает какими-то почти стеклянными глазами (ему впускали атропин) <...> И он с этими черными фальшивыми глазами так пошло-страшен!» (30 апр. 1911).

Кисею озаряло в полете, и она... — в газете текст оборван, далее — повторение конечных слов следующего абзаца: «(чтенья в отсутствие грозы)».

С. 413. Забылись змеи, бывшие теми единственными струйками влаги... — о множестве змей в Петровском на Оке Пастернак вспоминал в «Охранной грамоте» (1931), описывая лето 1914 г.: «В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье».

... Ока всклянь, до ободков, налилась тишиной... — всклянь — вровень с краями, полностью (обл.).

...призрак отдаленной полковой музыки, который внезапно всплыл вслед за ней неизвестно где. — Ср.: «По Оке долго в пелене тумана, стлавшегося по речным камышам, плыла и приближалась снизу какая-то полковая музыка...» («Люди и положения», 1956).

С. 414. ...заночевалиу владельца, предводителя дворянства Фрестель-на. — В «Повести» (1929) эта фамилия принадлежит хозяевам дома и родителям ученика Спекторского Гарри.

Но официальный указ о мобилизации еще не вышел. — Ср.: «Это была одна из частностей заблаговременно проводившейся мобилизации. Началась война» («Люди и положения», 1956).

...почести, подобающие небу на Ильин день. — На Ильин день, отмечавшийся церковью 20 июля / 2 августа, поют славу вознесению Ильи-пророка на небо.

С. 415. Но самое замечательное, это — трубы. Они пахли. Честное слово. <...> Они лежали на траве, медные и светлые, сплошь в росе, и пахли, пахли. Знаете, как миндаль или, если сорвать повилику... — Р. Я. Райт-Ковалева вспоминала, что Пастернак в 1921 г. рассказывал ей свою новеллу «Карета герцогини». Там был эпизод, относящийся к брошенным музыкантами трубам, поросшим повиликой: «И они пахли, честное слово, пахли: немного миндалем или вот когда сорвешь повилику, такой горький, немного приторный запах» (Труды по русской и славянской филологии. Вып. 9. Тарту. 1966). Из писем родителям 1916 г. известно, что новелла под таким названием была написана, но текст ее неизвестен.

— Валя, это в Полку Игореве —Дева Обида?— «Встала обида в силах Дажьбожа внука, вступила девою на землю Трояню». В «Слове о полку Игореве» это образ войны и национальных бедствий.

Там тоже что-то про трубы. — «Трубы трубят в Новеграде» («Слово о полку Игореве»).

С. 416. ...слава тебе Господи, раздробленье ноги... — Пастернак был освобожден от армии из-за сросшейся с укорочением ноги (только одно неравенство), сломанной с раздроблением кости при падении с лошади в 1903 г.

С. 418. ...несравненно медленнее стариковых калош, по лестнице подымаются ноги девятнадцать двадцатых с пристукиванием и припаданием... — музыкальный ритм передает походку хромого человека. Повторяющийся мотив хромоты героя — Цветкова в «Детстве Люверс» или Спекторского в этих отрывках — восходит к реально пережитым событиям 1903 г.

Ведь-ведь-ведь у тебя Георгий. — Георгиевский крест — основной военный орден России. Орден Святого Георгия основан в 1769 г. как офицерская награда, с 1807 г. — были введены «солдатские Георгии» — имел четыре степени, в соответствии с боевыми заслугами.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ (С. 419)

Отрывки юношеской прозы Пастернака публиковались отдельными подборками в разных научных сборниках 1970-1980-х гг. В них давалось полное текстологическое описание автографов, со всеми вариантами и вычеркнутыми местами. В Собрании сочинений 1989-1992 гг. приведены 22 наиболее сюжетно оформленных отрывка. В настоящем издании добавлены еще 24 более мелких фрагмента, причем в публикуемый текст включены наиболее объемные и существенные варианты, — близкие версии и разночтения остались вне рассмотрения. Сокращенные или недописанные слова развернуты без специального обозначения, пунктуация приближена к современным правилам.

Аналогично первым стихотворным наброскам, написанным в 1910 г., первые прозаические датируются тем же временем. Друг Пастернака С. Н. Дурылин вспоминал о весне 1910 г., когда он впервые услышал отрывки о Реликвимини.

«Борис стал рассказывать мне сюжет своего произведения и читать оттуда куски и фразы, набросанные на путаных листах. Они казались какими-то осколками ненаписанных симфоний Андрея Белого, но с большей тревогой, но с большей мужественностью. <...> Герой звался Реликвимини. Герой был странен не менее своей фамилии <...> У Бориса был тогда уже особый до всяких футуристов (футуристы посыпались в

1913 году), особый вкус к заумным звучаньям и словам, и я думаю, ему было приятно, что его герой не только страдает, но и спрягается. Другой герой был чуть ли не Александр Македонский. Реликвимини бродил по улицам — и таял на закате...» (Воспоминания. С. 56). Далее Дурылин восстанавливает сюжет с зеленой, сверкающей на солнце ящерицей, который потом неожиданно появился в случайном эпизоде на прогулке Бальзака в «Белых стихах» 1918 г.

В имени героя, которое было «псевдонимом-эмблемой» первых литературных опытов Пастернака, выразилось желание автора передать и закрепить в памяти живое впечатление виденного и пережитого. Форма латинского глагола relinquo во втором лице множественного числа прошедшего времени страдательного залога значит: «вы покинуты, оставлены, вас оставляют».

В характере этого персонажа заложены основные черты прошедшего через все творчество литературного героя Пастернака. Его обостренная впечатлительность очерчена в этих набросках с болезненной резкостью, доходящей до крайности и ставящей героя на грань психической ненормальности. Это дает возможность понять кажущиеся странными на посторонний взгляд особенности характера Жени Люверс или Сергея Спекторского, Патрикия Живульта или Юрия Живаго, — и порою самого автора, не умевшего увиденную и понятую сущность явления прикрывать общепринятыми условностями. Определяя прозу Пастернака как особый жанр «прозы поэта», Р. Якобсон характеризует ее присутствием автобиографической темы в широком смысле слова, то есть духовным родством героя прозы с самим автором (Заметки о прозе поэта Пастернака// Р. Якобсон. Работы по поэтике. М., «Прогресс», 1987).

В одном из отрывков вместо вычеркнутого Реликвимини вдруг появляется Пурвит, формою имени выявляющий его внутреннее значение (pour vie — по-французски: для жизни, vita — жизнь по-латыни). Nomen est omen — «имя это предсказание» — гласит латинская пословица, что подталкивает на поиски происхождения значащих имен в последующей прозе Пастернака.

Останавливают на себе внимание фамилии других персонажей этой прозы: Моцарт, Александр Македонский, Сальери и др. Шведская исследовательница А. Юнггрен отмечает комический эффект совпадения известных имен у Пастернака с подобным приемом у Гоголя в «Невском проспекте»: «Перед ним сидел Шиллер, — не тот

Шиллер, который написал "Вильгельма Телля" и "ИсториюТридцатилетней войны", но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице» («Juvenilia». С. 68). Л. Л. Горелик считает, что имена творцов и завоевателей, которыми Пастернак награждает своих персонажей, содержат «иронию по отношению к представлениям ницшеанства, смешивающим творческую силу с силой и грубостью» героя (Начало полета: Тема воздушного пути впрозе Пастернака 1910 года/ZStudia RussicaXIX. Budapest, 2001. S. 351).

Действительно, иронический аспект в этих случаях явно присутствует, но выходит за рамки гоголевских или ницшеанских сближений и отталкиваний, поскольку тот же прием применяется в этих набросках в использовании также имен знаменитого французского математика Эдуарда ГУрса или немецкого философа Ф. Э. Шлейермахера, архиепископа Реймского, апостола франков Св. Ремигия, русского художника В. Е. Пурвита, историка Н. И. Кареева и др. Если посмотреть далее, то это Генрих Гейне, который появляется в «Апеллесовой черте», или друг А. Н. Островского Тертий Филиппов в поэме «Зарево». В этом плане можно вспомнить также о фамилиях более или менее известных людей, которыми Пастернак называет своих героев в «Спекторском» или «Докторе Живаго».

Вспоминая в «Охранной грамоте» годы учения в университете, Пастернак останавливается на том особом «ощущенье города», которое он переживал на улицах Москвы, и на «ничем в свою пользу не издержанной наглядности» городской жизни. Большинство прозаических набросков 1910—1912 гг. посвящены описанию города и его улиц в постоянной изменчивости освещения или погоды. Убеждаясь на примере своего отца-художника, как интерьеры и неодушевленные предметы, «натурщики натюрморта», преображаются в художественном претворении, Пастернак снова и снова возвращается к их изображению, как бы чувствуя их требовательную нужду в воплощении. Девизом его героя становится «работать на неодушевленное». Соответственно, в «Охранной грамоте» Пастернак признается, что его желанием всегда было одухотворить «аляповатую» наглядность косных рядов существования, «примкнуть его к живому воздуху» чувства. Интересно сопоставить это чувство со словами композитора А. Н. Скрябина к своей «Поэме Экстаза»: «О мир ожидающий, / Мир истомленный! / Ты жаждешь быть созданным, /Ты ищешь творца».

В этих отрывках также мы видим будущего автора «Сестры моей, жизни», узнаем о том, как «забывшаяся жизнь» приходит к нему в гости, «блуждающая», одинокая, как он усаживает ее к себе на колени, старается «развлечь» ее рассказами о ней самой, «укачивает в стихах».

Стремление, пронизывающее эту прозу, — передать увиденное и пережитое во всей их целостности — стало для Пастернака оправданием и смыслом литературного призвания. «В свои ранние годы, — писал он в 1959 г., — я был поражен наблюдением, что существование само по себе более самобытно, необыкновенно и необъяснимо, чем какие-либо отдельные удивительные случаи или события. Меня привлекала необычность обычного. Сочиняя музыку, стихи или прозу, я следовал определенным представлениям или мотивам, развивал любимые сюжеты или темы, — но высшее удовлетворение получаешь тогда, когда удается почувствовать смысл и вкус реальности, когда удается передать самую атмосферу бытия, то обобщающее целое, охватывающее обрамление, в котором погружены и плавают описанные предметы» (письмо Ст. Спендеру 22 авг. 1959, перевод с англ.).

Зарисованные с натуры пейзажи, сцены, мгновенные впечатления, отразившиеся в набросках, отмечены наблюдательностью и вниманием к деталям. Они незаметно переходят в размышления о психологии творчества и субъективности восприятия, глубокая впечатлительность и артистизм, отразившиеся в них, выдают основы

поэтического мира Пастернака, узнаваемые с первого взгляда и характеризующие автора на всем его пути.

В этих набросках мы находим круг устойчивых тем и образов, разрабатываемых одновременно в стихах и прозе и получивших дальнейшее развитие в будущем. А. Юнггрен предлагает рассматривать эти тексты «как зачаток и прообраз будущей новаторской пастернаковской прозы, как документ, позволяющий судить о формировании стиля писателя» и «как прозаическую "половину" единого стихотворно-прозаи-ческого корпуса произведений Пастернака» («Juvenilia». С. 2).

«Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей!..» — «Juvenilia».

По-видимому, это один из вариантов того отрывка, который Пастернак читал С. Н. Дурылину весной 1910 г. о Реликвимини на Никольской. Соответственно, памятник великого человека — памятник первопечатнику Ивану Федорову. См. следующее по времени, зачеркнутое начало того же сюжета «Я спускался к Третьяковскому проезду...».

С. 425. ...как кисть, которую макнули в чудную жизнь, и есть заданный вам рисунок. — После этих слов в автографе пропуск в четыре страницы.

С. 427. ...к нам, художникам... приходит забывшаяся жизнь... — см. «Заказ драмы»: «Впоследствии к ним стучалась жизнь. Они отпирали...». С. 462.

...когда все это линейное, то есть высшее, подчиняющее и святое, само хочет... — после этих слов вычеркнуто: «расти и ширяться, и вибрировать, и трепетать. Тогда оправы раскалываются и то, что сдерживали они, разбивается, и смешиваются осколки, и нужна новая оправа; это когда спрашивают, вот любовь, что делать мне с моей любовью».

С. 428. ...царит героическая площадь, которая кропотливо перебирает толпу. — В автографе после этих слов пропуск полутора страниц и далее начинается новый вычеркнутый вариант последнего эпизода.

«[Яспускался к Третьяковскому проезду...]» — Собр. соч. Т. 4. — Вычеркнутый вариант начала предыдущего отрывка «Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей!..».

С. 430. ...груда безгрудых эскимосских женщин в синих широких штанах... — ср. с описанием китайцев в «Детстве Люверс»: «Китайцы перебегали через дорогу... Они были в синем и походили на баб в штанах». С. 57.

...к татарке подошел городовой, второй Генрих VIII... — имеется в виду знаменитый портрет английского короля Генриха Восьмого (1491-1547) работы Гольбейна Младшего (1497-1543).

У Дорогомиловской заставы. — Slavica Hierosolymitana. IV, 1979.

Л. Л. Горелик видит в этом отрывке характерное для Пастернака понимание обыденности как «необходимой составляющей» творчества. «Именно обыденность содержит в себе ту высокую женственную субстанцию», в данном случае олицетворенную в виде «дочери хозяина трактира», которую «запечатлевает художник» в гуще существования (Начало полета: Тема воздушного пути в прозе Пастернака 1910 года // Studia Russica XIX. Budapest, 2001. S. 348).

С. 432. ...внучатный племянник Кенигсбергского философа... — Иммануила Канта.

С. 432—433. ...женский смех... изнемог в танце распятого... — Горелик отмечает значение танца как «одухотворенной дионисийским трагизмом деятельности преображающего жизнь творца» в философии Ницше, который свои последние письма подписывал именем «Распятого» (Там же. С. 347).

С. 433. ...стрелка на трех лубочных розах, лежавшая увеличенной лапой июльской мухи на циферблате... — ср. с описанием трактирной обстановки в стих. «Мухи мучкапской чайной» (1917): «А глыбастые цветы / На часах и на посуде?..»

«Реликвимини был на месте уже...» — Публикуется впервые.

«Шестикрылов обернулся назад...» — Публикуется впервые.

«Когда Реликвимини вспоминалось детство...» — «Juvenilia».

С. 436. Детство запомнило полдни и возвращения пололок с работ... — см. стих. «И был ребенком я. Когда закат...» (1911): «Равнял единокровные предметы, / Пололок голени ступали в ряд...».

С. 437. ...всерассветы отбивали тревогу по ней... — см. в «Охранной грамоте»: «Всего порывистее неслась любовь. Иногда <...> она опережала солнце...». Там же, в вычеркнутом варианте, Пастернак объяснял, что имел в виду очевидность чувства, «каждое утро опережавшую всякий иной вид очевидности ясностью вести, только что подтвержденной. От него исходил дух факта...».

С. 438. Пролетка обносила несчетную строку весенних бельэтажей и лавчонок милым — дальше вычеркнуто: «лицом утешительницы-сестры».

.. .печальным лицом сестры в дорожном костюме. Она молчала... — двоюродная сестра Пастернака О. Фрейденберг вспоминала о совместном возвращении из Меррекюля в Петербург в июле 1910 г.: «Наконец меня потянуло домой; но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала, но во мне происходили какие-то сдвиги, и я переживала что-то необъяснимое, но значительное, Боря, по обыкновению, много говорил» (Б. Пастернак. Пожизненная привязанность. М., 2000. С. 29).

...извозчик их с шумом размыкал людные площади, как старые проржавевшие замки... — в письме О. Фрейденберг 23 июля 1910 г. Пастернак писал об их поездке по Петербургу: «Извозчик грустно размыкает все толпы на углах, как живые, ползучие замки...».

...неизгладимо лежала оставленная за спиной весна. — После этих слов в автографе пропущена чистая страница.

С. 439. Бульвар и < > были остановлены неожиданными похоронами. — После недописанной фразы в автографе пропуск в полстраницы.

...блюдца невероятных размеров и форм вычерчены по земным бурым шерстинкам. — После этих слов вычеркнуто: «Когда я там была, за соседними домами бушевала военная музыка, а в другой улице, как морской житель, вверх и вниз булькала и корчилась пролетка». (Морской житель — игрушка: плавающая фигурка в бутылке с водой, затянутой резиновой пленкой. Об этой игрушке Пастернак писал О. Фрейденберг 28 июля 1910г.: «Правда ли, что мы передавали друг другу этих: кондуктора, извозчика и этого дорогого морского жителя...».)

С. 440. На святой истоме материнства. — Далее в автографе вычеркнуто: «Бледные, выздоравливающие женщины, которые расправляли вокруг своих восковых ликов с каждым днем отрастающую столицу».

...я теперь думаю о материнстве... как неподражаемо просто удается им то, чего мы так ждем. — Аналогичная метафора душевной требовательности и жажды облегчения от тяжести при пробуждении творческого вдохновения возникает позже в «Детстве Люверс», когда Женя говорит своей подруге: «...чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг — и родишь вдруг». На обратной стороне обложки тетради, где записан этот отрывок, заметка: «Требовательность. Она усилилась. Она требовала, чтобы уладить, примирить с городом. Что-то сделалось с окружающим для нее <...> Требовала совсем не от него, мимо него. Материнство».

С. 441. ...небо усиками лазури вилось о натыканные колышки церквей, громоотводов. — Далее в автографе пропуск чистой страницы.

Рука трогается, раздается и вырастает. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Он уже в царстве плеч. В нескольких минутах ходьбы отсюда в темноте сердце громко что-то приколачивает. Какая-то незрячая привратница медленно отстегивает

ворот». Ср. в стих. «Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею...» (1919): «...Под царства плеч твоих. / (И тушат свет.) Я б утром возвратил их. / Крыльцо б коснулось сонной ветвью их».

С. 443. «Это пройдет, это как тогда на Иване Великом. — СН. Ду-рылин вспоминал, что на Пасху 1908 г. водил Пастернака на колокольню Ивана Великого смотреть звонарей. «Почему-то мы вошли вовнутрь башни, и нам стало страшно, показалось, что башня <...> вся дрожит сверху до основания. Еще приступ и она рухнет» («Москва» // Встречи с прошлым. Вып. 9. М., 2000. С. 181).

Нужно выйти на воздух». Вдруг... пустили его как волчок. Он очнулся. — Обморок на вокзале после проводов О. Фрейденберг в ироническом ключе описан в письме к ней: «Я корчился на перроне, в судороге произнося твое нежное, дорогое имя. <...> Публика рыдала. Дамы смачивали мои раны майским бальзамом. Кондуктор хотел меня усыновить» (1 марта 1910).

С. 445. ...взял у лакея холодную мокрую салфетку и положил Реликвимини на лоб. — После этих слов в автографе пропущена страница, а затем начало второго варианта описания весенних сумерек за окнами вокзала, по которым улетает душа упавшего в обморок Реликвимини: «За окнами вокзала едва-едва держалась вечерняя весна...». С. 445.

«[Вероятно, я рассказываю сказку...]» — Собр. соч. Т. 4.

С. 447. Вероятно, я рассказываю сказку. — В письме О. Фрейденберг Пастернак вспоминал о совместных прогулках в Меррекюле: «...мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево и, оказалось, сказочку должен был я рассказать тебе <...> тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах...» (23 июля 1910).

С. 448. ...пестрого ландскнехта, который... отымал флейту от своего рта... и далее: ...влачилось целое стадо сшитых шкурок, — это были серенькие чучела, неизбежные в роли Блафара. — Яркий разноцветный костюм ландскнехта, немецкого солдата XV—XVII вв., флейта и серенькие чучела крыс, тянущихся за ним, — атрибуты роли Крысолова. В театре разыгрывается сюжет средневековой легенды, записанной братьями Гримм, об отставном солдате, который по пути из армии освободил от крыс город Гамельн. См. также отрывок «Была весенняя ночь...» (С. 467), где Реликвимини должен был выступать в роли Крысолова из Гамельна. Эта же легенда вспоминается в стихотворном наброске «Гримасничающий закат...» (1910).

«Вот какая у меня комната...» — Публикуется впервые.

С. 448. И сказка была уже начата... — см. предыдущий отрывок «Вероятно, я рассказываю сказку...» и указанную в коммент. связь этого сюжета с письмом к О. Фрейденберг 23 июля 1910 г.

«Вот. Песня маляра сейчас тонет...» — Публикуется впервые.

С. 448. С Николаевского вокзала... И на заре увозят из Москвы — к петербургской заре. — Отрывок связан с перепиской с О. Фрейденберг в августе 1910 г.

«Я давно наблюдал за тем лицом...» — Публикуется впервые, первонач. вариант следующего отрывка «Мышь».

Мышь. — Собр. соч. Т. 4. Название отрывка, необъяснимое из его содержания, возможно, связывало его с сюжетом, намеченным в наброске «Была весенняя ночь...» (С. 467). Тоже название предполагалось использовать для отрывка «Заказ драмы» (С. 457).

С. 454. ...женский носовой платочек, пропитанный мандарином... — эта деталь была использована в стих. «Заместительница» (1917): «Чтобы, комкая корку рукой, мандарина, / Холодящие дольки глотать...» и стала сюжетным моментом в романе «Доктор Живаго» в главе «Елка у Свентицких». См. также: «Он дышал батистовым

платком в эти минуты, над платком порхал аромат мандарин» («Однажды жил один человек...». С. 504). Реальной биографической основой этого сюжета была встреча нового, 1907 г.

«Вот идет Реликвимини...» — «Juvenilia».

Заказ драмы.—сб. «Памятники культуры». Первонач. назв. отрывка, вычеркнутое в рукописи, — «Мышь». Вычеркнуты также подзаголовок: «Драма без диалогов и диалоги» и перечень действующих лиц: «Шестикрылов. Александр Реликвимини». Чувство драматизма, вызываемое видом комнаты с мебелью, описано также в черновом наброске письма А. О. Гавронскому: «...неотступен сценарий, эта гостиная, потребовавшая драмы потому, что в ней было уже все повешено и нараспев расставлены предметы, словом все было готово и на подмостки этого меблированного мира вошли люди и темой, сплотившей их...» (осень 1910).

С. 459. ...как и музыка, эти мысли — как чашка, куда можно кидать сколько хочешь чувств... — ср.: «...эти вечера, в которые можно бесследно совать какие-то мысли, слова, намерения, ненаписанные письма и т. д. и которые тысячекратно ценны именно как эти колодцы, в которые падало столько творчества» (письмо родителям 26 мая 1912).

С. 461. ...то не находил себе места... то, вознесенный, оглядывался... — ср. в «Докторе Живаго» ночное писание стихов в Варыкине: «Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его. Он оглядывался, он озирался кругом».

С. 462. ...к ним стучалась жизнь <...> Впоследствии они стали художниками. Они были более внимательны... — основой художественного восприятия жизни Пастернак считает внимание к неодушевленному. См. также в отрывке «Уже темнеет. Сколько крыш и шлицей!..»: «...к нам, художникам, <...> приходит забывшаяся жизнь...». С. 427.

«...мы оплачем вас и заломим за вас руки». — В автографе после этих •слов вычеркнуто: «Красота это то, перед чем мы живем несколько лет в один миг».

С. 464. Гольбейн — имеется в виду немецкий художник Ганс Голь-бейн Младший (1497-1543).

...вначале была создана мебель, затем слову, которое ее создало... и далее: ...сотворение Евы из лопнувшего во сне ребра. — Аллюзии на начальные главы Библии (Быт. 1,1; 2,21-22).

С. 465. ...играл на «бехштейне»... — немецкая фирма рояля.

...если б ждал ты сестры или почтальона... — можно сопоставить с тем нетерпением, с каким Пастернак ждал письма или приезда своей двоюродной сестры О. Фрейденберг в августе 1910 г.

Гилозоизм — учение о всеобщей одушевленности материи, существующее со времен Эмпедокла (V в. до н. э.).

С. 466. ...Holbein'веский Schleiermacher-занавесопромышленник... — Пастернак называет человека, подымающего занавес и которого мог бы писать Гольбейн, занавесопромышленником, переводя с немецкого имя философа и богослова Ф.-Э. Шлейермахера (1768-1834). Вскрывая этимологию имени своего персонажа, Пастернак связывает его появление с классической формулой Гёте, которая определяет отношение искусства и жизни: «Поэзии покров благоуханный / От истины, ее руками тканный». («Посвящение», перевод Пастернака). Немецкое слово das Schleier означает одновременно и занавес и покров.

Alles sei wohltemperirt. — В этом девизе отразилось название произведения И.-С. Баха «Хорошо темперированный клавир», в то же время слова: И разве то, что приходит, не получаем мы заколоченным и не заколачиваем, отправляя?— соответствуют определению поэтов, как «упаковщиков», «укладчиков со

своеобразным душевным складом», в статье «Черный бокал» (1915): «Искусство импрессионизма — искусство бережливого обхождения с пространством и временем — искусство укладки».

«Пробудиться — это не всегда — потерять сновидение...» — Собр. соч. Т. 4.

С. 466—467. Когда человек... имеет вокруг себя предметы... это значит, что он окружен драмой... — см. те же мотивы в отрывке «Заказ драмы». С. 457.

«Была весенняя ночь...» — Собр. соч. Т. 4.

С. 468. Через площадь к бульвару переходили проститутки. Одна из них кричала... — эпизод с городовым, который ведет по городу проституток, повторяется в «Повести» (1929): «И городовые смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных...» (С. 121).

...кинулся какой-то человек, прижимая что-то тяжелое к груди, у кровеносного керосинового фонаря он —в автографе обрыв текста и пропуск страницы.

С. 469. ...о новом Джеке Потрошителе. — Джек Потрошитель — • маньяк-убийца в Лондоне конца XIX в.

Ф. Пассавант (Passavant; 1787—1861) — немецкий художник и историк искусств.

С. 470. Катык — кислое овечье молоко, айран (татар.).

...телеграфировать в Гамельн, истребителю. — Отсылка к легенде о Крысолове из Гамельна. См. коммент. к отрывку «Вероятно, я рассказываю сказку...» (С. 620).

«[Саша отложил книгу на подоконник...]» — Публикуется впервые. — Этот и два следующих отрывка записаны в тетради, озаглавленной: «И-ое Бездействие у Бертолетского. Утерянные потери».

С. 472. Отвергнутый вариант начала: Саша отложил книгу... предваряется вычеркнутыми словами: «Вот тут несколько глав истории одной небольшой жизни».

...корешок «Путешествия в Дагомею»... — название книги соотносится с воспоминаниями Пастернака в «Охранной грамоте» о приезде в Москву весной 1901 г. отряда дагомейских амазонок, что стало, по его признанию, «первым ощущеньем женщины» как страдающей невольницы (С. 149).

...приходила серая цапля к лужам и цистерне с водой... и выклевывала изумленные зрачки зари... — ср. этот образ в вариантах стих. «И был ребенком я. Когда закат...»: «И изумленные зрачки зари в цистерне / Клевали сумерки, слетаясь на насест».

«Когда я всходил к проф. Крупчатскому...» — Публикуется впервые. С. 473. ...стал смотреть в окно. — После этих слов в автографе три последовательно вычеркнутых варианта:

1. «Мимо этой узкой готической рамы широким равнинным притоком сумерек поступал город; огибая небо, он впадал где-то там в какую-то зимнюю даль».

2. «В Управлении Сызранской дороги кончали рабочий день и в вылощенных электрическим придыханием окнах заиграла зыбь конторщиков...».

3. «Черствое здание Сызранских по ввозу и вывозу дорог разыгрывало напоказ зимний конторский миракль в пяти этажах; с музыкой? нет, но зато с задушевным, парным придыханием электрических лампочек под колпаками, под теми колпаками, которые умеют собрать в ласковую пригоршню письменный стол и работу работающего». (Миракль — жанр средневековой религиозной драмы на сюжет из жития святых.)

Лиана и Реликвимини. — Публикуется впервые.

Вычеркнутый вариант начала предшествует названию отрывка: «Я должен был отворить дверь, выйти в коридор, перебежать его и выйти на балкон».

С. 474. Длинный период с перечислениями деталей зимнего города, оформленный повторением: как близко ни принимает к себе... как близко ни приняло к себе... заканчивается словами: как близко ни принял горизонт... присохших на нем очертаний,

— они вот останутся, а он уйдет... — в последних словах дана авторская расшифровка имени Реликвимини, который должен оставить, сохранить увиденное и пережитое, записав и придав форму бесформенным впечатлениям.

«Однажды, совсем неожиданно для себя, он повторил...» — Публикуется впервые.

С. 475. ...и вот он сознался себе в том, что не видит и не слышит ее... — ср. с неотосланным письмом Пастернака Иде Высоцкой: «Ты давно уже перестала отсутствовать и ведешь тот вид наполовину отвлеченного существования (на бумаге письма или в названии местности) — который ничего не знает о жизни» (начало 1912). Наброски писем этого времени сохранились в том же собрании студенческих бумаг.

«Устье судоходной реки...» — Публикуется впервые. Этот и следующий отрывок записаны в тетради, озаглавленной: «III Действие». В отрывке сделана подробная зарисовка морского пейзажа, вероятно, при впадении реки Днестра в Черное море. Весной 1911г. Пастернак провел две недели в Одессе и, вернувшись, писал матери: «Ты знаешь, как греки называли море? Бесплодным. <...> Мне это море представляется дурным вкусом, чем-то примитивным, как страсти в драме или пиеса в октавах и аккордах, без контрапункта. <...> Я не знаю, может ли оно вдохновить художника. Мне кажется, море можно писать только реалистически. Подходы к морю почти всегда бездарны. Или нужно быть гением, чтобы и побережьем пройтись, как по полям, нагнуться к морю, сорвать, унести, вырастить у себя. Можно ли это?» (17 мая 1911).

«Гадюка, это чувствовал Саша Македонский, достанется...» — Публикуется впервые.

«Вдруг хочется поглядеть, откуда все это...», «Звуки в этих улицах протяжные...» — Публикуются впервые. Зарисовки порта сделаны в то же время, когда Л. О. Пастернак писал картину «Разгрузка вагонов в Одесском порту» (1911).

«Мы застаем Реликвимини в то время...» — Публикуется впервые.

С. 480. ...два года тому назад я написал последнюю вещь, финал сонаты. — Сохранившаяся соната для фортепиано b-moll была написана в 1909 г., издана, исполняется в концертах, записана на дисках.

«Ты ведь недавно уехал...» — Публикуется впервые.

«Частомногие из нас...» — Собр. соч. Т. 4.

С. 481. Первый вычеркнутый вариант начала отрывка: «Каждый раз, когда по той или иной причине мы садились в вагон, стараясь уйти в себя и стать загадкой для соседей...».

Глава II(«Итак окно с шумом задевало...») — Публикуется впервые.

«Два брата были словно два профиля...* — Публикуется впервые. — Два последовательных начала отрывка записаны на двух отдельных страницах.

«Время закатывалось под самые заставы...» — Публикуется впервые.

«Вечерний воздух сизым оврагом зиял уже...» — Публикуется впервые.

Смерть [Пурвита]Реликвимини. — «Juvenilia». — Автограф записан в тетради вместе с набросками статьи «Г. фон Клейст. Об аскетике культуры» (1911). Замена имени героя Пурвит на Реликвимини обнажает внутреннюю символику имен: Патрикий Живульт — герой прозы 1930-х годов и Юрий Живаго, Пурвит — «pour vie» (фр.) — для жизни, ради жизни, Реликвимини — «вы остаетесь», «вас покидают». Пурвит — имя известного художника-пейзажиста, Вильгельма Егоровича Пурвита (1872-1945), в 1919 г. ставшего ректором Латвийской Академии художеств. Интересно, что эпизод, получивший название «Смерть Реликвимини», происходит в трамвае, подобно смерти в трамвае Юрия Живаго. Тема внезапной смерти от разрыва сердца неоднократно возникает в ранних набросках и, возможно, навеяна недавней смертью художника В. А. Серова (1865—1911), бывшего близким другом семьи Пастернаков.

«Третье действие уже началось...» — Boris Pasternak. Essays.

Фамилия героя — Кареев — образована от прилагательного, означающего цвет — карий, по тому эке принципу, как и фамилия Серов — от серого, к тому же это имя реального человека Н. И. Кареева (1850-1931), известного историка, члена Российской Академии наук.

С. 488. ...вступали в текучие предписанные сочетания... — в автографе после этих слов вычеркнуто: «непомерно отдаленные, потому что это были голоса разговора <который> происходил летом, перед плетнем».

...буфетчика, подсчитывавшего выручку. — После этих слов в автографе пропуск двух страниц.

«В Арсеньевском переулке...» — Boris Pasternak. Essays.

«Это был единственный зимний дом в городе...» — Публикуется впервые. Два последовательных начала отрывка, записаны на отдельных листах и дают зарисовку новой квартиры Пастернаков на Волхонке, куда они переехали осенью 1911 г.

С. 489. ...в прозрачных стаканчиках купоросу... — стаканчики с серной кислотой (купоросное масло. — разг.) ставились между рамами окон, чтобы не запотевали стекла. См. в следующем варианте: ...стаканчиков, поставленных за рамой.... Встречаются также в стих. «Зима» (1913): «За стаканчиками купороса / Ничего не бывало и нет».

«Хотя лестница не была винтовая...» — Публикуется впервые.

«Вместо земли здесь были ели...» — Slavica Hierosolymitana. IV, 1979.

Сюжет, зарисованный в отрывке, относится к средневековой Франции, в нем выступают квазиисторические персонажи, среди которых клерик Ремигий — Святой Ремигий (437-533), архиепископ Реймский, апостол франков, крестивший короля Хлодвига (V в. н. э.). Вилланы — свободные крестьяне, зависящие от феодала как владельца земли.

«—Ну ты уснешь теперь...» — Собр. соч. Т. 4.

С. 494. Майоран — род многолетних эфирно-масличных растений.

С. 495. И неотразимо очарование этого жужжания, верного поступи косцов. — Звуки утренней косьбы, услышанные из окна, описаны также в «Истории одной контроктавы» (1917): «...с задов гостиницы <...> послышалось мелкое звяканье правленой стали и заляскал точильный брусок по лезвию <...> взмах за взмахом стал сучиться сонный, тонкий и легковесный звон косы по пьяной траве...». Тот же сюжет отразился в стих. «Он слышал жалобу бруска...» (1912): «Он слышал жалобу бруска / О лезвие косы...».

...с Вовнаргом, Руссо, С. Пьером... — имена знаменитых французских писателей сентиментального направления. Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (1715-1747) — писатель-моралист. Жан-Жак Руссо (1712—1778) — философ, автор романа «Новая Элоиза». Жак-Анри-Бер-нарден де Сэн-Пьер (1737-1814) — автор известного романа «Поль и Виржини».

С. 496. Нильс Генрик Абель (1802-1829) — норвежский математик, один из создателей теории эллиптических функций.

Фредерик Гурса — фамилия персонажа повторяет имя знаменитого французского математика Эдуарда Гурса (1858—1936), занимавшегося анализом бесконечно малых. Теоретическая философия Германа Когена была тесно связана с этими вопросами, — в университетских тетрадях Пастернака видны следы его занятий дифференциальными исчислениями.

«Ночь. Только водопады...» — Собр. соч. Т. 4.

С. 498. ...как оставленные в театре литавры... — ср. стих. «В пучинах собственного чада...» (1912): «В пучинах собственного чада, / Как обращенный канделябр, / Горят и гаснут водопады / Под трепет траурных литавр».

...ветер пошевеливает звездой. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «который еще отчаянно далек и движется еще медленнее тишины, ей навстречу, — с приближением рассвета горы, словно наполняемые шарлиеры, приподымаются, расправляются изнутри, принимают свои растянутые формы, расступаются друг от друга и тихо-тихо отделяются от долин, еще черных, как прииск в этот час. Это виденье серых исполинских воздухоплавателей тогда; но утро превратит их в Швицкий, богатый краснолесьем кантон». (Шарлиер — воздушный шар.) Вырастающие из тумана горы сравниваются с воздушными шарами в стих. «В пучинах собственного чада...» (1912): «И приведеньем Монгольфьера, / Принесшего с собой ладью, / Готард, являя призрак серый, / Унес долины в ночь свою».

Верба. — Boris Pasternak. Essays.

С. 499. Verba — слова (мн. ч. от лат. verbum).

...гамлетовские: слова, слова, слова. — Ответ Гамлета на слова Полония: «Что вы читаете, милорд?» (второй акт, сцена вторая).

Абуоь — слова, замыслы (мн. ч. от греч. Хоуоз,). Rationes — смыслы, ум (мн. ч. от лат. ratio).

...ветки этого дерева, нет, охапки их в тающих улицах—эмблемы... — А. Л. Пастернак пишет о вербном базаре на Красной площади: «На бульварах же, на площадях, на улицах в эти дни медленно двигались фигуры, держащие в протянутой руке пучок красно-кожистых веточек вербы, без зазывания, молча, на ходу вынимая новый пучок из корзинки или мешка за спиной, они продавали вербу...» (А. Пастернак. Воспоминания. С. 116).

Есть такой необычайно многолюдный базар весной. — «Базар этот имел свой личный вымпел <...> и этим флагом была подлинная метаморфоза города! В этот замечательный — и единственный в году — воскресный день город истинно преображался <...> город оказывался во власти и в плену веселого и буйного шума и гама всевозможных звукоиспускающих игрушек, вроде знаменитых "тещиных языков", надувных поросят, трещоток, свистулек и всякой иной шумности. <...> Площадь <...> в этот день была неузнаваемой. Обычно огромная — она сейчас становилась тесной и ограниченной; обычно тихая — сейчас она ревела, горланила, свистела и верещала; обычно степенная — она полна была вакхического веселья. Люди не шли, их несло...» (Там же. С. 117, 121).

Верба I. Жизнь. — Boris Pasternak. Essays. Второй отрывок с этим названием записан на обороте первого.

С. 500. Электрички — электрические конки, ездившие по городу и потом получившие название трамваев.

С. 501. ...околдованный печами, чехлами... вечно спящий и вечно репе-тируемый... — в «Охранной грамоте» Пастернак в сходных чертах описывал обстановку домов, где давал уроки своим ученикам: «Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада и в ожиданьи моего часа усаживались, разложа учебники, мои питомцы-второгодники, ярко накрашенные малоумьем, как шафраном».

«[Реликвимини взглянул вверх...]» — Публикуется впервые.

«Однажды жил один человек...» — Собр. соч. Т. 4.

Воспоминания об этой встрече Нового года отразились также в отрывке «Мышь», стих. «Заместительница» и «Докторе Живаго». Образ горящей на подоконнике свечи и «протаявшего около нее кружка в ледяной коре стекла» стал композиционным моментом романа «Доктор Живаго», о герое которого Пастернак писал, «что с этого, увиденного снаружи пламени, — "свеча горела на столе, свеча горела" — пошло в его жизни его предназначение». См. стих. «Зимняя ночь» из «Доктора Живаго».

С. 503. ...прошлое... находилось на расстоянии шести лет... — ср. в «Охранной грамоте»: «О своем чувстве к В<ысоцко>й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет».

За санною тишиной наступала еще большая. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «В те годы на земле иногда дымило какой-то темной роковой гарью, — веселой чувственностью его товарищей за их черными глазами и модным сукном тела...».

...запах сигары и ее присутствие бродят в сумерках гостиной. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «По этой догорающей золе намеков можно было идти, как по следам и нужно было идти...».

...талая хрусткость женских окончаний. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Галки тогда налетали на бульвары. Лился звон к вечерне, за проточным рокотом дрожек тихо облетали сбитые <...>».

...и потом уж везде и всегда с певучим трепетом сквозило городом, книгами, зимой и праздником... — здесь перечислены объекты, неизменно вызывавшие у Пастернака состояние творческого волнения и ставшие темами его лирики и прозы. В «Охранной грамоте» эти состояния переданы метафорой «лихорадки»: «За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. <...> Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность».

С. 504. Он дышал батистовым платком... — см.: «Она просила его подержать этот батистовый лепесток, которым она вытерла свои руки, липкие от шоколаду, орехов, мандарин и пирожного» («Мышь»).

«Воздух морозной ночи...» — Boris Pasternak. Essays.

С. 505. ...визгом, которым сопровождалась эта яростная казнь. — После этих слов в автографе страница не дописана.

С. 506. ...он не выпускал из своих рук большой океанской раковины... — то же вслушивание в раковину, как в слова оракула, стало центральным моментом в стих. «Зима» (1913): «Прижимаюсь щекою к улитке / Вкруг себя перевитой зимы: / Полношумны раздумия в свитке / Котловинной, бугорчатой тьмы. / Это раковины ли сказанье...» («Близнец в тучах»).

С. 509. .„горелок, о которые разбивались черные пригоршни черствых жуков... — ср.: «...ночь швыряла целые пригоршни жуков, ночных мушек и мотылей и пригоршнями жирного кофейного семени, с сухим стуком, как об раскаленные стенки жаровни, разбивались рои жесткокрылых о стенки фонарей» («История одной контроктавы», 1917). С того же образа начинается стих. «Как бронзовой золой жаровень...» (1913): «Как бронзовой золой жаровень, / Жуками сыплет сонный сад...».

«Когда Сугробский, на ходу отирая оттаявшие брови...» — Публикуется впервые.

«Прежде всего мне хочется говорить о той были...» — сб. «Памятники культуры».

С. 510. ...о той были, которая появляется иногда на пороге вдохновения. — В соответствии со сказанным в «Охранной грамоте», что «самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникнове-нье», — Пастернак писал М. Цветаевой: «Я больше всего на свете (и, может быть, это — единственная моя любовь) — люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть» (12 нояб. 1922).

...запускали бы его так высоко и парадно. — После этих слов в автографе вычеркнуто: «Этим задается поступь всему, как камертон. Тогда бежишь вместе с надтреснутой дождями мглой, в которой праздник: (люди, заторопившиеся в гости) и серые улицы без витрин...».

С. 511. ...какударяемый слог конечной стопы... — рифмующаяся двусложная стихотворная стопа с ударением на второй слог называется мужской рифмой, с ударением на первый — женской.

С. 512. Жажда неударяемого, этого ьteipovпесни... Жаждой неударяемого хаоса, тоскующей волей — быть женственной... — cwteipov — понятие беспредельного и неопределенного, употребляемое в философии пифагорейцев, как существующее само по себе начало, лежащее в основе бытия. В том же смысле это понятие появляется у Платона. Аристотель в «Метафизике» (кн. 3) развивает орфическое понимание cuteipov как космического рождающего хаоса в оппозиции неоформленного — оформленному, женского — мужскому, определенного — неопределенному.

Е. Б. Пастернак, Е. В. Пастернак

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ.....5...537
Апеллесова черта.....6...538
Письма из Тулы..... 26...540
Детство Люверс..... 34...542
Воздушные пути..... 86...548
Повесть..... 98...550
Охранная грамота..... 148...551
Записки Патрика..... 239...576
Люди и положения.....295...582
НЕОКОНЧЕННАЯ ПРОЗА..... 347...596
Был странный год.....348...596
История одной контроктавы..... 350...597
Диалог..... 378...604
Вторая картина. Петербург.....385...604
Безлюбье. Глава из повести.....404...610
Три главы из повести.....411...612
ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ.....419...614
«Уже темнеет. Сколько крыш и шпицей!..».....420...617
«[Я спускался к Третьяковскому проезду...]».....429...617
У Дорогомиловской заставы.....432...618
«Реликвимини был на месте уже...».....435...618
«Шестикрылов обернулся назад...».....435...618
«Когда Реликвимини вспоминалось детство...».....436...618
«[Вероятно, я рассказываю сказку...]».....447...620
«Вот какая у меня комната...».....448...620
«Вот. Песня маляра сейчас тонет...».....449...620
«Я давно наблюдал за тем лицом...».....450...620
Мышь.....450...621
«Вот идет Реликвимини...».....455...621
Заказ драмы.....457...621
«Пробудиться — это не всегда — потерять сновидение...»... 466...622
«Была весенняя ночь...».....467...622
«[Саша отложил книгу на подоконник...]».....472...623
«Когда я всходил к проф. Крупчатскому...».....473...623
Лиана и Реликвимини. Матерьялы.....473...623
«Однажды, совсем неожиданно для себя, он повторил...» ... 475...624
«Устье судоходной реки...».....475...624

«Гадюка, это чувствовал Саша Македонский,
достанется...».....477...624
«Вдруг хочется поглядеть, откуда все это...».....478...624
«Звуки в этих улицах протяжные...».....478...624
«Мы застаем Реликвимини в то время...».....479...624
«Ты ведь недавно уехал...».....480...624
«Часто многие из нас...».....481...624
Глава II («Итак окно с шумом задевало...»).....482...625
«Два брата были словно два профиля...».....483...625
«Время закатывалось под самые заставы...».....484...625
«Вечерний воздух сизым оврагом зиял уже...».....486...625
Смерть [Пурвита] Реликвимини.....487...625
«Третье действие уже началось...».....488...625
«В Арсеньевском переулке...».....489...625
«Это был единственный зимний дом в городе...».....489...625
«Хотя лестница не была винтовая...».....490...626
«Вместо земли здесь были ели...».....490...626
«— Нуты уснешь теперь...».....493...626
«Ночь. Только водопады...».....498...626
Верба.....499...627
Верба I. Жизнь.....500...627
«[Реликвимини взглянул вверх...]».....502...628
«Однажды жил один человек...».....503...628
«Воздух морозной ночи...».....505...628
«Когда Сугробский, на ходу отирая оттаявшие брови...».....510...629
«Прежде всего мне хочется говорить о той были...».....510...629
РАННИЕ РЕДАКЦИИ.....513
Детство Люверс.....514
Охранная грамота.....521
Записки Патрика.....525
Люди и положения.....531
Комментарии.....535

Пастернак Б. Л.
П 19 Полное собрание сочинений: В 11 т. Т. III: Проза / Сост. и ком-мент. Е. Б. Пастернака и Е. В. Пастернак. — М.: GJIOBO/SLOVO, 2004. - 632 с.
ISBN 5-85050-683-7 (т. III) ISBN 5-85050-680-2

В третий том включены повести Пастернака «Детство Люверс», «Воздушные пути», «Охранная грамота» и др., начальные главы романа «Записки Патрика», а также раздел «Неоконченная проза». Завершают том ранние прозаические наброски «Первые опыты» (1910-1912 гг.), причем 24 фрагмента публикуются впервые.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-5
Борис Леонидович Пастернак ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ Том III
Редактор Т. И. Беднякова Художник К. Е. Журавлев Технический редактор Л. А. Комарова Верстка Л. А. Комаровой Корректор С. В. Щербин
Подписано в печать 30.04.04. Формат 60x90/,6. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Newton. Усл. печ. л. 39,50. Уч.-изд. л. 31,49. Тираж 5000 экз. Заказ JSfe 0407500.
Издательство СЛОВО/SLOVO. 109147, Москва, Воронцовская ул., 41.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов в ОАО «Ярославский пол и граф комбинат» 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.
ISBN 5-85050-683-7
9785850506834